

ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Леннарт Мери*
«Россия слишком велика, чтобы относиться к ней легкомысленно»
Беседа с Президентом Эстонской республики
- *Давид Маркиш*
**Записки похоронщика
 Вениамина Семеновича
 Белоцерковского**
- *Елена Ржевская*
«...Так как все кончено»
«Геббельс. Портрет на фоне дневника»
- *Александр Изгоев*
«Страшные уроки 1917 года...»
- *Агата Кристи*
Автобиография

3'94

Во второй половине 1994 года читайте в «ДН»:

Беседы с политическими лидерами стран СНГ.

Воспоминания первого президента СССР Михаила Горбачева.

Анатолий Рыбаков. «Прах и пепел». Роман.

Ежи Журеk. «Казанова». Роман. Перевод с польского.

Ирина Муравьева. «Одни». Повесть.

Олег Блоцкий. «После». Повесть.

Николай Шмелев. «Безумная Грета». Повесть.

Николай Любимов. «Сухая гроза». Из книги воспоминаний.

Анджей Вайда, Вячеслав Пьецух. Старый спор. Диалог.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Борис Пильняк — Евгений Замятин. История отношений в переписке и комментариях.

Георгий Чулков. «Годы странствий». Из книги воспоминаний.

Гайто Газданов. Рассказы.

ПОЭЗИЯ

Булат Окуджава, Инна Лиснянская, Геннадий Айги, Шота Нишнианидзе, Кнут Скуениекс, Иван Жданов, Алексей Парщиков, Борис Евсеев, Элла Крылова.

КРИТИКА

В поле зрения **Игоря Дедкова** и **Андрея Немзера** — новая журнальная проза и критика.

Николай Анастасьев делает попытку собрать воедино фрагменты литературной картины XX века.

«Поэзия есть проявление свободы», — утверждает поэт из Латвии **Имант Аузинь.**

Беседы с поэтессой из Армении **Сильвой Капутикян** и прозаиком из Белоруссии **Виктором Козько.**

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

«Преступность и политика. Преступность и культура. Преступность и повседневность».

«Справедливость в России».

«Анатомия гражданской войны в Таджикистане».

Индекс журнала по каталогу «Известий» (1994) — 70250. Подписная цена одного номера в текущем году 1600 руб. Можно оформить подписку в редакции по адресу: Москва, Поварская ул., 52.

ДРУЖБА НАРОДОВ



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячник*

3'94

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Леннарт МЕРИ	«Россия слишком велика, чтобы относиться к ней легкомысленно». Беседу ведет Елена Сёславина	3
<i>Проза и поэзия</i>		
Лев РОШАЛЬ	Новые времена, или Биржа недвижимости. Повесть	11
Инна КАБЫШ	Три ожога, три солнышка, три свечи. Стихи	72
Давид МАРКИШ	Эпизки похоронщика Вениамина Семеновича Белоцерковского	76
Наталья ВАНХАНЕН	Состояния. Стихи	100
Елена РЖЕВСКАЯ	«...Так как все кончено»	104
Мара ЗАЛИТЕ	Каждый вечер пылает холм... Стихи. С латышского. Перевод Сергея Морейно	133
<i>Публицистика</i>		
Валерий ПОДОРОГА	Россия. XX век. Власть. Беседу ведет Сергей Королев	136
<i>Нация и мир</i>		
Александр СТЕПАНОВ	Ингерманландская трагедия	151
Дитер ГРО	Россия глазами Европы. 300 лет исторической перспективы	160

Пятрас БРАЖЕНАС	Возможно, мы встретимся. <i>Ответы на вопросы «ДН»</i>	173
Михаил ОДЕССКИЙ Давид ФЕЛЬДМАН	Выйти живым из строя. <i>Русская литература: поэтика болезни, здоровья и труда</i>	177
Эхо		
Лев АННИНСКИЙ	Братский привет через границу!	193
Толоса		
Александр ИЗГОЕВ	«Страшные уроки 1917 года»	197
Архив		
Агата КРИСТИ	Автобиография. <i>С английского. Перевод Ирины Дорониной и Валентины Чемберджи</i>	210
	Summary	240

Правовую поддержку журнала «Дружба народов»
осуществляет Юридическое бюро «Хромцов и партнёр».

тел. / факс (095) 161-7455

Транспортные услуги журналу «Дружба народов»
оказывает
предприниматель Александр Федорович Ионов

Тел.: (095) 971-0901

Факс: (095) 971-1245

Телекс: 41 450 MOST SU

Главный редактор

Вячеслав ПЬЕЦУХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК, Наталья ИГРУНОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, заместитель главного редактора Владимир ПОТАПОВ, заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Евгений БУДИНАС, Юрий В. ДАВЫДОВ, Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль ИСКАНДЕР, Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ, Кнут СКУЕНИЕКС, Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ

Леннарт Мери,
Президент Эстонской республики

«Россия слишком велика, чтобы относиться к ней легкомысленно»

Беседу ведет Елена Сеславина



Сегодняшняя Эстония — чистая, прибранная — внешне разительно контрастирует с российской действительностью. В Таллинне немноголюдно, в магазинах все, чего душа ни пожелает, цветы и фонтанчики в витринах. В книжном, в центре города, я с пристрастным любопытством изучала полки — есть ли в продаже книги писателей, ставших политическими деятелями (у нас это было бы предрешено). К счастью, не увидела. Зато попала на глаза плохо изданная брошюра «для желающих получить эстонское гражданство» с каким-то, прости господи, не русским, а «русскоязычным», то есть косноязычным текстом... Политические страсти впитались в быт.

В конце ноября 1993 года прекратил свое существование Народный фронт Эстонии, возмутитель спокойствия СССР образца 1988-го (оппозиционные издания ехидно писали о «бесславном» конце громкого начинания, основатели НФ говорили, что фронт выполнил свою задачу — Эстония стала суверенным государством); в парламенте Эстонии обсуждался вопрос о доверии правительству (которое осталось у власти); газеты были полны сообщений о переговорах с российской стороной, которые закончились подписанием лишь соглашений по стандартизации и культурному сотрудничеству; в важнейших вопросах — о графике вывода российских войск и самой линии границы — стороны не пришли к компромиссу.

Приближаясь к президентскому дворцу в заснеженном парке КадрIORг, разбитом еще Петром Первым в честь жены Кадри, Екатерины, я обратила внимание, что красивое розоватое здание, как любое уличное строение, имеет номер: 39. Случайно ли так получилось или нет, но этот номер указывает на год, когда слишком многое определилось для маленькой балтийской страны. Документы с подписями Молотова и Риббентропа, размашисто перечеркнутыми Европу, десятилетиями хранились в сейфах, само существование которых отрицалось советской стороной, — об их существовании я впервые услышала восемь лет назад из уст Леннарта Мери, писателя, сына дипломата довоенной буржуазной Эстонии, нынешнего хозяина президентского дворца, пережившего вместе с семьей ссылку в Сибирь. С тех пор, с детства, он хорошо говорит по-русски (как, впрочем, и на всех основных европейских языках). Историк по образованию, этнограф, глубокий и ироничный писатель, знакомый читателям «ДН» своими повестями «Серебристый рассвет» и «Приближающиеся берега», режиссер-кинодокументалист, Мери начал политическую карьеру в шестидесятилетнем возрасте, возглавив Министерство иностранных дел Эстонии. Затем — посол ЭР в Финляндии, а 6 октября 1992 года он стал Президентом Эстонии. Политика, проводимая коалиционным блоком консервативного толка, отличается последовательным размонтированием связей с республиками бывшего

СССР и укреплении их с европейскими западными государствами, корректировкой демографической ситуации в пользу увеличения численности коренного населения, поиском «мягких» вариантов перехода к рыночной экономике.

Е.С. «На примере балтийских государств можно предвидеть и будущее России, и надежды, и безнадёжье...» Это, господин президент, цитата из вашего выступления двухлетней давности. Эстония как бы апробировала многие процессы, протекающие сейчас на территориях бывшего СССР. Восстановив государственность, пережив эйфорию «поющей революции», она одной из первых столкнулась со многими социальными проблемами, характерными для посттоталитарного периода, и, видимо, одной из первых окончательно сформирует свой облик как член мирового сообщества демократических государств. Какие вехи на этом пути вы считаете наиболее важными, какие «подводные камни» наиболее опасными?

Л.М. Можно говорить о том, чтобы пройти определенный путь. Но мы знаем, что египетские пирамиды никаких путей не проходят, где они стояли, там и стоят.

Е.С. А время?

Л.М. Правильно; и государства могут проходить свои пути лишь во времени. Я не откажусь от мысли, которую вы только что напомнили, но за эти два года я придумал еще один образ. Представьте себе два судна — маленький каяк и супертанкер. Каяк, сделанный из натянутой на каркас кожи, весит примерно четыре с половиной килограмма и может выдержать груз в десятки раз больший, это одно из лучших изобретений человека; а супертанкер берет на борт сотни тысяч тонн груза. Зато каяк может развернуться на сто восемьдесят градусов буквально на одном месте, тогда как инерция супертанкера потребует иного пространства — какого? — наверное, не уложится в московское автокольцо... Вот и вся разница между Эстонией и Россией. Другими словами, мы шустрее. Если говорить о пройденном пути, думаю, можно утверждать, что в Эстонии уже создана мотивация, действенная для очень многих людей, которые не имели ни малейшего понятия о том, что такое демократическое государство. Они увидели, что пропали очереди, что надо зарабатывать деньги и можно за них что-то получить. Простите за банальность, но десять лет назад столь простой мотивации не было. Я помню, как не слишком чистоплотный деятель брежневской эпохи, сумевший сколотить состояние, вложил его в три тысячи

цветных телевизоров и тысячу пар мужских итальянских сапог. Это не анекдотический пример аморальности, а изумительная иллюстрация абсурдности экономической системы. Вместо того чтобы заставить капитал работать, человек покупает аппараты, которые устареют через пять лет, и обувь, мода на которую меняется дважды в год.

Столь обыденные примеры имеют громадное значение при определении политической физиономии той или иной страны. И то, что Эстония мала, в этом отношении очень пошло ей на пользу: мы добились успехов быстрее, чем Венгрия, Чехия, не говоря уже о Польше, тем более о России. Эстонская крона, например, является одной из наиболее стабильных в Европе валют.

И конечно же, наша страна настолько мала, что она «прозрачна» — мы живем как бы в стеклянном доме. Здесь можно сделать большие свинства, но о них всем станет известно на следующий же день.

Е.С. Вы полагаете, это само по себе — гарантия нравственности в политике?

Л.М. Гарантий здесь нет. Есть лишь школа, которая может гарантировать нравственность. И здесь я хотел бы вернуться к вашему вопросу о пути. Самый сложный путь, который мы можем пройти, — тот, что укладывается между нашими ушами, это путь, по которому идут наши мысли...

Е.С. И все же есть проблемы, которые одинаковы для больших и малых государств, для танкера и каяка. Наш танкер, двигаясь по пути, как мы надеемся, к демократии, не миновал крови. Эстония с самого начала, когда противостояние Народного фронта и Интерфронта было весьма острым, ограничилась «поющим» вариантом революции. И сейчас, когда политический спектр весьма пестр, вам удается гасить социальные конфликты. Что вы могли бы сказать по этому поводу?

Л.М. Возьмемся за тему русских в Эстонии. Это, наверное, одна из центральных проблем — не потому, что объективно она такова, но потому, что политические силы, которые я назвал бы экстремальными, пытаются ею манипулировать и доказывать, что необходимо спешить на выручку тем русским, которые осели в Эстонии после второй мировой войны и которых сейчас вытесняют. При этом пользу

ются самыми пугающими выражениями, разве что о пинчевании не говорят (может, не хотят портить отношения с Америкой?). Но это лексикон политиков; прошли те времена, когда здешние русские сами в это верили. Русское население Эстонии увидело, что демократия не пустой звон, что в газетах могут публиковаться полнейшие нелепицы об эстонской действительности, и единственной, кто от этого пострадает, будет сама газета, которая станет терять подписчиков, потому что люди хотят знать факты, а не домыслы.

Е.С. Вы что-то конкретное имеете в виду?

Л.М. Вполне; но я не хочу указывать на эту газету своим костлявым пальцем Кошеля, потому что это могло бы быть истолковано как попытка ограничить свободу слова.

Есть законы статистики, согласно которым человечество отбрасывает крайние, уродливые формы и проявления и сохраняет мощное конструктивное ядро. И я не думаю, что большинство здравомыслящих людей будет метаться между этими крайностями. Однако «малость» Эстонии и громадность России делают нашу страну весьма чувствительной к экстремальным течениям у вас.

Е.С. Уточните, пожалуйста.

Л.М. Скажем, о таких явлениях в политике, как Жириновский. Понимаю, что мы с вами относимся к нему совершенно одинаково, тем не менее на политическом ландшафте России и за ним, и за коммунистами стоят какие-то силы и организационные структуры. И с этим, полагаю, приходится считаться российскому руководству. Думаю, это одна из причин, по которой до сих пор не подписано соглашение о сроках и графике вывода вооруженных сил бывшего Советского Союза из Эстонии, несмотря на то, что лидеры вашей страны декларировали на различных международных уровнях триединую формулу: вывод войск быстро, организованно и полностью.

Е.С. Как много войск еще остается на эстонской территории?

Л.М. Очень незначительное количество, примерно три с половиной тысячи человек из тех пятидесяти—шестидесяти тысяч, что были здесь в 1990 году. Стратегически, должен признать, они не представляют реальной угрозы. Но остается некое символическое значение российского военного присутствия; я не могу согласиться с чисто технической неразрешимостью этой проблемы, когда на моей памяти в

восемь раз больше войск прибыло в Эстонию в течение суток.

Е.С. Как известно, российская делегация предлагала увязать решение этих вопросов с проблемами предоставления эстонского гражданства представителям русского меньшинства — вопрос, который эстонская сторона обсуждать отказалась. И все же, корректируя демографическую ситуацию, подвигая к отъезду из Эстонии ее русских неграждан, не делаете ли вы сейчас чего-то такого, о чем потом придется жалеть?

Л.М. ...Я бы обратился к истокам, а они где-то году в 1917-м, когда шел распад великих империй Австро-Венгрии и царской России. Перед их народами впервые открылась возможность реализовать право на самоопределение. Можно вспомнить знаменитые «Четырнадцать пунктов» Вудро Вильсона, всю демократическую традицию — Джефферсона, Монтескье и так далее. Этой возможностью воспользовались тогда многие народы, эстонцы в их числе. И тут самая трагическая точка русской истории, потому что это священное право оказалось в руках кучки террористов, которые вошли в историю под названием «центральный комитет коммунистической партии». И это дало возможность, вначале лишь теоретическую, восстановления колониальной державы.

Трагично то, что колониальная, с нашей точки зрения, власть была представлена именно русскими. Вам, наверное, будет интересно узнать, что отношение к России до 39-го года было совершенно нормальным, наши газеты, например, ежедневно публиковали программы радиопередач из Москвы и Ленинграда (в 40-е годы, когда Эстония стала советской, это было запрещено). Но оккупация показала нашему народу настоящее лицо социализма.

Еще шла война, когда в Москве было принято решение о заселении северной Эстонии рабочими, набранными по вербовке. Война отгремела, и демобилизованные получили привилегию селиться в любом месте якобы социалистической якобы республики; местные власти были обязаны обеспечивать их жильем в первую очередь. В результате доля эстонского населения с 95 % в 1945 году упала до 60 % в 1988-м. Центральная власть, которая была столь же недосыгаема для меня, как и для вас, работала на будущее. А нам теперь приходится расхлебывать эту кашу...

Е.С. Все, о чем вы сейчас говорили, тяжелое и сложное наследие, в том числе и особенности политического спектра России. Говоря об Эстонии, вы несколь-

ко раз употребили слово «демократия». Вписываются ли в нее фашисты, которые хвалятся друг друга за самоотверженную борьбу с советской властью? Это серьезная политическая сила или психологическая гиперкомпенсация, реакция на советское прошлое?

Л.М. Думаю, степень вероятности прихода к власти в Эстонии фашистов в десятки, сотни раз меньше, чем в России. Я, например, очень часто сталкиваюсь с точкой зрения российских коллег, что нужна сильная рука, чтобы перестроить вашу страну в демократическое государство.

Е.С. Это известная теория...

Л.М. ...напоминающая о том, что Петр I пытался бороться с азиатчиной, используя азиатские методы. Иезуитам приписывается изречение, что цель оправдывает средства. Это очень скользкий вопрос; в то же время я, думаю, лучше многих иностранцев понимаю, насколько убедителен для многих честных людей России именно такой ход мысли.

Вы спросили об эстонском фашизме. Если речь о тех, кто боролся против советской власти, оккупировавшей Эстонию, то ведь и французы, и норвежцы, и датчане тоже боролись против захватчиков... Все оккупированные страны боролись как могли.

Е.С. С этой точки зрения получается, что те, кто боролся в оккупированных гитлеровской армией государствах вместе с советскими войсками, — тоже герои. Между тем эта позиция в последнее время во многих странах тоже подвергается сомнению.

Л.М. Могу добавить такую деталь: в 1941 году, когда шли первые бои войны, называемой в России Великой Отечественной, эстонцы сами освободили свою территорию от советских войск. Немцы вошли сюда из Латвии. И наивность нашего отчаявшегося народа проявилась в иллюзии, что после советского террора удастся восстановить государственность. Когда стало очевидно, что надежды построены на песке, многие из тех, кому было противно бороться за будущее своего государства под свастикой, переплыли Финский залив и присоединились к армии Финляндии, которая воевала и с гитлеровской Германией, и со сталинским СССР. Они бежали не для того, чтобы просить политического убежища, они бежали на фронт.

Честно говоря, ваш вопрос о фашизме в Эстонии меня немного покорибил. Но я рад, что он был задан...

Е.С. То, о чем вы сейчас рассказыва-

ли, для русских совсем не очевидно, порою — просто неизвестно.

Л.М. Я как-то поймал себя на мысли, это было на одной из пресс-конференций в Германии, что драматизм заключается именно в том, что Россия победила, якобы выиграла войну.

Е.С. Эта на первый взгляд парадоксальная мысль уже высказывалась у нас в печати. Пишут и о ветеранах Великой Отечественной, которые, получая «гуманитарную помощь» из Германии, задаются вопросом: кто же победитель?

Л.М. Очень рад, что вы не встали и не хлопнули дверью...

Е.С. Вы были первым человеком, который в свое время рассказал мне о пакте Молотова—Риббентропа и существовании секретных протоколов к нему.

Л.М. Теперь могу добавить, что много лет назад получил от друзей из Москвы тоненький листок папиросной бумаги с машинописным текстом этого соглашения. Он хранится у меня в библиотеке...

..Мы прошли пару десятков шагов, отделяющих рабочий кабинет президента от жилой части помещения. Библиотека — почти квадратная комната с толстым светлым ковром на полу и столом посередине — выглядела очень уютно. Господин Мери почти мгновенно вытащил из сплоченных рядов нужное издание и извлек оттуда листочек...

Е.С. А что это за книга, з которой он лежит?

Л.М. Одна из миллионов, которые подлежали уничтожению: «Рождение эстонской государственности». Вот, послушайте: «Все граждане Эстонской республики, независимо от их религии, национальности и политических взглядов, имеют перед законом и судами республики равные права. Всем национальным меньшинствам, живущим в республике — русским, немцам, шведам, евреям и другим, — гарантируется их автономия по национальной культуре. Все гражданские права — свобода слова, свобода вероисповедания, свобода границ, свобода забастовок, так же как неприкосновенность личности и домашнего очага, зиждутся на всей территории Эстонии на законах, которые незамедлительно будут обнародованы правительством...» Это 24 февраля 1918 года! Обозначены все демократические основы.

Е.С. А политический спектр нынешней Эстонии отвечает вашему представлению о развитии демократии?

Л.М. Вполне. Думаю, некоторые наши дебаты в парламенте могли бы быть более

высокого профессионального качества, но, учитывая, что люди получили советское образование, когда под именем права преподавалась наука о власти, надо быть реалистом и видеть, что все лучшее, что у нас есть, уже работает. Могло бы быть иначе в том случае, если бы сорок лет назад нынешние специалисты учились не только в Москве, но и в Оксфорде, Гейдельберге... Но тогда бы не было советской власти. И этих вопросов:

Е.С. Господин президент, но ведь ваше отношение к России куда сложнее, чем прагматизм лидера сопредельной страны, определяющего политический курс.

Л.М. Я сейчас живу тем опытом, что накопил, когда был в России.

Е.С. В ссылке, в годы войны?

Л.М. Не только. Мой друг, режиссер Вольдемар Пансо, когда-то научил меня быть внимательным к деталям. Я храню, например, корешок счета якутской гостиницы номер два, листок в клеточку, где типографским способом напечатано две строки: за ночевку — столько-то. За постой лошадей — столько-то.

Е.С. Вы прибыли туда на лошадях?

Л.М. Почти... на самолете Ан-2.

Е.С. Какой это год?

Л.М. 1962-й. И я помню, как очень милый человек, местный киномеханик, который и устроил меня в эту гостиницу, повел показывать город. На перекрестке он сказал: «Почти как в Москве, верно?» Я добросовестно смотрел вперед, назад, направо и налево — очень хотелось быть дружелюбным, — но ничего похожего на Москву не было видно. И, вероятно, в ответ на мой вопросительный взгляд он указал рукой: «Туда смотри!» На совершенно пустом перекрестке висел светофор... И я полюбил этого парнишку, и город с его деревянными тротуарами, и гостиницу, куда, проведая, что я из «центра», потянулся посоветоваться народ, и бабушку из буфета, которая кормила меня бесплатно, пока я ждал денег из дома...

Когда-то в Москве у меня было больше знакомых, чем в Таллинне, просто потому, что Москва больше. Они давно разъехались по белу свету. Но я храню, например, рисунки Эрнста Неизвестного, подаренные им в дни триумфальной выставки, когда его еще не разругал Никита Сергеевич; там было столько зрителей, что мы продвигались по сантиметру, как в набитом вагоне метро... Вы об этом хотели спросить?

Е.С. Пожалуй...

Л.М. А годы ссылки интересны тем, что

в Кировской области, где мы оказались с матерью, колхозу было всего шесть лет. И крестьяне еще узнавали своих, хотя и обобществленных, лошадей и коров, помнили, на каком поле что лучше сажать, какое раньше пахать. А что сейчас? Я мысленно перелистываю «Путешествие из Петербурга в Москву», и книга Радищева интересна мне тем, что через каждые несколько верст там описывается какая-нибудь деревенька, почтовая станция, харчевня на дороге. Сейчас, проезжая по этому маршруту на «Красной стреле», вы заметите трубы и даже не лес — подлесок. А ведь здесь было сердце России. Не могу себе представить, как вы сможете воссоздать крестьянский слой: в мире, насколько мне известно, подобного опыта нет.

Е.С. Приватизация в Эстонии, как я знаю, идет медленно, возможности каждого человека связаны с тем, сколько лет он проработал на этой земле. А хуторяне еще остались?

Л.М. Как ни малозначителен в масштабах мировой истории тот факт, что настоящая советская власть пришла к нам на 22 года позже, благодаря ему место не оказалось пустым, и еще работают, хотя и в преклонном возрасте, те люди, которые знают землю. Которым не надо в газете читать, когда сеять, — им это большой палец подскажет!

Кстати, в начале века в Эстонии и Лифляндии было больше кооперативных организаций, чем во всей царской России. До советской оккупации у нас работало около 80 тысяч машино-тракторных станций. Что добавить? Возможно, прозвучит несколько неожиданно, но десять лет назад самая дальняя от ближайшей автобусной остановки точка территории Эстонии отстояла не более чем на 5,6 км. У нас нет «бескрайних просторов», и инфраструктура всегда коренным образом отличалась от российской, в особенности от инфраструктуры советской России, когда какая-то часть деревень была объявлена «неперспективной». Но, если говорить со всей прямоотой, на нашем политическом ландшафте «полоса» приватизации хуторов, возможно, самая отсталая, и в первую очередь из-за нашего национального характера. Вы, может быть, помните, что у классика эстонской литературы Антона Таммсааре есть произведение «Правда и право»...

Е.С. «Правда и справедливость» в русском переводе...

Л.М. ...и там два крестьянина, живущие бок о бок, ведут тяжбу. В вопросах прива-

тизации мы хотели быть точными, справедливыми, не всегда отдавая себе отчет в том, насколько сложно вернуться к дооккупационным правовым отношениям. Положим, человек после войны получил полуразрушенный пустой хутор, где и осталось две стены, восстановил, хозяйствовал на нем, а теперь в один прекрасный день вдруг кто-то стучится и объявляет: дом принадлежал моему депортированному отцу, вы должны его вернуть.

Е.С. И что же делать?

Л.М. И что же делать?

Е.С. Но что-то вы ведь делаете? Оставить две стены, снять все остальное и разделить по справедливости? Что важнее — правда или право?

Л.М. Их никогда нельзя рассматривать по отдельности.

Е.С. Это идеал. А о политике говорят, что это искусство возможного.

Л.М. В том-то и проблема, что политик, который мыслит и чувствует сердцем, всегда видит перед собой идеал. И такому политику приходится особенно тяжело в жизни, где так много отклонений от идеала... Так что с тем, что приватизация в сельском хозяйстве идет медленно, придется смириться. Как и с некоторыми другими объективными явлениями.

Е.С. Что сейчас производит Эстония? Сама себя она кормит?

Л.М. Мы даже вывозим сельскохозяйственную продукцию — овец, мясо... в Ирак.

Е.С. Режиму Хусейна?

Л.М. Это благороднее, чем экспортировать туда ракеты.

Е.С. Не могу с вами не согласиться. Но, коль скоро мы заговорили об идеале, хотелось бы задать вам вопрос — к чему идет Эстония? Стала ли эта страна такой, какой вы хотели бы ее видеть?

Л.М. Думаю, даже Ватикан еще не стал окончательно тем, чем хотел бы. Но я не ужоу от вопроса.

Возьмем Голландию. По площади она меньше Эстонии. Столь же плоска (наша самая высокая гора — 318 метров, эту цифру знает каждый четвероклассник). Не имеет полезных ископаемых. И тем не менее живет самостоятельно, весело и зажиточно. И вопросы о будущем принимают форму спокойных расчетов: сколько будет жителей в таком-то году, как много им потребуется электроэнергии и тому подобных. Это нормальные вопросы при условии, что существование самого населения страны гарантировано.

В советские годы мы таких гарантий не имели, и народ, на протяжении веков имевший четкую идентичность, свои песни, обыряды, язык, — этот маленький народ был обязан перестраиваться и принимать круговую оборону. Круговая оборона — сигнал чрезвычайного положения. Думаю, это одна из форм самосохранения, консервации. Но консервы — не живая плоть, которая может расти, развиваться. Сейчас мы подошли к той ситуации, когда нам уже надо держать круговую оборону. По крайней мере, я искренне на это надеюсь.

Е.С. Хотелось бы уточнить: идея национального государства обосновывалась примерно так — это наивысшая точка, кульминация «круговой обороны» в конкретном историческом контексте? Но ведь на подобной основе сейчас, в конце XX века, не строится ни одно европейское государство, за исключением Литвы, Латвии и Эстонии.

Л.М. Я считаю, что все проблемы — есть такое меткое словцо, ходкое в русских пивнушках — рассосутся.

Е.С. Звучит замечательно, но это, извините, не ответ.

Л.М. Ответ не слишком серьезный... Видите ли, о демографии я уже говорил. Что касается менталитета, Эстония всегда была восприимчивым, открытым обществом; есть исследования, доказывающие, например, что любое веяние мировой культуры, будь то поздняя готика, барокко и так далее, входило в обиход эстонского крестьянина в среднем через 12 лет после того, как появилось на свет. Я надеюсь, такой наша страна и останется. Она должна стать нормальным, внушающим доверие партнером других государств.

Е.С. Отвечают ли интересам новой Эстонии конструктивные связи с новой Россией? Потому что деструктивная часть, о которой сегодня вами столько сказано, принадлежит прошлому. И, глядя, как расходятся наши корабли, иногда думаешь, что...

Л.М. Что мы будем отомщены?

Е.С. По крайней мере, всегда повернуты лицом в другую сторону; это не обязательно означает месть.

Л.М. Мы делаем шаги к партнерству, хотим честно и открыто обсуждать проблемы, которые нас волнуют. Создали Балтийский институт стратегии и политических исследований, куда пригласили и господ Киссинджера, Бжезинского, и мэра Санкт-Петербурга Собчака, и молодого Арбатова, и советника Президента России

по экономическим вопросам академика Гранберга.

Знаете, сейчас даже в Токио преподают эстонский язык. Будем надеяться, придет время, когда его будут изучать и в Москве.

Е.С. А в Эстонии-то будут преподавать русский?

Л.М. Последние четыреста лет он всегда преподавался. Видите ли, ваш вопрос меня задел, потому что он очень типичен. Не забудьте, что недавно скончавшийся Юрий Лотман, гордость мировой науки, нашел прибежище не в Москве и не в Новосибирске, но в Тарту, и здесь создал свою школу семиотики. До самых последних часов жизни он оставался благодарен этой маленькой стране. И я не по политическим соображениям, но потому, что был дружен с ним еще в студенческие годы, пошел его хоронить.

Е.С. Центр славистики в Тарту сохраняется?

Л.М. Естественно! Иначе и быть не может! Я как раз думаю, что вне зависимости от госплана и других, как говорилось, центральных ведомств впервые после пятидесяти лет зарождается подлинная взаимная заинтересованность.

Е.С. Мы заговорили о культуре... Позвольте спросить вас, политика и писателя: что может власть и что может культура?

Л.М. Культура может почти все, и власть на ее фоне выглядит как Адам и Ева, изгнанные из рая, — нагишом.

Е.С. И вы так себя чувствуете?

Л.М. Ну, я оделся (*смеется*)... Культура не является служанкой власти, а власть, даже не подозревая об этом, в конечном счете является служанкой культуры.

Е.С. В конце 80-х вы как писатель яростно выступали за запрещение фосфоритовых разработок под городом Раквере, санкционированных Москвой, — и потому, что это связано было с приездом туда новых тысяч вербованных рабочих, и потому, что в итоге северная Эстония осталась бы без пресной воды. Что там сейчас?

Л.М. Они закрыты.

Е.С. Есть у вас творческие планы, которые хотелось бы реализовать, или об этом даже смешно заговаривать?

Л.М. Ко мне вернулись очень простые желания — выспаться или пройтись пешком по заснеженному лесу...

Е.С. Удастся?

Л.М. Видите ли, вот сегодня я вернулся из Риги. Успел послушать «Последние известия» в пять часов, заснул примерно в

пять пятнадцать, а в девять начал бодро и в хорошем настроении свой рабочий день, который далеко еще не закончился. Поэтому надежда погулять по зимнему лесу — это одно из проявлений голода, ведь голодный человек мечтает не о кулинарных изысках, а о хлебе, верно?

Вы спросили о незавершенных творческих планах... Лежат пленки научного фильма о медвежьих праздниках у хантов (они же остяки), километры фонограммы. Там записаны тексты примерно тридцативековой давности; ханты поют, представьте себе, о всемирном потопе, и это не заимствование. Но кто будет переносить на бумагу все эти тексты, которые по объему дважды превосходят эпос «Калевала»? Я уже не тешу себя надеждой, что сам доделаю эту работу. Но мне очень хотелось бы помочь культурно-политическими действиями, чтобы крупницы этой самородной культуры не исчезли.

Е.С. Чем вы сейчас заняты? Меня интересует прежде всего, конечно, будущая встреча на высшем уровне с Президентом России.

Л.М. По итогам последней встречи с министром Козыревым я был готов к ней еще в ноябре 1993 г., но, к сожалению, никаких положительных сигналов со стороны Москвы мы не получили. Господин Козырев был в некотором недоумении, почему переговорный процесс между Эстонией и Россией столь затянулся, и, помоему, правильно указывал, что делегации увязли в частностях, что надо, по видимому, просто проявить политическую волю, чтобы выйти на верный курс.

Е.С. Это главное, что вас сейчас волнует в отношениях с Россией?

Л.М. Безусловно.

Е.С. Вам уже приходилось встречаться с президентом Ельциным?

Л.М. Первая встреча, если память мне не изменяет, была 11 сентября 1991 года. В Москве проходила конференция министров иностранных дел стран СБСЕ, и президент Ельцин должен был нас принять. Уже по дороге ко мне подошел дуайен дипломатического корпуса и спросил: «Вам сказали, что вы будете выступать от имени министров иностранных дел?» Накануне нас приняли в СБСЕ, если б не это, пришлось бы выступать финнам, по алфавиту: А, В, С, D, E, F.

Президент России нас приветствовал. Потом я встал. Не заметил, что в центре зала стоит микрофон, прошел в президиум и говорил полречи по-английски, полречи по-русски. Поскольку лучшим моим учите-

лем в сложных ситуациях является Гекльберри Финн, который утверждал, что никогда не надо заранее обдумывать то, что будешь говорить, я последовал его совету и сказал Ельцину: «Среди русских говорят, что эстонцы вас ненавидят... — в зале молниеносно установилась тишина первого дня творенья. — Да, вы правы, — продолжал я, — мы ненавидим. Но не русских, которые принесли нам тоталитарный строй, а сам тоталитарный строй...» Знаете, у меня было ощущение, что он меня правильно понял.

Е.С. Вы считаете, что с ним можно договориться, что это человек, который поймет правильно?

Л.М. Очень на это надеюсь, потому что вы своими руками доверили ему Россию, а

Россия слишком велика, чтобы относиться к ней легкомысленно. Это не государство, это континент, и я был бы страшно рад, если бы русские политики поняли, сколь важно ответить на вопрос о границах самой России. Ведь до сих пор задавался только вопрос, с чего начинается Родина. Является ли Россией Татария, Калмыкия? Решать вам, не мне. Я могу только привести прекрасный пример: сто с лишним лет назад Великобритания кончалась на берегах Тихого океана, в Канаде. Страны разошлись, их историческая судьба нам известна. И, я думаю, только ответив на этот страшно большой вопрос, Россия сможет начать свою перестройку с тем, чтобы стать государством европейским.

Таллинн, 19 ноября 1993 г.

Лев Рошаль

НОВЫЕ времена, или Биржа недвижимости

Повесть



Дед идет с сумой и бос,
Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!
Наша совесть... Наша совесть.

Из старого русского стихотворения

Глаза газет

«Экорамбурс» — корпорация, реализующая идеи! Как использовать ум, интеллект, талант, идеи — это ваше дело. Но если за дело взялась корпорация «Экорамбурс», то ум, интеллект, талант, идеи превращаются в капитал, который постоянно растет. Наш адрес: 103287, Москва, Петровско-Разумовский проезд, 27, контактный телсфон: (095) 214-88-35.

«Вечерняя Москва», 1991

130 миллиардов в тени. Наша экономическая мафия догоняет «коллег» с Запада, которые давно уже обворовывают свои народы.

«Труд», 1 августа 1991

Я неизлечимо больна, скоро умру, а у меня двое детей: 9 лет и 2,5 года сынишка. У последнего пиелонефрит и отит... Я прошу, напечатайте мою последнюю просьбу: если есть на свете люди добрые, то пусть они заберут моих детей. Но прошу, не развединайте их и постарайтесь вылечить второго. Ведь не одно зло есть на земле, и жестоко не откликнуться на просьбу умирающего человека...

Н.Юхно, г. Ленск, Якутская обл., ул. Ярославского, д. 18. Еще адрес брата, где дети могут быть после моей смерти: г. Ленск, ул. Горького, 35.

«Аргументы и факты», 1991

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

щенков бобтейла, дорого, т. 126-33-92

щенков ризена, т. 552-50-61

щенков амер. кокера, т. 309-99-55

комбинезоны — собачкам, т. 339-85-97

автомобили «мерседес-300 Д», «ВАЗ-2108», «ВАЗ-2105», пианино «Гергени»
т. 255-59-38

Обучаю

магии, биолокации, хиромантии, т. 267-99-34

Разное

Итальянец ищет спутницу жизни, т. 962-03-56.

Солнышко! Я тебя люблю и хочу девочку.

*Продаю всего себя за СКВ. Живого. Но очень и очень дорого. 187-34-98, Василий.
«Московский комсомолец», 1991*

Союзный договор открыт к подписанию. Выступление Президента СССР М. С. Горбачева по телевидению. «Мы встали на путь реформ, нужных всей стране. И новый Союзный договор поможет быстрее преодолеть кризис, ввести жизнь в нормальную колею. А это — думаю, вы со мной согласитесь — сейчас самое главное».

«Правда», 3 августа 1991

Перестройка и демократия неотделимы. Указ Президента РСФСР о департизации игнорирует основные юридические критерии.

«Правда», 5 августа 1991

Хочу поделиться своей печалью. Не стало у нас в доме ни лада, ни мира. А все политика эта, которая теперь во все щели проникла. Сын мой — коммунист, ветеран войны. Понятно, что не все, что сейчас делается, ему по душе. Невестка — поклонница Ельцина — даже портрет его у себя повесила. А внук — самый что ни на есть максималист: все ломать, все строить заново. Вот и представьте себе нашу жизнь: поужинать спокойно не можем... Особенно сын с внуком. Малец ему: «Вот, дескать, до чего партия твоя довела». А тот в ответ: «Сопляк, тебя еще на свете не было, когда я...» И пошло, и поехало — до крика доходит. А мне, старой, одно остается — уйду в уголок, встану перед иконой и прошу Бога: «Вразуми нас, Господи, наставь на путь истинный...» Подписываться полно боюсь — не подлить бы масла в огонь...

С. Д., бабушка. Свердловск.

«Труд», 1991

БИРЖА «АиФ» - ОБЪЯВЛЕНА ПЕЧАТАЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Новосибирский музей автографов обращается к лидерам всех политических партий, движений и т.д. СССР (включая КПСС) с просьбой присылать свои автографы (с собственноручной подписью) по следующему адресу: 630129, Новосибирск, а/я 318.

За соответствующее вознаграждение выполню любое конфиденциальное поручение в любой части Земли. Адрес: 492018, а/я 896.

Мне всего лишь 17 лет, но уже в таком возрасте меня волнует один серьезный вопрос. Взимается ли так называемый президентский пятипроцентный налог за гроб? Е.Е., Брянск.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ежедневно в Москве умирает около 300 человек. Из них 120 — 130 кремируются, остальные погребаются. Городу необходимы новые кладбища, поскольку старые превращаются в огромные экологические мины с часовым механизмом: из-за слишком большого количества погребений происходит отравление земли и воды... Не роет ли Москва себе могилу?

«Аргументы и факты», 1991

Самое страшное, до жуткой, звенящей пустоты внутри, возникало даже не оттого, что зубы все сразу выпадали, буквально ссыпались, вмиг оголяя беловатые размягкие десны, которые он сам явственно и крупно видел в этот момент. Опущение особого ужаса, губительной непоправимости создавал быстрый, неостановимый и неумолимый дробный стук, с каким зубы ссыпались: тыр-р-р... Такой звук бывал в детстве, когда Вадик, сидя на полу, осторожно выстраивал в затылок, с маленькими промежутками, белые костяшки отцовского домино, а потом легким тычком в крайнюю костяшку страгивал всю цепь. Костяшки мгновенно опрокидывались с тем же перестуком: тыр-р-р...

Какое-то мгновение ужас не оставлял и тогда, когда сознание наконец вырывалось из провального забвения. Надо было еще сквозь это тающее забвение торопли-

вым касанием языка провести по строю сомкнутых, как богатырская застава, зубов, ощутить просто-таки стальную жесткость челюстей. Вот тогда-то и пронзала безумная, бешеная радость: сон!.. сон!..

Но тут же — холод, мрак, оцепенение. Потому что тут же всплывало давнее, бабкино. Помнил бабу Талю обрывочно, умерла, ему и пяти не сравнялось. Хорёно помнил только лицо в бороздах морщин, темное, как сосновая кора, всегда в платочке с узелком под подбородком, то и дело узелок подтягивала. И то и дело быстрым, легким движением сухонькой ручки прятала, едва выбивались, под платок прядки совершенно белых волос. Такая привычка — прятать волосы — оттого, что всю жизнь проработала медсестрой в «хирургии». Главное, забрать волосы.

И еще что-то несвязное, какие-то бесчисленные поверья, приметы, присказки. Многое смешалось, но вот это застряло, хотя тоже туманно: если во сне зубы выпадают, то к чему-то совсем страшному. То ли к покойнику, то ли к тяжелой болезни. Может, потому, что баба Талья напоминала о злой примете чуть не всякий раз, когда приучала чистить зубы. С утра и перед сном. Привычка осталась. А уж когда попадает к Кларе, а попадает часто, то и еще раз чистит, есть там своя щетка.

Да и вообще не истаяла еще бабкой крепко вбитая привычка к воде (со временем — к душе и ванне), к мылу (со временем — к душистому, к шампуням, хотя теперь ох как дорого), к укладке слегка выющихся волос, ритуальному расчесыванию бороды, которая придавала — Вадим это знал, ему говорили — мужественность, прикрывая вяловатую, детскую припухлость губ. И всегда с собой, в «дипломате» со стальными застежками и кодовым замком, крепкий мужской одеколон, несколько раз в день, набрав в узкую ладонь длиннопалой руки ароматную жидкость, обдавал ею лицо, шею. Правда, теперь приходилось экономить: импортный стоит ах какую прорву, а наш вызывал брезгливость. Ее же вызывало и все нечистоплотное. Когда-то, еще до женитьбы, возникла девочка, мгновенное знакомство, понравилось, ну, буквально все. Как говорил Райкин, показывая на грудь: «Глаза — во!..» И все-таки что-то мешало. Понял только тогда, когда оказались у нее в первый раз (он-то сам из Коломны, тогда студентствовал, жил в общежитии на Соколе, еще четверо лбовгорлопанов). Воскресенье, теплый, уже даже жаркий, душный — окна еще не пооткрывали — сумрак. Никого дома, родители на даче. Девочка — как же звали? Аида, ей-Богу, Аида... нет, Ева, ну да, конечно, Ева — не ломалась, и Вадик сразу ощутил: «глаза» действительно «во!». Но раз-другой ткнулся губами в ее губы и, взяв за руку, повел в ванную. Она очень смеялась, думала — такое заигрывание, повизгивала, глазенки закатывала. А он, пока ее не отмыл, ни к чему не приступал, хотя от купания и сам распалился. Но, помыв ее еще раз-другой, вскорости сбежал.

А еще среди туманных, пугающихся бабы Талиных присловий засело в голове острым гвоздком: крысы!.. Если снятся крысы или вдруг какая встреча с ними, уже точно — к худу, к вероятно занедужить. А ему — и то, и другое: и сон, и встречи. В одну ночь — зубы падают, в другую — крысиная мордочка с седыми, торчком усиками у острого, чужь сыроватого, вздрагивающего носика, но главное — мерзкий, клыкастый оскал. А уж насчет встреч, так как не встретить? В этом году с весны и особенно к лету крыс развелось в столице-матушке видимо-невидимо. По городу полз слух, будто первый утренний метропоезд из какого-то депо еле вышел, давя гигантскую стаю. Вадим сомневался, зная, что народишко горазд на диковинные выдумки, с усмешкой думал, только на то и горазд. Однако сомневался не твердо, зная и то, что у нас, а уж в последние-то годы особенно, самые диковинные, даже дикие слухи оборачивались истинной правдой. Недаром же сказано: мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Где-то в конце апреля, поехав на ВДНХ на какую-то компьютерную выставку, у метро, обходя по дороге уйму непонятно откуда взявшихся палаток с забугорной дребеденью, с джинсой в основном, вдруг увидел, как под одну из них метнулось что-то дымчатое, вильнувшее упругим, резиновым хвостом, а потом из-под нее же это дымчато-серое, с гладкой шерстью, без всякой суеты, неторопливо двинулось в обратном направлении, под другую палатку, ведя за собой, между прочим, еще двух товарок. После этого сомнения на миг остолбеневшего Вадима вообще иссякли. Тут-то и вспомнил бабкины приметы, соединил явь и сны и почувствовал — худое с ним!..

Всех извел тогда, то и дело ощупывал себя: не гниль ли какая завелась, не болезнь ли, упаси Господь, веда? Его испуг передался Иришке, заметалась, не могла никак придумать, скорее всего от растерянности, чем помочь, успокоить.

Как всегда, здраво рассудила Клара, нашла самый простой и верный выход.

— Сходи к врачу, — сказала она, глядя на него сквозь толстые, уютно посаженные на припухлых щечках очки.

Хотя врачей, приговора их как раз боялся больше всего, но за несколько дней прошел в своей поликлинике на Рылеева «диспансеризацию». Даже, преодолевая брезгливость, явился к урологу, хотя было заранее и противно, и стеснительно. В довершение всего урологом оказалась глыбообразная дама с неожиданной фамилией Буденная. Плохо видящая, с подслеповатыми, как у Кларки, глазами и слабо слышащая, отчего произносила слова громче, чем требовалось.

— Диурез нормальный? — спросила она, просматривая результаты анализа.

— Что? — оглядывая остановившимися глазами разложенные на соседнем столе блестящие, явно пыточные металлические инструменты, хрипло переспросил Вадим.

— Мочитесь хорошо? — зычным голосом кавалериста крикнула она, напугав, наверное, очередь за дверью.

— Хорошо, — в тон ей, почти так же громко выкрикнул Вадим.

А дальше — совсем дикое. Ему было велено спустить штаны, лечь на белый топчан, покрытый холодной полиэтиленовой пленкой, повернуться на бок и подтянуть ноги. После этого дама — он косил глазом и все видел — с треском потянула на свою большую, разлапистую руку резиновую перчатку, ее помощница-медсестра, сухонькая седая старушка, но — как показалось Вадиму — не без блеска в глазах, смазала докторский указательный палец в перчатке чем-то склизким, и тут же этот палец был решительно введен Вадиму в задний проход.

— Ого! — воскликнула врачиха.

«Нашла», — похолодел Вадим.

— С такой простатой, дорогой мой, — с треском стягивая перчатку, прокричала она все тем же зычным голосом, оповещая о своем открытии не только очередь у кабинета, но, наверное, и весь коридор, — можно... все можно. Хорош-ша простата!..

— Спасибо! — Вадим торопливо натягивал трусы и брюки одновременно, ощущая между ягодиц отвратительную склизкость.

— Возьмите, — с пониманием протягивая две бумажные салфетки, сказала старушка сестра. — Туалет налево по коридору.

И так в каждом кабинете. Не просто констатация отсутствия какой-либо самой ничтожной порчи, а прямо-таки восхищение — все в такой изумительной ладности. Давление младенца, глубина дыхания марафонца, ритмы сердца в норме, формула крови — нельзя желать лучшего. В общем, все в предельном порядке.

В тот день, когда наконец было завершено хождение по всем поликлиническим кругам, он сразу же полетел к Кларе. Со смехом и воодушевлением рассказав о своих походах, вызвав и Кларин смех, отчего чуть подпрыгивали очки на крутых взгорках ее всегда румяных без макияжа щек и царственно колыхался ее бюст, Вадим принялся нетерпеливо ее раздевать, осыпая поцелуями постепенно обнажающиеся места и постепенно опускаясь с поцелуями все ниже и ниже.

Но и дома ночью Вадик был неутомим. А потом Иришка, чмокнув его, тут же соскользнула с постели, помчалась в ванную. Он знал: отвинтит душевую крышку с дырочками и пустит прямо из шланга мощную струю, вымывая все, что он в ней оставил. Вадим с горечью думал об этом. Ему хотелось второго ребенка. Но куда? Куда?.. В их однокомнатном закуте, едва шестнадцати метров, с сидячей ванной и кухней в пять с половиной они и так отбили себе все бока. Хорошо, что есть хоть такая. Разменяли трехкомнатную квартиру Иришкиных родителей. Они-то не очень хотели, привыкли к Пироговке, отцу на работу близко, доцент в «меди». Да и не только поэтому не хотели. Какое-то беспокойство, Вадим это чувствовал, одолевало Иришкину мамашу — высокомерная дама всегда была холодна с ним. Видно, опасалась оставить единственную дочь с зятем без своего глаза. Но Иришка настояла, правда, не сразу, стеснялась разговора с родителями. Но он перевел ее на голодный паек. Чуть вечером она скок в кровать, он к ней спиной. Однажды даже заскулила, расплакалась, но он взял себя в руки, не шевельнулся, сделал вид, что спит. И впрямь заснул. В общем, все в один вечер и решилось. Что уж там говорили, он не знает. Но — решилось. Зато уж ночью расплатился с нею сполна. Родители обожают ее, готовы на все. А она обожает Вадима, тоже готова для него на все. Он

был у нее первым. Кстати, никак этого не предполагал, годики-то по нынешним скорым меркам давно вышли. Всего на курс его младше, а девица видная и вроде без комплексов. К тому же он долго не решался, оттого что надо было рубить узел. В Коломне оставалась та, которой обещал. И не просто обещал — знал: будет с ней хорошо, может, до конца дней. Но счастье в Коломне, да еще до конца дней, — бр-р!.. А тут трехкомнатная квартира, уже тогда понял, что хороша для обмена, престижный район — тихий и недалеко от центра. Опять же девочка влюблена по уши. Шеф предлагает идти в его отдел, зарплата пока не очень, но перспективы, перспективы... В общем, рубанул узел, хотя поначалу кровоточило. Коломенская девочка умоляла, рыдала, грозила покончить с собой. Он все снес, стиснув зубы. Как только поврал с тем, сразу решился и с Иришкой. Она уже была на пределе, заждалась. Тут-то он и показал все, что умеет. Да и Иришка оказалась с заводом, никаких тормозов. Перебрались в собственное гнездышко, и Иришка вскоре забеременела, а Вадим понял, что хочет ребенка. Может, оттого, что это создавало ощущение «своего дома». В Коломне, хоть и жили в отдельном доме, вернее, в половине, но там даже своего угла не было. Еще два брата, старшая сестра, которая сюда же привела мужа, отец, любивший не только выпить, но и пошуметь, мать, умершая четыре года назад, а тогда часто болевшая, в общем, деваться некуда. А тут — свое, отдельное. И счастлив был, когда родилась Лелька. Только теснотища в гнездышке стала невероятная. Правда, есть у него тайный план. Дрянненький, конечно, но... Попробовать склонить — через Иришку, естественно — ее родителей на родственный обмен. Там-то двое в двух комнатах. А тут их трое — в одной. В крайнем случае, можно без переезда. Будем жить, как прежде, и... ждать. А чего ждать? Эдак можно прождать долго, когда уже ничего не нужно будет. Да и двухкомнатная тоже ведь жалкий вариант, хочется еще ребенка, подрастут дети — куда деваться?.. Все будто с ума посходили, рекламируют недвижимость. Лучшее помещение капитала! А откуда взять ее, эту недвижимость? И где найти капиталы? Год назад хоть записался на участок. А на что строиться? И как без машины добираться к черту на рога под Дмитров?.. Нет, нет выхода, господа! Сегодня на недвижимость, на ту же квартиру нужны миллионы. Миллионы! А еще лучше — валюта...

Но в ту ночь горечь хоть чуточку заглушалась приятным и, в сущности, единственным выводом, который следовал из его, конечно же, глупейшей диспансеризационной эскапады: он а б с о л ю т н о здоров.

И вот теперь — трех месяцев не прошло — опять этот сон с зубами. И тяжелое, будто с похмелья, пробуждение, не принесшее покоя.

Но вдруг — теплое, родным комочком, с шелковистой мягкостью волос, схваченных бантом. С каким-то неповторимым, первородным запахом. Может быть, так пахнет только что обмолоченное зерно, если зачерпнуть горсть в ладони и ткнуться лицом? Спало оцепенение. Осталось одно ощущение: счастье.

— Мы с мамичкой пашьи в садик.

Не открывая глаз, Вадим вдыхал детский запах.

— Пыхади паяньше, маня пацаюешь.

Он рассмеялся, открыл глаза.

— Пошли-пошли, — торопила Ира дочку из уже распахнутой двери. — Не задерживай отца. У него трудный день.

На мгновение в квартире установилась тишина, но тут же послышалось мерное гудение ползущего лифта.

Вадим вскочил с софы, не стал прибирать ее, потому что времени было мало, а день действительно предстоял трудный (может, самый трудный в его тридцатилетней жизни). Примостившись на коврик, зацепил пальцами ног за рифленую батарею под окном и принялся совершать махи торсом. В руках были гантели, не очень тяжелые, по полтора килограмма, но с пружинными отжимами для укрепления кисти. Р-раз... Р-раз... Р-раз... Поворот направо — поворот налево. Сжать гантельные пружины до предела, до металлического хруста. Вот так!.. Вот так!.. А потом душ. Вадим чувствовал, как вливается бодрость, как свежее, освобождаясь от тяжести предутренних мерзких сновидений, голова.

Он растерся махровым полотенцем, яростно, до покраснения, но вместе с тем осторожно, стараясь не совершать размашистых движений. С его ростом, длинными руками в этом ванном отсеке одной случайной неловкостью можно разнести все:

зеркало на стене, прозрачную полочку под ним с шампунями, его туалетной водой, Иришкиными гладкими коробочками румян и теней.

Хотя солнце, заливая сквозь распахнутое окно комнату, нещадно палило, а снизу от стальных путей на располагавшейся почти под окном насыпи Ленинградской железной дороги тянуло мазутным жаром, Вадим надел костюм и белую рубашку с галстуком.

До похорон еще оставалось время, катафалк у морга будет в три. Но он договорился сначала заехать к Антонине Глебовне, а уж оттуда с ней и другими их родственниками — в морг.

Главное — надо еще успеть к Кларке, Клариче.

Гимнастика, душ, яркий день окончательно стерли муть пробуждения, Вадим ощущал прекрасную ясность в голове. Но эта ясность не помогала придумать слова, которые ему необходимо (а то, что необходимо, он понимал твердо) произнести в крематории над гробом Мадиевского. Сказать надо что-то особенное. И чтобы это все почувствовали. Но ничего особенного в голову не приходило. Да и не особенного, пожалуй, тоже. В общем, ясную голову надо было чем-то наполнить. А это могла только Клара. Вадим понимал, что так просто он этот подарок вряд ли получит. Потребуются усилия. А на них тоже нужно время. Да еще — такие концы. Отсюда, от Дмитровки, — к Кларе на Алексея Толстого. А отнее — на Песчаные к Мадиевским. И обязательно быть в форме, соответствовать. Короче говоря, сумасшедший дом. А что делать?.. Да, такой момент, такой момент!.. Другого может и не быть.

Вадим уже вышел на лестничную площадку и собирался захлопнуть дверь, но услышал телефонный звонок. Сердце заколотилось. Он так ждал звонка, но слабо верил в его возможность. Даже сейчас, пробегая на кухню, где стоял аппарат, и поднимая трубку, говорил себе: «Этого быть не может».

— Вадим Юрьевич, Зубарев говорит, — услышал Вадим, как всегда, холодно-то-спокойный, со слегка высокомерными нотками голоса.

— Внимательно слушаю, Андрей Валерьянович.

Вадим тоже постарался ответить как можно сдержаннее, но внутри все клокотало от радости.

— Вы будете на похоронах профессора Мадиевского?

— Да, конечно.

— Прошу вас передать мои соболезнования супруге. У меня сегодня собрание. Боюсь, на целый день. Вы же знаете, какая сейчас обстановка. Мы подозреваем: затишье перед бурей... Я пробовал звонить Антонине Глебовне, но там все время занято. Так что прошу вас.

— Передам непременно.

— Благодарю, — и Зубарев бросил трубку.

«Вот так: ни тебе «здравствуй», ни тебе «прощай», — раздраженно подумал Вадим, однако не терял вызванного звонком возбуждения. Он поспешил к двери, но вдруг остановился, задумался. Неужто Зубарев и впрямь не дозвонился Мадиевским? А может, иное: не звонил вообще? Нашел способ избежать тяжелого разговора — переложил на другого, зная, что ему простится все. Еще бы: занятой человек, государственная личность!.. Однако просто не захотел расстраиваться, так ведь этот, сам по себе пустяковый фактик свидетельствует о слабости бронированного человека и вселяет надежду. «Да-с, господа, — Вадим потер одну ладонь о другую, — вселяет!..»

Подхватив «дипломат», он выскочил из квартиры.

Проходя через двор, Вадим машинально и уже в который раз — становилось просто навязчивостью — отметил растущее чуть ли не по часам число иномарок. Даже в их паршивеньком дворе. Откуда?.. Откуда?.. Сияющее лаковое покрытие, серебряные молдинги, притененные окна с элегантными за ними контурами уютных плюшевых кресел. Все это вызывало сосущую тоску.

Он вышел на шоссе к остановке у подземного перехода. Надо было успеть купить цветы, а их продавали на другой стороне. Хотя Вадим почти сбежал по ступенькам перехода, боковое зрение ловило привычное: торговцы летней зеленью, на покосившихся деревянных ящиках пучки укропа, петрушки, кинзы, лука. Бабки с бутылками водки или голубыми молочными пакетами в руках, продавцы бесчисленных газет и каких-то идиотских брошюрок с полу- или совсем голыми девицами, столик с разнообразием жевательной резинки, книжные развалы. Сидя у стены,

спал нищий без ноги, свесив курчавую бороду на волосатую грудь. Негромко настраивал инструмент аккордеонист, Вадим его здесь часто видел и слышал. А уже на выходе из перехода — цветы: в ведрах и корзинах, на лотках, столах, табуретках, с рук.

Вадим понимал, что должен купить много цветов. Хотелось сделать что-то приятное старику, хоть и после смерти. Ведь жалко его, ох, как жалко! И самых лучших. Это тоже должно быть отмечено. Он приценивался к розам, торговался. А когда собрался было купить, понял, что ничего хорошего не получится, если он с этими розами, предназначенными покойнику, явится к Кларе, не принеся ей ничего. Вадим секунду размышлял, как поступить: купить и на гроб, и Кларе? На гроб побольше, а ей поменьше? И тоже — розы? Но где же взять столько денег? А потом: купишь Кларе поменьше, она это тоже сразу заметит. Выход один: не покупать сейчас вообще. Купить потом, по дороге от Клары к Мадиевским, где-нибудь у Сокола.

Но что-то подсказало: Кларе цветы все-таки купить надо. Нет, не розы, конечно. И не калы, хотя она их так любит. «Почем ваши калы?.. Боже мой!..» Нет-нет, не калы. Пяток гвоздик, вон какие пышные. Пожалуй, хватит и трех. Дело ж не в количестве, важен факт. Заверните, пожалуйста. Еще рубль? За что? Ах, за этот листик целлофана. Вот вам еще рубль. С ума посходили!..

Он возвращался переходом к остановке, от которой шли автобусы в центр. Аккордеонист уже настроил инструмент и не только играл, но и пел приятным, слегка хрипловатым голосом то, что пел чаще всего: «Липа векова-а-я над рекой стоит...»

Как ни спешил Вадим, а замедлил шаг. Он не мог объяснить, но и эти слова, и эта мелодия волновали его. А может, что-то еще, их житье на окраине Коломны, каким-то образом связанное с тем, что пел седой мужчина в сером пиджаке с орденскими планками, поставив перед собой большую жестяную банку, в нее звонко ударяли брошенные монеты. Вадим тоже бросил горсть и зашагал прочь.

Узкие Кларины глазки изумленно расширились, когда, открыв дверь, она увидела Вадима с цветами. В глазах мелькнуло сомнение, неуверенность, которое сменилось довольной улыбкой.

Он обнимал ее, ощущая под коротеньким обтягивающим (был явно мал) фланелевым халатиком тугое Кларино тело. От него шел жар. Но одновременно он чувствовал, что вот-вот намокнет от пота воротничок, стянутый галст... .., сама эта мысль была неприятна. Надо бы снять костюм и рубашку, иначе он окажется на похоронах в ужасном виде. Но, несмотря на краткость отпущенного ему сейчас времени, Вадим не спешил. Озадачить Клариче — он это знал — следовало до вожделенной минутой. Предчувствие этой минуты странным образом стимулировало не только Кларкину страсть, но и ее ум. А уже потом, после бурной разрядки, почти мгновенно включался какой-то аппаратик в ее голове, выдававший наилучшую идею.

— Что случилось? — откинувшись, спросила Клара.

Нет, не то. Еще рано. Он пожал плечами.

Клара усадила его на расстеленную кровать, сама села рядом.

— Ну, скажи, Вадюшенька, скажи, мой малыш.

«Ага!» — отметил Вадим. Он ждал того мгновения, когда в словах, в интонации возникнут столь излюбленные ею материнские нотки. Клара была на четыре года старше, у нее росла находившаяся сейчас в лагере одиннадцатилетняя дочь, хмурая, басовитая девочка, всегда смотревшая на Вадима с подозрением. Кларе нравилось иногда превращаться из любовницы в мудрую, заботливую мать.

— Да понимаешь, не знаю, что говорить сегодня на похоронах. Думал, думал, но ничего... А надо.

— Еще бы!

Клара задумалась и стала, как всегда в такие минуты, похожа на большую сову.

— Это не просто, — сказала она. — Надо подумать...

Гладила его по затылку, расчесывала пальцами, как гребнем, волосы.

— Что-нибудь придумаем, малыш... Придумаем... Придумаем...

Материнские интонации смешивались с интонациями распаленной любовницы. Быстрыми пальцами она развязывала его галстук, расстегивала ворот рубашки,

просовывала руку в вырез, мутнела взором. Но Вадим, уже тоже охваченный желанием, отвел ее руки, поднялся, снял с себя костюм, рубашку, галстук и все это аккуратнейшим образом разместил на спинке стула.

...Затем они, обмякшие почти одновременно, лежали на спине. Клара не открывала глаз, не шевелилась, казалось, не дышала. И вдруг, по-прежнему не открывая глаз, вымолвила:

— Ты не должен ничего говорить.

Приподнявшись, Вадим уставился на нее.

— То есть как?

Она проворно поднялась на колени.

— Выйдешь сказать. Но не сможешь. Просто расплачешься.

— Ну, знаешь...

— Да! Все должны понять: тебе так горько, что никакими словами не выразить.

Потом, на поминках, скажешь что-нибудь о сохранении в вашем отделе атмосферы дружелюбия, созданной Станиславом Генриховичем. Пообещай им это. И еще, — она на секунду задумалась, — у нас тут недавно тоже один помер, хороший мужик, позвали на поминки, так кто-то сказал — мне понравилась, — если покойный нас сейчас видит и слышит, то он, наверное, улыбается, слушая, как мы его дружно хвалим. Он, мол, с нами. И пусть будет с нами всегда... В общем, что-то в этом роде. А у гроба — только слезы. Если сможешь, конечно...

Вадим задумался. Клара вглядывалась в его лицо.

— Смогу! — воскликнул Вадим.

Он вспомнил, как Мадиевский умер, можно сказать, у него на руках. Вадим тогда отбросил эту ужасную, никому теперь не нужную кислородную подушку, а потом рыдал на диване неподалеку от своего шефа, который только что был живым человеком и в одно мгновение стал трупом. В рыданиях его и застала Антонина Глебовна, вернувшаяся из магазина. Она отпаивала Вадима валерьянкой, и оттого, что в эти минуты, кажется, больше занималась им, чем причитала над покойником, он плакал еще сильнее. «Успокойтесь, Вадюша, милый вы наш друг, я прошу вас, успокойтесь», — говорила она, глядя его по плечу. А попробуй успокойся после всего перенесенного. Такое напряжение. Нервы натянуты, как струна. И это пугающее чувство вины. Даже сейчас, при воспоминании, у него, кажется, защипало в глазах.

— Смогу! — уверенно повторил он.

— Я знала, — рассмеялась Клара и снова запустила руку в его волосы.

Она была ученым секретарем в каком-то институте, народной игрушки, что ли, или что-то в этом роде. «Мой ученый секретарь», — говорил про себя Вадим, делая упор на слове «ученый».

Протягивая руки, Антонина Глебовна шла к нему через холл. Черный, со стальным отливом костюм оттенял бледность лица, матовую бескровность губ. Она показалась Вадиму совсем старой, гораздо старше, чем обычно, а ведь была моложе Станислава Генриховича лет на пятнадцать.

Вадим что-то лепетал: примите еще раз... будьте мужественны... О звонке Зубарева не проронил ни слова.

— Спасибо, Вадюша, спасибо, дорогой мой.

Прижалась холодной щекой к его щеке, проговорила:

— Какие красивые, какие печальные розы.

Еще бы!.. Специально выбирал — с фиолетовым оттенком, шестнадцать штук, на Соколе были только у одного «генацвали», деньжищи содрал немислимые.

Квартира Мадиевских, в которой он чуть ли не ежедневно бывал последние два месяца, после того как хозяйина привезли из больницы без одного легкого, оказалась ему незнакомой. То ли оттого, что сомкнули створки высокого трельяжа в холле и завесили другие зеркала, то ли от непривычного, негромко переговаривающегося многолюдья. Вадим почти никого не знал.

Антонина Глебовна знакомила его, непременно добавляя, что Вадим Юрьевич находился с незабвенным Станиславом Генриховичем до последней минуты. Все одобрительно кивала, как бы молча благодаря за то, что он их заменил в тяжкие часы. При этом невольно поглядывали на цветы. Вадим не выпускал их из рук, хотя назойливо шуршал целлофан, за который тоже пришлось отдать рубль.

Знакомы Вадиму были только толстый, полногубый, молчаливый очкарик Борис, сын Антонины Глебовны от первого брака, его востроносенькая, с быстрыми глазками пигалица-жена Алена, видел их прежде раза два, да отделские лаборантки Катя и Лера (накануне он велел им обязательно быть здесь сегодня), с какой-то бабкой шуровавшие на кухне. Ну, и, разумеется, Блажков — собственной персоной. Коренастенький, с обритой головой мужичок, один из давних, чуть не первых учеников Мадиевского. Сбежал от него, прибежал к нему. Где-то, кажется, у Колотыркина высидел докторскую, последние лет шесть у них в отделе. И сегодня, конечно, тут как тут! Все договорились в крематорий, а он обязательно сюда. «Здравствуйте, Роман Петрович!» — «Здравствуйте, Вадик».

Воттак: не Вадим Юрьевич. И даже не Вадим. А снисходительное — Вадик. Изпод очков в тонкой позолоченной оправе Блажков смотрел на него сухими темными глазами, но тоже метнул взгляд на цветы. Сам Блажков держал завернутые в газету две унылые гвоздички. «Жмот несчастный!.. Ну, мы еще посмотрим!» — скрежетал зубами Вадим, хотя понимал: неравенство шансов крайне велико.

Морг оказался тесным, неопрятным сооружением. Вадим не удивился: как живем, так и умираем.

Гроб стоял на возвышении, был открыт. Но Вадим не сразу решился взглянуть на покойника. А когда взглянул, то почувствовал облегчение. Он боялся, что в исхудавшем лице Мадиевского могут проступить гневные черты. Хотя, собственно говоря, почему? И действительно, лицо у Станислава Генриховича было очень спокойное, даже, можно сказать, вполне светское. Его хоть и впалые, но ровно поджуманные щеки ощущение светскости только подчеркивали.

Вадим смело встал у изголовья по одну сторону гроба. А по другую стояла, поддерживаемая сыном, Антонина Глебовна. Она что-то поправляла на покойнике, шептала, склоняясь, какие-то слова. Вадим тоже решил на покойнике что-то поправить, пальцы Антонины Глебовны коснулись руки Вадима. Она посмотрела невидящими глазами, но ему показалось, что по ее лицу скользнула благодарная улыбка.

Прежде чем закрыть гроб, все, шурша обертками, стали класть в него цветы и, кажется, испытывали, освобождаясь от цветов, облегчение. Вадим и сам был бы непрочь избавиться от своих, они занимали руки, кололи, но он оставил цветы у себя. Так держал их на коленях в машине, куда пригласила сестра Антонина Глебовна. Вместе с ней ехали Борис с женой. Из окна Вадим видел, как, поглядывая в их сторону, взбирается по ступенькам автобуса Блажков.

А когда приехали во двор Донского крематория, то оказалось, что у высыпавших из автобуса-катафалка и из другого автобуса, заказанного Вадимом на работе, и даже у вышедших из автомобиля в руках — ничего. Только у Вадима. Он сразу отметил, как Блажков с пустыми руками неважно выглядит в глазах уже поджидающих здесь многочисленных сотрудников. Марк Семенович Таубе, Мишаня с Пашуной, Костик Батулин, полногрудая, тяжелая, как утка, с одышкой Жанна Алексеевна, могучий густобровый старик Адорьянц с коричневым, похожим на печеное яблоко лицом и еще многие другие из их Всесоюзного центра защиты металлов от коррозии, подходя с словами соболезнования к Антонине Глебовне, не минуемо упирались уважительным взглядом в роскошные розы Вадима Юрьевича Таранова, стоявшего с печальным лицом рядом с супругой покойного. Скорее всего, предполагал Вадим, они испытывают некоторую неловкость за свое подешевле купленное «последнее прости». А вот Таранов, возможно, думают они, молодец, не пожмотничал.

Завхоз Юра уже давно сбежал оформить документы, но на площадке перед ритуальным залом очередь из одинаково выкрашенных в желто-коричневый цвет катафалков двигалась медленно. Вадим понимал, что образовавшуюся паузу надо потратить на то, чтобы предельно сосредоточиться. Войти, так сказать, в образ. Никто (н и к т о!) не должен не то что сказать, а даже подумать: «Не верю!»

Он вспомнил, как еще мальчишкой хотел поступить в знаменитейшую в Коломне молодежную студию народного театра тепловозостроительного завода, на котором работал механиком отец. Вадим читал что-то школьное, кажется, «Не ветер бушует над бором», учить специально не было времени, да и не хотелось. Потом его попросили исполнить какой-то этюд. Маленький, худощавый, с длинными седыми космами, сильно горбоносый («Жидочек», — отметил Вадим) мужчина в сером костюме-«тройке» смотрел на него, вяло улыбаясь. Его зачислили во вспомогатель-

ную группу. Можно было присутствовать на занятиях, репетициях, но главное — ставить декорации, помогать осветителям, создавать шум за сценой. Некоторые мальчишки и девчонки там дневали и ночевали, а Вадим вскоре остыл, в общей суматохе его мало замечали, а может — черт его знает! — он сам был малозаметен. К тому же вдруг появилась — откуда, из каких генов, понять было невозможно — страсть к химии. Увлёкся. Проглатывал книги, до дыр изучил «Занимательную химию», в заводской библиотеке с жадностью читал журнал «Химия и жизнь». В классе предмет пользовался малым почтением, всех приводили в ужас бесконечные формулы. А Вадиму нравилось их выводить. Иногда казалось, что он не просто улавливает некий тайный смысл скрытых в них движений природы, а буквально видит, слышит, осязает эти движения, их цвет, шорох, повышающуюся или понижающуюся температуру. Студию он бросил, просто перестал ходить, там, наверное, никто на это и не обратил внимания. В общем, вычеркнул «подмостки» из своей жизни навсегда. И вот теперь предстояло такое, к чему он в той студии даже не приблизился.

Прижимая к себе цветы, Вадим ходил с задумчиво-мрачным видом из стороны в сторону. Краем глаза он замечал: кто-то приближался к нему, то один, то другой, но так и не подошел, видя его печальную сосредоточенность. Да и понятно: верный и, можно твердо сказать, любимый ученик потерял своего учителя!..

Вадим вспоминал последние месяцы с того дня, как Станиславу Генриховичу внезапно стало худо в лаборатории, он закашлялся, начал задыхаться, синело лицо, «скорая» умчала в больницу.

Он ездил на Ленинский, в Первую градскую, поначалу не так часто, но регулярно, через два-три дня. Просто навещал старика в довольно большой, человек на восемь, палате. Хотя какой же, в сущности, старик? Только в прошлом году шумно справляли его шестидесятилетие, мог бы еще жить и жить. Калякали с ним о всяком, немного о делах, очень много о политике, а когда уставали от нее, то о женщинах. Мадиевский заговорщицки подмигивал Вадиму, брал его под руку, и они, обсуждая крутость бедер, длину ног какой-нибудь медсестры, ходили по коридору, оставив Антонину Глебовну на стуле читать газету или журнал. Старик обожал такие разговоры. И вообще, что ни говори, Вадим за эти годы привязался к Мадиевскому. Еще диплом защищал у него. И девятый год в отделе. Кандидатская тоже под его руководством. Особенно не признавался себе, но в глубине души сидело крепко, нет-нет да напоминало: если бы не Мадиевский, до защиты не доплыл бы. Сначала все вроде нормально: разработали эксперимент, он его поставил, распределили этапы по графику. А эксперимент не пошел. Вадим крутил и так, и сяк, менял марки, среды — ни с места. Ни-ка-кого результата. Он уже проклинал то школьное время, когда проникся к химии нежной любовью. Лучше бы подался в актеры. «Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи». Тем более что к концу школы любовь к химии поутихла, голову туманило совсем другое, буквально распирало. Бегал за девочками, как разбушевавшийся мартовский кот. Однако — скорее уже по инерции, чем по желанию — поступил в институт химического машиностроения, учился довольно легко, школьного задела хватало и на учение, и на дипломный проект. А теперь застопорилось, увязло. Пока не разобрался Мадиевский. «Запомните, Вадюша, — ласково сказал он, дыша ему в лицо табачным перегаром, — никакого результата — тоже результат». Выстроили новую схему эксперимента, заменили среды. И все вдруг покатилося, как по гладкой дорожке. Защитился прекрасно, устроил потайной — шла беспощадная борьба с пьянством и алкоголизмом — банкет, все поздравляли. Но Вадим-то знал, чья здесь львиная доля. А Мадиевский радовался его успеху, радовался искренне и, пожалуй, больше, нежели он сам. Но главное, что смущало Вадима, вызывая временами панический страх: не догадывается ли кто-то, та же настырная сучка Блажков, что он — пустой? Никаких идей!.. Мадиевский-то всегда был ими переполнен. И перед болезнью затеял что-то новое, колдовал над установкой, шептался с лаборанткой Лерой, давая ей указания, делал, пристроившись в уголке, записи в кожаной тетради. Однажды...осверкивая глазами, шепнул: «Знаете, Вадюша, кажется, что-то наклеивается... Пока еще рано... Но что-то... если меня, конечно, не подводит нюх старой собаки... что-то клеет».

От идей Мадиевского ему перепало раньше, перепало бы и потом. Шеф делился щедро, хотя никогда этого не делал до получения более или менее ясного результата. Процесс всегда был окутан тайной. Но, как правило, от результата тянулись новые нити, можно было что-то кроить и шить дальше. И вдруг оказалось,

что все это может кончиться. А как жить? Да еще теперь, когда даже его кандидатская зарплата, еще недавно вполне весомая, на глазах превращается в пыль, в ничто.

Пока в больнице шли обследования, еще теплилась надежда. Врачи сомневались, делали повторные снимки, но в конце концов поставили единодушный диагноз: опухоль в легком. В тот день, когда Вадим сробшил об этом Кларе, она, как всегда, неподвижно лежа на спине после только что пережитого с закрытыми глазами, вдруг негромко проговорила: «Похоже, вы останетесь без зава... Место — вакантно».

Место еще не было вакантно, как можно так говорить?! Вадим на мгновение замер. Но с тех пор появлялся в больнице ежедневно. Прежде он как-то чередовался в посещениях с другими сослуживцами. А теперь независимо от их присутствия был всегда у постели Станислава Генриховича, которого стали готовить к операции, рассчитывая, что второе легкое не задето (потом-то выяснилось, что задето). Особенно Вадим старался не оставлять Мадиевского наедине с Блажковым. И как-то само собой получилось, что распоряжения, пожелания Мадиевского по работе стали приходиться в отдел через Таранова. А если надо было что-то у Станислава Генриховича выяснить, если возникали какие-то вопросы у дирекции или у самого генерального директора Зубарева, то звонки тоже шли к Вадиму. Несколько раз Вадим Юрьевич даже провел заседания отдела, подбивали итоги прошлого года, с этим годовым отчетом, согласованным с шефом, он выступил и на ученом совете. Ни в отделе, ни в Центре никто не сопротивлялся такому обороту дела, понимая, что это временно. Главное решение — впереди. Не принимать же его при пусть болящем, но живом Мадиевском. В общем, там будет видно. Все текло тихо, без шума, хотя Роман Петрович смотрел на него исподлобья, а на отдельных заседаниях вылезал с вьедливыми вопросами, надеясь сбить Вадима, но тому пока удавалось выкрутиться.

Вадим заметил, что их катафалк, медленно продвинувшись, наконец занял исходную позицию. Стал подтягиваться народ. Подняли люк, через который выдвинули гроб. Вадим влился в толпу, продолжая думать о своем.

Ежедневные поездки в больницу, административная текучка отнимали у него массу времени. А ведь надо хоть часок-другой погулять в выходные с Лелькой. С Иришкой посидеть вечером перед телевизором на кухне. А Кларка! Получить удовольствие вместе с дельным советом — куда от этого денешься? И еще напряжение от необходимости на работе со всеми исподволь налаживать и углублять контакты. Порасспросить у Таубе, и не на ходу, о здоровье маленькой внучки, страдающей аллергией. Перекинуться солеными анекдотами с Мишаней и Пашуней, поржать с бугаями. Отвесить комплимент Жанне Алексеевне, притом обязательно искренний, естественный, эта всегда растрепанная, то и дело заливающаяся румянцем дама состояла сплошь из подозрений и комплексов. Адорьянцу тоже можно анекдот, но совсем, совсем не тот, что бугаям, более элегантней, и уж не дай Бог об армянском радио. А легонько шлепнуть пониже спину худую, длинноногую лаборантку Леру, она сразу начинала хототать басом, в ее суженных смехом глазах плавал обращенный к нему вопрос, на который надо было непременно ответить взглядом со смутной надеждой. А зубаревская секретарша Марина, может быть, самый главный человек, средоточие информации, — хотя бы забежать к ней, в зубаревский предбанник, положив на угол стола шоколадку или вафельку, или пачечку чая (чай рос в цене, как на дрожжах). Пусть мелочь, но главное — уделить внимание. От всего этого голова шла кругом, внутри словно завели пружину, которая никак не раскрутится. Он совсем забросил свою тему, редко появлялся в лаборатории. Впрочем, тема и раньше двигалась вяло, Вадим кое-как отчитался за год, обосновав медленное течение работы внезапно свалившимися административными делами. И «вообще всем случившимся, вы же знаете». Правда, неугомонный Блажков и тут требовал уточнений и ясности, на какой все-таки стадии находится разработка, но на него единодушно зашикали. «Уж будто вам не известно, Роман Петрович, что Вадим Юрьевич днюет и ночует у бедного Станислава Генриховича», — густо краснея, сердито сказала Жанна Алексеевна. «Вот именно, днюет и ночует», — буркнул Блажков, однако на том дело и кончилось.

Процессия вслед за гробом поднималась по серым ступенькам, вступала в пределы ритуального зала, зазвучала печальная музыка.

Особенно тяжело стало после того, как Мадиевского привезли домой. Нередко

Антонина Глебовна вызывала Вадима посидеть с больным, пока она сбегает в магазин и аптеку, или, наоборот, просила его сбежать в магазин и аптеку. Мадиевский таял на глазах, но бодрился, требовал открыть окно, дать ему сигарету, пока не было жены, обсуждал, медленно цедя слова, женские прелести, вспоминал былые подвиги. Все это было странно слышать из уст человека с исхудавшим лицом, отдающим желтизной, с тяжело вздымающейся грудью, в которой все время что-то хрипело, клокотало.

Гроб установили на возвышении, его обтекала толпа.

В тот день Вадим проходил мимо приоткрытой двери пустого кабинета Мадиевского, шел в соседнюю комнату их отдела с множеством, в том числе и его, однотумбовых столов. И вдруг замедлил шаг, что-то словно подтолкнуло туда, в кабинет.

Здесь вокруг покрытого тяжелой темно-зеленой скатертью стола, примыкавшего к письменному буквой «Т», обычно проводились отдельные заседания, в том числе и те, которые недавно вел Вадим. Но он никогда не занимал высокого, вращающегося кожаного кресла шефа. А сейчас, тихо прикрыв дверь и защелкнув замок, Вадим, поглядывая по сторонам, словно опасаясь подсматривающих глаз, опустил в это кресло. Положив руки на подлокотники, он вытянул ноги и, закрыв глаза, чуть-чуть покрутился на кресле: туда-сюда, туда-сюда... И вдруг в тишину кабинета ворвался телефонный звонок. Вадим секунду сидел неподвижно, втянув голову в плечи. Потом вскочил, подбежал к двери, распахнул ее и только после этого снял трубку. Звонила Антонина Глебовна, сказала, что сейчас сделала Станиславу Генриховичу укол, он будет часа полтора-два спать, просила приехать, посидеть с ним, пока она выскочит в магазин и, может быть, хоть немного пройдет, уже три дня не выходила на улицу.

Служительница крематория что-то произнесла, кажется, предложила сказать прощальные слова. Заговорил Блажков. Обычные казенные, хоть и правильные фразы. Но Вадим почти не слышал их, упорно думал о своем.

Хлопнула за Антониной Глебовной дверь, он остался наедине с Мадиевским. Тот лежал неподвижно, не столько спал, сколько после морфия находился в забытии, хотя в груди у него по-прежнему клокотало и булькало, дыхание было тяжелым, сипящим. Перед уходом Антонина Глебовна предупредила, что если Станислав Генрихович очнется, то надо сразу дать кислородную подушку.

Заговорил Адорьянц. Не услышать его было трудно, он говорил громко, внушительно, голос отлетал от стен и колонн зала.

— Нэ надо, — сказал Гурген Арменакович, — ничего из сэбя корчить. — С высоты своего роста он обвел глазами присутствующих. — Надо просто жить. Стасик никогда из сэбя ничего нэ корчил. Просто жил. Пусть земля ему будет пухом.

Установилась пауза. Вадиму показалось, что все взоры устремились к нему. Понял: настала та с а м а я минута.

Ощущая дрожь во всем теле, Таранов склонился над гробом и опустил в него свои шестнадцать фиолетовых роз — примерно в том месте, где были скрещены руки его учителя. Еще не примятые крышечкой, эти розы своей свежестью и необычным оттенком контрастировали с другими цветами.

Таранов смотрел на румяное лицо шефа, но за ним видел иное. То, как сидел у постели Мадиевского, удивляясь стремительным изменениям, ведь был здесь день назад, а сейчас уже совсем другое лицо — с впалыми, словно глотнутыми ртом щеками и заостренными скулами. Вслушиваясь в квартирную тишину, в которой, однако, из-за сипящего дыхания шефа не было покоя, а одно лишь напряжение, Вадим откинулся к спинке стула, почувствовав, как он зверски, немыслимо устал. Сил уже никаких нет!.. Вдруг Станислав Генрихович тяжело, со стоном вздохнул, в груди или в горле забулькало еще громче, он открыл глаза. Какое-то мгновение они были мутны, будто покрыты пленкой, а потом прояснились. Мадиевский узнал Вадима, его сухие губы изобразили подобие улыбки и что-то прошептали. Но Вадим расслышал только: «Уш-ш...» Ответно улыбаясь, громко сказал:

— Станислав Генрихович, дорогой, не понял.

Тот опять прошептал «уш-ш» и тревожно завращал глазами, ловя воздух быстрыми глотками. И тут Вадим сообразил: подушка!..

Он бросился к стулу, на котором она покоилась, на мгновение замешкался с вентиляем. Руки у Вадима дрожали. Но наконец раздалось тихое шипение. Вадим

бросился к Мадиевскому. Разжав его рот, вставил черный пластмассовый наконечник. Однако что-то его удивило. Он не сразу понял. Ну, да, конечно, прекратилось бульканье, клочкотание. Вообще стало непривычно тихо, как будто из квартирной тишины исчезло напряжение и в нее вошел покой. Вадим взглянул в глаза Станислава Генриховича, они были неподвижны. И тут же из угла его рта выкатилась черная струйка крови. Таранов вырвал из губ Мадиевского наконечник и отбросил подушку на пол. Она тихо шипела, выпуская кислород. Вадим рухнул на стоявший напротив постели диван и зарыдал. Все напряжение этих месяцев, дней, часов выплеснулось в поток слез. И тут его охватил ужас: смерть наступила из-за его нерасторопности с подушкой. Ну да, он просто не успел. Это страшное, чудовищное ощущение вины!.. Сквозь рыдания он пытался что-то бессвязно и пуганно объяснить Мадиевской, повторяя: «Это я! Я! Я!» Она его успокаивала, тихо, почти шепотом говорила с мудрой, сдержанной грустью, что ведь не только дни Станислава Генриховича, а минуты были, увы, сочтены. Никакая подушка уже не помогла бы. А он все равно корил себя — уж очень жалко было шефа с этой струйкой крови в углу рта. И все-таки после ее слов жалость к Станиславу Генриховичу каким-то странным образом слегка смешалась с внезапно накатившей теплой, расслабляющей волной жалости к самому себе: «Ну, за что мне это, за что?..»

Таранов, не отрываясь, смотрел на Мадиевского в гробу. В один миг вдруг вспомнилось все доброе, что делал для него Мадиевский. Никакой игры не требовалось. Спазмы сдавили горло, он действительно не мог вымолвить ни слова. Все видели: по лицу Вадима Юрьевича скатываются тяжелые мужские слезы, застревая в ухоженной бороде. Слезы лились почти потоком, сквозь их пелену Таранов заметил, что даже Блажков смотрит на него с сочувственным испугом.

Адорьянц обнял Вадима за плечи, отвел от гроба. Вадим снова очутился рядом с Антониной Глебовной и почувствовал, как она сжала его руку слабым, порывистым пожатием.

Потом были поминки. Вадим Юрьевич рассеянно отвечал на какие-то вопросы, но внутренне теперь уже старался не расслабляться. Когда кое-как — народищу набилась уйма — расселись, стали угихать разговоры в ожидании первого слова, Блажков потянулся к рюмке и приподнялся. Но Вадим, как бы не замечая этого, опередил его. Он стремительно встал, не без шума сдвинув табурет, все повернули головы в его сторону, а Роман Петрович, залившись краской, так и осел с рюмкой в руке. Установилась тишина, она понравилась Вадиму. Вообще он заметил, что в эти три дня после кончины Станислава Генриховича многие относились к нему как к неофициальному, но естественному председателю пусть и не существующей комиссии по организации похорон. Согласовывали действия, выясняли, где и когда. Его это радовало, он видел здесь добрый знак, ведь знал, к е м, по давней традиции, становится председателем комиссии по организации похорон.

Вадим Юрьевич говорил уверенно, хотя в какой-то момент голос помимо желанья дрогнул, все-таки и впрямь жаль старика. Но и это, понял оратор, было к месту. Он говорил от имени не только всех коллег дорогого Станислава Генриховича Мадиевского, но и, как самый молодой его ученик, от имени всех, в с е х (бросил быстрый взгляд на набычившегося Блажкова) его учеников, говорил о необходимости и между коллегами, и между всеми, в с е м и учениками, а главное, в их отделе сохранить созданную Мадиевским атмосферу дружелюбия, демократизма.

— К сказанному, — продолжал Таранов, — должен добавить следующее. Сегодня утром мне домой звонил Андрей Валерьянович.

Вадим не сделал акцентирующей паузы, наоборот, проговорил скороговорочно. Звонок генерального домой — ну и что? Обычное дело.

— Сегодня собрание активистов движения, на целый день. А сюда дозвониться Андрей Валерьянович не смог, был занят телефон. Он просил меня передать вам, Антонина Глебовна, всем близким самые глубокие соболезнования.

Жена Мадиевского закивала головой.

— И знаете, друзья, вот еще что, — Вадим слегка изменил интонацию, чуть-чуть убавил печали, чуть-чуть добавил бодрости, — ведь Станислав Генрихович, наш Стас, был очень веселым человеком. И если там, куда он ушел сегодня, действительно есть продолжение, наверное, он сейчас смотрит о т т у д а на наши скорбные, постные физиономии и посмеивается. Он и сейчас с нами. И пусть будет с нами всегда.

Все заулыбались, получив приятную возможность после этих милых слов стряхнуть с себя хотя бы часть напряжения, выпили, не чокаясь, и принялись — уже сильно изголодавшиеся — жевать.

Постепенно атмосфера в комнате с поставленным на сервант фотографическим портретом Мадиевского становилась расслабленной. Что-то трогательное прощептала Жанна Алексеевна. Что-то философическое, чуть ли не о богоизбранном человеке упорно объяснял, все время добавляя «вы же понимаете», Таубе. Блажков из всех сил подчеркивал выдающийся научный вклад покойного в борьбу с коррозией. Уже подвыпивший Адорьянц, вздымая кустистые брови и грохоча кулаком по столу, утверждал, что вообще-то милейший Стасик был в жизни излишне доверчив, да-да, излишне. Сокурсники Мадиевского вспоминали массу уморительных случаев, оказывается — вот уж никто не знал, — Стасик был заводилой в капустниках и первейшим человеком в дальних, в том числе и байдарочных походах. Кажется, ничего не сказали Мишаня с Пашуней, но зато, хорошо выпивая, подавали громкие реплики. Даже Костик Батуриц, молчун и заика, вылез. Ему хотелось доказать, что «С-стас был оч-чень ха-ароший че-человек». Но с ним никто и не спорил. А когда стали расходиться, многие, прощаясь с Вадимом Юревичем (он уходит не спешил, как бы принимая на себя часть хозяйской ответственности за сегодняшний день, за эту поминальную встречу, ее ритуал, в том числе и за проводы гостей), считали обязательным сказать ему, как душевно он говорил о своем учителе.

Это же сказала Антонина Глебовна, когда уже поздним вечером он покидал квартиру Мадиевских.

— Вадюша, милый, милый вы мой друг, — говорила она, стоя в прихожей рядом с очкариком Борей, смотревшим, как показалось Вадиму, на него изучающе, будто силился что-то отгадать, — вы сказали лучше всех. Я прошу вас, приходите. Мне так одиноко. Я завтра немного здесь разберусь, приходите послезавтра. Или лучше завтра к вечеру. Не оставляйте меня одну. Мы будем вспоминать Станислава Генриховича и пить его любимую «Хванчкару», у меня припрятана бутылка.

Вадиму всегда казалось, что в интонациях Мадиевской присутствует что-то театральное. Это «милый, милый вы мой друг», это «не оставляйте меня одну». И произносит не прозу, а стихи. Впрочем, не удивительно. Антонина Глебовна была чтицей в Москонцерте, даже имела какое-то звание. Правда, в последние годы концерты вроде были не частыми, видать, спрос на художественное слово упал. А уж во время болезни мужа она вовсе не выступала.

Выпуская Вадима на лестничную площадку, Мадиевская, наклонив его голову к себе, прижалась щекой к его щеке.

— Приходите, приходите... У меня есть что вам передать.

Вадим никак не отреагировал на последние слова, казалось, пропустил их мимо ушей. Но внутри дрогнуло. Какой-то фантастический день удач. Утренний звонок Зубарева. А теперь — это. И хотя может оказаться какая-нибудь совершеннейшая ерунда, вовсе не то, но надежда, богиня ищущих, засияла на горизонте.

Стараясь не выдать себя, он нагнулся к легкой, позвякивающей у запястья несколькими тоненькими серебряными браслетами руке, поцеловал ее и направился к лифту.

На другой день он решил к ней не ходить, хотя пойти не терпелось. И не звонить. Пусть позвонит сама. «Не суетись никогда и нигде», — напоминал он себе главную Кларкину заповедь. Да и, по правде говоря, уже порядочно очумел от Мадиевских, надо передохнуть. Отсыпался часов до двух. Слава богу, ничего не снилось. Даже не слышал, как ушли Иришка с Лелькой. Лениво подвигал гантелями. Окно в комнате выходило на южную сторону, солнце пекло нещадно, от железной дороги, как всегда, шел горячий мазутный дух. Долго стоял под прохладным душем. Пустив сильную струю, тщательно смывал с себя пену. Нет, не пену, а какой-то, он это чувствовал, уже прошедший этап жизни.

Предупредив Иришку по телефону, пораньше забрал из сада Лельку, чему она очень обрадовалась. Штатались с ней по залитым вечерним солнцем улицам то за руку, то нес ее на закорках, ходили к железной дороге смотреть проезжающие поезда, обсуждали поведение рыжего детсадовского кота Кузи, ели быстро таявшее мороженое, пили теплый квас.

Вечером, уложив Лельку, сидели с Иришкой в кухне у открытого окна, выходящего во двор, откуда доносились шелест листвы, людской говор, удары доминошных костяшек. Смотрели «Время» по маленькому, стоявшему на холодильнике телевизору «Шилялис». Горбачев сказал, Горбачев встретился, Союзный договор, стрельба в Нагорном Карабахе, комментаторы пророчат трудности, в общем, одно хорошее — погода. Свет в кухне не зажигали, в это лето прорва комаров, да еще дико кусачих. Потом лежали на постели, не накрывшись даже простыней. За окном голубела-синела светлая ночь. Просто лежали, разомлевшие от жары, обнявшись, испытывая тихое блаженство. Ах, да разве улежишь так просто, когда рядом длинноногая, крепкотелая, с теплым запахом, мерцающими в темноте глазами, учащающимся дыханием женщина?.. Они старались не совершать слишком резких движений, чтобы меньше скрипела софа, хотя попробуй удержи себя. Проклятая жизнь, проклятая жизнь! Но вдруг дочь за деревянной решеткой кровати зашевелилась, встала на четвереньки, потом, ухватившись за решетку, поднялась во весь рост и усталилась на них. Они замерли. Некоторое время длилась немая сцена, пока Лелька не прошептала сонным, скорее всего, она и не проснулась, голосом: «Пысать». А как только Лельку уложили обратно, сразу послышалось ее спокойное дыхание.

Они снова лежали, обнявшись, Иришка тихо смеялась, а Вадим думал: «Проклятая, проклятая жизнь». Уже засыпая, вспомнил, что Антонина Глебовна так и не позвонила. «Ну, ничего, — думал он, — никуда не денется».

Так и вышло. Она позвонила рано утром, едва захлопнулась дверь за женой и дочкой.

— Вадик, милый, куда вы пропали? Не приходите, не звоните.

Он что-то мямлил тоном провинившегося школьника: уже и так, наверное, надоел... не смел быть навязчивым...

— Ну, о чем вы говорите, дорогой мой? Вечером я вас жду.

Сразу же после звонка Мадиевской Вадим отправился в Центр. Надо было на месте оценить новую, после смерти шефа, ситуацию. Конечно, вчерашний пропущенный день мог стоить каких-то потерь. И все-таки Вадим считал, что правильно поступил, не явившись на работу. С одной стороны, это было оправдано понятной всем его измотанностью последними событиями. А с другой, демонстрировало уверенность Вадима Юрьевича в том, что за один день, да еще в его отсутствие, ничего не решится. Хотя вообще-то, не без тревоги думал Вадим, покачиваясь в переполненном вагоне метро, очень даже могло решиться. Об этической стороне думать не приходится. Просто смешно. Зубарев, конечно, поражает смелостью новых мыслей — о тоталитаризме, сталинщине, душегубстве Октября. Только пришел в Центр (тогда еще институт, Центром стал при нем — он добился), выступал на первом общем собрании — все аж замерли. А потом еще на телевидении, во «Взгляде». Да, все это так. Но ведь пришел-то к ним из отдела ЦК. Правда, вроде со всеми там переругался. Однако и раньше все больше на партийной работе в КБ, на заводах, инструктор горкома. Хотя докторская о защитных покрытиях, говорят, была толковой. Но неужто вся эта прежняя закваска вмиг выветрилась? Хотелось бы, конечно, верить... А если не выветрилась? Если вчера все и решилось, и не в его пользу? Так тем более хорошо, что без Вадима. Его присутствие вряд ли что-нибудь изменило бы. Зато не мельтешился, проявил сдержанность... А Блажков-то, наверное, примчался, высматривал, вынохивал. Скорее всего, думает, что ему, Таранову, позарез нужен этот отдел. Болван, мерит по себе. А ему этот отдел на дух не нужен. Вернее, нужен, очень нужен. Но только для начала. Не зря Кларка все об одном, а нюх у нее выдающийся: надо заводить собственное дело. Надо, надо... Грядет новая эпоха. Пусть сейчас все матерят кооператоров, биржи, лотошных «чурок». Но будущее за частником. От этого никуда не деться. Весь мир на том стоит. Там — деньги. Тыщи, а может, и миллионы. От таких цифр возникало легкое головокружение. Отдел ему нужен только для одного: установить личные связи с заводами. Стать для них своим человеком, схватить в свой кулак нити, которые держал Мадиевский. А потом организовать кооператив. Или малое предприятие. В общем, что-то в этом роде. И все договоры перевести туда. Заводам-то без разницы. Дело то же самое, что и здесь. Да только не на зарплату, а на совсем, совсем другие доходы. Конечно, придется покрутиться. Самого же дела хватит на всю жизнь. Коррозия вечна. Как и борьба с ней. Будет свой офис, повешу лозунг из красной

материи: «Защитим от коррозии весь мир». А название предприятия — «Нержавейка». Вот это и будет — «Как закалялась сталь»... Блажкову-то отдел нужен, чтобы двигать науку. Конечно, и он будет стараться ее достижения как-то реализовать. Но о выгоде не думает. Вернее, думает, но в пределах премиальных, тринадцатой зарплаты. Он же «совок».

Разумеется, под новое дело нужна идея. С этим пока туго. Его тема явно не пляшет. Был бы Мадиевский, он, возможно, нашел бы поворот. Или Кларка — тоже бы нашла. Но она, к сожалению, занимается не коррозией, а игрушками. Между прочим, совершеннейшая, казалось бы, чушь! А не скажи. И она что-то затевает, какие-то там контакты с «Дымкой», кустарями-надомниками. Дело прибыльное, может, даже валютное... Да, с идеей — сложно. Но не будем спотыкаться. Надо искать, недаром же говорится: на ловца и зверь бежит. Надо только дать всем почувствовать, что он и есть тот ловец. А может быть — сердце вот-вот выскочит от такого предположения, — все сегодня вечером и образуется по части идеи? Впрочем, нет, нет! Надо гнать от себя эту мысль, слишком уж заманчива.

На работе было непривычно тихо. Те, кто еще не разбежался по отпускам, изнывали от жары за столами или в лаборатории. Окольными путями Вадим узнал, что Блажков вчера тоже не появлялся. Вернее, появился, но к ночи, дежурил у своей установки, теперь дома отсыпается. «Надо же», — удивленно думал Вадим. Выяснилось также, что Зубарев вчера не приходил, заседание перенесли на второй день.

— Что-то там серьезное. Видно, никак не договорятся, — объяснила Марина.

Вадим заглянул к ней, как только пришел в Центр, принес брикет мороженого в серебряной обертке. Еле вырвал в палатке у метро, его чуть не растерзали.

— Ты прелесть, Вадюшечка! — воскликнула Марина, увидев брикет. — Мы здесь просто погибаем от зноя.

Она рассказала: утром Андрей Валерьянович заезжал на минуту, забрал какие-то материалы, поехал в комитет, вряд ли сегодня вернется.

— Вообще ты не спеши, — говорила Марина, — подожди, пока вызовет. А если какие новости, я тебя сразу проинформирую. Лошадей гнать, мне кажется, не надо.

Вадим пошел в лабораторию, посмотрел дневник эксперимента с записями Кати и Леры, хотел было Леру, возившуюся около его установки, шлепнуть, почувствовав, что она, даже не оборачиваясь, только слыша его шаги, вся напряглась в ожидании. Но — удержался. В видах на заведование, пусть и крайне зыбких, но все же после смерти Мадиевского приобретших более реальные очертания, с этим, пожалуй, лучше покончить. Нет, не покончить вообще. Но поменять тактику. Мягко обняв Леру за плечи, он склонился к ее уху и, почти касаясь губами бледной мочки с маленькой, из бирюзы, сережкой, прошептал:

— Как наши дела?

Вопрос был многослоен, предполагал в ответе варианты, но Лера стала торопливо рассказывать о результатах замеров последних двух дней. Однако он особенно не вслушивался. Уже давно понял: это тот самый случай, когда единственный результат — никакого результата. Раньше его это смущало, он терзался, приставал к Мадиевскому. Но последние года два — без всяких эмоций. А теперь и приставать не к кому. Поэтому он с любопытством ловил, поглаживая бородку, Лерин взгляд. Она отводила его в сторону, наверное, хотела скрыть свой постоянный немой вопрос, который интимность жеста и шепота Вадима Юрьевича обозначила с еще большей ясностью.

— Ну и чудненько, — выслушав Леру, сказал он и постарался высветить в своем взгляде немой ответ, исполненный лучезарных надежд.

А как же! Надо, обязательно надо надеяться. Вот он надеется всегда.

Прямо после работы Вадим с Волгоградского проспекта отправился на Песчаные к Антонине Глебовне. Пока ехал в метро, долго, с пересадкой, а потом от Сокола — на троллейбусе, чувствовал, как нарастает волнение. Он и раньше с Антониной Глебовной ощущал скованность. То ли от ее манерности, например, она очень часто употребляла слово «блистательный»: спектакли, о которых она рассказывала, побывав в театре, у нее были блистательные, актеры блистательные. Или оттого, что часто задавала внезапные вопросы. «Вы помните, Вадюша, как один из братьев Карамазовых надоумил Смердякова убить их папашу?» Или: «Вам

знакомы эти строки: «Но если у стекла любую из сторон покроешь, хоть слегка, грошом серебром, вмиг исчезает все, что в мир влекло, и зеркалом простым становится стекло»? Вы помните?» В ответ он что-то мычал, кивал головой, это ее вполне удовлетворяло, хотя он не только не помнил ни слов Карамазова, ни стихотворных строк, но и никогда этого не читал.

Вообще Вадим видел, что жена Мадиевского к нему относится хорошо. Но ему все время казалось, что она ведет себя так, будто имеет на него какие-то права. Самое удивительное, что в глубине души он не смел этого отрицать. Вот со Стасом он чувствовал себя совершенно свободно, хотя уж у того прав на Вадима было дальше некуда. Но Вадим этого не ощущал.

Вдова встретила его в свободном, ниспадающем почти до полу черном одеянии из легкого, полупрозрачного материала, с широкими рукавами. «Без лифчика», — быстро определил Вадим, но тут же подумал, что она всегда без лифчика, на такую мелкую, костистую грудь он ни к чему. Антонина Глебовна протягивала к нему руки, молча прикоснулась к его щеке своей, чуть липкой от макияжа, чуть пахнущей гримом щекой.

Они сели на тот самый диван, на котором Вадим рыдал, когда умер Станислав Генрихович, и напротив той кровати, на которой его смерть настигла. Теперь она была аккуратно застелена необыкновенно красивым, с легким, нежным пушком пледом, а у изголовья светило бра, создавая мягкий полумрак. Из окна, подоконник которого был заставлен множеством кактусов самых разных габаритов и причудливых форм — давнее увлечение Мадиевского, — веяло тихой вечерней прохладой. На низком столике у дивана стояли два высоких хрустальных бокала, запотевшая, из холодильника, бутылка «Хванчкары», на небольшом блюде разместились проткнутые разноцветными пластмассовыми вилочками изящные крохотные бутерброды с копченой колбасой, ветчиной, сыром, белой и красной рыбой, в высокой вазе покоились персики, раскрыта была коробка шоколадного набора, по нынешним временам — редкость, а в другой коробке нарезан торт.

Вадим все это пожирал глазами, особенно конфеты и торт. Не только от голода, хотя ел давно, перехватил среди дня какой-то дряни, вспоминать мерзко, но и оттого еще, что обожал сладкое. Скорее всего, не доел его в детстве. Сладости тогда перепадали редко, по очень большим праздникам. Работал один отец, семья жила на пределе, правда, прикармливались огородиком возле дома, да отец подрабатывал починкой соседских швейных машин, велосипедов, примусов, часов. Вадим копил мелочь, а потом на вокзальной площади покупал у теток золотистого или рубинового петушка на палочке. Лизал всегда неторопливо, стараясь продлить удовольствие. Но когда дотаивал во рту последний с изгрызанной, уже занозившейся палочки кусочек, нестерпимо хотелось еще. Тогда придумалось вот что. Он стал копить не на одного, а на нескольких петушков. Сдерживая себя, предвкушал будущее наслаждение. А потом покупал сразу двух или трех петушков, осторожно разворачивая, лизал каждого понемногу. Затем, так же аккуратно завернув их в прозрачную обертку, продавал на той же площади у вокзала, только в другом от теток углу. Получив выручку, снова шел к теткам. Правда, счастье длилось недолго. Тетки его все-таки заприметили, надрали уши, хотели вести домой к родителям, но ему удалось вырваться. Больше он уже там не появлялся...

Сначала они с Антониной Глебовной помянули покойного, а потом пили — не спеша, маленькими глотками — холодную, терпкую влагу и разговаривали. Говорила, в основном, вдова, говорила много, почти не останавливаясь. Рассказывала о каких-то детских театральные впечатлениях, об Улановой в «Ромео и Джульетте», гастролях грузинского театра с «Царем Эдипом», актере Серго Закариадзе, который скатывался по ступенькам высокой лестнице, «понимаете, всем телом». Он с готовностью кивал головой: ну, конечно, как не понять!..

Потом говорила о смерти Мадиевского, вспомнила «Сагу о Форсайтах», смерть какого-то старого Джолиона, у него перестала шевелиться опустившаяся на губу, когда он сидел в саду, пушинка.

— Вы понимаете, Вадик? Остановилось дыхание — и пушинка застыла.

Вадим вспомнил, как умер Мадиевский, и уверенно кивнул. «Только для чего она это все говорит? — с тревогой думал он. — Уж не водит ли меня за нос?» Ему все это наскучило. Он изнывал, но не подавал виду. Прихлебывая вино, закусывая бутербродиками. Но особенно налегал на конфеты. Удержаться от этого не было

никаких сил. Да еще Антонина Глебовна подгалкивает коробку в его сторону, приговаривая почти нараспев:

— Вадю-уша, ми-илый, умоляю вас, умо-ля-аю, ешьте конфеты.

Она рассказывала о том, как познакомилась со Станиславом Генриховичем в театральном доме отдыха в Рузе вскоре после смерти его жены, но Вадим особенно не вслушивался.

И при этом чувствовал, что растёт все-таки тревога. А где же обещанное? Она болтала о чем угодно, но только не об этом. Как будто и не было той прощальной фразы после поминок: Уже несколько раз у него возникало желание спросить: «Вы, кажется, хотели что-то мне передать?» А еще лучше схватить ее за узкие, покатые плечи, тряхнуть так, чтобы остановился словесный поток, и потребовать к ответу.

Антонина Глебовна поднялась и, слегка одернув двумя руками длинную юбку, овевавшую ноги, подошла к окну.

— Посмотрите, Вадик, на эти кактусы, выращенные по... покойным Станиславом Генриховичем. Какое чудо!

Вадим подошел к окну, восклицая: «Да! Да!»

И вдруг она приблизила в полумраке свое лицо к нему, зашептала торопливо, жарко:

— Я вам так благодарна, милый вы мой друг. За все, за все! Одна бы я просто не выдержала. — В ее темных глазах сверкнули слезинки. — Мне так тяжело, так одиноко. Безумная, черная тоска. Не бросайте меня, милый, милый, милый вы мой друг. Я привязалась к вам.

Антонина Глебовна прижалась лицом к его груди, а Вадим почувствовал, как в нем шевельнулась жалость к бедной, хрупкой, одинокой женщине. Он осторожно обнял ее. Они стояли молча, ветерок обдувал их из окна. А он, чувствуя, как вздрагивают ее плечи от беззвучного плача, лихорадочно думал, что все это значит. Будь какая другая женщина, он бы, пожалуй, сообразил. А здесь терялся, мешала скованность. Бабенка-то все-таки с прибабахом. «Нет Кларки, она бы подсказала», — с досадой подумал Вадим и чуть было не рассмеялся от вздорной этой мысли. Его руки сами собой, по стародавней привычке скользнули по ее спине вниз, ладони ощутили небольшие, мягковатые округлости. Он подумал, что, если их оголить, они окажутся дрожащими и прохладными, как желе. А капельные груди, наверное, матово-серого цвета, но с ярко-красными, крепкими сосками. Почему-то была уверенность, что соски должны быть крепкими.

Она не шевелилась, но плечи ее по-прежнему вздрагивали. И тогда Вадим не очень сильно сжал обеими руками эти округлости.

Она мгновенно откинулась назад. Взглянула на него сухими, хотя вроде бы только что плакала, глазами и, перебивая всхлип, прошептала:

— Что вы...

Еще не закончила, а его пальцы уже разжались. Но руки остались на месте. Он оцепенел. Это конец! Все погибло!

Антонина Глебовна локотками уперлась в его грудь.

— Пустите меня, пустите!

Вадим не так уж крепко держал ее, но и не смел выпустить, понимал: надо принять какое-то решение, единственное из всех. Но какое, какое? И вдруг отчетливо услышал, мог поклясться, что услышал вкрадчивый Кларин голос: «Упади на колени». Да, тысячу раз да! Именно так!

Стремительно опустившись перед ней на колени, он обнимал ее ноги, ощущая их сквозь тоненькую марлевочную ткань, вдыхал пьянящий запах женщины, этот запах туманил голову, которую он запрокинул вверх, к ее смятенному лицу.

— Простите меня, Антонина Глебовна, умоляю!.. Я потерял голову, совершенно потерял. И уже давно, даже не помню когда. Но я так долго сдерживал себя, скрывал... Вы чудная, чудная, вы блистательная женщина!.. Напряжение этих дней... Я не выдержал... Простите...

Он говорил искренне, ни одной фальшивой нотки. Как и тогда, у гроба Мадиевского. Даже навернулись слезы, пересох рот. Но при этом все время видел и ее, и себя со стороны.

— Ну, пустите же меня, пустите, — повторяла Антонина Глебовна и, слегка

пригибаясь, пыталась освободить свои ноги из его цепких, длинных рук, впрочем, без особой, кажется, настойчивости. — Встаньте, Вадим, встаньте.

Вадим тяжело поднялся, отвел в сторону глаза. Но она повернула его голову к себе, сказала:

— А вы знаете, Вадюша... знаете... я ведь догадывалась, уже давно.

«О чем, о чем ты догадывалась?» — подумал Вадим с внезапным раздражением, вызванным только что пережитым унижением, страхом, сохраняя на лице покорное выражение.

А Антонина Глебовна шептала тоже пересохшим голосом:

— Ведь и я... Я тоже, Вадюша, давно.

Сказав это, спрятала лицо у него на груди. Какое-то мгновение они стояли не шелохнувшись. Потом она подняла голову к нему, подтянулась на цыпочках и, сжав его лицо ладонями, осторожно поцеловала в щеку. В ту же секунду Вадим понял, что эта женщина принадлежит ему целиком, ее можно мять, гнуть, ломать, делать с ней, что захочется. Это и освободит его от зависимости. Руки вновь скользнули по спине Антонины Глебовны вниз.

Мадиевская, не сопротивляясь, не отгалкивая, прошептала:

— Нет, Вадюша, нет. Не надо.

Она не требовала, а просила:

— Пожалейте меня, пожалуйста. Я сейчас не могу. Пусть пройдет немного времени. Ты понимаешь? Мы должны потерпеть.

«Что ж, можно и потерпеть», — подумал Вадим, несколько сожалея, что приходится гасить вспыхнувшее желание. Он отпустил ее.

Антонина Глебовна, взяв его за руки, усадила рядом с собой на диван. Прижалась, расстегнула ворот рубахи, просунула в ворот руку с перламутрово-розовыми ногтями, гладила грудь. Это не вызывало никаких эмоций, жест был скорее нежным, чем страстным. Но не хватало решимости отвести руку. Зремя шло, а он ждал, все еще ждал обещанного.

Вдруг рука ее замерла, Антонина Глебовна тихо, не поднимая головы, заговорила:

— Когда мы встретились со Станиславом Генриховичем, я была в ужасном состоянии, да и он не лучше — после смерти жены. А меня только что бросил муж. Красавчик, теперь известный артист, уже тогда всю снимали в кино. Очень талантливый. Делал со мной, что хотел. Но совершенно холодный человек, это я поняла потом. А тогда сходила с ума, была на грани срыва. Думала, умру.

«Зачем все это рассказывает?»

А она продолжала, и в этом продолжении ощущалась настойчивость, будто не могла не сказать.

— Мы нашли со Станиславом Генриховичем друг друга в нужную минуту. Я вцепилась в него, как в спасательный круг. В нем такая надежность, это я сразу почувствовала. Он буквально вытащил меня из бездны. Правда, появились сложности с Борей. Ему было восемь лет, очень непростой мальчик, что-то в нем от отца, увы, не внешность. Но все устроилось, Борю взяла мама. Он и сейчас, после ее смерти, живет в той квартире. Станислав Генрихович обожал меня. А я... Я была ему благодарна. Всю жизнь. И никогда, веришь, никогда не изменяла. Хотя вариантов было сколько угодно. Гастроли, концертные поездки, жизнь в гостиницах. Но — нет... И все-таки, теперь понимаю, что-то во мне всегда... Не знаю, как сказать. Ну, подсказывало, что у меня еще что-то обязательно будет.

Антонина Глебовна умолкла, а он, косясь на часы, спрашивал себя с раздражением: «Какое мне до этого дело?»

— Станислав Генрихович, — снова начала она, но замолчала, будто раздумывая, продолжать или нет, — Станислав Генрихович... В общем, уже три года между нами ничего не было.

«Вот те на!» — едва не вскрикнул Вадим.

— Ночами, — продолжала Антонина Глебовна, — я иногда просто с ума сходила. Мы спали отдельно. Я вот на этом диване, а Стасик там.

Она кивнула на застеленную пестрым пледом кровать, а Вадим внезапно увидел лежащего на ней Мадиевского с застывшими, студенистыми глазами и струйкой крови в углу рта.

— И вдруг — ты!..

Подняв голову, Антонина Глебовна посмотрела с не таящейся нежностью.

— Но ты варвар! Безжалостный варвар!

Вадим не совсем понял, был ли это комплимент или это была ирония. Но решил, что все-таки комплимент.

— Выпьем, мой милый друг. — Антонина Глебовна разлила по бокалам остатки вина. — За тебя, мой сла-авный, сла-авный гунн! — блестя глазами, почти пропела она.

Вадим подумал и сказал:

— За вас... За тебя!

Почему-то от этих слов, сказанных вслух, почувствовал легкость.

Они допили потеплевшее вино.

Надо было уходить. Концертная программа исчерпана, а время близится к полуночи. Вадим хоть и предупредил Иришку, что собирается навестить Мадиевскую, но сколько же можно сидеть, да еще без всякого результата. Он поднялся.

— Уже пора? — она с тревогой взглянула на него. — Тебя ведь Ирочка ждет.

«Уж лучше б ты промолчала», — подумал Вадим.

— Да, дорогая, время, — холодно сказал он.

— Что-нибудь не так? — тихо спросила она.

— Да нет, все нормально, — бодро ответил он.

— У меня путевка под Москву, — сказала Антонина Глебовна. — На две недели.

Надо от всего отойти, хоть немножко привести себя в порядок. Я буду очень скучать. Как приеду, сразу же позвоню тебе, мой повелитель.

«С прибабахом, ей-ей, с прибабахом», — снова подумал он. А Мадиевская принялась осыпать его лицо быстрыми поцелуями. Потом молча повернула к двери, выпустила на лестницу, и туг же дверь захлопнулась.

Некоторое время Вадим стоял неподвижно, потом, погрозив двери кулаком, пошел к лифту. На площадке было тихо, только мерно гудела люминисцентная трубка.

Но в тот момент, когда лифт со скрежетом раздвинул створки, Вадим вдруг услышал торопливые щелчки замка Мадиевских. В приоткрывшуюся дверь высунулась голова Антонины Глебовны.

— Вадик, подожди.

Оставив дверь полуоткрытой, она исчезла, но почти тут же появилась вновь.

Вадиму показалось, что у него на мгновение остановилось дыхание. Антонина Глебовна держала в ладонях черную кожаную тетрадку Мадиевского. Вадим готов был вырвать ее из рук женщины. Но он не шелохнулся.

— Я совсем потеряла голову, Вадюшечка, — произнесла Антонина Глебовна, — забыла обо всем... Перед смертью Станислав Генрихович просил передать это Блажкову или тебе. Я подумала: ну, зачем я буду отдавать Блажкову? Какой-то скучный тип. Да и, по-моему, у него что-то было со Станиславом Генриховичем. По-моему, Блажков когда-то его бросил. Уж лучше я отдам тебе, правда?

Боже, как он любил, как обожал ее. Готов был стиснуть в объятиях, но только безразлично пожал плечами.

Антонина Глебовна протянула тетрадку.

— Это тебе, Вадюшечка, на память об учителе. Я ничего в этом не понимаю. Но Станислав Генрихович говорил, что там что-то есть. Надо только еще раз проверить... Блажкову я пока ничего не сказала.

— Пожалуй, не стоит, — как можно спокойнее отозвался Вадим, забирая тетрадь.

— Приходи, приходи, любимый, — сказала она, как показалось Вадиму, не прося, а скорее приказывая. И добавила: — Желаю успехов.

Выйдя на улицу, Вадим хотел поймать такси, но никто в его сторону не ехал. Пришлось добираться троллейбусом, метро до «Войковской», потом автобусом — слава Богу, еще ходил. Дома, чтобы скоротать время, он достал из «дипломата» газеты, утром прихватил из ящика, да так и не нашлось минуты раскрыть. Теперь листал лениво. Сплошная политика. За коммунистов — против коммунистов. Горбачев сказал — Ельцин ответил. Государственная собственность — частная собственность. Приватизация — не приватизация. Рынок — не рынок. И объявления, объявления, объявления. Реклама, реклама, реклама: какие-то фирмы, объединения, биржи. Где все это было раньше? Откуда взялось? Просто обвал какой-то.

Глаза газет

ВСЕРОССИЙСКАЯ БИРЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Цель — Возрождение

Наш биржевой канал: (095) 166-20-57

«Вечерняя Москва», 1991

У «МММ» нет проблем!

Телефоны: (095) 171-03-97, 173-44-15, 171-13-81, 171-06-90

«Куранты», 1991

БИРЖА «АиФ» — ОБЪЯВЛЕНИЯ ПЕЧАТАЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Я обращаюсь к мужчинам из объединения «МММ». День бесплатного метро вы ослили. А слабо мне подарить шубу натуральную, а? Ольга. Вешалка в редакции.

Мне 12 лет, зовут Даша. Через шесть лет подарю себя миллионеру. Претендентам обращаться в редакцию через 6 лет.

Мне 52 года, вполне здоров, продаю себя бесплатно. Могу выполнять любую работу по 14 часов в сутки. Мои требования: 1. Сон — 6 часов. 2. Свободное время — 3 — 4 часа. 3. Один раз в сутки обед. 4. Пачка сигарет «Астра» в сутки. 5. Коробка спичек. 453210, Башкирская ССР, г. Ишимбай, Главпочтамт, до востребования предьявителю паспорта XI-AP № 571948.

Откликнитесь, ребята, служившие в 1983 — 1984 гг. в в/ч 53336 «В» в Афганистане и знающие, как погиб мой брат — Подкорытов Андрей Иванович, 1963 г.р. Адрес: 620097, Свердловск, ул. Губкина, 81 «б», кв. 47. Белобородовой Елене Ивановне.

«Аргументы и факты», 1991

ПЕРЕМЕН НЕ ОЖИДАЕТСЯ. Погода недели с 5 по 11 августа. Обширная область высокого давления, охватившая большинство районов Европейской территории СССР, определяет здесь солнечную, сухую погоду.

«Правда», 5 августа 1991

ОТЪЕЗД НА ОТДЫХ. 4 августа Президент СССР М.С.Горбачев отбыл на отдых в Крым (ТАСС).

«Правда», 6 августа 1991

О ПРОГРАММЕ КПСС. Проект новой Программы КПСС подготовлен комиссией, образованной XXVIII съездом партии. По решению шольского Пленума ЦК КПСС и Программной комиссии проект выносится на общепартийную дискуссию, по завершении которой Программа будет рассмотрена внеочередным XXIX съездом КПСС.

Текст проекта Программы КПСС публикуется на 3 и 4 страницах.

«Правда», 8 августа 1991

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ НЕ ПОВЕРИЛ. Сообщение ТАСС о невозможности дальнейшего пребывания члена КПСС А.Н.Яковлева в рядах КПСС, переданное в 13 часов по радио, Александр Николаевич сам не слышал. В его кабинете нет радио. А когда ему пересказали, не поверил ушам своим... Совсем недавно А.Яковлев в интервью «МК» сказал, что реакция не уничтожена, она затаилась. Значит ли этот шаг КПСС наступление по всему фронту?

«Московский комсомолец», 16 августа 1991

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. Созвать шестую сессию Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик 17 сентября 1991 года в городе Москве.

Председатель Верховного Совета СССР А.Лукиянов.

Москва, Кремль, 16 августа 1991 г.

«Правда», 17 августа 1991

На следующий день Вадим с утра позвонил Марине, выяснил, что Зубарева не будет, может, только к вечеру, а вечером он обычно никого не вызывает, решает лишь бумажные дела. Потом Вадим позвонил в отдел, сказал, что сегодня он весь день в библиотеке.

После этого засел за тетрадь. Внимательно изучал страницу за страницей. Таких исписанных страниц было много, почти до конца тетрадки, описание эксперимента за последние полтора года. В общем, ничего особенного, примерно то же, что делал и он. Вадим перечитывал уже прочитанное. Все те же варианты использования в выпарных аппаратах, мощных кипятильниках хромо-никелевой стали, нержавеющейки-матушки. Она-то и спасала от коррозии, правда, не надолго, месяцев на шесть — восемь. Но и то славу Богу.

Растерянно листая страницы, Вадим пожимал плечами. Нарастало раздражение, старик явно надул его. Он отбросил тетрадь, решив пообедать. Растворил в кипятке арабский бульонный кубик, пожевал холодную котлету и выпил бутылку ледяного, из холодильника, пива, которую вчера принесла для него Иришка. Это несколько успокоило. Но дальше он листал тетрадь уже без всякого азарта.

И вдруг где-то к самому концу, в записях последних трех-четырех месяцев появилось нечто такое, чему Вадим в первый момент не поверил. По записям было видно, что Мадиевский поначалу тоже не поверил, столько там мелькало жирных восклицательных и вопросительных знаков. Видимо, совершенно случайно — хотя такие случайности, Вадим это уже хорошо знал, выпадают как подарок судьбы тем, кто интуитивно ищет встречи с ними, — из чистого любопытства, а может, от отчаяния Станислав Генрихович поместил в технологическую среду разные безникелевые стали. Бред! Абсурд! В подобных условиях именно никель известен своей стойкостью к коррозии. Но произошло чудо. К полному своему изумлению, шеф обнаружил, что некоторые компоненты технологической среды у отдельных безникелевых сталей резко повышают сопротивляемость коррозии.

Вадим еще не дочитал до конца, но уже все понял. Даже стало обидно, что сам не дошел до такой простой вещи. А шеф — тоже хорош, никому ни словечка. Правда, раза два или три мелькнула запись: «Посоветоваться с Р.П.». Это значит — с Блажковым. Прочтя записи, Вадим испугался. Но успокоился, когда после этих наткнулся на такую: «С Блажковым — не советоваться». Что уж привело Мадиевского к столь категорическому решению, было не ясно, но само решение обрадовало. А потом увидел и такую пометку: «Сказать В.Т.». Это ему, Вадиму Таранову. Но после записи стоял вопросительный знак. Видно, были сомнения, не сказал, только намекнул однажды. Но оно и к лучшему. Вон как обернулось. Ведь если шеф прав, так вот она — та самая искомая идея. Ну, не сдвиг земной оси, конечно. Однако... Однако...

Из дальнейших записей следовало, что, по его, Мадиевского, самым грубым, разумеется, расчетам, сопротивляемость коррозии повышается лет до пятнадцати, а может, и двадцати. Но это требует дополнительной проверки. У Таранова аж дух захватило. Правда, в первый момент мелькнула шаловливая мыслица: а не лучше ли придержать открытие? Что будем делать, если сопротивляемость коррозии окажется столь прочной? Но тут же здраво рассудил, что на его век ржавчины хватит. А главное — можно опоздать. В науке свято место пусто не бывает. Пока он будет держать под спудом это свое открытие, кто-то другой на него наткнется. Костик Батурич или тот же Блажков. Оба дотошные, роют, роют... Нет, надо спешить. Завтра же начать опыты с безникелевыми сталями, запудрить мозги Лере, работавшей с Мадиевским, она ничего не поймет. А с предварительными наметками выступить немедленно. И не на отделе, а сразу на ученом совете. Застолбить приоритет, поразить научную общественность. При этом полная скромность, собственное изумление по поводу случившегося: надо же — плыл в Индию, а открыл Америку.

Вадим дошел до итоговых страниц, где Мадиевский, уже, можно сказать, не сомневающийся в своей правоте, ставил перед собой задачу еще одной, окончательной проверки (теперь ее проведет Вадим, хотя он ничуть не сомневается в чистоте выводов из предыдущих опытов), а также теоретического обоснования экспериментально полученных данных. Да, с теоретическим обоснованием, конечно, похуже. Жаль, Стас не успел поделиться своими соображениями. А мог, мог бы, чертов старикан. Ну, ничего, тут уж не зазорно и кого-нибудь привлечь. Надо только точно выбрать.

А может, старик все-таки оставил хоть какой-нибудь намек? Увы, нет. Вот и последняя страница с записью, подчеркнутой дважды: «Опыт повторить».

Но Вадим увидел, что на этой странице есть еще запись. Она сделана внизу листа крупными, скачущими буквами, видимо, совсем незадолго до смерти: «Берегите Антонину Глебовну!»

Прочитав это, Вадим оторопел. Как бы услышал живой голос шефа. Последнюю, так сказать, волю покойного. Его нижайшую просьбу. Кроме того, запись с очевидностью свидетельствовала: шеф был уверен, что тетрадь прочтут. И обязательно до конца, до последней страницы. Какой же все-таки умница!.. Но кому, кому он адресовал эти слова? Ему? Блажкову? Или и ему, и Блажкову? Да какое это, в сущности, имеет значение? Безличная форма обращения подтверждает сие. Тому, кто прочтет. Подумав, вспомнив все обстоятельства последних месяцев жизни Станислава Генриховича, частоту и дружескую интимность общения с ним, Вадим решил, что запись все-таки обращена к нему. Сама мысль о том, что Мадиевский в последние минуты думал о Вадиме, как бы подтверждала его права на содержимое тетради. Шеф просил, может, даже умолял позаботиться о своей простодушной, несурзной, не приспособленной ни к чему и всегда, наверное, казавшейся ему из-за разницы в возрасте молодой жене. Ну, молодость оставим в стороне. А вот такая ли простодушная?.. Если не такая, то ему, Вадиму, не легко, очень не легко будет с ней развязаться. Это портило хорошее настроение. Ну да ладно, лишь бы дело пошло... Впрочем, если вчитаться в слова Мадиевского, то он, пожалуй, не позаботиться просил о своей жене, а побережь ее. Другой оттенок. Может, о чем-то догадывался? Ну, умница, действительно умница!.. А интересно, видела ли она запись супруга? Если видела, это особенно пикантно. Спросить — и наверняка скажет, не видела.

Пришла с работы, из своего института информации, Иришка, привела Лельку из сада. Жена гремела посудой на кухне, готовила ужин, а Лелька, примостившись у него на коленях, вертела в руках тетрадку Мадиевского, открыла на чистой странице, спросила:

— Чиё такое? Можно пайасавать?

Раздался телефонный звонок, он поднял трубку.

— Вадим Юрьевич, — быстро и официально проговорила Марина, — завтра в двенадцать к Зубареву.

«Вот оно!»

— Между прочим, — продолжала Марина, — на десять он вызвал Блажкова. Марина положила трубку, а Вадим молча выматерился.

Когда Таранов проходил по коридору к кабинету директора, ему навстречу попала заплаканная Ия Михайловна, завлаб микропроцессов. Она шла быстро, ни на кого не глядя, торопливо вытирала слезы маленьким платочком.

— Ну что — опять? — притормозив, сочувственно спросил Вадим.

Ия Михайловна ничего не ответила, только махнула рукой.

Было известно: уже полгода или даже больше Зубарев третирует Ию Михайловну Загорскую, буквально сживает со свету. Причина была непонятна, все, в том числе и Ия Михайловна, долго терялись в догадках. Плохо работает? Неважно идут дела в лаборатории? Да вроде нет, не хуже, чем у других. Возраст, недалекий от пенсионного? Но мало ли у кого такой возраст, у того же Зубарева. Робка? Это, пожалуй, присутствует. То есть опять же совсем не робка, раньше, в нормальной обстановке, удачно, даже бойко выступала на ученых советах. А теперь, стоило Зубареву грубо оборвать ее, мгновенно тушевалась, краснела, бубнила какую-то невнятицу. И еще вот: была уж очень некрасива — плоское, безбровое лицо, приплюснутый нос. То и дело видеть такое, конечно, не самое крупное удовольствие, но работе-то, выполнению научных планов это вроде не помеха. Правда, могла быть еще одна причина: для кого-то Зубарев столбит место. Эта причина в качестве самой, разумеется, естественной сразу пришла в голову всем. Но потом и она отпала. Было бы у Андрея Валерьяновича подобное намерение, он давно бы эту, не столь уж сложную задачу разрешил. Понизил бы, как водится, Ию Михайловну в должности. Или, еще лучше, перевел с другимокладом, может, на десятку даже больше, в другую лабораторию. Да, наконец, просто уволил, придравшись к чему-нибудь. И все бы успокоились. Но ничего подобного он не предпринимал. Значит, что-то иное. В конце концов, все, и прежде всего сама Ия Михайловна, пришли к единодушному выводу: просто невзлюбил!.. Ну, разве такое объяснишь? Скорее всего, и сам не понимал, за что. А ни за что! Просто так!

«Да, — думал Вадим, идя по коридору, — радеть за благо народа, человечества, агитировать за это на митингах, выступать на съездах все же, наверное, проще, чем

порадеть отдельному человечку. Человечество-то всегда красивое. А человек может быть и уродцем. Так ведь тем более ему надо порадеть».

Вадим уже думал не об Ие Михайловне, не ее жалел, а себя. Его, маленького, бедненького, социально, как теперь говорят, не защищенного, надо пожалеть и защитить. Но при этом, как ни странно, Вадиму вся эта история с Загорской, поведение в ней Зубарева чем-то импонировали. Он не мог объяснить, но чувствовал: тут какой-то и для него дополнительный шансик.

Ровно без одной минуты двенадцать Вадим Юрьевич был в зубаревском предбаннике, просторной комнате с телефонами, селектором, телевизором на ножках и широколистным фикусом.

— В дурном настроении, — быстро прошептала Марина. — Только что выгнал Загорскую.

— А Блажков?

— Не знаю. Часа полтора у него провел... Ну, с Богом.

Генеральный сидел в глубине огромного кабинета за массивным письменным столом, стоявшим ближе к углу. А через весь кабинет, от двери и до противоположной стены, тянулся бесконечный, светлой полировки стол, обставленный с двух сторон ровными рядами стульев. Посредине стены — большие, похожие на вокзальные часы с черными цифрами и черными стрелками. А над креслом, в котором восседал Зубарев, почти под потолком торчал из стены внушительных размеров крюк — когда-то висел ленинский портрет. После того как Зубарев выступил с двухчасовым докладом к очередной годовщине революции и объяснил, что все ужасное пошло вовсе не от Сталина, а от Ленина и что было бы правильно — не только в силу вышеизложенного, но из соображений христианской гуманности — тело Ильича вынести из Мавзолея, захоронив в Ленинграде, рядом с матерью (тишина в набитом зале стояла мертвая), ленинский портрет убрали, но крюк, видать, вбитый на века, остался.

Войдя в кабинет, Вадим от двери громко поздоровался, получив в ответ хмурый кивок, лишь слегка одобренный кислой улыбкой. И то хлеб. Чаще всего улыбка, хотя бы кислая, отсутствовала вообще. Довольно долго Вадим думал, что это от природы, которой соответствует облик. Зубарев был жилист, высок, длиннорук и длинноног, лицо с выступающими скулами и глазами чуть-чуть навывкате напоминало религиозного фанатика, что дополнительно подчеркивала короткая, «тифозная» стрижка. В общем, из тех, кто горит, но не сдается. Потом Вадим решил, что это, скорее, не от природы, а от вечной занятости, неостановимой спешки. Нет просто времени пожать руку, только бы кивнуть и мчаться дальше. Вот сейчас времени чуть больше. И улыбка какая-никакая возникла.

Жестом предложив Вадиму сесть в кресло перед своим столом, Зубарев стал расспрашивать о делах в отделе. Вадим предвидел вопрос, подготовился, приводил цифры, перечислял заводы, с которыми уже есть контакты, установленные еще покойным Мадиевским, называл те, с которыми, по его мнению, следовало установить связи, объяснял, на какой стадии разработки у тех или иных сотрудников отдела, выделил Костика Батурина, а особенно Блажкова, после смерти Мадиевского по научному потенциалу это, пожалуй, у них фигура номер один, ему надо всячески помогать.

Вадим заметил, что Зубарев, до сих пор слушающий все с тем же хмурым выражением и глядевший не столько на него, сколько сквозь него, при этих словах о Блажкове сосредоточил взгляд на Вадиме, посмотрел с явным любопытством.

— Ну, а планы? — спросил он.

— О конкретных с ходу говорить трудно. Но если иметь в виду стратегическую, так сказать, задачу, то, мне кажется, надо идти по пути всемерного расширения хоздоговорных начал. И даже больше — выходить на рыночные отношения.

По тому, как оживились зубаревские глаза, Вадим понял, что попал в точку.

— Да! Да! Да! — трижды повторил Зубарев. — Рынок сейчас наше единственное спасение.

После этого он заговорил о значении рынка не только для деятельности Центра, но и вообще для выхода России из тупика, о Горбачеве, который своим желанием усидеть на двух стульях может загубить все. Вспоминал реформы начала века, попытки Петра Аркадьевича Столыпина, обрушивался на твердолобое, безум-

ное доктринерство вождей Октября, отметил неслучайность некоторых шагов Хрущева и Косыгина.

Вадиму нравилось, как говорит Зубарев, спокойно развивает мысль, не спеша нанизывает факты на факты. Вадим и на собраниях, когда выступал генеральный, садился в первых рядах. Хотел видеть глаза. Во время выступлений, да и вот сейчас из них, как ни странно, уходил фанатизм, хотя, казалось, все должно быть наоборот. И тогда, когда говорил о Ленине, и вот теперь из его глаз исчезали высокомерие, холодность, металлический блеск. Вадим понял, что он вовсе не навязывает свою мысль, а пытается как можно лучше растолковать ее, приглашает совместно поразмышлять. Он вовсе не требует вынести немедленно Ленина из Мавзолея, но предлагает подумать: нравственно ли выставлять мертвое тело на всеобщее глазение, да еще вопреки воле покойного и его близких?

Но странно, как раз в те минуты, когда Таранов чувствовал вдруг обаяние Зубарева, у него всегда возникал вопрос: а как он с бабами? Известно было, что у генерального довольно молодая вторая жена. А первая бросила. Именно так: она бросила, а не он. И ребенок от второго брака, мальчик лет двенадцати или тринадцати. Почему-то Вадиму думалось, что в отношениях с женщинами у Зубарева все истово и высокоморально.

Внезапно увлекшись размышлениями о рынке, Зубарев так же внезапно их оборвал.

— А что с вашими собственными научными планами? — спросил он. — Я слышал... пока не очень клеится.

«Сука Блажков, настучал-таки».

— Не знаю, Андрей Валерьянович, откуда у вас такая информация, — сказал Вадим сухо. — Да, административные заботы последних месяцев несколько замедлили процесс. Но при этом я не распространялся о сути эксперимента, и делал это сознательно. Видите ли, я бы и сейчас не стал об этом говорить, следуя присловью моей покойной бабки: «Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати».

Зубарев неожиданно хмыкнул. Таранов тоже улыбнулся, но по-прежнему сдержанно.

— Меня вынуждают сказать вам, лично вам то, о чем бы я пока не хотел говорить, дошедшие до вас слухи, весьма странные, будто у меня что-то не клеится. Дело в том, что в ходе экспериментов последнего года мною получен, хотя этим, повторяю, пока ни с кем не делился, исключительный результат. Возможно, получен по чистому наитию. Я и сам, — Вадим потупился, — пока не могу найти этому теоретическое обоснование. Но эффект совершенно неожиданный. Переворот в нашем деле. Однако нужна еще одна основательная проверка. Этого требует научная добросовестность. Если бы не болезнь Станислава Генриховича, я бы все завершил. Суть в том, — он на секунду остановился, как бы в сомнениях, сказать или еще рано, но все же решился, вернее, вынужден сказать под влиянием возникших обстоятельств, — что некоторые стали, пока умолчу, какие, могут в определенных средах сопротивляться коррозионной активности, по самым грубым подсчетам, как минимум, лет пятнадцать, а то и все двадцать. Вместо обычных шести — восьми месяцев.

— Ну, Вадим Юрьевич, это какая-то лысенковщина.

— Нет, Андрей Валерьянович, нет, — без страха глядя в холодные глаза Зубарева, тихо и твердо отчеканил Вадим, — не лысенковщина.

Видимо, эта твердость заинтересовала Зубарева, во всяком случае, Вадим увидел, что вторично за сегодняшний разговор генеральный взглянул на него с любопытством.

— Ну, что ж, посмотрим, — сказал Зубарев. — Буду с вами откровенен. Стоит вопрос о заведовании отделом. За время болезни профессора Мадиевского вы себя неплохо показали, но это ничего не решает. Я беседовал с членами ученого совета, своими замами, мнения разделились между Блажковым и вами. За Блажковым опыт, научный авторитет. За вами — молодость и, кажется, напористость, сегодня это очень важно. Впрочем, у Блажкова тоже есть энергия. Единственное, что я могу пообещать: рвать будем принципиально. Руководствуясь суубо деловыми соображениями. Всякие иные соображения в кадровых вопросах давно пора отбросить.

— Именно такой подход меня вполне устраивает.

— Вот и отлично. — Поднявшись с кресла, Зубарев протянул через стол руку тоже подымающемуся Вадиму. — Как это... не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати... Метко!

В последующие несколько дней Таранов с утра и до вечера пропадал в лаборатории. Монтировал установку, советовался с механиком, ругался со слесарями, требовавшими за все спирта (а он и сам его экономил, чтобы отлить домой, настаивал, разведя, на лимонных корочках, готовил «клюковку», возил отцу и сестре в Коломну). Обнимая за плечи, нечаянно касаясь, одаривая щедрой улыбкой, давал указания Лере, подбирая с ней образцы, составлял раствор. Она то и дело смеялась лошадиным смехом, но исполняла все толково и проворно.

Вадим давно не испытывал такого рабочего подъема. Все славно ладилось, не мешала ни жара, ни подозрительные взгляды Блажкова, на которые он отвечал открытой, располагающей улыбкой. О том, как решится вопрос с заводованием, старался не думать, просто гнал эти мысли от себя. А вечерами Вадим приходил домой с приятным чувством честно заработанной усталости. Возился с Лелькой, поднимали дом вверх дном, ночью обнимал разомлевшую от духоты Иришку и засыпал глубоким, праведным сном.

Но вдруг позвонила Марина, сказала: только что закончилась дирекция, сидели долго, что обсуждали, не знает, но после дирекции Зубарев на шестнадцать вызвал Блажкова.

— Заметь, его одного. Я даже спросила: больше никого не надо? Сказал: не надо. — Голос у нее был приглушенный, видно, закрывала трубку рукой. — Это может ничего не значить, но ты имей в виду.

«Все! Конец!» — похолодел Вадим.

Он заметался: что делать? Что делать? Единственное спасение — звонить Кларке. Но решил подождать Блажкова. Тот, сидевший в лаборатории у своей установки, действительно около четырех часов поднялся и исчез.

Вадим не находил себе места, ни на чем не мог сосредоточиться.

Блажков скоро вернулся. Он явно пребывал в прекрасном расположении духа и, что уж совершенно удивительно, проходя к своей установке, напевал под нос: «Сердце красавицы склонно к измене». Подобного в отделе никто никогда не слышал. Остановившись за спиной Таранова, который делал вид, что внимательно изучает показания приборов, Блажков ласково спросил:

— Как дела, Вадик?

— На редкость хорошо, Роман Петрович, — не оборачиваясь, бодро ответил Таранов.

— Ну-ну, — и Блажков пошел дальше.

Вадим тут же позвонил Кларе, разыскал ее на работе, сказал, что вечером придет.

Но и Клара ничего не могла придумать.

Он рассказал ей о событиях последних дней: похоронах Мадиевского, о том, как все удачно получилось с его слезами у гроба, как вовремя ввернул на поминках о звонке Зубарева. Упомянул и о том, что посетил Антонину Глебовну, заметив, что она безутешна. Клара, сузив глазки за выпуклыми стеклами очков, мгновенно спросила с холодной усмешкой:

— Бедная вдова не искала утешения с тобой?

— Ты что говоришь? — закипятился Вадим, как всегда, поражаясь Кларке. — Ну, сама подумай: что ты говоришь?

— А чего ты так разволновался? Знаем мы этих сирых вдовушек. Такой хорошенький пай-мальчик, готов услужить. Почему бы не положить головку на плечо?.. Смотри, Вадюшечка, если что, — она, рассмеявшись, слегка сдавила полноватыми пальцами его горло, — душу.

У Вадима во рту пересохло. По тому, как сдавила, понял — удушит.

Тут же и решил не рассказывать о тетрадке Мадиевского. Что-то подсказывало: лучше умолчать, не говорить даже Кларе. Особенно после слов о том, что удушит. Да и она же сама его учила никогда ни с кем не делиться, любила повторять строчки Шекспира: «Тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один из них ее не знает».

Но все-таки о том, что было в тетради, пришлось упомянуть, естественно, о самой тетради ни слова. Когда рассказывал о встрече с Зубаревым. Понимал: в этом рассказе ничего нельзя опустить, важны все подробности. Поэтому рассказал и о том, каким образом убеждал Зубарева, что его тема в порядке.

— Ты о чем? — удивилась Клара. — Это не блеф?

— Да ты что. Я это обнаружил примерно с полгода. Но никому не говорил, даже

Мадиевскому. Понимаешь, уж очень удивительно. Исключительный эффект. Я этого пока и объяснить не могу. Поэтому хотелось еще раз проверить. А времени не было.

Клара по-прежнему смотрела с удивлением, будто увидев в нем что-то новое, к чему привыкнуть сразу нельзя.

— Так это же прекрасно! — сказала она. — Только ты, пожалуй, поспешил все выложить. Надо было потемнить. Попродержать для нужной минуты... А что дальше?

Вадим рассказал о финале разговора, обещании принципиально подойти к выбору между ним и Блажковым.

— И что ты предпринял?

Вадим пожал плечами.

— Зарылся в эксперимент. Я же сказал: хотелось иметь окончательные данные.

— Нашел время. Тебе надо было срочно искать ходатаев. Хотя бы Таубе с Батуриным. Склонить Адорьянца, Жанну, кого угодно. А еще лучше — из других отделов. Ты же все пустил на самотек.

А когда Вадим рассказал о сегодняшнем вызове Блажкова и его веселом настроении, Клара всплеснула руками:

— Ох, как скверно!

Вадим растерянно смотрел на нее.

— Бедненький мой, — ласково сказала она. — Бедненький мой малыш. Не расстраивайся, еще не вечер, мальчик мой, уладится... Уладится, уладится, — все жарче и жарче шептала она.

После они молча лежали рядом.

— Нет, не знаю, — вымолвила Клара. — Не знаю, что придумать... А этот твой эксперимент, в который ты зарылся, он что?

— Данные предварительные, эксперимент еще идет. Но пока все подтверждается. Не сомневаюсь, что его выводы правильные.

— Чьи — его?

— Ну, чьи? Эксперимента... Мои, мои выводы.

Клара помолчала, лежа с закрытыми глазами, потом приподнялась на локте, посмотрела на Вадима.

— Попробуй завтра попасть к Зубареву. Перед тем выясни у этой своей Марины, не готовят ли уже приказ. Но все равно попробуй. Особенно, конечно, не ломись, держись достойно. А состоится разговор, скажи, что эксперимент подтверждает прежние показания. Объясни суть, увлеку. Скажи, что деятельность отдела надо немедленно перестроить, подчинив внедрению открытия. А может, и всего Центра. Если... Если открытие действительно того стоит. Все-таки это козырь. Правда, я опасуюсь, что сейчас нам нужен не просто козырь, а козырной туз. Но ведь его нет у нас на руках?

Вадим тупо смотрел на расставленных за стеклами серванта расписных дымковских барышень, кавалеров с гармошкой, на свистульки в виде зверья и уныло думал, что козырного туза на руках нет.

Утром на работе он сразу же позвонил Марине, спросил, не было ли указания готовить приказ на заводском.

— Ой, Вадичка, нет! Но чувствует, чувствует мое сердце что-то нехорошее.

Она сказала, что Зубарев будет в десять, за ним только что послали машину.

Вадим пошел в лабораторию и убедился, что эксперимент протекает нормально. Покалякал с Костином, очень похвалил его новую статью в реферативном журнале. Заливаясь краской, Костик сказал:

— С-спасибо, ста-аричок, мне эта ста-атья оч-чень д-дорога.

Поговорил с Таубе о внучке, Марк Семенович сокрушался: вывели в Малаховку, а там то ли пыльца какая, то ли еще что, опять пошла сыпью. Вадим посочувствовал, спросил, не нужны ли лекарства, у него есть кое-какие каналы.

— Да все уже перепробовали, — в отчаянии сказал Таубе. — Но спасибо вам, дорогой. Если что, обращайся.

Потом он перекинулся несколькими словами с Адорьянцем о политике, упомянув события в Нагорном Карабахе, и с Жанной Алексеевной — о том, где же это ей удалось достать творог в пачках, она как раз укладывала в холодильник, стоящий в коридоре. Выслушал сопровождавшееся тяжелой одышкой повествова-

ние о том, как сначала она зашла в «Продукты», там, на углу, недалеко от моста, потом в «Универсам», потом в «Молоко», нигде ничего, и вдруг в «Диете» вынесли, «я оказалась одной из первых». Глаза Жанны Алексеевны светились, а Вадим думал: «Эх, милая, мне бы твои радости».

Хотел он подойти и к Блажкову, спросить, как делишки, Роман Петрович, но, видя перед собой его тяжелую, лобастую голову, не смог себя пересилить, не подошел.

В первые минуты одиннадцатого Таранов с бьющимся сердцем вошел в зубаревский предбанник, положил на угол Марининого стола маленькую шоколадку «Mars», за которую лотошный «чурка» содрал бешеные деньги.

— Ой, Вадичка, не ходи! — предупредила Марина. — В ужасном настроении. У него же сын болен. Желтуха. Уже четвертый день в больнице, а билирубин не падает.

Вадим слушал, не очень понимая, о чем речь.

— Какой билирубин?

— Это что-то в крови. Кажется, то, что дает желтизну. А может, я путаю. В общем, по нему определяют течение болезни... Сказал, никого сегодня не принимать. Будет работать с документами для Совмина, а потом в больницу, к врачам. О приказе пока ни слова. И кадровика не вызывал.

— Может, по телефону?

— Нет, по телефону он такие вопросы не решает.

Вадим чувствовал, что почва ускользает из-под ног. Возвращаясь в отдел, увидел приоткрытую дверь кабинета Мадиевского. Зашел, молча постоял. Из коридора донесся крик Пашуни: «Вадим Юрьевич, телефон! Тара-анов, к местному!»

Из проходной звонил Колюня Вахонин, Колун, однокурсник, вместе жили в общежитии, работал на номерном заводе (теперь называется то ли «Салют», то ли «Прогресс»), готовил диссертацию, эксперименты по теме ставил с его, Таранова, подачи у них в лаборатории.

Вадим заказал пропуск, через несколько минут появился Колюня.

— Отчего у нас такой мрак на лице? — спросил он жизнерадостно.

Вадим вяло махнул рукой.

— Но! Но! Но! Ты это брось! Пойдем выйдем.

Они вышли в коридор, стали у окна, сверху был виден большой двор, залитый асфальтом, чахлые деревца, медленно, с подвыванием двигавшийся самосвал.

— Так о чем спич?

Вадиму не хотелось рассказывать, вернее, он не знал, нужно ли рассказывать, молот какую-то чушь: ничего особенного, сплошная ерундистика. Но потом вдруг горячо и торопливо поведал всю историю с открывшейся вакансией на место зава, вроде все шло более или менее гладко, а теперь горит синим пламенем, даже не смог прорваться к генеральному. У них, видите ли, сынуля болеет.

— Да-а, — протянул Колюня. — А чем сын-то болен?

— Желтухой. Билирубин не падает уже четвертый день.

— Желтухой, — повторил Колюня и внезапно оживился: — Желтухой?!

— Ну да, желтухой, — удивился его оживлению Вадим.

— Так ведь желтухой же! — воскликнул Колюня с такой радостью, будто нет в жизни большего удовольствия, чем болеть желтухой.

— Ну и что? — не понимал Вадим.

— Ты не помнишь Гришу Огурцова? Жил в соседней комнате с Аркашкой Париным и еще с кем-то. Двумя ногами сразу впрыгивал с кровати в брюки. Помнишь, у него тоже была желтуха?

— Да-да-да, — произнес Вадим, еще ничего не вспомнив, но чувствуя, как что-то все-таки проскрывается.

— Совсем загибался парень. Не знали, что делать. А тут ко мне бабенка приехала из деревни. Помнишь, Маруся, доярка, ох, ядреная, еле умещались на одной койке. Она-то и сказала, чем в деревне спасались от желтухи. Народная медицина. Ну, ну, вспоминаешь? И Гришку спасли, тут же пошел на поправку.

Вадим силился вспомнить, что-то смутное закипало в голове. И вдруг хлопнул себя по лбу:

— Вошь!..

— Ну да! Ну да! — приседая и шлепая себя по ляжкам, залился Колюня счастливым смехом. — Живая вошь! Надо ее проглотить. Она что-то там чистит.

Эффект стопроцентный. Я ездил раздобывать этих тварей в какой-то институт, дегазации, что ли... нет, дезинфекции. Где-то в Кунцеве.

Вадим кивал головой, еще не очень соображая, как это все можно обернуть, но уже чувствовал — теплеет!

Колюня посерьезнел.

— В общем, так. Ты сейчас двигаешь к генеральному. Прорываешься любым способом и предлагаешь услуги. А я ищу в записной книжке телефон этого чертова института.

Входя в зубаревские владения, Вадим был полон решимости.

Марина, печатавшая на машинке, подняла голову, удивленно посмотрела на него.

— Вадичка, ты опять, — сочувственно начала она, — но я же...

— Нужно! — перебил он ее. — Вот так нужно!

Он резанул рукой у горла.

Марина замахала руками.

— Что ты! Что ты! Поверь мне, только навредишь.

Он наклонился к ней и почти прошипел:

— Скажи: Таранов, ровно на одну минуту! Придумай, что хочешь. Уговори.

Она растерянно пожала плечами, поднялась из-за стола.

— Ну, попробую.

Марина долго отсутствовала, а когда вышла, заведя многозначительно глаза, покачала головой и громко сказала:

— Проходите, Вадим Юрьевич.

Прикрыв за собой дверь, Вадим поздоровался, увидев хмурый, тяжелый взгляд Зубарева. Едва кивнув, генеральный заговорил:

— Мы еще не приняли окончательного решения. Но все склоняется в пользу Блажкова. Его научный авторитет, достаточно солидный опыт отбросить нельзя. Поработайте пока его заместителем, а там посмотрим. Наверное, это будет самое принципиальное, как мы и договорились, решение. Еще раз взвесим, но решать, скорее всего, будем именно так.

Зубарев умолк, холодно глядя на Таранова, но тут же добавил:

— Вот все!

Вадим не перебивал его. Но как только генеральный произнес последние слова, сказал:

— Андрей Валерьянович, я не о себе. Совсем по другому поводу.

И махнул рукой, как бы отменяя себя в сторону.

Зубарев приподнял голову, удивленно посмотрел на Вадима.

— У вас, кажется, сын болеет желтухой? — как можно мягче, сочувственнее спросил Вадим.

То, что он увидел в следующее мгновение, потрясло его. Втолько что холодных, жестких, безжалостных глазах Зубарева появилась такая боль, какая, казалось, в его глазах просто не может возникнуть.

— Да, — сказал Зубарев, — а в чем дело?

— Видите ли, я вспомнил, у нас в студенческие годы в общежитии тоже болел желтухой один малый. Просто загибался. Ничего не помогало, — Вадим сделал паузу, обдумывая, сказать или не сказать, и решил сказать, хуже не будет. — В общем, умирал.

Тут же Таранов отметил, что по лицу генерального скользнула тень.

— И вот мои коломенские, я из Коломны, рассказали мне, как издавна спасаются в деревне от желтухи.

— Как? — не спросил, а почти крикнул Зубарев.

— Надо глотать живую вошь!

Зубарев мгновенно оживился.

— И я, я тоже это слышал! Но не верил, думал, болтовня.

— Да что вы! — воскликнул Вадим. — Мы же спасли парня... Я достал этих паразитов в одном институте, где-то в Кунцеве...

Но Зубарев перебил:

— Вадим Юрьевич, Вадик («Ого!» — отметил Таранов), я вас прошу, умоляю, сделайте все возможное! Мой Антон — для меня все! Понимаете, поздний ребенок. И все такое...

Вадим быстро кивал головой: как, как не понять?

Зубарев что-то стремительно начеркал на маленьком листке, протянул Вадиму.

— Вот телефон лечащего врача. На всякий случай проконсультируйтесь. И если он даст «добро», прошу вас, не теряйте времени.

— Ни одной секунды, Андрей Валерьянович. Я же понимаю — сын.

Зубарев проводил его до самой двери, мягко пожал руку. На прощание, заглядывая Вадиму в глаза, произнес:

— Я надеюсь.

Вадим вышел из кабинета с озабоченным выражением лица.

— Что? — испуганно спросила Марина.

Вадим сначала ничего не ответил. Но потом с таинственным видом произнес только одно:

— Тс-с!..

Марина расширила глаза. А Вадим приблизился к ней, приложил палец к губам, повторил:

— Тс-с!..

И выскочил из предбанника.

Когда он вернулся, Колноня по-прежнему ждал в коридоре у окна. Увидев Вадима, сразу же рассмеялся быстрым, дробным, как автоматная очередь, смехом, обнажив ровный ряд зубов

— Ключнул, да? Ключнул! — он опять захопал себя по ляжкам.

Вадим только кивнул, хотя на лице у него, наверное, написано было многое. Иначе бы Колун так не обрадовался. Он продиктовал телефон («Если, конечно, не изменился») института, в котором когда-то добывал вшей, назвал некую, как помнится, полногрудую даму, Эльзу Асхатовну («Если, конечно, еще работает») и, ткнув его в плечо, отправился в лабораторию.

Из кабинета Станислава Генриховича, чтобы избежать посторонних ушей, Вадим тут же позвонил в больницу лечащему врачу. Тот сказал, что тоже слышал о таком методе лечения гепатита, у них даже на лекциях в институте что-то говорилось, кажется, есть упоминания чуть ли не в древнегреческих источниках. Вообще время от времени всем показано чистить печень, а эти паразиты — великолепные чистильщики. «Давайте попробуем», — заключил он.

Вадим тут же позвонил в этот самый, то ли дезинфекционный, то ли санитарно-гигиенический институт. И телефон, слава Богу, не изменился, и Эльза Асхатовна, дай ей Бог здоровья, оказалась на месте. Он напомнил, как лет десять назад брали у нее вошек, спасли тогда однокурсника от желтухи, и вот теперь такая же история с тринадцатилетним мальчиком, нельзя ли помочь?

Эльза Асхатовна красивым грудным голосом сообщила следующее: она помнит ту давнюю историю, приезжал такой крепкий мальчик в тенниске, хорошо улыбался, добавила, что было и еще несколько случаев, когда к ним обращались с подобной просьбой.

— Конечно, приезжайте, лучше до обеда. После обеда у нас ученый совет, неизвестно, когда кончится.

Вадим сказал, что немедленно приедет, записал адрес, действительно в Кунцеве, номер комнаты и, поблагодарив, повесил трубку.

От того, как все удачно складывалось, захватывало дух. Просто не верилось. Хотелось ушипнуть себя.

Времени было в обрез, и все-таки он набрал Кларкин телефон на работе. Когда она подняла трубку, чуть не закричал:

— Клариче, ты не представляешь! Кажется, у меня не просто козыри в руках, а самый настоящий козырной туз.

— Малыш, быть не может!

— Да! Да!

— Ты спешишь?

— Ужасно.

— Расскажешь потом. Я рада за тебя, малыш. Дай-то Бог!

Он выскочил из кабинета, подумав на ходу о том, что если займет его, то обязательно повесит на стене большой портрет Мадиевского, подхватил в отделе

«дипломат», заглянув в лабораторию, увидел, что все, в основном, здесь, включая Блажкова. Из двери, не заходя, прокричал:

— Леруся, дорогая, ты там проследи за всем. А я до конца дня по заданию Зубарева.

Возле метро он купил у седенькой опрятной старушки в выцветшем, похожем на халат платье коробку конфет. Старушка хоть и напоминала «божий одуванчик», но слабым голосом заломила отнюдь не божескую цену. Однако торговаться не было времени.

В этот сравнительно короткий промежуток дня, между утренним «часом пик» и нарастающим к полудню потоком пассажиров, вагоны метро не были переполнены. Вадим почувствовал облегчение, опустившись на прохладный кожаный диван. До сих пор все бежало само собой, с утра в сплошной суматохе, на нерве, ни секунды, чтобы остановиться, задуматься. Но теперь, чем ближе подвозило его метро туда, откуда надо было забрать спасительных паразитов, тем он явственнее ощущал, как подкатывает омерзение. Может, оттого, что вшей никогда не видел. Баба Таля страдала ими, приучая к мытью, чистотелости, и нередко быстрыми пальцами на всякий случай перебирала волосики на его головке. Иногда то отец, то мать вспоминали со смехом, как им в детстве во время войны вычесывали из головы вшей очень частым гребнем. Еще о тифозных вшах во время гражданской войны он читал в учебниках истории, что-то вроде того: или социализм победит вшу, или вша победит социализм. И теперь от мысли о встрече с ними вживую его мутило.

В светлое современное здание из бетона и стекла Вадим входил, ощущая ватность в ногах. И сразу же в нос ударил сладковатый запах, смесь спирта, йода, хлороформа, чего-то еще. Вообще к запахам Вадим был привычен, в химии без них не обойтись, у них в лаборатории тоже далеко не озон. Но здесь совсем другое, какая-то дурманящая приторность.

И пока тонконогая девица в белом халате, наверное, лаборантка, у которой он спросил, как пройти, вела через коридоры и лестницы, этот запах преследовал его. Но к нему прибавилось отчетливое, доносившееся со всех сторон, безостановочное шуршание. Казалось, шуршит все здание. В боксах, отсеках за прозрачными перегородками стояли на стеллажах банки с тараканами, маленькими, большими, черными, рыжими, с усиками и с усищами. Какая-то бабка, тоже в халате, сидела на выкрашенном, белом табурете и, держа на коленях большой эмалированный таз, наполненный тараканами, раскладывала их пинцетом по банкам. Тараканы сутились, поднимались к краю таза, но почему-то соскальзывали обратно. Вадим не выдержал, остановился, замороженно уставился на таз. Девица рассмеялась.

— Сортировка, — объяснила она. — А края таза смазаны вазелином. Они доползают до края и — все, скользко.

Вадим и девица шли дальше, она говорила: вот в этих банках с водой, затынутых марлей, комариные мальки, а здесь, в клетках, белые мыши, на них высаживают клещей, это особенно важно для охраны таежных жителей. Вадим вдыхал запах и чувствовал, что его не перестает мутить. «За что? За что?» — спрашивал он себя.

Наконец девица открыла дверь, за ней тоже был бокс с термостатами, часть его отгорожена высоким шкафом.

— Эльза Асхатовна! — крикнула девица, впуская его в дверь. — К вам посетитель.

Девица исчезла, а из-за шкафа вышла полнотелая и действительно с большим, колыхающимся бюстом женщина. Она приветливо улыбалась глазами с легким намеком на раскосость.

— Это вы звонили?

Вадим кивнул.

— Подождите одну минутку.

Она опять скрылась за шкафом, а когда вышла, то несла в руках две стеклянные чашечки с невысокими краями, вроде розеток для варенья, на дне каждой лежал лоскутик ворсистой ткани.

— Вот то, что вам нужно. Посмотрите.

Он наклонился к розеткам, присмотрелся и увидел на лоскутике маленьких, серовато-прозрачных, почти неподвижных тварей.

— Те, что побольше, вши, а маленькие — гнидки. Правда, славные?

— Правда, — сказал Вадим, чувствуя, что впадает в полубоморочное состояние.

— Сейчас я вам отсыплю, — сказала Эльза Асхатовна.

Она вынула из кармана халата пробирку и довольно ловко, без потерь ссыпала в нее паразитов, при этом быстро считая.

— Ну, хватит. Тут шгук двадцать пять. Это, кстати говоря, лучшие, элитные экземпляры.

«Элитные», — повторил про себя Вадим.

Эльза Асхатовна заткнула пробирку ваткой и передала Вадиму.

— А вы знаете, как с ними обращаться?

Вадим замялся:

— Да как-то запамятовал...

— Их надо обязательно кормить. Не реже одного раза в сутки. Придете домой, обязательно покормите. Каждую посадить на руку, а лучше сюда, — она показала на свои скрытые халатом ляжки. — Должны напиться крови, пока не отвалятся. У нас есть специальные доноры, здоровые, не пьющие, без наследственности, они проверяются. Мы им платим. Кровь должна быть чистой. Иначе смазывается картина эксперимента. А ведь сейчас опять остро встают проблемы педиккулеза, ну, овшивения. Не дай Бог, сыпняк... Вы поняли?

Вадим кивнул, чувствуя, что мутит все больше и больше, как бы не вывернуло. Он ощущал зуд, ему хотелось почесаться. «За что? — снова спрашивал он себя. — За что?»

— А в вашем случае, — продолжала Эльза Асхатовна, — кровь тем более должна быть чистой... Вы помните, как их принимать?.. Делается хлебный катыш, такой шарик, в него помещается один экземпляр. Только из хлеба, хлеб дышит, тем самым внутри катыша сохраняется жизнь. Прием из расчета одного катыша на пятнадцать килограммов веса, четыре-пять раз в день. Ну, об этом вы посоветуетесь с врачом.

Он осторожно поставил пробирку в «дипломат», протянул Эльзе Асхатовне коробку конфет.

— Что вы, что вы, — смутилась она. — Это совершенно лишнее.

В конце концов она взяла конфеты, а он не закрыл «дипломат», достал из него одеколон и виновато спросил:

— Вы позволите?

— Конечно, — рассмеялась она.

Вадим набрал в горсть душистой влаги, тщательно обтер руки, пальцы, потом набрал еще горсть, прошелся по лицу, усам, бороде, шее. Спрятав одеколон, поблагодарил Эльзу Асхатовну, которая уже пошла за шкаф, попрощался.

— Желаю успеха! — крикнула она из-за шкафа.

...Вадим ехал домой в теперь уже переполненном метро. Три пересадки, и на каждой линии вагоны битком. Москвичи, приезжие, с авоськами, мешками, просто сумками и сумками-тележками, бившими всех по ногам, согбенные старушки с поджатыми губами и насупленно-суровые, крепкие мужики, целое среднеазиатское семейство: бабушки, дедушки, взрослые и малые дети с темно-коричневыми, будто слегка припудренными, спокойными лицами, молодые люди в белых кроссовках, с сумками «adidas» или «rumba» через плечо, это великое братство добытчиков, доставал растекалось по огромному, сумасшедшему, замусоренному городу в поисках товаров, каких угодно, но главным образом, конечно, съестных. Только у стайки пожилых, с сединой, но розовеньких, приветливо улыбающихся, оглядывающихся по сторонам, громко переговаривающихся иностранных туристов с фотоаппаратами и видеокамерами отсутствовала на лицах озабоченность. А озабоченное братство смотрело на них по-разному: кто — хмуро, с неприязнью, даже с еле сдерживаемым желанием задратья, а кто — с усталым безразличием. И хотя от сомкнутых тел веяло горячим, потным духом, хотя перекрикивались иностранцы и гремел поезд, Вадим по-прежнему чувствовал приторный запах, а в ушах продолжалось шуршание. Постоянная мысль о пробирке в «дипломате», который он охранял оттолчков, держа так, словно вез взрывное устройство, наверное, не давала выветриться недавним запахам и звукам.

В переходе под Дмитровским шоссе гармонист пел все ту же песню о вековой липе. Вокруг стояли люди, главным образом женщины, некоторые, заметил торо-

пившийся Вадим, украдкой вытирали слезы. Уже поднимаясь по лестнице, слышал, как гремела мелочь о дно консервной банки.

Придя домой, он достал из «дипломата» пробирку, посмотрел на свет, увидел на дне маленькую серую кучку. Его передернуло. Как же их отсюда достать? Просто всех высыпать на ляжку? А вдруг разбегутся? Попробуй потом собери. Посмотрел на сервант, увидел за стеклом тоненькие ликерные рюмочки. Вадим взял одну из них и аккуратно пересыпал туда вшей из пробирки. Затем, спустив брюки, сел на стул, чувствуя, что его слегка трясет, закрыл глаза, сидел некоторое время неподвижно. Наконец решительно взял рюмочку, часть содержимого высыпал на левую ляжку, часть — на правую. Вши немного поползали меж редких, золотистых, почти пушок, волос, а потом замерли.

И тут Вадим увидел, что эти поганые, серые, полупрозрачные тварьки на глазах стали чернеть, поднимаются все выше и выше свои задки, становились чуть ли не на голову, а потом мгновенно опадали и замирали. Он понял, что они чернеют от его крови. А когда пгнял это, то опять ощутил приступ тошноты.

Но все-таки Таранов взял себя в руки. Собрал отобедавших в рюмку, а оттуда высыпал в пробирку, заткнул ее ваткой и поставил в «дипломат». После этого бросился под душ, особенно тщательно тер, скреб свои ляжки. А когда вышел из ванной, тут же позвонил Арсению Николаевичу, лечащему врачу, сказал, что у него все готово. Решили начинать немедленно. Договорились так: Вадим подъедет к четверем, как раз придут практиканты из медучилища, Арсений Николаевич их будет встречать, Вадим смешается с ними и пройдет в палату к Антону Зубареву, больница инфекционная, так просто не пускают.

— А я сам у вас там ничего не подхвачу? — с деланным испугом спросил Вадим, хотя на самом деле побаивался. В какой уж раз ощущая брезгливость, подумал: «Господи, зачем все это?»

— Не волнуйтесь, — усмехнулся Арсений Николаевич, — все будет в порядке. Только заранее приготовьте экземпляры.

Вадим нашел старую коробку от скрепок, бросил ее тоже в «дипломат», открыл хлебницу и, чертыхнувшись, обнаружил лишь маленький черствый кусок черного хлеба. Пришлось по дороге забежать в булочную — купил городскую булку.

Он опять тащился на другой конец города. Больница находилась на окраине, почти у кольцевой дороги. Вадим рассчитывал приехать минуль за пятнадцать — двадцать до встречи, а приехал, когда до четырех оставалось три-четыре минуты. В просторной проходной уже галдели мальчишки и девочки в белых халатах, тут же, у окошка, толпились родственники с передачами.

Вадим в отчаянии оглядывался, отыскивая укромный уголок, в конце концов протиснулся к окну, поставил на подоконник «дипломат», достал булку. Он кромсал ее, извлекая мягкость. Потом вынул из «дипломата» пробирку. Стараясь прикрыть ее собой, осторожно высыпал одну вошь на мякиш и стал скатывать из него шарик. Но хлеб крошился, разваливался, надо было брать черный, более клейкий, а не белый. Не раздумывая, Вадим послунывил хлеб, только тогда он легко превратился в катыш, положил его в картонную коробку. Таким же образом он изготовил еще три катыша, решив, что на сегодня этого хватит. Хорошо, лечащий немного опоздал. Вадим как раз закончил, уже спрятал пробирку и остатки булки в «дипломат», оставил в руке лишь коробочку, когда услышал за спиной ребячьи голоса: «Здравствуйте, Арсений Николаевич».

Высокий, в белом халате и белой, похожей на поварской колпак шапочке, не без лихости сдвинутой на лоб, довольно молодой, его примерно возраста, врач сразу угадал Вадима.

Вместе с шумной стайкой практикантов они прошли в больницу мимо сидевшей у двери на стуле — почему-то, несмотря на жару, в темно-синем ватнике — сонной дежурной.

— Сколько у вас этих, — Арсений Николаевич запнулся, — ну, «таблеток»?

— Четыре.

— Давайте посчитаем. Две сегодня, сейчас и вечером, одну на утро. А дальше нужны свеженькие. Вы привезете?

— Разумеется.

— Тогда одна лишняя. Дайте мне.

Вадим протянул коробочку, доктор взял один катыш и быстро заглотнул. «Лихо», — подумал Вадим.

— Я же говорил, это полезно всем, — сказал Арсений Николаевич.

Он повел Вадима в палату, где лежал зубаревский сын. У дверей остановился.

— Хочу вам объяснить, почему я не сам передаю больному Зубареву вот это, — он кивнул на коробочку, которую Вадим держал в руке. — Все же не лекарство, утвержденное Минздравом. Вы понимаете?

— Конечно, — сказал Вадим, а про себя подумал: «Все правильно. Он и так рискует».

Палатой оказался узкий, на одного человека бокс с большим окном, через которое светило яркое солнце. На высокой металлической кровати поверх одеяла, головой к окну, лежал, взбив подушки, худенький мальчик, совершенно желтый. Желтыми были длинные шея, которую открывал полукруглый вырез майки, торчащие из синих спортивных штанов ступни, лицо, даже белки глаз. Но это была не просто желтизна, а желтизна с каким-то серовато-восковым отливом. Опираясь локтем на подушку, мальчик держал в руке книгу. Стопка книг лежала и на тумбочке.

Когда Вадим вошел, Антон поднял глаза, вопросительно посмотрел на незнакомца.

— Здравствуй, Антон, — бодро произнес Вадим. — Меня зовут Вадим Юрьевич, а можно просто Вадим. Я работаю с твоим папой.

— А-а, — удивление исчезло из желтых, как у заядлых курильщиков, глаз мальчика, — папа мне написал в записке, что вы, возможно, привезете новое средство.

«Молодец папа», — подумал Вадим и сказал:

— Я и привез, — он показал коробочку. — Тут три хлебных шарика. Один надо проглотить сейчас, другой на ночь, перед сном, а третий утром.

Мальчик смотрел на шарики настороженно.

— А что там? — тихо спросил он, вообще говорил очень тихо.

Вадим хотел было чего-нибудь нагородить, что-то об измельченных лечебных травах, смешанных с хлебом, или еще какую белиберду, но, взглянув во внимательные, печальные глаза Антона, сказал:

— Там внутри живая вошка.

— Что это?

— Насекомое такое. Вообще-то противенькое. Но, знаешь, народная медицина утверждает, что замечательно очищает печень. Мы когда-то так вылечили от желтухи однокурсника, как рукой сняло, очень быстро.

Подумав, Антон сказал:

— Тогда я приму.

— Я дам тебе воды. Запьешь?

— Нет-нет, вам не надо, — сказал мальчик, спуская ноги на пол. — Это опасно. Я сам.

Он налил в стакан воду из графина, глотнул шарик, запил. Секунду постоял, потом опять лег в кровать.

— Может, поможет, — сказал Антон, улыбнувшись грустной, даже будто виноватой улыбкой.

А Вадим вдруг ощутил нечто совсем неожиданное. На него накатила волна жалости к этому тоненькому, чахлому стебельку. И еще странное он почувствовал, трудно объяснить — удовлетворение, что ли? Вот оттого, что помогает мальчишке выкарабкаться.

— Поможет, конечно, поможет, — помахал Антону, тот в ответ слабо улыбнулся.

Снизу, из проходной, Вадим по автомату позвонил Марине, спросил, есть ли Зубарев. Та сказала, что нет и не будет. Тогда Вадим попросил домашний телефон.

— Что ты! — воскликнула она. — Не велел никому давать.

— Дай! — твердо сказал Таранов.

Видно, что-то в его голосе было такое, что заставило ее продиктовать телефон.

Вечером из дома он несколько раз звонил, но Зубарева не было. Дозвонился

лишь около двенадцати, рассказал, что отвез сыну первые шарики. Может, и не надо было звонить, не хвались, идучи на рать... Но уж очень хотелось.

— Я вам благодарен, — то ли просто устало, то ли даже суховато сказал Зубарев.

— Ну, еще рано.

— Я понимаю, — и Зубарев повесил трубку.

«Сука!» — подумал Вадим. Но раздражен был больше не Зубаревым, а собой. Нарушил Кларкину заповедь, засуетился.

На другой день утром, Иришка с Лелькой уже ушли, он, испытывая снова приступ тошноты, покормил на ляжках вшей, а после этого приготовил без спешки четыре аккуратных катышка с вошью внутри и, созвонившись с доктором, отправился в больницу. Арсений Николаевич встретил его в проходной, Вадим надел оставшийся у него халат, и они решительно прошли мимо дежурной.

Антон был так же тих, только сказал:

— Я неукоснительно принимаю, Вадим Юрьевич.

Таранов мысленно улыбнулся, странно было слышать это «неукоснительно» из уст мальчика.

В общем, все шло своим чередом, одно было неудачно. Сегодня пятница, завтра суббота, а ведь нужны анализы. Но Арсений Николаевич успокоил: сегодня уже сделали, причем он послал с пометкой «cito». Завтра лаборатория работает до часу, а он дежурит.

Поэтому в субботу Вадим с очередной порцией шариков приехал в больницу как раз к часу, чтобы уже знать результат. Встретивший его доктор сразу сообщил:

— Билирубин снизился. Правда, немного, на две единички. Но это впервые за все время.

Вадим почувствовал слабость во всем теле. Будто сбросил на помост огромную штангу, но пока еще шатает от недавнего напряжения. Мелькнуло: позвонить Зубареву. Но тут же решил: ни за что. И так узнает. А дальнейшее... А дальнейшее, гордо подумал Вадим, дело его совести.

В воскресенье Вадим поднялся спозаранку, девчонки спали, покормил окаянных тварей и повез катышки в больницу. Перед уходом разбудил жену и дочь. Всей семьей собирались сегодня в Коломну.

После больницы с Иришкой и Лелькой встретились на Казанском вокзале. Была утомительная дорога электричкой, а в Коломне еще трамваем. Но зато в доме, в котором прошла вся прежняя жизнь, расслабился. Вынес раскладушку в сад и дремал под раскидистой старой яблоней, слушал невнятные шорохи, шелест листвы. Лелька тискала кота, норовившего от нее смяться, возилась с дворовым, хвост кренделем, псом Абреком, он радостно повизгивал. Потом Вадим поговорил с отцом, который совсем стал плох глазами. Говорили все о том же: о ценах, Горбачеве и Ельцине и еще, что дом скоро, наверное, снесут, будут строить городские, панельные, вон наступают на поселок со всех сторон. Обедали окрошкой из ледяного кваса. Вадим привез спирту, да и у старшей сестры, всем семейством жившей с отцом, нашлась последняя отоваренная по талонам бутылка. Правда, Вадим почти не пил. Одну, из уважения к отцу, рюмочку. Но никто не неволил, знали, что Вадик водку не любит, да и вообще пьет мало. Может, оттого, что помнил, как отец в свои золотые годы зверел от рюмки. Только недавно, после смерти жены, поутих, а особенно как глаза стали слабеть. За обедом снова о политике, коммунистах и демократах, крикунах на митингах и съездах, о зарплате, пенсии и уличной беспардонной спекуляции. После обеда Вадим снова пошел под яблоню, проспал часа два.

И все равно, когда вернулись, уже к ночи, спящую Лельку нес на руках, лег в кровать и мгновенно заснул с ощущением душевного покоя, ведь все вроде бы прилично складывается.

Но под утро опять это ужасное: острая крысиная морда, вздрагивающий влажный носик обнюхивает большие хлебные шарики. И тут же его зубы, все как один, тыр-р-р... Он замычал во сне. Но при этом слышал, как мычит. И кто-то в ухо: «Ворот... Ворот...»

Вадим открыл глаза, увидел близко-близко лицо Иришки. Она толкала его в плечо и говорила:

— Переворот... Проснись, переворот.

Глаза газет

УКАЗ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА СССР

В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР на основании статьи 127⁷ Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19 августа 1991 года.

Вице-президент СССР Г.И. Янаев
18 августа 1991 года.

Заявление советского руководства

...В соответствии со статьей 127⁷ Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года.

...Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР)...

Г. Янаев
В. Павлов
О. Бакланов

18 августа 1991 года.

Из выступления Б.Н. Ельцина 19 августа на танке № 110 Таманской дивизии К гражданам России.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный Президент страны.

Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым, реакционным, антиконституционным переворотом.

При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в стране приобретает все более глубокий размах, необратимый характер. Народы России становятся хозяевами своей судьбы.

...Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Соответственно объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета.

...Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию...

Президент РСФСР Б.Н. Ельцин
Председатель СМ РСФСР И.С. Силаев

И.о. Председателя Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатов
19 августа, 12 час. 10 мин.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, 19 августа 1991 года

Вид боевых машин, занявших позицию возле пресс-центра МИД СССР, повышенные меры безопасности придали особый колорит первой пресс-конференции, проведенной вчера Государственным комитетом по чрезвычайному положению.

...По словам Г. Янаева, Михаил Сергеевич находится на отдыхе в Крыму. «Действительно, в эти годы он очень устал, и требуется какое-то время, чтобы он поправил здоровье... Мой друг Президент Горбачев будет в строю, и мы будем вместе работать».

...Распространенное заявление руководства РСФСР с призывом к всеобщей бессрочной забастовке Г. Янаев расценил как безответственное.

...Характеризуя принятые меры и ввод бронетехники в столицу, Б. Пуго отметил, что это сделано в целях предотвращения эксцессов и возможности жертв.

«Московская правда», 20 августа 1991

Понимаете ли вы, что сегодня вы совершили государственный переворот?

Вопрос на пресс-конференции корреспондента «Независимой газеты»

Татьяны Малкиной

Иришка толкала его в плечо и говорила:

— Переворот... Проснись, переворот.

Он еще не пришел в себя от сновидений, таращил глаза, не понимая.

— Какой переворот?

— Горбачева отстранили... Введено чрезвычайное положение... Передают по телевизору.

Иришка иногда включала — если Вадим спал, негромко — телевизор по утрам, поднималась рано: Лельку собрать, сготовить завтрак. Сейчас телевизор работал тоже не очень громко. Вадим прислушался, доносились отдельные слова. Но дело было не в словах. Его удивило другое, он не сразу понял: строгая монотонность голоса, какая ни по радио, ни по телевизору давно не звучала. Уже забыли о ней.

Вадим с безотчетным чувством пулей вылетел из постели. Воздев руки, потрясая ими в воздухе, сдавленно, чтобы не разбудить Лельку, которая, впрочем, уже потягивалась, но еще не открыла глаза, извергал — даже сам не ожидал — злобные выкрики:

— Ублюдки! Бляди! Суки!

— Ты что! — глядя на него, прошептала Иришка. — Лелька услышит.

Он не мог объяснить, только знал, что прав в своем озлоблении, и не мог остановиться.

Впрочем, нет, это только в первое мгновение он не понимал, откуда такой накал злости. А в следующее, лихорадочно обдумывая ситуацию, понял: все летит в тартарары. Возведенное им с такой мукой строение, и без того хлипкое, теперь рушится на глазах. Зубарева, конечно, заметут одним из первых. Сколько мотался за последнее время по границам, говорят, даже лечился там, а тут, как назло, на месте. Да еще бы: куда уедешь от большого сына? Но при этом Вадим чувствовал, что дело не только в Зубареве. Его планы относительно своего дела, кооператива или малого предприятия, все это теперь тоже на замочек. Может, для вида что-то будут разрешать, но на самом деле не дадут. Он так свыкся с этой своей мечтой, а теперь... Уже не вслух, а про себя повторял: «Ублюдки! Совки!»

Потом закричал Ирке в кухню, раздраженный телевизионной бубней:

— Да выключи ты это...

Но когда делал зарядку — девочки уже ушли, — врубил магнитофон на полную катушку. Лишь бы заглушить, не вспоминать эту телевизионную нудиловку. За окном был серенький день. Моросил дождь. Странно, вчера еще солнечно, тепло, а сейчас пасмурность.

Позвонил Кларе на работу, ее не было на месте, никто не отвечал.

Потом кормил вшей, их количество, казалось, не уменьшается. Наливались чернотой, поднимая задницы, а его охватывал уже привычный дурман. Когда скатывал шарики, была минутная слабость: не ехать в больницу. Какая, к дьяволу, больница! Ведь все потеряло смысл. А потом, не ляжет ли на него тень? Заныло в животе, ощутил в спине холодок. Эти говнюки шутить не станут. Устроят какой-нибудь «стадион».

Но выплыло из законной дождевой сырости худенькое, бледно-желтое лицо мальчика с напряженными, грустными глазами. Выругавшись, подхватил «дипломат» и выскочил из квартиры.

Решил ехать не на метро, а троллейбусом, даже двумя. Так дольше, но почти через центр. Хотел посмотреть, что же происходит. Его удивило: ничего не происходит. Ну, может быть, пассажиры в троллейбусе переговаривались чуть потише, поинтимнее. А так — на лицах та же озабоченность, усталость, в общем, безразличие. И по улице толпы привычно снуют, очередь в «Молоко», старушки с зеленью на ящиках, автомобили катят с той же скоростью. Но вдруг по одной из узких людных улиц пронеслись к центру, не поймешь, откуда взявшиеся, отгесняя транспорт и прохожих, обгоняя троллейбус, два бэтээра. В их движении было что-то хозяйское. Надменное. Вадим снова почувствовал холодок в спине. Вышел у ближайшей остановки и дальше поехал на метро.

В больничной проходной к нему уже привыкли. Главное, пройти быстро и уверенно, небрежно кивнув дежурной.

— Вы не видели папу? — сразу же спросил Антон.

«Знает», — понял Вадим.

— Я еще не был на работе, — ответил он как можно спокойнее. — Да ты не волнуйся. Все будет в порядке.

— Я не волнуюсь, — тихо сказал мальчик.

Вадим зашел к Арсению Николаевичу.

— Сегодня утром повторили анализ, — сообщил тот. — Завтра к утру будет результат. Вы позвоните мне часиков в десять. Если все в норме, то больше привозить не надо. Только, на всякий случай, оставшихся насекомых пока не выбрасывайте. Мало ли что. Надо будет с недельку понаблюдать дальнейшую картину.

Кивнув, Вадим спросил:

— Андрей Валерьянович не звонил?

— Нет, сегодня не звонил. — Помолчав, добавил: — Еще не звонил.

Вадиму вдруг захотелось ткнуть эскулапа по-свойски в плечо, спросить: «Послушай, что делается?» Но он этого не сказал, хотя ему показалось, что и Арсению не терпится спросить о том же. Но тот и другой промолчали, не спросили. Вчера бы можно, подумаешь, делов. А сегодня?.. Поди знай...

По дороге к работе, когда шел от метро, увидел, на стене дома рядом с «Универмагом» белеет листок, а вокруг группка — тянут головы, читают. Подошел, через головы (рост позволил) тоже стал читать. И не поверил глазам своим. Ельцин призывал к всеобщей бессрочной забастовке! Это, конечно, глупость, разве так просто поднимешь на всеобщую забастовку, одним призывом, да еще когда танки кругом, бэтээры шастают. Но сам факт, сам факт!.. Объявляет этот комитет, его действия незаконными. А может, провокация? Уж больно неказистый листок, на ксероксе. Однако, с другой стороны, откуда же взяться сейчас «казистому»?..

Вадим покосился на читающих: лица сосредоточенные, серьезные, угрюмые. И все — молчком, никаких комментариев. Прочитали — и по своим делам. С такими, подумал Вадим, только и идти на забастовку. Как и все, молча, он вышел из людского полукруга.

Когда пришел на работу, сразу поднялся к Марине. Впервые, кажется, без шоколадки — не до того. Она была в растерянности, бессмысленно перекладывала на своем столе папки, говорила тихо: не звонил, не появлялся, даже машину не вызывал.

— А ты ему не звонила? — спросил Вадим, тут же поняв, что вопрос глупый.

— Да нет. Он не звонит. Чего ж я буду?

«Логично», — подумал Таранов.

Марина испуганно спросила почти шепотом:

— А может... уже?

— Вообще-то все может быть. Я видел два бэтээра.

— А у нас на Можайке танки шли. Говорят, весь центр в войсках.

Вадим рассказал о ельцинском листке, глаза Марины удивились, чуть заблестели.

— Ну ладно, — сказал Вадим и пошел к двери.

— Ой, Вадичка, не уходи! Я совершенно одна. Представляешь, с утра еще никто не заходил. Никто! А обычно не протолкаться.

«Забастовщики!» — усмехнулся Вадим.

— И телефон молчит, — продолжала Марина. — Вот только позвякивает.

Действительно, телефон позвякивал.

— Снимаю трубку — никого. Обычный гудок, только шуршит что-то. Будто в трубке тараканы.

— Да, тараканы шуршат, это я знаю, — сказал Вадим и добавил: — Еще забегу. Если что, ты позвони. Я в лаборатории.

В лаборатории было непривычно тихо. Все сосредоточились у своих вытяжных шкафов, будто испытывали неодолимую тягу к труду. Вадим громко поздоровался. В ответ — вялый взмах руки или кивок, и опять за работу. Он тоже подошел к своему вытяжному шкафу, через стекло последил за процессом, сделал вывод, что процесс, как любит говорить занедуживший президент, пошел, идет в соответствии с ожидаемым результатом, шепнул Лере, что она сегодня хорошо выглядит, та замахала

руками, мол, где уж там, полистал записи в журнале. При этом поглядывал на других, чувствуя, что они хоть и на своих рабочих местах, но на самом деле ничем, как и он, толком не заняты.

Обстановку разрядил Адорьянц, не выдержал.

— Мудаки! — рявкнул он на всю лабораторию.

Такое можно было ожидать от Мишани с Пашуней, но горлодеры-то как раз затаились. А тут — Адорьянц!

«Славно», — подумал Вадим, ощущая, что словечко это вторит его угреннему настроению.

Все сразу загалдели, сбились в кучу, рассказывали, кто что видел по дороге на работу, гадали, что с Зубаревым, кто-то слушал забугорное радио, Тэтчер вроде возмущена, а Миттеран отмалчивается, зато Кадафи приветствует. Кто-то говорил, что, кажется, работает «Эхо Москвы», все пугались, никак не могли выговорить это самое «Гэ...Ка...Че...Пэ».

— П-порядок, к-конечно, нужен, но не т-та-аким же способом, — произнес Костик Батулин.

— Я вам окажу, — изрек Таубе, — это не надолго. Поверьте мне.

— Что значит не надолго? — сразу же завелся Блажков. — Ваш прогноз?

— Полгода, не больше.

— Э, дорогуша, — насмешливо отозвался Блажков, — за полгода можно наворотить такое...

«Роман прав», — подумал Вадим, чувствуя тем не менее, что происходит непонятное. То, что происходит не должно. Вот это их толковище. По правилам все должны роток на замок. Или же общее собрание с единодушной поддержкой. А тут такая тусовка. Вон Жанна от возмущения совсем задохнулась. И он сам дурак, конечно, не сдержался, рассказал и о ельцинской листовке, правда, оказалось, что многие уже читали или слышали, о странном позывкивании зубаревского телефона. И все-таки от этого толковища возник какой-то подъем, впервые с утра.

Его позвали к телефону, звонила Марина, дыша в трубку, приглушенно сказала: «Зайди».

Когда пришел в предбанник, бледная Марина, выглянув в коридор и посмотрев в обе стороны, плотно прикрыла дверь.

— Были эти, — сказала она шепотом. — Отключили зубаревский факс. И вообще опечатали кабинет.

Вадим увидел на двери кабинета белую полоску бумаги с печатью и пломбу.

— А в издательском отделе арестовали ксероксы.

— О Зубареве не спрашивали?

— Ни словечка.

«Скверно», — решил Вадим.

— Веселые такие, — продолжала Марина. — Шуточки отпускали, приглашали на свидание, чуть не цупали.

— Да-а, — протянул Вадим, ничего не добавив.

Придя в лабораторию, рассказал новость, его слушали с напряжением, потом молча разошлись к своим установкам.

После обеда Вадим наконец дозвонился до Кларки, она сказала, что долго была дирекция.

— Ну и что? — спросил Вадим.

— Да ничего, — ответила Клара. — А что сейчас может быть?

Сказала, что едет домой. Он обещал приехать. Хотел что-то еще добавить, уж слишком много всего накопилось, но знал даже, с чего начать, возникла пауза.

— Расскажешь дома, — прервала паузу Клара.

На метро он добрался до Пушкинской. Поднявшись наверх, увидел: площадь, улица вниз к Манежу действительно заполнены войсками, танками. Какие-то группки людей переговаривались с солдатами, перекрикивались с танкистами. Остальные прохожие шли мимо.

Дождь прекратился, но низкое серое небо было тяжелым, набухшим.

На троллейбусе Вадим доехал по бульвару до Никитских ворот, оттуда мимо углового магазина «Ткани», горьковского особняка, прошел на Алексея Толстого.

С Кларкой ничем не занимались, не было настроения. Хотя ее давно уже не

ласканное тело на мгновение возбудило. Но тут выяснилось, что нельзя, она эти дни переносила всегда трудно.

Побледневшая, неторопливая, Клара полулежала на очень старом, с высокой спинкой и круглыми валиками по краям, но добротном диване и слушала. Вадим рассказал, каким безысходным оказалось утро на другой день после их последней встречи. Не смог тогда прорваться к Зубареву, тот не велел никого принимать. Марина категорически не пустила. И вдруг вызвездилась желтуха у зубаревского сыночка Антона. Тут, на счастье, Колюня Вахонин, Колун, вспомнил о Грише Огурцове и вшах.

В этом месте повествования Кларины глаза расширились. А когда Вадим рассказал о двухминутном визите к Зубареву, во время которого предложил свои услуги, тут же принятые генеральным, Клара живо приподнялась на диване.

— Интере-есно, интере-есно, — произнесла она тоном не слушательницы, а исследователя тайн природы, этакая Мари Кюри-Склодовская, только что обнаружившая радиоактивность.

Вадим с подробностями поведал и о посещении шуршавшего тараканами института, и о том, как кормит ежедневно вшей и отвозит в больницу хлебные катыши, и о прозрачно-желтом мальчике с пытливыми, тоже желтыми, как у курильщика, глазами.

— Фантастика! — то и дело восклицала Клара. — Фантастика!

Она внимательно посмотрела на Вадима.

— А вошек кормить не мугорно?

— Да что ты! — выкрикнул Вадим. — Каждый раз близок к обмороку, того гляди, вывернет.

— Фантастика!.. Неужели пройдет?!

— Как, как пройдет? Ты же видишь, что делается.

— Не зна-аю, не зна-аю... Что-то во всех этих сегодняшних событиях странное.

У меня предчувствие, может, чисто бабье... Впрочем, не будем спешить. Как это говорила твоя бабушка, — Клара рассмеялась, — не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати?.. Правильно говорила. Вот и подождем. Вечером пресс-конференция, посмотрим... И еще вот что. Кто-то у нас на работе рассказывал, слушал то ли «Свободу», то ли «Голос», они передали: на завтра в двенадцать назначен митинг у Моссовета. Обязательно побывай там, посмотри, что к чему, а потом сразу позвони мне. Я завтра дома, отпросилась. Завтра у меня самый пик. А тогда решим, что дальше.

Вадим, чувствуя, как лицо наливается краской, бормотал сбивчивое: куда ж идти... митинги-то запрещены... мало ли что там может произойти... начнут стрелять... войск прорва.

— Ты боишься, мой малыш, — ласково сказала Клара.

Они стояли в прихожей у двери, Клара обняла его за шею.

— Ты же ведь у нас мужчина, — шептала она ему на ухо, — настоящий мужчина!

Вадим, задохнувшись, приник к ее мягким, теплым губам. Но когда его руки стали спускаться по ее телу вниз, легко отстранила Вадима и отворила дверь.

— Ничего не бойся!

Придя домой, Вадим сразу включил телевизор, звучала симфоническая музыка. Потом дали пресс-конференцию.

И снова такое же ощущение, как утром, когда бубнил диктор. Едва только появились эти гаврики на экране, как повеяло чем-то очень знакомым, совсем еще недавним и в то же время давно, даже, казалось, навсегда забытым. Трудно было объяснить, но все выглядели одинаковыми. Держались-то, особенно поначалу, с уверенным спокойствием, но как-то уж очень скучно. Та же унылая бубня. Вадим подумал, что они похожи на канцелярские скрепки. Серые металлические скрепки.

А дальше вообще стало происходить удивительное. То, что, по известным опять же правилам игры, никак происходить не должно. Первая заметила Лелька.

— Ой! — закричала она. — У дяди ючки тьсуются!

И точно, ручки у нового главы державы тряслись, и очень заметно. «Неужели с бодуна?» — удивился Вадим.

А потом, после пустых слов, пустых вопросов и пустых ответов, сопровождаемых заверениями в дружбе с внезапно захворавшим президентом, один из иностран-

ных корреспондентов пожелал выяснить, с какими событиями предпочтительнее сравнить случившееся: с переворотом в октябре семнадцатого или с путчем Пиночета? Янаев неспешно открещивался. Но тут вылезла наша девица из какой-то газеты, совсем молокососка, и быстренько так спросила: понимают ли они, что совершили государственный переворот? Пришлось опять отрещиваться, а Вадим подумал о девчонке: неужели не боится?.. Или еще. Могучий толстяк с усищами, раньше частенько мелькал в телевизоре, просто-таки нагло поинтересовался у этой белой мыши Стародубцева: «А вы-то как попали в эту компанию?» И главное не сам вопрос, хотя, конечно, и он тоже интересный, а вот это словечко «компания». Ведь вместо ответа любому из «компаний» достаточно мигнуть одним глазом, и все — к стенке. А уж в такую-то тушу ни за что не промажут, срежут «калашниковым», как серпом. Так нет, не испугался. А они — не мигнули. Добренькие, что ли? Не похоже... Да-а, непонятно.

Вечером по всем программам гнали «Лебединое озеро», видать, любимое произведение членов Гэ...Ка...Че...Пэ... Но Вадим балетов не выносил, чертыхаясь, вырубил телевизор.

«Пойду на митинг», — решил он.

С утра опять моросил дождь, день был сумрачный. Но внутри какой-то подъем, нечто вроде озноба, как перед стартом. Позвонил в больницу, Арсений Николаевич довольным голосом сообщил, что билирубин стабилизировался, необходимость дальнейшего курса отпадает. Но еще раз просил пока попридержаться оставшиеся экземпляры и не терять на всякий случай с ним связь. Уже попрощались, и тут, будто спохватившись, доктор сказал, что утром позвонил Зубарев, говорил коротко, голос озабоченный, но, узнав о сыне, был счастлив. Так и сказал: «Я счастлив». Вадим хотел спросить, не сказал ли, случаем, Зубарев, откуда звонит, но тут же понял, что спрашивать бессмысленно, конечно, не сказал.

Потом он позвонил Марине, голос у нее слегка приободрился, хотя сказала, что Андрей Валерьянович ни разу не появлялся и ни разу не звонил. Подумав секунду, Вадим заверил:

— С ним пока все в порядке.

— Откуда ты знаешь? — живо заинтересовалась Марина.

— Знаю, — ответил он.

Зачем сказал? Зубаревский телефон наверняка прослушивается. Но — удивительно — беспокойство возникло, а не такое острое, какое бы должно быть. Ну, ляпнул так ляпнул, чего уж там.

Перекинулись с Мариной еще о чем-то несущественном, о самочувствии, поганом настроении, дрянной погоде.

Вдруг Марина совсем иным тоном, веселым, но с какой-то мерзковатой ноткой спросила:

— А ты, оказывается, знаком с Кларой Дмитриевной?

Вадим замер. «Черт, только этого не хватало». Оттягивая ответ, протянул удивленно:

— С какой Кларой Дмитриевной?

— Из института игрушки. У меня подружка, Нэлли Амираджиби, там работает. Она как-то видела тебя, когда забегала ко мне. А тут рассказала, что встретила у них тебя с этой Кларой. Уже давно рассказала, да я все забывала спросить.

«О чем спрашивать-то?» — озабоченно подумал Вадим.

— Ах, из института игрушки. Ну, конечно, у нас некоторые деловые контакты.

— Деловые! — рассмеялась Марина. — Знаем, знаем мы эти контакты. Уж не роман ли у тебя, Вадичка?

«Ах, как плохо». Давно наученный всем своим опытом, что лучший способ утаить или хотя бы посеять сомнения — это ничего не скрывать, Вадим с преувеличенной готовностью подтвердил:

— Конечно, роман! Круглосуточно трахаемся.

— Да? — засмеялась Марина, но он, к счастью, осугил возникшие в ее голосе нотки неуверенности. — Я так и передам Нэлке.

Он громко рассмеялся. Но остался тревожный осадок.

Однако, когда ехал в метро, озабоченность разговором с Мариной, чувство опасности, вызванное этим разговором и пока до конца не осознанное, постепенно

улетучилось, вытеснилось другим — опять добавившимся к ознобу холодком в спине. И чем ближе подъезжал к центру, тем явственнее ощущал его лопатками. По лестнице к выходу из станции, расположившейся под гостиницей «Москва», поднимался на слабых ногах. Одно успокаивало — лица поднимающихся вместе с ним по эскалатору, а потом по каменной лестнице москвичей. То ли они шли туда, куда и он, на митинг, то ли еще куда-то, но суеты, бегающих глаз не было заметно.

Огромная площадь со зданием Манежа вдали показалась в первый момент пустынной. Это оттого, что не мчался через нее привычный автомобильный поток. А на самом деле она пустынной не была: танки, бэтээры, бэмпэз, солдаты. И поток людей, напрямую пересекающий часть площади по направлению к улице Горького.

Внезапно разорвало тучи, ударило теплое, даже горячее солнце. Оно осветило поднимающуюся вверх улицу, высотный сине-стальной кубик интуристовской гостиницы, темно-серое здание Телеграфа на взгорке.

Хотя улица в разных местах — и в самом начале, и дальше, у Телеграфа — была перегорожена танками, но справа сделаны («Неужели специально?») проходы, чтобы пропускать людской поток. Пройдя узкую горловину, сбившийся поток вновь растекался по ширине улицы, двигаясь выше, к зданию Моссовета.

На одном из танков Вадим увидел низкорослого белобрысого солдата. С отрешенным, невыспавшимся, помпезным лицом, он лужгал семечки, не обращая ни на кого внимания. А у другого танка две девицы с длинными, как стволы танковых пушек, ногами весело перекрикивались с улыбающимся парнишкой, торчавшим из башни. Правда, официально так и сообщалось: войска введены в столицу для поддержания порядка, предотвращения жертв. Но и ежу понятно, что это только так сообщалось. А на самом-то деле введены совсем, совсем для другого. Откуда и взяться жертвам, как не от этих бронированных, иногда урчащих (греют, что ли, моторы?) чудищ? Однако сейчас в них не было ожидаемой угрозы, они больше походили на тоже не выспавшихся, устало положивших голову на лапы гигантских зверей.

Но больше всего Вадима удивила густая, пестрая толпа вдоль магазина «Подарки», торговали с рук всем подряд: косметикой, бижутерией, обувью, водкой, джинсами, кожаными ремнями, Бог весть чем. Толпа обосновалась здесь давно, задолго до событий. Но не исчезла в эти дни. Жила своей жизнью, не обращая внимания ни на идущих на митинг, ни на танки. Вадим внезапно ощутил радость: это же добрый знак! Может, это и есть забастовка: продолжать, несмотря ни на что, прежнюю жизнь. Ведь не только продавцы, покупатели, присматривающиеся и приценивающиеся прохожие, все, кто был в толпе, не обращают внимания на танки, но — неожиданность — и танки не обращают внимания на них.

Когда Вадим подошел к площади перед Моссоветом, оказалось, что она уже запружена народом. Ближе к балкону, с которого выступали ораторы, пробиться было невозможно. Но речи, разносимые громкоговорителями, плыли над подвижной, живой, откликающейся аплодисментами, криками то поддержки, то негодования, огромной толпой. Выступали Попов, Станкевич, Шеварднадзе, еще кто-то, разглядеть было трудно, но всегда удавалось расслышать фамилии, но говорили об одном: путч не пройдет.

Вадим раньше никогда не ходил на митинги, ни на левые, ни на правые. И на тех, и на других, считал он, рады драть глотки, лишь бы погужеваться. Вообще не знал, какой он, собственно говоря, левый или правый. Да никакой, пошли они все... А сейчас, оглядываясь по сторонам, видел нормальные, вовсе не разъяренные лица. В глазах не было того фанатического пламени, какое он порой ловил в зубаревских чуть выпученных очах, считая, что и у всех митингующих должен гореть во взоре сжигающий изнутри огонь. Тем более что в телевизионных репортажах о пикетах на Красной площади, у Спасской или о сборищах на Манежной таких лиц, глаз хватало через край. Как-то они это даже обсуждали с Мадиевским, тот вспомнил чьи-то слова, кажется, старого русского историка: «Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь ее». И, расхохотавшись, привел еще слова того же историка: «Многие республиканцы только оттого, что нет царя в голове». Уж чего нет, того нет.

Но здесь — никакого остервенения. Никакого пожара в глазах. Его не было даже тогда, когда площадь воодушевленно скандировала: «Ель-цин! Ель-цин! Ель-цин!» Глаза оставались приветливыми. И не у одного человека, а у всех, куда ни посмотри. Слово собрался особенный народ. Он такого, и чтобы так много, никогда не видел. В глазах часто мелькала даже самоирония: мол, что поделаешь,

надо и покричать, хотя мы вовсе не крикуны. Но надо! Надо!.. «Нет фашизму!» — неслось в репродукторах. «Не-ет! Не-ет! Не-ет!» — отзывалась площадь.

То и дело отпускали шуточки. Кто-то с балкона сравнил гавриков с Пиночетом. Стоявший рядом с Вадимом пожилой, попыхивающий трубкой мужчина в синем берете насмешливо произнес:

— Ну, зачем же обижать Пиночета?

Многие хмыкнули. А мужчина объяснил:

— Генерал, конечно, сволочь. Но он хотел избавиться от коммуны, вернуться к частной собственности. А эти-то совсем наоборот.

Когда Шеварднадзе вспомнил, как после его предупреждения о готовящемся заговоре Горбачев сказал: покажите, где заговорщики, что-то я не вижу, Вадим совершенно неожиданно для себя, будто кто дернул за веревочку, тоже громко произнес:

— А где Горбачев? Что-то я не вижу.

Вокруг рассмеялись. Вадим тоже усмехнулся.

Потом выступали те, кто приехал с мест, выражали солидарность с Москвой. Вадим, выбравшись из толпы, пошел искать автомат — позвонить Кларе. Настроение у него было прекрасное, хотя и знобило.

Спускаясь вниз, к Телеграфу, он увидел, как из боковой улицы, обтекая танки, вышла колонна людей. Направляясь в сторону митинга, они то ли несли на приподнятых руках, то ли везли на колесах огромное, колыхавшееся волнами трехцветное, бело-сине-красное, полотнище. В неторопливом движении ощущалась спокойная уверенность. Им хлопали, встречали поднятым сжатым кулаком, кто-то сказал, что это московские биржевики.

На Телеграфе, полном суетящихся, шумных людей, Вадим нашел свободный автомат. Клара сразу подняла трубку. Он торопливо рассказал о танках, пропускающих на митинг, солдатике, лугавшем семечки, самом митинге: кто выступал, что говорят в толпе, о торговле у «Подарков» и о колонне с гигантским трехцветным флагом.

— Замечательно! — проворковала Клара. — Теперь слушай. Мне сосед, уходя на работу, оставил транзистор. Я поймала забугорные голоса, «Эхо Москвы». Весь мир встал на рога... Но самое главное! Мы с тобой, Вадька, не туда пошли. Что-то очень важное происходит у Белого дома. Знаешь, российский Верховный Совет, на набережной. Там строят баррикады, тоже был митинг. И вообще демократы стекаются в Белый дом. Я уверена, Зубарев там. Тебе надо обязательно пойти и попать ему на глаза. Шанс не велик. Но терять его нельзя. Он-то и может все решить.

Вадим молчал, чувствуя, как не только холодеет спина, но и что-то опустилось в животе.

— Ты меня слышишь?

— Да, — выдал он.

— Не бойся, малыш, — ласково проговорила Клара. — Я уверена, еще день-два, не больше, и все кончится. Они думали с ходу взять на испуг. Не прошло. А крови, большой крови они боятся.

«Будто недостаточно малой», — подумал Вадим, ему показалось, что Кларе захотелось сыграть роль не просто матери, а Матери-Родины.

— Что-то они, конечно, могут еще в отчаянии предпринять, — продолжала Клара. — Но на серьезное не решатся... Вообще ты обратил внимание, что во всем этом есть что-то опереточное? Ты видел пресс-конференцию?

— Я вижу, — глухо сказал Вадим, — через стекло танки.

— Это чепуха, я же тебе сказала: для испуга... Ничего не бойся. Я верю в твою звезду. Если пересечешься с Зубаревым, получится отлично. — Она засмеялась. — В сочетании с вощками... Кстати, что у Антона?

— Билирубин в норме.

— Вот видишь. Не бойся, малыш! Ты же мужчина, я-то знаю.

Она перешла почти на шепот:

— Ты меня чувствуешь, зайчик мой? Скажи, чувствуешь?

«Да пошли вы все!» — раздраженно подумал он. Сказал:

— Чувствую, чувствую.

— Вот и хорошо. Так пойдешь?

Не сразу, через секунду-другую, он прохрипел:

— Пойду.

Вадим медленно, не подгоняя себя, спускался к Манежной площади, ощущая, как расплзающийся внутри него страх смешивается с нарастающей злобой к Кларке. Хорошо сидеть дома и, валяясь на диване, давать советы по телефону. Тут же всплыл утренний разговор о Кларке с Мариной. К раздражению прибавилось чувство опасности. Впрочем, что сейчас думать об этом, когда неизвестно, чем кончится для него сегодняшний или завтрашний день? И вообще останется ли он... Бр-р, об этом-то уж точно не думать!.. А если Кларка все-таки права? Если эти, по определению месье Адорьянца, «мудаки» ни на что не решатся? А он вдруг встретит там Зубарева? Шанс равен почти нулю. Но оставшийся хотя бы один процент может вырасти в стопроцентную удачу. Как от него отмахнуться?

Опять заморосил дождь, усилился, но Вадим успел нырнуть в подземный переход у гостиницы «Националь». Еще не решив окончательно, пойдет ли к Белому дому, он подумал, что в любом случае надо захватить домой, переодеться.

Дома он аккуратно повесил костюм на «плечики» в шкафу, переоделся в старые, вытертые джинсы и удобно растоптанные кроссовки, натянул свитер под горлышко, сверху надел тоже старую, выгоревшую штормовку, осталась от походов, еще до рождения Лельки. Вскипятил чайник. Доел со сковородки холодные остатки яичницы с гренкой. Делая все это неторопливо, поглядывал на часы. Или идти или уж вообще не ходить, просто терять время не имело смысла. Поев, вытащил из «дипломата» листок бумаги, авторучку, секунду поразмыслил, нацарапал: «Ушел к Белому дому. Позвоню». Впрочем, не нацарапал, хотя рука была неверной, слегка дрожала. Написано было изящным, красивым почерком. Таранов славился им еще со школы, учителя только Вадиму доверяли заполнять классный журнал. Да и на работе, если требовалось написать четким шрифтом объявление, нередко обращались к нему, и он никогда не отказывал, даже любил потратить на это время, получая удовольствие от работы тушью или фломастером.

Положив записку на стол в кухне, Вадим опустил на табуретку, закрыл глаза, замер, как перед дальней дорогой. Вдруг подумал: жаль, нет крестика. Сейчас бы надел. Баба Таля с матерью когда-то окрестили, хотя крестика не надели. Да и икон в доме не водилось.

Он решительно поднялся. В один карман джинсов сунул расческу и кошелек, в другой опустил связку ключей. Подхватил черный складной стреляющий зонтик, но, дойдя до двери, вернулся к столу, где оставил записку. Дописал: «Обнимаю вас обеих. Целую. В.»

Когда Вадим подъезжал в метро к станции «Баррикадная», он почувствовал, что с ним происходит странное. Это было, наверное, и раньше, еще тогда, когда шел на митинг, но так не проявлялось. Лихорадочный озноб, бешеные скачки сердца почти отключили сознание, вместо него как бы включился автопилот. Он выполнял заданную программу, и Вадим вместе с другими пересек улицу около высотки, спустился вниз мимо детского кинотеатра, мимо закрытого на ремонт розового круглого здания кольцевого метро, троллейбусного круга и стадиона, вышел переулком на набережную, приближаясь к Белому дому, к людскому скоплению, но все, что он видел сейчас, да и почти все, что увидел потом, воспринималось как в калейдоскопе, как бы со стороны, словно спектакль из множества отрывочных, не имеющих начала и конца сцен. Смотрит на них из зрительного зала через почти прозрачную пелену. Подмостки, на которые ему самому никак не взойти. И он, не в силах переступить линию рампы, остается в гигантском зале то ли вместе со множеством других людей, то ли совершенно один.

Хотя приняли-то его радушно. Малый, тоже в штормовке и кепке блинчиком, таскавший вместе с другими кусок рельса, что ли, сказал: «Не подмогнешь?» Вадим помог, дотаскили до смотревшей в сторону моста баррикады — чудовища из перекоренного металла, камней, труб, досок, столбиков с круглыми уличными знаками.

Его спросили, будет ли записываться в сотню. Он сказал, что не будет («Только этого не хватало — оставить фамилию»), нес какую-то чушь, мол, ненадолго, жена вот-вот должна родить. Но никто и не требовал записываться, нет так нет, тем более жена должна родить... Сказали подойти к девочкам в белых халатах, вон, на ступеньках, взять марлевую повязку на случай газов, противогазы, кажется, уже все разобраны. Он подошел к девочкам — и правда, девочки, совсем малолетки, вроде

тех, с которыми проходил в больницу, — увидел у них в ящиках прикрытый марлей убогий хирургический инструмент, скальпели, какими в школе на биологии препариовали лягушек, крохотные, похожие на маникюрные ножнички. От этих инструментов, склянок с йодом, пачек ваты веяло не спасением, а только холодом возможной беды.

Сунув повязку в карман штормовки, он пошел прочь. И снова наткнулся на малого в кепочке. «Если хочешь, — он показал рукой, — можно порубать». На ящиках под прозрачной пленкой Вадим увидел хлеб, колбасу, консервы, банки растворимого кофе, целую гору домашних котлет. Есть не хотелось, но, чтобы унять дрожь, подошел к ящикам, отломил кусок от батона, взял котлету, стал жевать.

Откуда-то сверху, будто с небес, раздался механический голос, разносимый гулким эхом. Он сначала не понял, о чем речь, но потом разобрался. Голос, доносившийся со стороны Белого дома, то ли из репродуктора, то ли из мегафона, призывал женщин покинуть территорию, прилегающую к зданию, ожидается штурм.

Вадим увидел, как люди, сидевшие на чем попало, зашевелились, стали подниматься и выстраиваться цепью. Среди них женщины, девчонки, которые никуда не ушли. Он плохо различал лица, все плыло, будто в тумане. Ноги налились свинцом. Но опять какая-то сила помимо воли заставила подойти к цепи. Она разомкнулась между крупноголовым, седовласым, седебородым старцем в ковбойке и ветровке с закатанными рукавами и чернявеньким пареньком в коротком синем плаще. Вадим вступил в образовавшееся узкое пространство, развернулся лицом к пока воображаемому противнику, а соседи взяли его под руки. И он сразу ощутил тепло их рук. Но и оно не помогло унять дрожь. Вадим чувствовал неловкость, понимая, что соседи ощутили дрожь. Однако не мог ничего с собой поделать. Даже показалось, что, как он ни сдерживался, а дрожь усилилась. И вдруг понял: это оттого, что к его дрожи добавилась дрожь соседских рук. Боже мой!.. А он-то думал, что тут всем все ничпочем. Только что шумели, перекрикивались, отпускали шуточки, отплясывали под гармонь, под гитару. А оказывается, боятся, как и он! Может, еще и больше. Справа от него старец негромко повторял: «Ничего!.. Ничего!..» Вадим думал: для него говорит, хочет его подбодрить. А потом понял: для себя! Себя успокаивает.

Но почему, почему не уходит? И зачем пришел? И зачем пришли эти сотни, тысячи людей? Он-то понятно. У него конкретная цель. И потом он знает, что все обойдется. У него есть баба, жутко умная, соображает почище всех этих депутатов, она сказала: обойдется. А все равно страшно. Зачем пришел, зачем? Хочется опустить руки, стать невидимкой, выскользнуть незаметно, освободиться от прижатых к его телу чужих, вздрагивающих рук. Но — обойдется! Знает, что обойдется. Она, эта сучка, эта валяющаяся сейчас на старом диване дрянь, пославшая его сюда, сказала: не бойся, ничего не произойдет. Но они-то, они этого *не знают!* А ведь тут ни танков, ни пушек не надо. Какой-нибудь десантный батальон в беретах набекрень, или омовцы, или кагэбэшники сраные дубнут одного-другого-третьего по балде для отключения сознания, всех повяжут, сволокут в машины и раселят по бескрайним просторам отчизны. Опыт-то колоссальнейший... Но не уходит! Вот и дождь того гляди ливанет. Однако такой жар изнутри, что и дождя не чувствуется. Не уходят! Нет, не понятно все это, очень не понятно.

И потом, когда дали «отбой» и цепи рассыпались, и когда еще несколько раз вновь поднимались, и когда после «отбоев» ходил, приглядываясь, вслушиваясь, плохо понимал происходящее. Ну, что нужно здесь вон той красотке, девочка фирменная, просто блеск, с трехцветной лентой вокруг головы? Немыслимым образом взобралась на верхотуру баррикады, сидит, подперев голову руками. Что ей здесь нужно? Или старуха со слезящимися глазами, живет где-то рядом, принесла баночку икры, а всяких банок, и икорных тоже, было уже нанесено несметно. И никто не хватал, не рассовывал по карманам. А несли и несли еще. Или рыжий, стриженный петухом пацан с пухлыми губами? Правда, тут-то еще можно понять, «панки» — суетливые лодушки, вечно напоказ, бездельники, лишь бы похорохориться, не важно, где. Хотя тоже не объяснение. Все было бы понятно, если бы этот рыжий петух не знал, что в любую минуту его могут превратить в кусок сырого мяса. А он знает, прекрасно знает, но не уходит. Так ведь это же бессмысленно, глупо, идиотство! Какой же, какой тут свой интерес? А этот с развевающейся на ветру бородой попик в рясе, разве его присутствие здесь не богохульство? А иностранцы?

Мелькают то тут, то там. По-русски еле вяжут. Что, и они не могут без России?.. Или вот еще: Вадиму шепнули, что артист, с какой-то смешной фамилией, вроде где-то он его видел, может, по телевизору, еврейчик, в паспорт не надо смотреть, все и так ясно, он-то что здесь потерял? И вообще что здесь оставили все эти мужчины и женщины, молодые и старые, худые и толстые, длинноволосые и лысые, что, что они потеряли здесь? Прошел даже слух, что в Белом доме Ростропович, специально прилетел. Тоже нейдет? Концерт для виолончели с оркестром. Ею, что ли, будет дубасить головорезов?..

Разнесло тучи, выкатилось золотое вечернее солнце. Вадим услышал, как стоящий невдалеке плотный, широкоплечий парень объяснял снимавшему его телевизионщику про «принцип тюбика»: если пасту выдавили, обратно уже не загнать. Никак и ничем. Это-то понятно. Он, Вадим Таранов, тоже не хочет. Но ведь тут-то ничего нет. Смешные баррикады? Несколько танков, которые, говорят, перешли на сторону России? Несколько десятков милиционеров и спецназовцев там, в здании? И все эти людишки, которых ровно в пять минут передают, как комаров? Единственное оружие — их собственные тела. Театр?.. Оперетта, как сказала Клара?.. Может, и оперетта. Но только не здесь. Уж слишком натурально играют. Такой естественности на сцене представить невозможно, он и в жизни-то такого никогда не видел. Да и какой же театр, если в финале маячит совсем не бутафорская смерть? Без торжественных песнопений.

Вадим заметил, что приникший к камере телевизионщик, выслушав все про «тюбик», медленно повел камерой панораму по людям, поднимавшим вверх два пальца, растопыренных в виде буквы «V». И с ужасом понял, что вот-вот эта камера настигнет его. Оставить на пленке свою физиономию — это все равно что свою фамилию в списке! А может, и хуже. Что он, этот оператор, не понимает? И так все говорят, что шныряют переодетые кагэбэшники, пускают слухи: будет штурм, не будет штурма... Вадим сообразил, что выскользнуть из кадра не успеет. Сумел повернуться к камере вполборота и поднял вверх два растопыренных пальца, прикрывая хоть немного лицо рукой.

Синевато-холодный глазок поплыл дальше, а Вадим опустил руку, не уверенный, что она его скрыла, и стал думать, где, с какой стороны может появиться Зубарев, хотя уже понял, что вся затея бессмысленна. Даже если бы Зубарев действительно шел в Белый дом или выходил из него, то надежда столкнуться с генеральным в этом все время движущемся, бесчисленном скопище просто смешна. И только разлагающее волю вечное «а вдруг!» удерживало от того, чтобы сквозануть отсюда.

Неторопливо, дабы не приняли за лазутчика, он обходил здание, увидел разобранную брусчатку у Горбатого моста, рядом с памятником баррикадникам пятого года, читал самодельные плакаты «Нет фашизму», «8-ку вне закона», «Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу», «Кошмар! На улице Язов!», надпись на стене огромными буквами: «Забьем заряд мы в тушку Пуго!» Мелькали лица, лица, лица. Опять шутили, приплясывали, кто-то пел под гитару, нет, не пел — рычал голосом Высоцкого: «Идет охота на волков, идет охота». Обнимались, целовались влюбленные, как будто нашли наконец самое подходящее место для свиданий.

Один из подъездов охраняли люди в странной, какой-то старой русской форме, наверное, казаки. Он подумал, что это неспроста, отборных людей ставят в самое нужное место, решил покружиться здесь.

Уже опустился вечер, зажглись огни, в сыром воздухе они горели неверным, расплывающимся голубовато-желтым светом.

Вадим почувствовал дикую усталость. Опять заморосил мелкий, поганый дождь. Раскрывать не просяхающий зонт не хотелось. Он пошел к перегородившему один из проходов, светящемуся огнями большому желтому автобусу с распахнутыми дверями, из его окон должен быть хороший обзор. Но когда поднялся по ступенькам, то увидел в проходе лежащих на подстеленном ватнике парня и девушку, ее лицо с закрытыми глазами виднелось из-под плеча парня. На мгновение глаза девушки раскрылись, и Вадим, торопливо пятясь, увидел, что эти глаза улыбнулись ему. Или не ему? Возможно, она его и не видела. Но он-то видел точно: эта улыбка — ну, не странно ли, не сумасшедший ли дом? — сияла счастьем.

Вадим подошел ближе к зданию, где горел небольшой костер, над ним висел на проволоке котелок, а вокруг сидели люди и молча смотрели на огонь. Он опустился

на ящик, чувствуя, что смаривает сон. Кто-то сказал, что во «Времени» передали: с двадцати трех в Москве вводится комендантский час. «Этого только не хватало». Вадим почувствовал свою отъединенность от дома, будто тот — за тысячи километров. Обуяла тоска по маленькой комнатенке с мягко светящимся бра над изголовьем софы, по крохотной уютной кухоньке. А главное, по Лельке, хрупкому ее тельцу, по смешному балаболству. Он даже не думал, что тоска по дочери может быть такой острой. А ведь, в сущности, он здесь из-за нее. Ради ее будущего. Ну, и ради себя, конечно. Надо же хоть когда-нибудь нормально пожить!.. Слипаящимися глазами он смотрел на вздрагивающее пламя костра, а видел дочь, которую подбрасывает высоко в воздух. Она, визжа, с расширенными от восторга и испуга глазами, летит к нему в объятия.

До Вадима донесся чей-то голос, он не сразу понял, что голос обращен к нему. Рядом, тоже на ящике, сидел парень в пестрой военной рубашке, из-под нее виднелась тельняшка. Негромко, но с жаром парень говорил Вадиму:

— Я «афган». У меня личные счета с Язовым.

— Почему?

— Ну, не с Язовым, со всей военщиной. Говорю тебе, я «афган». — Он нагнулся к Вадиму, шептал прямо в ухо: — Я убивал детей. Понимаешь? Некуда было деться. Ненавижу всех этих. Пусть теперь только сунутся!

Парень заскрипел зубами.

— Так ведь убьют, — вяло, ощущая, как тяжестью наливается голова, сказал Вадим.

— Мне все равно не жить! — выдохнул парень.

Он шептал что-то еще, но Вадим слышал его уже в полусне.

— Эвон, да ты спишь совсем, — донесся издалека голос «афгана», подставившего под голову Вадима свое плечо.

Вадим знал, что спать нельзя, уже совсем глупо — проспять Зубарева, однако пересилить сон не мог.

...Сколько он спал, Вадим не знал. Но когда открыл глаза («афгана уже не было, а костерок догорал), то прямо перед собой увидел Зубарева. Вадим решил, что это сон. Закрыв глаза, но тут же их открыл. И снова увидел прямо на него идущего сквозь людской коридор Зубарева в темно-синем костюме с депутатским флажком на лацкане. Рядом шли еще двое или трое мужиков тоже с депутатскими значками. Их приветствовали, махали им руками, но они почти не реагировали, лица были усталые, озабоченные. Рослый Зубарев возвышался над остальными.

Вадим вскочил. Он понял, что Зубарев сейчас пройдет мимо. И тогда Вадим истошно выкрикнул:

— Андре-ей Валерья-анович!

Тот вскинул глаза. Вадим понял: заметил! Зубарев приподнял руку, слабым жестом махнул ему, по лицу проскользнула тень улыбки. А в следующую секунду Вадим уже видел спины депутатов, торопливо удаляющихся в сторону Белого дома.

Снова объявили о готовящемся штурме, просили подняться в цепи. Со стороны Садового кольца, от американского посольства, донесся ляг гусениц. И тут Вадим решил: настало время исчезнуть. Все, хватит, он свое дело сделал. Да и его присутствие ничего не изменит. Опять вспомнил Кларкины слова, подумал, что она, как всегда, права и никакого штурма не будет. Ну, потопчутся еще до утра, на том все и кончится.

Он двинулся в ту сторону, откуда пришел днем, но неожиданно столкнулся с «афганом».

— Уходишь?

Вадим бормотал о жене, которой вот-вот родить, может, даже уже, а дома никого.

— Да что ты объясняешь? Понятно, — сказал бывший «афганец», по его голосу Вадим сообразил, что тот в его словах не сомневается. — Ну, бывай!

Он ткнул Вадима в плечо, они пошли в разные стороны, но вдруг «афганец» окликнул:

— Слушай, если здесь будет заваруха... В общем, родишь сына, назови, если, конечно, захочешь, Валентином. Меня Валентином зовут. А дочь — так Валентиной.

— Назову, — пообещал Вадим, поняв, что тут все верят друг другу.

Вокруг Белого дома погасили огни. Сначала темень ослепила, однако глаза

быстро привыкли. Рваные тучи неслись над мертвенно-бледным зданием, и казалось, само здание плывет в небесах.

Темнота помогла ему легко проскользнуть через выстраивающиеся цепи, мимо людей с синими в ночной тьме лицами. Вновь огибая круглое здание кольцевого метро, поднимаясь к детскому кинотеатру и дальше, к высотке и площади, он с тревогой думал о патрулях, ведь с двадцати трех комендантский час, а сейчас за полночь. Но патрулей не было.

Вадим шел к Кларе, знал: она ждет его. Еще не известно, удалось ли бы добраться до дома, а тут рядом, у нее переночует. Чем ближе он подходил к Садовому кольцу, тем явственнее слышался скрежет танков, доносились какие-то хлопки, будто кто-то, развлекаясь, ударял об ладошку надутые бумажные пакеты.

Пересекая пустынную площадь Восстания, он увидел, что там, где Садовое кольцо скатывается к тоннелю в сторону Смоленской, как раз у американского посольства, полыхает зарево. Оттуда-то и неслись грохот танков, скрежет металла, крики, эти странные хлопки. И вдруг дошло: выстрелы! То одиночные, то трелью...

С улицы Воровского на кругом вираже вывернул автобус, подъехал к нему.

— Ты оттуда? — перевесившись из окна, спросил водитель, он кивнул в сторону высотки, за которой находился Белый дом.

— Оттуда.

— Как там?

— Держимся, — сказал Вадим.

— А здесь, — водитель движением руки показал в сторону тоннеля, — видно, аваруха.

— Да уж видно.

— Тебя подвезти?

— Мне рядом.

— Ну, пока.

Автобус умчался. А Вадим побежал к переулкам, проходным дворам, чтобы через них выйти на Алексея Толстого. Впрочем, он не бежал — летел, чувствуя, как под стихающий, совсем исчезающий шум с Садового кольца ширится в груди радость. Нет, не радость — восторг. Оттого, что его уже нет у Белого дома с погашенными огнями, в этих идиотских, лишенных всякого смысла цепях. И что его нет там, где это огненное зарево, скрежет гусениц и хлопки. Та!.. Та!.. Та-та-та-та!.. Может, это и есть та самая малая кровь, которой все кончится?..

Через проходной двор Вадим вышел в переулок. Сначала он думал позвонить домой от Клары, но, увидев автомат, решил, что лучше позвонить с улицы. Иришка сразу подняла трубку, прокричала сдавленным шепотом:

— Ро-одненький!.. Я с ума схожу!

Вадим успокоил ее, сказал, что ничего страшного не происходит и не произойдет, он, как и все, останется здесь до утра. Говорил негромко, но аппарат висел прямо на стене дома, огороженный колпаком с выбитыми по бокам стеклами, и слова гулко разносились в тишине замершего ночного переулка. Пообещал позвонить утром.

— Мы ждем тебя, — горячо прошептала Иришка.

Он повесил трубку, ощущая, что жар возбуждения проходит. Уличная сырость проникала под одежду. Он быстро пошел по переулку.

Впустив Вадима в квартиру, Клара молча обняла его. «Все-таки тяжелая баба», — подумал он, чувствуя могучую силу прижавшихся к нему, кованых будто молотами округлостей.

— Ну, что? Рассказывай, что? — прошептала она наконец.

— Расскажи потом, — сказал он. — Сначала ванна.

— Только скажи: видел?

Не в силах сдержать себя, чувствуя опять прилив восторга, он почти закричал:

— Видел, Кларка, видел!

Она, как ребенок, захлопала в ладоши, залилась смехом.

— Вот видишь, малыш!..

И принялась стягивать с него волглую штормовку.

— Я сам, — сказал он. — Лучше пусти воду в ванну.

Она побежала в ванную, а он сбросил штормовку, свитер, кроссовки, хотел снять и джинсы, но не снял, в них, босиком, пошел вслед за ней.

— Малыш, хочешь, я тебя помою? — спросила Клара, глядя на него с обожанием.

— Потом, — сказал он. — Я немного полежу, приду в себя.

Вадим погрузился в голубоватую теплую воду. Он лежал в расслабленной полудреме, испытывая блаженство. А перед его глазами проплывало виденное и пережитое. Вдруг охватила странная смесь двух совершенно разных чувств. С одной стороны, радость, что он уже здесь, в этой убаюкивающей воде, а не там, в черной, ужасающей ночной сырости, среди промокшего, иззябшего народа, на который, может быть, сейчас пруг танки и головорезы-автоматчики. А с другой, сожаление, очень неожиданное, покалывающее, что он здесь, а не там, среди тех людей, так наивно верящих не поймешь во что. Там — Вадим это только сейчас понял — он ощутил нечто такое, чего никогда в жизни не ощущал. Успел свыкнуться с оставленным там миром. Его даже осенило: есть все-таки что-то в том, когда ты нужен родине. Это чувствуешь особенно остро, может быть, оттого, что чаще всего кажется, будто ты ей совершенно не нужен. Ей просто наплевать на тебя.

Клара всунулась в дверь.

— Ты не уснул, маленький мой?

Вадим покачал головой, стряхивая с бороды алмазные капли.

Клара мылила его тело, и от ее скользких прикосновений снова разливалось блаженство, приходило ощущение покоя, счастья. Он вспомнил бабушку, как она мыла его. Держа душ в одной руке, Клариче другой смывала пену везде, с каждого самого укромного местечка. Потом растерла его мохнатым, в широкую зеленую полосу полотенцем. Снял с крочика махровый халат с капюшоном, закутала в него. Он знал, что этот халат, пышный и торжественный, у Клары давно. И Вадим, влезая сейчас в халат, подумал, как всегда, о том, кто же им пользовался до него. По сведениям Вадима, может, и не точным, в халат облачался художник, теперь, кажется, знаменитость, совсем коротышка, но очень сексуален, его графические листы на эротические сюжеты раскупают за валюту. А еще раньше — газетчик, ныне тоже известен, политический обозреватель то ли по Западу, то ли по Востоку, а может, и то и другое, статьи его мелькают все время. Вроде он-то и есть отец Кларкиной дочери. А возможно, и кто-то еще, о ком Вадим и не знает. Его удивляло, что, несмотря на смену пользователей, халат сохранял первозданную утреннюю свежесть, всегда как новенький, с приятной ворсистостью. И вообще с какой-то явной, даже нежной расположенностью к тому, кто в него облачился. Впрочем, думал Вадим, халат может быть и не таким старым, помнящим, скажем, художника, но не знавшим газетчика. Хотя, с другой стороны, непонятно, как с ним обращался коротышка, волочил, что ли, по полу? Или, поддегивая, заправлял под поясок. Это, конечно, надругательство над чудесной вещью. Но главное — халат выдохнул. И вот теперь доставляет ему, Вадиму Юрьевичу, несказанное удовольствие, погружая в уют и тепло.

Клара постелила Вадиму на диване, принесла на подносе кофе и бутерброды. Вдруг рассмеялась, сказав, что под капюшоном он похож на средневекового монаха.

Поглощая бутерброды, Вадим возбужденно, перепрыгивая с одного на другое, глотая слова, рассказывал обо всем, что сегодня видел и что пережил.

Клара, лежа напротив на кровати поверх одеяла, слушала, подперев голову рукой, и периодически повторяла, справедливо находя в его рассказе подтверждение своих прогнозов:

— Вот видишь!.. Вот видишь!..

Она примолкла лишь тогда, когда он заговорил о том непонятном, видимо, самом страшном, что происходило на Садовом, возле посольства, хотя поди знай, что произошло дальше, может, худшее. Клара сузила глаза под очками, помолчала, потом сказала:

— Черт, это странно... А может, последняя капля?..

И снова повторила: все равно долго не протянется. Завтра, уверяю тебя, все будет кончено.

Она рассказала, что вечером во «Времени» молоденький комментатор, ну, такой интеллигентик в очках — кто бы мог подумать?.. — вел репортаж от Белого дома. «Я все высматривала тебя». Говорил, не знает, появится ли этот репортаж вечером в передаче. Но все равно вел. А репортаж — появился. Значит, они мало что контролируют.

Помолчав, Клара сказала с усмешкой:

— Говорят, против лома нет приема. А я всегда считала, что есть.

— Что же?

— Лом! — воскликнула она с неожиданным жаром, он Вадима даже несколько испугал. — Против лома — только лом! Причем сразу, без промедления.

— Какой уж тут лом? — Вадим пытался утихомирить Кларин пыл. — Безоружная толпа? Влюбленные мальчики и девочки? Нечесанные панки? Ростропович? Вот уж не знаю, с виолончелью или без.

— О, не скажи! В иных ситуациях безоружная толпа, да еще вместе с Ростроповичем, — еще какой лом. Посильнее всей артиллерии главного командования.

«Может быть», — подумал Вадим.

Клара рассмеялась:

— У тебя вон глаза не смотрят. Время-то четвертый. Спи давай!..

Соскочив с кровати, подбежала, шлепая по полу босыми, тяжелыми ступнями, нагнулась к нему, чмокнула в щеку. Выключила свет. Нырнула обратно в свою постель. Кутаясь в одеяло, сказала, зевая:

— Дума-аю, о-о-х ты, Боже мой, в основном я права: хотели взять на испуг. Но не вышло.

Он никак не мог проснуться, мычал, отмахивался, но Клара продолжала расталкивать, настойчиво повторяла:

— Тебе надо позвонить домой.

До него наконец дошло: позвонить домой. Проснуться не было сил, хотелось спать и спать, время-то раннее. Но девчонки уйдут, тогда с ними не поговорить. Иришку еще можно поймать на работе, а с Лелькой уж никак.

У Клары было озабоченное лицо.

— Сейчас передали: на Садовом, у Смоленской, погибли ночью люди. Не говорили, сколько, но есть жертвы. По официальным сообщениям, они были в нетрезвом состоянии.

— Врут, — оборвал Вадим. — Такого количества трезвых я одновременно в жизни не видел. Там возбуждения хватает и без этого.

— Конечно, врут, — согласилась Клара.

— А от Белого дома никаких сведений?

— Молчат. Значит, все в порядке. Если б что было, так уж раструбили бы... Я побежала, будешь уходить, захлопни дверь.

Поцеловала в щеку, ушла.

Вадим набрал домашний телефон.

— Ну что, роденький? — кричала в трубку Иришка. — Что у вас?

— Да все в порядке, — сказал он. Подумав, осторожно добавил: — Говорят, на Садовом что-то было, слышали грохот оттуда, кажется, есть жертвы.

— Да, я знаю, передавали. Ты из автомата? Хорошо слышно.

— Из автомата, конечно.

Он сказал, что скоро придет домой, попросил позвать Лельку. Слышно было, как дочь взяла трубку, но молчала.

— Лелечка! — выкрикнул Вадим.

Была пауза, а потом Лелька сказала:

— Пыхади паскаея. Пацаюемся.

Она это часто говорила, а тут он почувствовал, что у него выступили слезы.

— Приду, Лелечка, приду, — умиленно выдохнул он.

Опустив трубку, подумал: не поваляться ли еще на диване? Но решил: нельзя, может заснуть и проспит самые важные события. Главное — чрезвычайная сессия в Белом доме. Состоится или нет? И как пройдет? Все теперь зависит от этого. В том числе и звонок на работу. Вряд ли стоит раньше времени сообщать, что он был на баррикадах. Думая об этом, одновременно чувствовал, что его буравит беспокойство, будто им не сделано что-то, что надо обязательно сделать.

Это беспокойство не покидало и тогда, когда он долго, взбивая пену, чистил зубы своей щеткой, когда стоял под прохладным душем, а потом яростно, чтобы взбодриться, растирал себя.

Посмеиваясь, он влез снова в халат, почувствовав, как всегда, его ласковое прикосновение. Выпив на кухне крепкого горячего чая, пошел в комнату, опустился в кресло перед телевизором.

Но ни прохладный душ, ни крепкий чай не сняли полностью напряжения и усталости прошедших суток. Он смотрел на экран сквозь полудрему. Уж слишком

уютными были это старое, как и диван, сладковато пахнущее временем кресло, этот халат с капюшоном.

Однако события на экране заставляли пялить глаза. Само начало сессии, наполненный, жужжащий зал, в котором мелькал и Зубарев, аплодисменты, решительность слов Ельцина означали, что сессия состоялась. Было даже принято решение о ее прямой телевизионной трансляции, хотя кто-то из депутатов сообщил, что Кравченко озадачило такое требование. И все-таки Вадим не выдерживал, глаза слипались. Так было все время, пока сидел перед телевизором. Он ловил обрывки выступлений то Ельцина, сообщившего, что члены ГКЧП в полном составе ринулись во Внуково — хотят лететь к Горбачеву в Крым, то Яковлева, объявившего, что на шестнадцать часов назначен вывод войск из Москвы, то горбачевского советника Шахназарова об отдыхе вместе с шефом в Крыму накануне путча, то Хасбулатова, то Силаева. Приняли решение лететь в Форос Руцкой (все время повторял: «Девять грамм... Девять грамм...»), Силаев, Бакатин, еще кто-то. И чем дальше развивались события, тем очевиднее становилось, что все кончено.

Зазвонил телефон. Вадим поднял трубку, услышал захлебывающийся голос Клары:

— Ты смотришь телевизор?.. Это я напророчила, я, малыш!

Да, она оказалась права на все сто процентов. Поразительно!.. Но странно: именно сейчас, когда вся эта катавасия завершилась, словно по Кларкиному сценарию, он почувствовал, что ее прозорливость неприятна ему.

— Ты великая женщина! — сказал он и услышал в трубке чей-то ворковавший рядом с Klarой женский голосок.

Клара рассмеялась то ли в ответ на его слова, то ли в связи с тем, о чем ворковал голосок.

— Тут моя помощница Нэлли, — сказал Клара, — спрашивает, кого это называю малышом... Я так называю, — объяснила ей Клара, — моего друга.

Она снова засмеялась, сказала:

— Целую тебя, малыш.

Швырнув трубку, Вадим выкрикнул в пустоту квартиры:

— Дура! Идиотка!

«Баба есть баба», — думал он. И в то же время поносил себя за то, что не предупредил ее. Но не мог же предположить, что эта стукачка Нэлли работает непосредственно с Klarкой.

И вдруг снова кольнула мысль, что не сделал того, что сделать необходимо.

Немного отойдя от разговора с Klarой, решил, что настала пора, не опасаясь, позвонить в отдел. К телефону подошел Блажков. Хорошо это или нет? И тут же мелькнуло: пожалуй, очень даже не плохо.

— Роман Петрович, — устало сказал Вадим.

— Слушаю вас, — сухо отозвался Блажков.

— Это Таранов. Звоню от Белого дома.

— От какого дома? — недоверчиво, даже растерянно спросил Роман Петрович.

— От Белого... Разумеется, от нашего, — позволил себе скромную шутку Таранов. — Были очень тяжелые сутки, почти не спал. Так что я прямо домой.

После короткой паузы Блажков торопливо и на этот раз слегка обескураженно сказал:

— Конечно, конечно, Вади... Вадим Юрьевич.

Вадим положил трубку и тут наконец вспомнил, чего же он до сих пор не сделал: не покормил вшей.

Пора было возвращаться домой. И не только из-за неокормленных паразитов, а потому, что день уже катился к вечеру. Он выглянул в окно. Еще по-настоящему не распогодилось, небо было ватно-серым, но кончился дождь, высох асфальт, вообще чувствовалось, что где-то совсем близко, за этой оловянностью небес есть солнце, прорывающееся на встречу с землей.

Вадим решил добираться до дому верхом, без подземки. Снова, как и в первый день, когда все это началось, день, который казался невысказанно далеким, будто прошло не три дня, а сто лет, хотелось посмотреть на город.

Он ехал троллейбусом по Садовому, почти от того самого места, где разговаривал ночью с шофером автобуса, потом к себе на шоссе, и его поразила спокойная пустыньность улиц и площадей. Было мало машин, мало прохожих, и казалось, что и

те и другие движутся неторопливо, словно... Словно это последние остатки театрального разезда. Да, опять ощущение театра. Вернее, уже закончившегося теперь спектакля. Сцена, только что кипевшая страстями, гигантский зрительный зал, только что учащенно и слитно стучавший тысячами, миллионами сердец, вмиг опустел. И как будто не было ни этих страстей, ни этого учащенного и слитного биения сердец. «Фантастика, — изумленно думал Вадим и стал напевать под нос: — «Я другой такой страны не знаю...»

Дома, сняв джинсы, он усадил вшей на ляжки. Вши были непривычно суетливы, подвижны, видно, совсем оголодали. Но, обнаружив возможность кровососа, мгновенно замерли. Вадим думал, что уже притерпелся к процедуре, но, как только увидел наливающегося чернотой светло-серых насекомых с поднимающейся задницей, так снова почувствовал подкатывающий к горлу ком. Собрал отобедавших тварей в пробирку, помчался в ванную, едва удерживая приступ тошноты. Отмылся, отскребся, облился одеколоном. А тут как раз и пришли девчонки. Шумно лепеча что-то, повисли у него на шее. Он с бережной осторожностью обнимал хрупкое, теплое тельце дочери, а она, откидывая голову, всматривалась в него, будто не видела вечность.

Потом Вадим рассказывал Иришке о том, что пережил у Белого дома, они смотрели телевизор, полет к Горбачеву, его вызволение, события катились неудержимо.

А ночью, когда после крешендо, какого между ними прежде не было, Иришка хотела, как всегда, бежать в ванную, он удержал ее, привлек к себе, прошептал: «Не надо». Глаза жены мерцали в темноте удивленно и счастливо.

И тут Вадим понял: пора кончать с Кларкой. Чем скорее, тем лучше. Особенно если все сладится на работе. В первое мгновение мысль эта поразила его. Но в следующее она показалась настолько естественной, что помогла тут же безмятежно заснуть.

Придя на работу, Вадим первым делом просмотрел результаты замеров, они ему очень понравились. Чем дальше длился во времени эксперимент, тем больше возрастала ценность таких результатов. Надо было бы сесть за стол, систематизировать их, выстроить закономерность. Но работать не хотелось. Не только ему, но и никому. Все возбужденно обсуждали эти три дня, приносили свои сведения и, конечно, расспрашивали Вадима, как было там. Вадим рассказывал сдержанно, сохраняя интонацию скромного достоинства, не стеснялся говорить, что временами было страшно, особенно когда становились в цепи, однако, знаете, воодушевление общего подъема, близость локтя, ну и, наверное, идея свободы делали свое дело.

И в отделе, и в коридорах, где его тоже останавливали с расспросами, он заметил, что в какой-то момент рассказа вдруг наступала особая, благоговеющая тишина. Вадим со смущенным видом тушевался, переводил все в какую-нибудь шутку. Ну, например, о том, как задремал на ящике у костерка, а когда открыл глаза, увидел прямо перед собой Зубарева. Думал, привидение, даже закричал.

— И что он? — спросил Блажков.

— А ничего. Помахал рукой. Вид был крайне утомленный.

Но никому не работалось еще и потому, что все то и дело бегали в зубаревский «предбанник», где стоял телевизор. Марина принимала с королевским радушием, видно, за эти три дня сильно истомилась по обществу. С экрана шли сообщения об арестах гкачепистов, застрелился Пуго, застрелил жену. Продолжалась парламентская сессия, снова мелькал в зале Зубарев, вызывая в «предбаннике» бурную реакцию. Приостановлен выпуск поддержавших путч газет. Приостановлена деятельность РКП. Отставки и новые назначения. Крылатая фраза Президента СССР о том, «кто есть ху». Гигантский митинг, митинг победителей у Белого дома, под палящими лучами ликующего солнца. «Надо же, все три дня пасмурность, а сегодня смотрите — солнце!» Полощутся трехцветные стяги. С балкона выступают Хасбулатов, Яковлев, Шеварднадзе, Боннэр... У микрофона с поднятым сжатым кулаком Ельцин, его прикрывают пуленепробиваемыми щитками, похожими на школьные портфели. Заявление — это уже вечером — Горбачева по телевидению, толпы на вечерних улицах, возбужденные лица, сносят памятник на Лубянке.

В один из набегов к Марине, кажется, когда транслировался митинг, она, играя глазами, склонилась к его уху и зашептала:

— Скажи, Вадичка, твоя подпольная кличка не Малыш?

Вадим жжал кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не пошутить их в дело. Но мгновенно овладел собой, спокойно и тоже на ухо спросил:

— Малыш? Не понял: ты о чем?

— Клара Дмитриевна, — посмеиваясь, шептала Марина, — проговорила, что у нее есть друг, которого она называет Малыш.

Марина смотрела на него горящими от любопытства глазами, а Вадим изобразил усталую гримасу.

— Мариночка, тебе не надоело? Я не помню даже, когда последний раз говорил с Кларой Дмитриевной по телефону.

— А при чем тут телефон? — с интересом спросила Марина.

«Вот черт!» Он сказал:

— Уж тем более не помню, когда виделись... Нет, правда, тебе не надоело?

— Ну, ладно, ладно, миленький, — примирительно сказала Марина. — Уже и пошутить нельзя!

«Хороши же шуточки!»

И тут Вадим снова подумал, что о Кларой надо завязывать. И немедленно. Дело не в туманящих Маринину голову предположениях, хотя, конечно, лучше, чтобы их не было. Особенно в видах на новую должность. Нет-нет, иллюзии, что уже все с заведованием решилось, у него нет. Но если раньше дребезжало, подскакивало на рытвинах с угрозой вот-вот свалиться в канаву, то теперь вроде бы покатилося... А язык у Марины без костей. И так, наверное, все несет шефу. Вряд ли информация пришлась бы ему по вкусу. Зубарев-то слывет аскетом, человеком высокоморальных устоев, за ним никакого шлейфа. И пусть даже не информация, а так — легкая видимость подозрения, струйка дыма, молва. Но они-то, хорошо знал Гаранов, хуже прямой улики. Никто ничего не спросит, не скажет, только перешепот. Но ты уже готов.

Однако дело все-таки в чем-то другом. Он и сам не может объяснить, в чем. Но знает — в самой Кларке. Есть в ней какая-то угнетающая сила. Поначалу не замечалось, не чувствовалось, а теперь ощущается почти всегда. Впрочем, может, все проще? Пришла пора расстаться просто потому, что пришла пора.

Но как? Позвонить и сказать, что все кончено? Нет, духа не хватит. Или, наоборот, перестать звонить, не встречаться? Отрубить — и все! Прежде он не раз так поступал, и часто срабатывало. Но то больше бивуачные, мимолетные радости. А тут посложнее. Клара так просто его не оставит. Она любит, чтобы все точки были расставлены. Обязательно позвонит сама. И что сказать? То есть что сказать, понятно. Но как, как сказать?..

На другой день перед обедом, около часа, Клара разыскала его на работе.

— Ты где пропал, малыш? — ласково спросила она.

Он чуть не зарычал, но все же сдержался, сказал лишь слегка раздраженно:

— Ну, что ты все — малыши да малыши?!

Она ничего не почувствовала, только удивилась:

— Ты что?

— Кто-нибудь услышит, — проворчал он.

— Да кто услышит? Тут ни одной живой души, — сказала она. — Послушай, у меня появилась возможность сейчас сбежать с работы. Как ты на это смотришь, малыш?

Он молчал. Чувствовал, что пауза затягивается, но молчал.

— В чем дело? — тихо спросила она.

— Думаю, — сказал он. — Думаю, как все это организовать.

— Так организуешь? — снова тихо спросила Клара.

— Конечно, конечно, организую, — поспешно ответил Вадим. Опуская трубку, он слышал быстрые удары своего сердца.

Но организовывать ничего не надо было. Начальства нет, докладываться некому. И все-таки зашел в лабораторию, громко оповестил всех, что на после обеда договорился со смежниками о встрече у них. Перед уходом позвонил Марине, спросил о Зубареве.

— Обещал быть во второй половине дня, — сказала Марина. — Между прочим, вызвал несколько человек, и среди них кадровика. Позвони в конце дня, может, буду что-то знать.

Снова, опуская трубку, он почувствовал, как забилось сердце.

Клара встретила Вадима с той же или даже, может, с еще большей нежностью, чем тогда, ночью, когда он пришел от Белого дома. Откинув голову, всматривалась, как и Лелька, в его лицо, будто не виделась вечность. Прижавшись к груди, прошептала:

— Я почему-то подумала, не придешь. Испугалась.

«Как худо», — ужаснулся он, пробормотал:

— Ну, что ты...

И потом, в постели, была нежнее, чем обычно. Но казалось, к этому что-то примешивается. Или это только казалось?.. А он не был в ударе, хотя старательно выполнял все ее желания, ловил малейший намек. По-настоящему пружина не завелась. В какой-то момент он приоткрыл глаза и увидел ее литые груди, которые покачивались над ним, почти у глаз, как колокола.

С улицы через распахнутое окно доносилось шуршание автомобильных шин. Вадим хотел ей рассказать про Нэлли, но потом решил, что не стоит. Какое это теперь имеет значение? И вообще пора уходить. Необходимо позвонить Марине, хотя, наверное, опоздал. А звонить от Клары не хотелось, надо поскорее отделить от нее свои дела.

Когда перелезал через Кларкино тело, чтобы пойти в ванную, вдруг заметил на больших, с крупными пальцами, ее ногах бугорки подагрических шишек. Он, наверное, и раньше их видел, но не обращал внимания. А теперь они вызвали у него брезгливое чувство.

— Ты уходишь? — не открывая глаз, спросила Клара.

— Да, пора, — сказал Вадим.

Он стоял под душем, получая, как всегда, наслаждение от этой процедуры, потом тщательно вычистил зубы и прополоскал рот. Подумал: оставить ли щетку? Решил не оставлять. Во-первых, совсем новая, недавно купленная, импортная, случайно досталась, этот товар тоже в дефиците. А кроме того, ее исчезновение — вполне ясный для Клары знак. И не надо никаких слов. Умница, все поймет. Бросив взгляд на махровый, с капюшоном, халат, висевший на крючке, он вышел из ванной, сунул зубную щетку в стоявший в прихожей «дипломат» и, войдя в комнату, стал одеваться.

— Может, посидишь еще? — Клара уже была в халатике, сидела в кресле, сунув руки в карманы.

— Так уже поздно, — говорил он, не глядя на нее. — Иришка вот-вот придет с работы.

— Ну, хоть чашку кофе, бутерброд.

Он метнул быстрый взгляд на Клару, с испугом увидел ее потухшее, будто выключили внутри лампочку, лицо. Сказал поспешно:

— Нет, нет, Кларочка, спасибо. Я уж дома. Ведь поздно.

Пока Вадим ждал лифта, она стояла в дверях. Лифт подошел, раздвинул створки.

— Я позвоню, — сказал он.

— Позвони, — она улыбнулась. А что тайлось в ее прикрытых выступающими щечками и очками глазах, рассмотреть было невозможно. Спускаясь в лифте, он почувствовал, как его внезапно пронзила радость освобождения.

Вадим пошел к Садовому кольцу, решил доехать до Маяковки, а уж оттуда к себе на троллейбусе. Он увидел на стене дома телефон-автомат, набрал несколько раз Маринин номер, но тот не отвечал. Было около шести, рабочий день еще не кончился, но, видно, генеральный, завершив дела, уехал, а за ним и Марина, конечно, сразу же слиняла. Повесив трубку, Вадим понял, что звонит из того же автомата, с выбитыми по бокам стеклами, из какого звонил ночью Иришке. А может, и не тот? Может, в Москве вообще у всех телефонов-автоматов выбиты стекла.

По дороге в троллейбусе он размышлял о том, как же все-таки выяснить, принял ли Зубарев решение. Сегодня только пятница. Ждать до понедельника? Он

не выдержит. Маринино домашнего телефона у него нет. Правда, можно позвонить самому генеральному. Однако чур! Не суетиться, Вадим Юрьевич, не надо. Ах, Кларице, Кларице, великая умница!.. Одна она не останется. Такие женщины не кукуют, всегда при них кто-нибудь пасется. А все-таки интересно, почему от нее ушли художник и газетчик. И еще те, о которых у него нет сведений, но которые, это он точно знает, имели место быть. Почему-то Вадим был уверен, что не она их покинула, а именно они ее.

Но мысли о Кларе быстро улетучились. Он снова стал думать, каким же образом выяснить свою судьбу. От зубаревского решения так много зависело. Пожалуй, начало новой жизни. Вадиму казалось, что теперь, после путча, это предчувствие новой жизни появилось не только у него, а у очень многих. Может быть, у всей страны. Надо ждать радикальных перемен вместо волюнки, какую тянули до сих пор. Наверняка будут поощряться инициатива, частное дело. Вот тут-то и надо пуститься во все тяжкие. И вдруг с совершенной ясностью понял, что ему надо делать, чтобы попытаться выяснить свою судьбу. Даже удивился, что не сразу сообразил: пойти завтра на похороны трех погибших в ту самую ночь! Наверняка Зубарев будет там. Кларице, скорее всего, посоветовала бы то же. Но сейчас обрадовало, что он это придумал сам, без ее участия.

Раннее утреннее пробуждение было тяжелым, опять сыпались зубы, он проснулся в поту, с ощущением ужаса. И не оттого, что привиделось, сон стал уже привычным. Однако невозможно было привыкнуть к сопровождавшей сон злой загадке: какая же хворь скрыто точит его? Ведь медицина все проверила, не нашла даже самой малой заковыки.

Какое-то время Вадим лежал, не шевелясь, силился постичь тайну, но усилия оказались пустыми. Он тихо поднялся, стараясь не разбудить девчонку. Сегодня суббота, пусть отоспятся.

Когда ехал в метро, к нему подседа маленькая, напоминавшая аккуратной прибранностью и темным платочком бабу Талю пожилая женщина, почти старушка, спросила, как попасть на площадь к Манежу. Он сказал, что едет туда же, покажет ей. Женщина наклонилась к нему и проговорила:

— Надо проводить ребят... У меня сын такой же, воевал в Афганистане, сейчас на Севере, в Норильске. А дома дед парализованный. Вот оставила с дочкой и поехала.

Она совершенно так же, как баба Таля, поправила платок, подтянула подбородком узелок и еще раз повторила:

— Надо проводить ребят.

Пока ехали и потом, когда вышли у «Охотного ряда» и он, объяснив ей путь, поспешил вперед, неотвязно сверлила мысль: почему, почему ей надо проводить ребят? Даже парализованного деда оставила. Что — тоже за демократию? За светлое капиталистическое будущее? Или вечная наша жажда посострадать, оплакать, дай только повод? Сначала убить, а потом встать в почетный караул.

Но он видел, как вместе с ним движется по эскалатору, идет по изгибающемуся переходу, поднимается вверх множество людей, молодых и совсем не молодых, нередко с детьми за руку или на плечах, с тем же притихшим выражением лица, как у старушки. И снова возникло ощущение странности и непонятности, какое не покидало у Белого дома.

А на площадь с разных концов люди стекались уже сотнями, тысячами. Под разливающим густое, тягучее, белесое тепло солнцем они двигались к Манежу. Перед ним — там, вдали — виднелась трибуна в цветах и лентах, вокруг нее плескались флаги. По бокам же площади, у Александровского сада и у старых зданий университета, выстроились автобусы, на крышах которых тоже были люди.

Огромная, постепенно разраставшаяся толпа не походила на митинг у Моссовета. Не было выкриков, скандирования, все переговаривались негромко. И то и дело расступающуюся толпу осторожно прорезали по вызову взмахами руки, носовыми платками желтые рафики «скорой помощи», подъезжали к месту, где кому-то стало плохо.

Вадим шел вперед и вперед. Однако чем дальше продвигался, тем толпа становилась плотнее, и уже не было надежды пробиться к трибуне, хотя она совсем близко.

На этот раз Зубарев увидел его сам, узнал со спины. Вадим вдруг услышал позади легкий шум, восклицания, даже аплодисменты. Не успел еще обернуться, как знакомый голос окликнул:

— Здравствуйте, Вадим Юрьевич.

Вадим обернулся и увидел Зубарева. Он, как и в тот раз, пробирался через образующийся коридор вместе с какими-то еще известными людьми, Вадим не знал их фамилий, но узнал лица, часто мелькавшие по телевизору. Их приветствовали. Из толпы к ним тянулись руки. Вадим тоже протянул руку Зубареву. Тот приостановился.

— Какой день-то, Вадим Юрьевич! — сказал Зубарев. — Какой торжественный и какой печальный день.

Вадим кивал головой, что-то мямлил вмиг пересохшими губами, ему казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди.

— Да-а! — вздохнул Зубарев и тоже покачал головой. Отпустив руку Вадима, пошел за своими товарищами в сторону трибуны.

«Куда же ты уходишь?» — чуть не закричал Таранов.

И, словно услышав его, генеральный, уже сделав несколько шагов вперед, вдруг быстро вернулся и сказал:

— Да, чуть не забыл. Я подписал приказ. Вчера вечером. Так что приступайте.

Еще раз пожав руку Вадиму, Зубарев двинулся по проходу.

А застывший в неподвижности Таранов неожиданно почувствовал, что все его тело наливается невероятной тяжестью. Ощущение было такое, будто только что ворочал камни. И не возникло ни возбуждения, ни радости. Лишь усталость. Голова тоже стала тяжелеть, на нее давило палящее солнце, душный, раскаленный воздух. Не находилось сил ни о чем думать, понял одно: быть здесь он больше не может, надо немедленно уходить.

Через площадь Вадим продвигался к метро, а навстречу ему шли и шли люди с притихшими лицами. Из репродукторов разносились слова, повторяемые эхом. Начался траурный митинг. Но Вадим продолжал свой путь, не вслушиваясь, и, наверное, был единственным на этой огромной площади, кто двигался к гостинице «Москва», а не в сторону митинга.

В метро, а потом в автобусе на него навалилась дрема. Голова, медленно клонясь, в конце концов опрокидывалась на грудь. Однако, выйдя из автобуса, он почувствовал себя посвежевшим, хотя ощущение усталости не прошло.

Вадим спустился в тускло освещенный, казавшийся особенно темным после яркого дневного света переход, наполненный торговцами со столиков, с рук, пробирался через толпу и вдруг услышал знакомую мелодию аккордеона, надтреснутый мужской голос:

Липа векова-ая-а
Над реко-ой стои-ит...

Вадима это настолько поразило, что он даже замедлил шаг. Так много пережито за эти дни. И не только им. Почему-то подумалось, что теперь должны зазвучать иные песни. Черт его знает, какие, но — иные. Впрочем, почему подумалось, не поймешь. Старая же наша песня. Русланова хорошо пела, дома, в Коломне, часто ставили пластинку на древний проигрыватель. Вадим подошел ближе, остановился. Перед слегка привалившимся к стене аккордеонистом в стареньком, но аккуратном пиджаке с орденскими планками, как всегда, стояли молчаливые женщины.

Над твоей моги-илой
Солове-ей поет.
Липа векова-ая-а
Весной расцветет.

Выходя из подземелья и поднимаясь по ступенькам, Вадим — тоже как всегда — услышал дружный звон монет о дно жестяной консервной банки.

К дому он шел быстрым шагом, хотелось поскорее поделиться с Иришкой новостью, хотя, наверное, жена и дочь ушли гулять или в магазин. А скорее всего, как это бывало, и погулять, и в магазин. Так и оказалось, в квартире стояла тишина.

Вадим сбросил туфли, сунул ноги в пушистые тапочки, включил на кухне телевизор, опустился перед ним на стул, вытянув ноги.

На экране широкая, бесконечная лодская река текла по Новому Арбату, мимо кинотеатра, ресторана, гигантского глобуса на углу. Процессия двигалась неторопливо, что-то комментировали дикторы, но он не очень вслушивался. Только видел сквозь слипающиеся ресницы это людское множество, оно спускалось к реке, заполняло площадь у Белого дома. Машины с установленными на них гробами, покрытыми трехцветными полотнищами. Огромные портреты погибших. Охранные цепи из недавних защитников Белого дома. Венки, венки, венки. Ельцин со сведенными к переносице бровями у микрофона: «Простите меня, вашего президента...»

Вадим, чувствуя, что не может побороть сон, пошел в комнату, повалился на софу и мгновенно заснул. В кухне бормотал не выключенный телевизор, через открытое окно от железной дороги доносились металлический лязг электрички, грохот товарняков. Но это не мешало, к грохоту и лязгу в конце концов привыкаешь.

Проснулся он внезапно, словно что толкнуло, не от грохота, а от тишины. В квартире по-прежнему было тихо. Куда запропастились девчонки? Уже и обедать время.

Вадим чувствовал себя отдохнувшим, умиротворенным, начинающим наконец вкушать всю полноту блаженства от удачного исхода давно затеянного дела. Он снова сел перед телевизором. В церкви Ваганьковского кладбища отпевали двоих: «Братие наших... Дмитрия и Владимира...» А у могилы третьего, Ильи, звучала поминальная молитва, плакала скрипка. Кто-то сказал: «Мы все от Адама...»

Вадим смотрел на экран и испытывал благостные чувства. Особенно когда слышал слова православного отпевания. Казалось странным, что оно перебивается чужой молитвой на непонятном языке.

Чувствуя голод, он полез в кухонный стол за ножом, хотел отрезать кусок хлеба.

И тут увидел на столе среди невымытой посуды слегка горбатящийся листок бумаги, сложенный пополам и с одного угла прижатый эмалированной голубой кастрюлей с желтым цветком на боку.

Еще не протянув к листку руки, Вадим почувствовал, как в него заползает страх. Он смотрел на листок, не решаясь взять. Но все же потянул за кончик, освободил из-под кастрюли. Листок тотчас раскрылся, и Вадим увидел вложенную в него свою зубную щетку. Ту, что прихватил с собой от Клары, из ярко-красной пластмассы с белой искусственной щетиной и маленькими золотыми латинскими буквами на ручке. С ужасом смотрел на щетку, не понимая, как она могла здесь оказаться. А потом вспомнил, что вчера, идиот полный, ну, просто клинический идиот, перед сном достал ее из «дипломата» и поставил в ванной в общий стакан.

Вадим прочитал написанное летящим Иришкиным почерком: «Рада была познакомиться с твоей Klarой. Она звонила и все рассказала. Ушла к родителям. И.». А ниже приписка: «Тогда ночью ты был у нее, а не у Белого дома».

Приписка особенно возмутила. Иришка не только констатировала — тут никуда не денешься — неблагоприятное поведение, но и явно издевалась над его отважным поступком. Да, ночь он провел у любовницы. Но перед этим он был, был там! Строил баррикады, стоял в этих страшных цепях, мок под дождем. Вадим рассвирепел не на шутку, посылал проклятия и бывшей любовнице, и жене. Они испортили ему сегодняшний праздник. Ну, Иркут-то он не отпустит. А уж тем более Лельку. Надо же, увезла в такой день!.. Ничего, ничего, он их вернет. Однажды уже было, еще до рождения дочки, только-только отселились от родителей. Случилась последняя, прощальная встреча на чужой квартире с коломенской девочкой. Появилась внезапно, все в момент вспомнилось. Позвонил Иришке, сказал, что образовался непредвиденный мальчишник. Но не заметил, как вечер переплыл в ночь, а там уж светает... В общем, заявился под утро, жены нет, только записка, как и теперь: ушла к родителям. Умолял. Клялся. Молол какую-то чепуху про перепой, испортившийся телефон, предлагал позвонить Сене Шейнину, еще кому-то, всех предупре-

дил. Простила. Вернулась. Вот так-то. Он к ней все-таки привязался. А теперь еще и Лелька. Нет, не отпустит.

Но какова Клара!.. Вадим чувствовал: несмотря на то, что подлю его подставила, он думает о ней с восхищением. Молодец. Вот так — сразу. В один миг. Ну и слава Богу, слава Богу! А все-таки есть, что ни говори, в этом нечто грустное. Тем не менее хватит, он от нее устал. И потом эти подагрические шишки...

А на экране гробы опускали в могилы, слышался скрежет лопат о землю, сухой стук комьев о крышки гробов. Батюшка раскачивал кадило, из него вился голубой дымок. Вадима охватили печаль, чувство одиночества. Он смотрел на экран увлажнившимися глазами.

Тишину квартиры прорезал телефонный звонок. Вадим вздрогнул, застыл на мгновение, потом бросился к трубке.

— Приветствую тебя, мой повелитель, — услышал он распевный женский голос.

Вадим не мог ничего понять. Что за «повелитель»? Кто с таким прибабахом? Но тут же сообразил: Мадиевская!.. В эти сумасшедшие дни он о ней совсем забыл. Пробормотал сквозь зубы:

— Здравствуй.

— Не можешь говорить? — торопливо спросила она, сменив тон.

— Могу.

— Только что вошла в дом. И сразу к телефону. Скажи, как вы здесь? Я там с ума сходила. Что ты делал?

— Был у Белого дома.

— Боже мой! Это, наверное, ужасно, милый, милый мой друг? — И, не дожидаясь ответа, спросила: — А когда мы увидимся?

— Как-нибудь. Пока не знаю.

Возникла пауза. Потом спросила, перейдя на «вы»:

— А вы, Вадюша, посмотрели тетрадь Станислава Генриховича?

— Да, в общем, ничего особенного.

— Вы уверены? Он говорил, что там что-то есть.

— Да нет, пустое... Кроме, разумеется, последней фразы, относящейся к вам.

Он рассмеялся.

— Я же вам говорила, — серьезно сказала Антонина Глебовна, — он очень меня любил. А может, стоит все-таки показать Блажкову?

— Нет нужды. Я же говорю, ничего особенного. К тому же я куда-то сунул тетрадь, надо найти.

— Найдется же в конце концов, — сказала Мадиевская. — Но это не страшно. Я сняла ксерокопию, мне помог Боря. Хотя, конечно, жаль, если затеряется оригинал.

Снова установилась пауза.

— Так ты придешь? — прервав ее, спросила Антонина Глебовна, вновь перейдя на «ты».

— Приду! — глухо сказал Вадим.

— Обнимаю тебя, мой друг. Мне одиноко.

«Цепкая, однако, бабенка», — подумал Вадим, кладя трубку. Ей одиноко, мне одиноко. Как ни крути, а на данный момент она оказалась единственной у него женщиной. Вадим усмехнулся: единственная близкая душа!..

Он взглянул, уже больше машинально, чем с интересом, на телевизионный экран: похороны закончились, показывали разные репортажи о тех трех днях. Снова танки на улицах, толпы людей, баррикады у Белого дома. Какой-то небритый мужичонка, похожий на бомжа, посреди улицы, на спуске у «Детского мира», провожает, весело размахивая кепочкой, танки, уходящие из Москвы.

Вадим вспомнил, что ему надо сделать то, что сегодня еще не делал, — покормить вшей. Достав из висячего кухонного шкафчика стоящую там в стакане пробирку, подумал, что в понедельник надо обязательно позвонить доктору, может, уже можно передать оставшихся тварей. Спустил брюки, сел на стул, высыпал на ляжку насекомых. Они сразу же присосались

Но в этот момент он вдруг услышал знакомый голос: с экрана парень говорил о

принципе тубика, если пасту выдавить, то обратно уже не загонишь. Вадим с изумлением смотрел и слушал, понимая, что сейчас произойдет: двинется камера, и он собственной персоной предстанет на экране. Так и произошло. Появился он, прикрывающий лицо вытянутой рукой с расставленными пальцами в виде буквы «V». Виктория!..

Вадим перевел взгляд на ляжку, вши уже почернели, заняли почти вертикальное положение. И тут он почувствовал, что больше не может себя сдерживать. Комом застрявшая в горле тошнота вырвалась наружу.

А на экране стоял молодой человек с поднятой вверх рукой, и дикторша говорила: «Вот он, один из скромных защитников демократии, не теряющий веры в победу!..»

В дальнем углу обширного и довольно дикого больничного парка они сидели на скамейке чуть-чуть поодаль друг от друга. Доктор сказал, что желтуха так просто, при обычном общении не передается, но лучше, конечно, не рисковать. И сам же Арсений Николаевич рассказал Зубареву о дыре в каменном заборе позади последнего корпуса, у перелеска. Посещения в инфекционной больнице категорически запрещались, но, оказывается, через этот лаз родственники попадают в парк, встречаются с теми, кто может покинуть свой бокс.

Сегодня был первый день, когда Антону разрешили выйти на воздух. Оба цурились, глядя на клонящееся к закату золотое августовское солнце, ощущая нежное его прикосновение, и молчали.

Андрей Валерьянович смотрел на сына с тем не сдерживаемым чувством, с каким смотрит уже далеко не молодой человек на своего позднего ребенка. Его радовало, что желтизна на лице мальчика несколько спала, поблекла. Перестала быть такой пугающе яростной, как тогда, когда он в совершенно невменяемом состоянии мчал сына на «скорой» в больницу.

Антон смотрел на отца с обожанием, но, стесняясь своего порыва, быстро отводил взгляд.

Какой прекрасный сегодня день, думал Зубарев, улыбаясь сыну, солнцу, деревьям, потихоньку начинающим терять зеленое убранство. Даже язва, которая мучила все эти дни, оставила в покое. Многие его считают мрачным, не располагающим к себе человеком. Но никому не ведомо, что это не от характера, а от тупой боли, сосет почти постоянно. Отпустила только сейчас, когда пришел к сыну. А с утра, когда отправился на похороны, саднило и саднило... Очень жаль ребят. Однако дело, обгаренное кровью, поднимается в цене. Приобретает ореол святости. Это важно. Теперь надо только уметь воспользоваться плодами победы. Многого, конечно, зависит от Б.Н. Как хорошо он смотрелся на танке. Петр Первый!.. Теперь необходимо решительно действовать. Срочно занять помещения, захватить имущество. В этом смысле стихийные выступления на Старой площади очень на руку. Все немедленно взять под самый жесткий контроль. Кто-то не поймет, даже среди своих, начнет обвинять в отступлении. Мол, тех же шей, да пожизне влей. Шило на швайку. Вон, сегодня на встрече межрегионалов с правительством Танечка Малкина прямо-таки взвилась против решительных требований беспощадного отношения к главарям заговора, сказала: «Это людоедство». Пигалица, ничего не понимает. И правильно ее удалили из зала. Тогда, на пресс-конференции, когда спрашивала у этих пигмеев о государственном перевороте, поняла. А теперь нет. Политика — тонкая штука. Мгновенно поменялись условия. Теперь мы у власти. А это уже совсем, совсем другое дело. И наши жесткие меры — это не то, что жесткие меры тоталитаризма. Ну, а дальше будет видно... Пожалуй, надо что-то присмотреть и для Центра, что-нибудь солидное. В старом здании теснота невозможная. И конечно, придать Центру новый статус. Скажем... скажем, Академия. Да, да, не меньше: Академия коррозии... Он вспомнил объявление, наткнулся недавно в какой-то газетке. Некая биржа недвижимости рекламировала себя: наша цель — возрождение. Вот именно: через недвижимость к возрождению... А сейчас главное — решительность. Кадровые перестановки везде, снизу доверху. Надо думать, со дня на день что-то предложат и ему. Все-таки три дня в Белом доме, как говорится, бок о бок, дорогого стоят. Но соглашаться только на крупное. Разменивать себя на мелочи нельзя. А если нет... да и вообще, если опять «гянем-потянем», что ж, дорожка

известна: перейду в оппозицию. Есть в ней что-то сладостное. Простор для действий! Гораздо, между прочим, больший, чем когда у власти, требующей постоянного маневра и компромисса. А какой общественный резонанс!.. Хотя, честно говоря, Зубарев вздохнул, надоело вечно собачиться. Покоя сердце просит... Сповтавившись, что, увлеченный своими мыслями, он забыл о сыне, взглянул на него.

— Тебе хорошо?

Антон утвердительно кивнул, а Зубарев улыбнулся.

И тут вспомнил Таранова, которого встретил сегодня у Манежа. Вот ведь были же какие-то сомнения. А оказался человек надежный, исполнительный. В те дни у Белого дома, а сегодня пришел на похороны. И как помог сыну!.. Надо его поддерживать. Пожалуй, привлечь к нашему движению.

Андрей Валерьянович откинулся на спинку скамейки, посмотрел окрест: на сына, на зеленые травы, на деревья, на серо-желтый песок дорожки, на солнце, опускающееся за перелесок. И, ощущая, что испытывает одно из очень, в общем-то, редких в жизни человека мгновений чистого счастья, снова подумал: «Какой день! Какой изумительный вечер!»

Глаза газет

Предлагаю к реализации три принципиально различных по конструкции образца увлекательных игр-головоломок, своим содержанием отражающих ход следствия по делу ГКЧП. Адрес: 350000, г. Краснодар-центр, до востребования. Предъявителю паспорта IV-АГ № 587209.

«Аргументы и факты», 1991

Из интервью Мстислава Ростроповича

— Вы ехали спасать Россию?

— Я ехал умирать. Так будет точнее. Ехал без визы — под московские танки. Однако не умер. Теперь лечу назад. Опять без визы, зато с противогазом. Так что не спрашивайте меня, страшно было или нет.

— Отчего же все-таки они не решились на штурм?

— Они? В смысле этот ГКЧ? Или как-то так? Да не знаю. Всегда сложно понять, чем руководствуются подонки.

— Пожелайте нам всем что-нибудь на дорожку, Мстислав Леопольдович.

— Храни нас, Бог, защитников России!

«Экран и сцена», 1991

Братва, отзовитесь!

Бен, Стелла, Маугли и тот парень, что стучит на барабанах. Как там? Пилл, никогда не забуду тот желтый автобус у подъезда Белого дома в ночь с 19-го на 20-е. И вообще вся братва, которая была на баррикадах, пишите. Дэн Федоров, 19 лет. 110002, СССР, г. Саратов, ул. Леонова, 6, кв. 3.

«Аргументы и факты», 1991

Что будет с Пиком Коммунизма, самой высокой вершиной бывшего Советского Союза? Будут ли менять его название или тоже попытаются снести?

Ю.У. Мурманская область.

«Аргументы и факты», 1991

Годовщине Октября — нашу чистоту и невинность!

Члены самарского общества «Старых дев» 7 ноября решили участвовать в демонстрации, независимо от того, состоится она или нет. Для торжественного прохождения колонны готовят фанерное подобие танка, на котором во время праздничного шествия должна находиться председатель совета с лозунгом: «В СССР секса нет!»

«Комсомольская правда», 1991

Усыпив 19-летнюю пациентку наркотическим уколом, врач-стоматолог изнасиловал ее прямо... в зубо врачебном кресле. Об этом беспрецедентном преступлении в городе Шпаковский (Ставропольский край) сообщает «Имма-пресс».

«Вечерняя Москва», 1991

ЛЕВОН из Степанакерта! Вот уже два месяца, как от тебя нет ни одного письма. Неужели что-то случилось? Я не верю в это! Наверное, сейчас тебе тяжело, но у нас с тобой все будет хорошо, и мы поженимся в марте, как договорились. Я все время повторяю твои стихи:

*Когда разгул первоначал
Все в смерть и хаос превратит,
Любовь — единственный причал —
Нас в испытаньях защитит.*

*Твоя Надежда, г. Минск.
«Аргументы и факты», 1992*

Придя в понедельник на работу, Вадим Юрьевич еще внизу, в вестибюле, столкнулся с обвешанной сумками Жанной, она восторженно смотрела на него. «Может, уже знает о назначении?»

— В чем дело, Жанночка Алексеевна? — приветливо спросил Вадим Юрьевич.

— Ва-адик, — сказала Жанна с придыханием, — я вас видела по телевизору. Это замечательно!

Он скромно отмахнулся.

В конце апреля следующего года у Таранова родилась дочь. Он долго умолял Иришку его простить, она поплакала и вернулась. Недавно они даже обсудили квартирный вопрос, хотя пока еще не решились на разговор с родителями. Вадим Юрьевич ждал сына, хотел назвать его Валентином. Но дочери он тоже обрадовался, решив назвать Валентиной. Однако в последнюю минуту передумал и нарек Викой, Викторией.

А в подземном переходе ветеран с аккордеоном по-прежнему поет песню про вековую липу. Но звона монет о дно консервной банки больше не слышно. Металлические деньги совсем обесценились. А когда опускают в банку рублевки, трешки да пятерки, иногда кто-нибудь и на десятку не покусится, то бумажки тихо шуршат.

*Дед идет с сумой и бос,
Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!
Наша совесть... Наша совесть.*

Инна Кабыш

Три ожога, три солнышка, три свечи...



* * *

Снег за снегом —
 вот наша манна,
ад за адом —
 вот русский путь,
Близь кошмарна, а даль туманна,
нужно ноги в металл обуть,
чтоб дойти...
 Путь все выше, выше —
и уходит под облака.

Лишь закрывши глаза: «Я вижу, —
скажешь, —
 вот оно: лес, река...»
И отец над рекой мачит
(наконец я пришла домой!),
и навстречу летит мой мальчик.
«Узнаешь меня, ангел мой?...»

Галина¹

Небо держится на Атланте.
На ком держится земля?
Русская земля?
На женщине.
На **этой** женщине.

Атланта видно,
потому что он **НА** земле.
Ее не видно,
потому что она **ВНУТРИ**:
она часть земли,
она ее соль.

Вот она с двумя полными сумками
стоит в очереди к Джоконде,
вот она в промерзшем зале
слушает Аверинцева,
вот она в толпе со свечой

¹ Тишина (греч.).

хоронит Александра Меня,
вот она — неузнаваемая в платке —
копает, поливает, сажает,
вот она — вдова —
ведет по жизни двух сыновей:
здесь ее обе заняты.

Она — очередь,
она — зал,
она — слеза.

И растет дерево,
шелестит листвой,
наливается плодами.
Дерево видно,
а ее нет,
потому что она — садовник.

И растут сыновья,
наливаются мускулами,
мужают сердцами.
Сыновей видно, а ее нет,
потому что она — мать.

Она — душа,
которая внутри всего,
без которой все мертво,
но которую не увидеть глазами.

Ее не слышно не потому, что у нее нет голоса,
а потому что она — Тишина.

Она держит Россию не на плечах,
не на руках —
на всей себе.
На судьбе.

* * *

Н.С.

Мне так душа твоя близка,
что не нужна твоя рука:
все, что наружно,
уже не нужно...

Будь далеко, но только будь!
Любовь — она не дом, а путь,
полет: не рядом —
над общим адом.

Бегущая по облакам

Так распорядился ветер,
что Роза родилась на планете Маленького Принца,
а в принципе она могла родиться
на любой другой.
Она никогда не чувствовала себя там дома.
И она б улетела,
если бы не корни.
Так распорядилась судьба,

что Лилиана родилась в Хорватии, —
 она могла родиться в любом другом месте.
 И не обязательно на Земле.
 И скорее всего не на Земле.
 У нее нет дома.
 Ее дом — престарелый отец.
 Ее корень.
 Иначе она бы давно улетела.
 У нее, сербо-хорватки, нет родины.
 Ее родина — война.
 Но у нее есть сын.
 Зеленый побег.
 Побег с родины.
 Потому что родина убивает.
 И у нее есть сердце.
 В которое все время стреляют —
 то сербы, то хорваты —
 и все время попадают,
 потому что оно очень большое.
 Когда-нибудь попадут совсем...
 Но она буддистка.
 И стало быть, родится снова.
 Только пусть на другой планете!
 И пусть там у нее будет родина и дом.
 И пусть Земле будет больно в тот миг,
 когда она все-таки улетит.
 ...Ее имени нет в святцах.
 Но мне кажется, что «Лилиана»
 значит —
 бегущая по облакам.

Загреб. Лилиане Нарат.

Между нами —	Небо вздрогнет,
твоя да моя страна,	взглянувши на нас:
между нами —	мы с тобой —
твоя да моя война:	две глазницы без глаз,
две крошечные тьмы,	ибо выплаканы глаза:
два пожара:	мир един — мы одна слеза.
да, подруга,	
мы славная пара!..	

* * *

Эка пропасть, Россия, в тебе рябин,
от кровавых потеков в глазах рябит.

И протек потолок, и с небес поток...
Август — кесарь, а кесарь всегда жесток.

И длинны его руки, ох, как длинны:
от глубин преисподней и до луны.

Он бы всех за собой утащил во тьму,
только бабы мешают весь век ему.

Будут бабы рожать: что и взять с дурех!
Так пусть каждая носит под сердцем трех.

И три сердца у каждого будет пусть,
ибо долг, Россия, твой крестный путь.

Пусть его освещают тебе в ночи
три ожога, три солнышка, три свечи...

Давид Маркиш

Записки похоронщика Вениамина Семеновича Белоцерковского



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

История этих «Записок» необычайна, как и судьба их автора — Вениамина Семеновича Белоцерковского, человека кладбища, простоявшего жизнь одной ногой в чужой могиле. Именуя себя похоронщиком, Вениамин Семенович служил жизни не в меньшей степени, чем смерти: ведь смерть является частью жизни, и частью изрядной. Этот негромкий старичок (но мог, как и каждый из нас, иногда и зарезать), этот похоронщик глядел на окружающее кратковременное движение с особым прищуром, свойственным представителям его профессии, и именно в подобном взгляде на мир и скрыта принципиальная разница между писателями и инженерами. Литературные герои живы в отличие от их прототипов, и датский могильщик вдруг материализуется и усаживается, сложив на коленях руки, рядом с Вениамином Семеновичем. Им есть о чем поговорить, и, подсядь к ним мусульманский погребальщик с кетменем и в белой вязаной чеплашке — он будет принят в разговор без лишних расспросов. Они приятно связаны знанием своего ремесла, но мусульманский, еврейский и христианский погребальщики и отличаются кое в чем друг от друга — не потому, что покойники у них разные, а потому, что татарин не датчанин, а датчанин не еврей. Наш мир пестр чрезвычайно, и похоронщики тоже отличаются один от другого. Но в мои намерения не входит отбирать хлеб у Вениамина Семеновича

Белоцерковского — он автор, он творец бессмертной литературной субстанции, ему слово. Я только расскажу о том, как в мои руки попало то, что вы сейчас держите в своих.

В начале шестидесятых попал я на московский Дорогомиловский рынок, где торговали в то время старинной мебелью. Торговля производилась в темном мрачном бараке, самый дух которого навевал мысли о нарушениях закона: краснорожий и белоглазый, как рыбец, торговец напоминал скорее безжалостного атамана разбойников, нежели ценителя и знатока павловских шкафов и екатерининских кушеток. Мебельный запас не оскудевал в бараке, божьи старушки притаскивали сюда, на Дорогомиловский, полуразрушенные старинные этажерки да тумбочки, ломберные столики и золоченые рамы — в надежде выменять это вчерашнее роскошное богатство на современный, из стружечно-опилочных каких-то плит шифоньер цвета прелой соломы, хотя бы и из третьих рук, но модный в глазах новых требовательных детей, решительно отвергающих вкусы матерей и отцов; это уже потом, лет через десять — пятнадцать, постаревшие дети кинулись искать красное дерево с птичьим глазом... Белоглазый же торговец в уголовном своем бараке старушек ничуть не обнадеживал, просьбы их о чехословацких стульях и югославских полках выслушивал невнимательно, протягивал пятерку, десятку и отсылал домой. Подручный его,

молодец вовсе уже разбойного вида, с грохотом вдвигал привезенные старушками в чрево барака и отпирывали пить водку с пивом. Видно, промышляли они чем-то еще помимо торговли старинной мебелью, не то давно бы протянули ноги.

В этот барак я и явился в поисках письменного стола для моих занятий. Торговец с подручным молодцом приняли меня с большим безразличием, отчасти и с досадой, как будто я не покупать пришел, а попрошайничать в обеденный час. Махнув крепкой рукою в сторону мебельного пыльного леса, торговец пригорюнился и забыл про меня. А я, протискиваясь меж царскими зеркалами и купеческими кроватями, искал стол, за которым сейчас сижу.

Стол выплыл, как фрегат из морской дали, — тяжелый, но стройный и строгий. К красноламенной его столешнице была прикручена бронзовыми винтами книжная полка с бронзовыми адмиральскими колоннами и резным навершием. Под столешницей расположились ящики, украшенные резьбой и поздними надписями личного свойства, нанесенными с помощью гвоздя. — Вот его! — указывая, сказал я торговцу. Тот назвал цену, более чем умеренную, получил спрошенное и снова перестал меня замечать. А мне и не надо было.

Через час стол был уже у меня, я мог начать его обжигать. Выдвинув верхний правый ящик, я обнаружил за ним тайник.

В нише тайника, замаскированного с любовью, лежала свернутая в трубку и перетянутая бечевкой толстая тетрадь. «Записки похоронщика Вениамина Семеновича Белоцерковского» — было написано на первой странице лиловыми чернилами.

Листая тетрадь, я не мог не вспомнить старые истории о присыпанных мусором и пылью сундучках с рукописями, о бутылках с письмами, вынесенных океанской волной на пологий берег. Я был несколько смущен: времена бутылок и сундуков, казалось бы, канули в Лету — но вот Дорогомиловский рынок, тайник, тетрадь... И я принялся за чтение. Времена за окном моей комнаты в коммунальной квартире стояли суровые,

о публикации «Записок» нечего было думать: публикатора посадили бы годков на семь, предоставили бы ему возможность познакомиться на практике с материалом, предлагаемым к печати... Да никто бы и не поверил, что случайно наткнулся я на эту тетрадь, а не сам сочинил истории, порочащие советскую власть и все самое святое в нашей жизни, так похожей на сказку. Тетрадь следовало припрятать подальше, вернуть в тайник. Так я и поступил. Но я возвращался к ней довольно часто, читал и перечитывал, исправлял грамматические ошибки, снимал восклицательные знаки оттуда, где они были случайны, и ставил точки там, где они были необходимы. Макароны ваши, но подливка все ж таки моя — как заметил похоронщик Белоцерковский в одном из своих рассказов. Но я ничего не дописывал за Белоцерковского и ничего не выбрасывал из написанного им.

В 1972 году я эмигрировал из Советского Союза — пришло мое время. Вопреки запрету властей ушли на Запад мои рукописи — а вместе с ними и «Записки похоронщика». Свободные западные корреспонденты помогли мне в этом — и теперь каждые из тех, кто помог, получил по экземпляру этой книги. Интересно, думал ли когда-нибудь похоронщик Вениамин Белоцерковский, что его «Записки» выйдут в переводе на французский язык, да и вообще что они — выйдут?

Два года тому назад из рассказов, вошедших в тетрадь, я составил эту книгу и передал ее в издательство. А еще годом раньше, работая в Национальной библиотеке, я обнаружил в газете «Златопольская звезда» от 15 сентября 1987 года на литературной странице рассказ «Кузьмич», подписанный В.Белоцерковским. Телеграмма и два заказных письма, направленных в редакцию газеты в связи с этой публикацией, остались без ответа. Как попал этот рассказ в редакцию газеты «Златопольская звезда»? А как перетянутая бечевкой тетрадь попала в потайной ящик моего стола? И разве замыкается круг вопросов, на которые мы ищем и не получаем покамест ответов, этими двумя?

Прелюдия

Вы же сами понимаете, что похоронщиками не рождаются на Божий свет, похоронщиками становятся. И я тоже когда-то был ребенком с тонкой шеей и на молочных ногах, а потом мой старший брат Меир носил меня в хедер на закорках, потому что у меня не было ботинок, а у Меира были.

Все это было давно, так давно, что, если повернуть голову и всматриваться из-за плеча, то картинки эти кажутся совсем маленькими, хрупкими и цветными, как в праздничной трубке калейдоскопа: с одной стороны — обыкновенный день, с другой — невозможный праздник. А в лагере эти старые картинки дороже всего, и каждый держит их за пазухой и разглядывает, когда захочет.

Но давайте, в конце концов, говорить о детстве. Вот, смотрите: глинобитный пол моего детства, и пушистая украинская трава на нем. И — ножки стульев, и ноги стола, и облупившиеся лапы буфета. И трава у моих щек, ее тихий и сладкий запах. И это все.

Меир, мой брат, был предприимчивый ребенок. Наш отец надеялся, что он выйдет в люди и станет, может быть, бухгалтером. Меир ведь не только меня таскал на закорках в хедер, он таскал еще четверых босяков по грязи и снегу, и это был его заработок, и половину денег он отдавал отцу. Половину — отцу, а половину оставлял себе, чтобы сделать сбережения, разбогатеть и выучиться на бухгалтера.

Меира убили немцы в 41-м году. Я не знаю, где его могила, и никто не знает. Один Бог знает.

А я никогда ничего не собирал и не делал никаких сбережений. Поэтому в нашем местечке меня прозвали — артист.

Ну, артист так артист... И мне было интересно смотреть, как один еврей продает другому облака, а плату берет дождем.

Сделаться из ничего миллионером в нашем местечке было трудно даже моему брату Меиру: рубли там у нас на деревьях не росли, а сидеть с гуталином и щетками на углу Базарной и Горбатой можно было до самого прихода Мессии, потому что евреям и в голову бы не пришло чистить сапоги у совершенно чужого человека и в придачу платить ему за это деньги. Клеем из козьих копыт торговал Рубинчик: семеро его детей собирали сырье, жена варила копыта в котле с крышкой, — так что Рубинчик был монополист. Чинить часы Меир не умел, играть на скрипке — тоже. Обжудить кого-нибудь у нас в местечке хотя бы два раза подряд было делом практически невозможным... Поэтому Меир был озабочен своей жизнью и своим будущим.

И вот однажды мой Меир, смешной озабоченный человек, пришел к выводу, что доброе дело — это тоже вложение. Не очень надежное — но вложение, и, может быть, доходное. А какие в местечке можно придумать добрые дела, которые приносили бы доход? Давать деньги в рост — это тоже своего рода доброе дело, но у Меира не было начального капитала.

Как-то раз мой брат Меир, да будет благословенна его память, пригласил меня в компаньоны. Я к тому времени уже подросток, у меня завелись собственные бацмаки, и Меиру не было нужды даром таскать меня на закорках по грязи и по снегу... Так вот, в голове Меира, оказывается, созрел великий план. Живые и здоровые люди в нашем местечке представлялись моему брату совершенно бездоходным материалом, поэтому он решил взяться за больных. Помочь больному человеку — ведь это наверняка доброе дело и вложение все же не безнадежное: а вдруг больной выздоровеет, вспомнит о Меире и решит его отблагодарить.

— Главное — никаких финансовых затрат, — растолковывал мне Меир свой план. — Экспорт-импорт — знаешь?

Я не знал.

— Неважно! — нетерпеливо отмахивался Меир. — Мы импортируем сюда колдуна Евсея из Гундарёва.

Про русского колдуна Евсея из соседнего Гундарёва знали все евреи в нашем местечке: им пугали детей. А видеть его никто, наверно, и не видел — только те, может, что ездили в Гундарёво на большой базар.

Какое отношение может иметь колдун Евсей к добрым делам моего брата Меира — это мне было непонятно.

— Ты его не бойся, — посоветовал мне мой брат Меир, деловой человек. — Ведь он будет нашим партнером.

— А ты его знаешь? — спросил я.

— Нет, — сказал Меир. — Никогда не видал.

Слово «партнер» мне очень понравилось, и «экспорт-импорт» тоже. Колдун же Евсей, этот Евсейка, меня пугал, казался мне зеленым, в черных пятнах, дедом с бритыми щеками. Меира он, наверно, тоже пугал, но брат мой виду не подавал как человек деловой и решительный, а я как артист очень даже подавал.

Колдун Евсейка, когда не пил водку и колдовал, лечил больных людей настойками и мазями. В этом как раз и заключалась идея моего брата Меира — угорить наших больных евреев, уже почти доходяг, попробовать силу русского колдуна. Потому что русский человек, когда ему терять нечего и дела его очень плохи, — вот тогда он начинает воображать, что хитрый еврей с его еврейской головой ему обязательно поможет. Лучше так, чем никак... А еврей-то знает, что они не хитрей других, что они и сами-то себя из помойки могут вытащить только через раз — и вот в трудный час смотрят на русского человека с надеждой в сердце: он большой, он грубиян. Ну, словом, в чужом сарае собственная жена слаще. Так и тут.

В Гундарёво к Евсейке Меир взял меня с собой. Старик жил на окраине городишка, на каких-то выселках, в халупе, точь-в-точь похожей на нашу — ту, где жили мы с Меиром, наши братья, сестры и родители, да будет благословенна их память. В халупе сильно пахло травами — высушенные пучки были развешаны по всей горнице — и сладкой булкой с изюмом. Сидя за темным дощатым столом, колдун ел жареную рыбу руками. Он был в меру пьян и глядел задорно. Глаза у него были наглые, с зеленоватым отливом.

— Вам чего? — ребром ладони отодвинув рыбы кости в сторонку, без любопытства спросил колдун.

Меир, держась вблизи двери, изложил невнимательно слушавшему Евсею свой план.

— А чего... — подумав, сказал Евсей. — Люди — мне, я — людям. Можно! Я травкой кого хочешь на ноги поставлю, уж кто не встанет — тому, значит, время подошло помирать.

Меир потребовал у колдуна двадцать процентов с будущих доходов, но старик не согласился: сговорились на десяти.

— Так даже лучше, — убежденно сказал Евсей, — чтоб по пяти на брата. Это честно!

— А если б по десяти, так ровно вдвое лучше было бы, — возразил Меир. — Тем более что нас двое, а вы — один.

— Я рыбку только кушаю, — указав пальцем на обглоданный дочиста хребет, объяснил колдун. — А мясо — ни-ни! Нельзя мне мясо, я всю силу распушу!

Меир спорить не стал — он ведь и рассчитывал на десятую часть, хотя запрашивал вдвое. И, главное, полдела было сделано.

Теперь оставалось найти клиентов для колдуна. Что вам сказать? Больных людей всегда хватает. Хвороба так же прилипает к человеку, как любовь: будто с неба сваливается. Вчера был здоров и как бы даже неистребим и вечен, а сегодня уже болен и тебе свет не мил; и видны другие берега. Все болеют — и евреи, и татары с немцами. Болезнь не обойдешь, не объедешь — как не разминешься и со смертью. А кто рад болезни, кто от нее откупиться не хочет? Только ээк в лагерной больничке, вот кто. Но про лагеря у нас в местечке, как вы сами догадываетесь, в те времена никто и не слышал, и представить себе не мог: ну, царь, ну, царица. Поэтому клиентов для Евсейки найти было не очень трудно — больной, если он вольный человек, всегда недоволен лечением, и лекарства ему — не те, и лекарь не тот. Другой ему нужен.

А русский колдун Евсейка — это и есть самый что ни на есть другой.

Первый клиент страдал ломотой в пояснице: как согнулся два месяца назад, так и не мог уже разогнуться и смотрел на мир исподлобья, жуткими глазами. Никакие бани и водочные компрессы ему не помогали. Поэтому, услышав от Меира о нашем колдуне Евсейке, скрюченный Нохум согласился не раздумывая. Он только попросил, чтоб колдуна привезли ночью, тайно.

Вот так ты устроил мир, праведный Боже! Меир затеял доброе дело — а делать его надо в темноте, чтоб никто не видел. А если б Евсейка был наш, еврейский

колдун? Тогда можно было бы вести его к страдальцу не в полной тьме, а хотя бы в сумерках, чтоб не споткнуться по дороге, не упасть и не сломать себе шею. А Шипельзон с дипломом? Ну, его можно вести хоть в солнечный полдень, и наши евреи только обрадуются, скажут: нет, вы посмотрите, какой у этого доктора Шипельзона фаэтон! какая гнедая!.. И уже потом, может, добавят несколько слов о самом докторе и о мучениях скрюченного Нохума и скажут: во сколько же это обойдется бедному Нохуму? Уж дешевле будет умереть!

А ведь Нохуму больно, он скрипит желтыми зубами, и глаза у него лезут на лоб. И нет у него веры ни в Шипельзона с его гнедой, ни в старуху Броху с ее компрессом — они уже были у него и свое получили. Форточка его души открыта нашему Евсейке, он надеется на русского колдуна последней надеждой, он, вслушиваясь, со стоном приподымается на локтях и ждет его прихода. Так почему же мы идем на доброе дело огородами, в непроглядной тьме, как какие-то конокрады? Потому что так устроен мир?

Евсейку мы привели ночью. Колдун был навеселе, ноги несли его не очень хорошо, он слегка покачивался и шумел сквозь зубы. Я тащил его торбу с травой и склянками.

— Черти пристяжные! — шумел Евсей. — Понарыли тут колдобины! За доброе дело добром-серебром платят, а здесь костей не уберегешь. Эх, люд-дя, семя конопляное! — И, неодобрительно усмехаясь, колдун сморкался в кулак и утирал пальцы о шапку.

Евсейкины проклятия ничуть меня не тревожили. Мне было беспокойно только от его слов, что «люд-дя» платят серебром за добрые дела.

Скрюченный Нохум, натертый мазью и обложенный Евсейкиными тряпками, распрямился на четвертый день. Недоверчиво оглядев мир и расплатившись, он попросил нам никому про это дело не рассказывать.

— Люди — мне, я — людям, — сказал Евсей, выйдя за порог. — А ты мне такого вот найди, который бесплатно бы помогал. Нету! Помогает — а сам ждет, чего ему перепадет, сам надеется: ну, не деньги — так курица, не курица — так яйцо. Чего-нибудь... А как же!

— Или что Бог даст, — пересчитывая наши десять процентов, сказал Меир.

— Этого не скажи! — строго поправил Евсей. — Хорошую погоду Бог даст...

— И то спасибо, — сыпая мелочь в карман штанов, сказал Меир. — Чем дождь, так лучше пусть будет солнце.

— Значит, от Бога тоже сдачи ждешь! — закричал Евсей и махнул рукой. — А ты вот не жди!

Второй клиент скончался через полчаса после начала ночного лечения: Евсей дал ему стакан самогона, густо настоенного на какой-то болотной траве, больной расквашился, налил тяжелой бураковой кровью и перестал жить.

— Значит, так у него на роду, — беспечально, как о далеком и чужом деле, сказал Евсей и закинул за спину свою торбу.

Я пошел провести его огородами до большой дороги. Я мог бы и остаться, но мне не хотелось торчать с Меиром в доме покойника, и возвращаться туда я не хотел.

— Шастать тут... — ворчал Евсей, перешагивая через черные грядки. — Ты вон пацан, у тебя кости крепкие, а если я ногу сломяю?

Я молчал, улыбаясь в темноте неизвестно чему.

— А за лекарству платить надо, — продолжал ворчать Евсей. — Что он помер — это, конечно, да. А я, может, в болоте неделю целую сидел, пока травку ту нашел. Ты мне, что ли, за травку ту будешь платить?

Ответа на свой вопрос Евсей от меня не ждал, поэтому я продолжал молча шагать рядом с колдуном по мягким грядкам. Оступаясь в темноте на каждом шагу, я думал о том, какое же все-таки доброе дело не требует оплаты и не оставляет надежды на вознаграждение: ни на курицу, ни на яйцо, ни на хорошую погоду.

Только года через три я нашел такое дело: в свободное время я ходил обмывать трупы в кривобокый домишко при входе на наше кладбище. От покойников мне нечего было ждать благодарности, а от их родственников — тем более.

А похоронщиком я стал позже, потом.

Место под сопкой

Я старый еврей, я сам забыл, сколько мне лет, или почти забыл: годом больше, годом меньше — что за разница? У деревьев — у тех кольца, а у нас? Инфарктные насечки на сердце? Когда тебе меньше восьми или больше восьмидесяти, нет никакой разницы — больше тебе на год или меньше: в случае первом смерть еще неразличима, в случае втором ты к ней так привыкаешь, как, предположим, к тихой соседке.

Так вот, я не помню точно, сколько мне лет, но я точно помню, сколько лет я прослужил похоронщиком: сколько просидел, столько и прослужил — от звонка до звонка. А в лагерях я просидел семнадцать лет четыре месяца и двенадцать дней, и все на Севере. За что я только не сидел, Боже праведный! И за сионизм, и за троцкизм, и за уклонизм, и за бундизм. Одним словом, я сидел из-за коммунизма, потому что я, во-первых, верю, что еще будет хорошо, а во-вторых, я все эти семнадцать лет хоронил строителей коммунизма — лесорубов, шахтеров и даже строителей железнодорожного пути на Норильск, будь он проклят, — а ведь без того, чтобы хоронить людей, ничего нельзя построить, даже коммунизм.

У нас на Севере, за Воркутой, был один начальник лагеря, его, между прочим, интересно звали — Перебийнос его звали, и он был близким родственником знаменитого паровозного машиниста, которому сам Сталин руку жал, так вот, этот самый Перебийнос — наш, лагерный, а не тот, знаменитый — любил повторять перед разводом:

— Вы, между прочим, советские люди. А каждый советский человек, будь он зэк или даже не зэк, имеет право на место под сопкой!

Это он так шутил, вы же сами понимаете: вместо того чтобы сказать «место под солнцем», он говорил «место под сопкой» — значит, на лагерном кладбище. И потом солнца у нас там почти не было — «десять месяцев зима, остальное — лето», не хуже, чем на Колыме. А какое же может быть место под солнцем, когда солнца никакого нет? Поэтому он так шутил, наш начальник лагеря Перебийнос.

А я служил похоронщиком, и работы у меня было много. Знаете нашу лагерную поговорку: «Кто не работает, тот не ест»? И я работал, и мне давали ту же пайку, что и веткожогу, потому что я выполнял план и никто у меня не оставался незарытым. Всех я уложил под сопку, всех без исключения.

В пятидесятом году я зарыл одну девушку, красавицу, настоящую русскую красавицу, у нее были шелковые золотые волосы, и ее звали Варя. Ее задавило деревом на лесоповале, и я ее запомнил потому, что она была такая красивая. Ей еще и двадцати не исполнилось — совсем девчушка! И эти волосы. Просто не хотелось ее зарывать, такая она была красивая. У нас там, как вы догадываетесь, не обмывали — бирку на ногу, и готово, но она была такая чистая, как мраморная, только ушиб на спине — там, куда упало дерево и сломало ей хребет, и маленькая дырочка на груди: это конвой уколол штыком, чтобы проверить. Дырочка на груди, прямо как, извините, у Иисуса Христа.

Эта Варя была дочкой знаменитого генерала Мясникова, военного генерала, который жил в Москве. Она получила десять лет за анекдот. Знаете — рассказала анекдот про советскую власть и получила десять лет. Может, она бы и вышла, если б не это дерево. Ну, да что теперь говорить: если бы да кабы... Но мне почему-то захотелось запомнить ее могилу, отметить — сам не знаю, почему, а ведь не очень-то верил, что выйду когда-нибудь на волю, доживу. И я зарыл ее на краю кладбища, там, где начинался подъем на сопку, если кто-нибудь захочет подняться, — под камнем, похожим на корову, которая лежит на земле. Мы ведь как хоронили? Мы ведь могилы не отмечали — кто есть кто, это по уставу нельзя было. В других лагерях иногда вбивали в могилу колышек, а к колышку прибивали бирку с номером — такую же, как у покойника на ноге, а наш Перебийнос, начальник, это запрещал... Вот я ее, Варю, похоронил, почитал нашу еврейскую молитву — люди ведь все одинаковые, и Бог на всех один, а? — и могилу отметил и зачем-то запомнил. А зачем? Бог знает, зачем.

В 53-м Усатый отбросил валенки, а в 56-м я уже вышел на свободу. Меня простили по всем статьям, даже за бундизм, и я поехал в Москву. Я знал, зачем я туда еду.

Две недели я искал телефон генерала Мясникова. Телефон военного генерала не так просто разыскать в Москве, тем более такому, как я, похоронщику, который

только что приехал из лагеря, но времена уже не те пошли, другие пошли времена, и у меня была справка на руках, что меня посадили по ошибке. Я пошел в Министерство обороны, меня гоняли с места на место, как курицу, может, думали, что я какой-нибудь шпион, я знаю?! А я всем показывал справку и спрашивал, как мне найти генерала Мясникова, а зачем он мне нужен — это ни-ни, ни слова, потому что, если б я сказал, зачем он мне нужен, меня бы посадили и генерала Мясникова тоже. Я говорил: «По личному делу первостатейной важности он мне необходим!» — и показывал мою справку.

И мне-таки дали в конце концов его телефон. И я ему позвонил и сказал: «Гражданин генерал, я тот, который похоронил вашу дочку». А он помолчал и так говорит: «Не может быть». Почему-то, когда заходит речь о смерти, часто так говорят: «Не может быть». А почему не может быть? Что в этом такого невозможно, я спрашиваю? Это я не у него спрашиваю, это я у себя спрашиваю. А ему, генералу Мясникову, я сказал по телефону: «Я верующий еврей и похоронщик по профессии, и это может быть». И он мне сказал, что он за мной придет и заберет меня к себе.

Я не буду вам рассказывать, какая у него квартира, — зачем это? Он посадил меня за стол и приказал: «Говорите все!» И я ему все рассказал. Вы знаете, он плакал, и я гладил его по плечу. И он мне сказал: «Вы можете указать могилу? Укажите! Я получу разрешение, и мы перевезем прах в Москву и похороним на кладбище». Он так и сказал — «прах». А какой там прах, северной Воркуты? Там люди лежат в земле, как деревяшки, потому что там даже черви не живут, такой холод. Лежат, как мамонты.

И я согласился — ведь для этого я и искал генерала. Я согласился, но я сказал: «Я ее зарыл, вашу дочь, и я ее вырою. Но, гражданин генерал, там, под сопкой, лежит один старый еврей, святой человек, по-нашему цадик. Это страшное несчастье для святого еврея — там лежать, среди, извините, гоев! И я вас прошу, гражданин генерал: разрешите мне потихонечку вырыть и нашего святого еврея». Генерал слушал меня внимательно, он меня, я думаю, уважал и любил, и он сказал: «Я разрешаю». И тогда я осмелел и сказал: «Но даже вам никто не позволит увезти оттуда еврея, и даже нечего просить. Давайте договоримся так: я его тихонечко вырою и уже, как вы говорите, прах положу в гроб вашей дочери вместе с ее прахом. Ведь после смерти это уже ничего не значит — лежать в одном гробу со старым святым евреем. Мы привезем их в Москву, и я похороню нашего еврея на еврейском кладбище, среди своих. Вы делаете благое дело, гражданин генерал».

Он смотрел на меня, как будто я был сумасшедший человек, который упал с неба. Но потом он подумал и переменял свое мнение и сказал: «Да, разрешаю».

Мы должны были ехать через неделю. Я купил большой гроб, самый большой из тех, которые оказались в лавке — в этот гроб можно было уложить и четырех эков. А мне нужен был только один — наш цадик, которого я собственными руками зарыл в сорок восьмом году, в июне месяце.

Я позвонил генералу Мясникову накануне отъезда и сказал, что уже купил гроб и все в порядке. Наугро мы должны были встретиться и лететь в Воркуту за его дочкой и нашим цадиком.

А ночью генерал Мясников умер от разрыва сердца в своей квартире.

Я пошел на Новодевичье кладбище, бросил горсть земли в его могилу и заплакал над несправедливостью жизни.

Путешествие Хрипатога Соловья

Я никогда не был в Иерусалиме. А вы были? Простите, я вам не верю. Какой еврей, спрашивается, не хочет поехать в Иерусалим и постоять немного у Стены плача? Нет такого. Стена плача — это первое, что приходит в голову еврею, когда он слышит слово «Иерусалим». Но когда у вас есть время, чтобы немного подумать, вы начинаете представлять в своей душе и в своей голове кое-что другое, кроме камней Стены: улицы, деревья и небо, — и ничего у вас из этого не получается. Вы видите Стену, вы стоите около нее и не можете от нее отойти.

Мне выпало на раздумье семнадцать лет с довеском, много времени, и я видел камни Стены так, как будто из них был сложен наш лагерный барак. Я знал точно, между какими блоками пробилась трава и куст, а где живет птица. Но для того, чтобы

представить себе небо этой птицы и чуть-чуть погреться под этим небом в воркутинском снегу, мне нужен был человек, который видел Иерусалим собственными глазами.

Такого человека я нашел, его звали Хрипатый Соловей.

Ну, вы же понимаете, что иностранец по имени Хрипатый Соловей не может существовать в природе. Иностранец — это Джек или там Джон, Смит. А Хрипатый Соловей — это урка, разбойник и бандит. Но Иерусалим — это ведь не совсем за граница, а иерусалимский еврей — совсем не иностранец, он мне сказал, что был в Иерусалиме, я ему поверил. Не сразу, но поверил.

— Там живут все наши, — уверенно сказал мне Хрипатый Соловей, чей отец назывался в свое время Вольф Соловейчик. — Одни евреи кругом, хоть ты задавись! — И он зазвенел счастливым хохотком, выкатившимся из него, как никелированные шарики из стальной музыкальной машины.

— Как ты туда приехал? — требовательно спросил я, еще не вполне веря Соловью, но желая поверить ему как можно скорей. — На чем?

— По морю, как! — сказал Хрипатый Соловей и удивился. — А потом уже на фаэтоне. По дороге подвернулось одно дело, в Козлове, хрустов было — во! — И он показал руками, как деньги в результате этого одного дела раздували карманы его ватных штанов.

Сообщение о том, что по дороге в Иерусалим Хрипатый Соловей кого-то ограбил, а вполне вероятно, и зарезал, — это сообщение окончательно уверило меня в том, что он говорит правду. Итак, Хрипатый Соловей был в Иерусалиме и все видел своими глазами.

А надо вам сказать, что у нас в лагере сидело много людей, которые ездили за границу или даже жили там всегда, там родились и потом уже приехали к нам погостить или по каким-нибудь другим делам и вот получили срока как шпионы и засланные диверсанты. Немцы были у нас, итальянцы, два японца, один почему-то монгол, который в 46-м ел конскую кожу, еще турки, греки... Все у нас сидели, и все у нас умирали.

Монгол, который ел кожу, он был хоть и иностранец, вряд ли мог каким-нибудь бочком, бочком каким-нибудь попасть в Иерусалим. Но я подошел к нему и спросил — так, на всякий случай:

— Ты заграничный все же человек, ты двадцать пять лет получил. Иерусалим — слышал?

— Нет, — сказал монгол и пошел спать.

Итальянцы тоже не были никогда в Иерусалиме, а про японцев нечего и говорить. Немец Фридрих Беме, правда, сказал мне, что он доехал когда-то до Египта, а там уже до Иерусалима — рукой подать. Но даже если Египет расположен рядом с Иерусалимом, то от этого в Воркуте не становится теплой.

Остался, значит, один Хрипатый Соловей.

— Ты Стену видел? — спросил я у него. — Стену плача?

— Ну, а как же! — сказал Хрипатый Соловей. — Прямо рядом стоял. Большая! И все евреи стоят и плачут, потому что не хотят уходить, а надо.

— Как это — надо? — спросил я. — Куда это им надо?

— Ну, как... — задумался Хрипатый Соловей. — Кому делать гешефты, кому домой. Я у них не спрашивал, неудобно все же...

— А ты тоже плакал? — спросил я.

— Как все, так и я, — сказал Хрипатый Соловей. — И вроде плакать не хотелось, чего там плакать, а потом гляжу — вся харя мокрая. Даже странно как-то. С чего бы это?

— Потому что ты — еврей! — разъяснил я, и Хрипатый Соловей согласно мотнул головой с бронированным лбом и шелковыми кудряшками. — Если пойти от Стены, предположим, налево? Что там?

— Дома, деревья — фикусы, — сообщил Хрипатый Соловей, — сплошные фикусы! — Задержавшись на миг, он затем предупредил мой следующий решительный вопрос: — И направо — фикусы! И между этими фикусами прогуливаются себе люди, довольно-таки клевые фрайера: клифты в полоску, желтые колеса.

— Еврей? — требовал я единственно правильного ответа.

— А кто же — гои? — возмутился Хрипатый Соловей и махнул кулаком перед моим носом. — Это Иерусалим, папаша!

— А торговля? — спросил я.

— Да, — успокоил меня Хрипатый Соловей. — Креп-жоржет, габардин. Рыжие цепочки. Бери и клади в мешок!

— А кони там есть? — продолжал я допытываться. — Кони с телегами? А на телегах сидят балагулы, как у нас в местечке? Должны там быть кони с телегами, ты только вспомни получше!

— Вот коней не видал, — заупрямился почему-то Хрипатый Соловей, — ты только, папаша, не обижайся... Зато тепло, ни тебе снега, ни тебе льда!

Немец Фридрих Беме, чересчур знающий человек, стоял в сторонке и прислушивался.

— Я был в Египте, — сказал этот Беме, хотя ни я, ни Хрипатый Соловей, ни сам господь Бог — никто не просил его вмешиваться в наш разговор, — и я знаю: в Иерусалиме, как в Египте, там беспорядок, грязь и страшная жара. И нет никаких ваших евреев около Стены, одни арабы там живут.

Хрипатый Соловей вздрогнул, как от удара током, и броня его лба из розовой сделалась голубой.

— Значит, нет... — просипел Хрипатый Соловей. — Значит, жара...

Фридрих Беме был не трус, но он испугался. Царь Давид, герой и храбрец, тоже испугался бы, взгляни он сейчас на Хрипатого Соловья с его страшным синим лбом.

— Евреев — нет, — повторил Беме и клацнул зубами. Может быть, он действительно верил в то, что в Иерусалиме нет евреев, и поэтому стоял на своем. Так он представлял себе наш Иерусалим и не хотел поступаться принципами.

Хрипатый Соловей качнулся, как будто доски пола поплыли у него под ногами в разные стороны. Выщербленная гиря его кулака, описав дугу, опустилась на лицо Фридриха Беме и отбросила послушное тело немца к стене барака. Те ээки, которые стояли или сидели поодаль, глядели на избиение со своих мест, а те, которые находились рядом, отошли на всякий случай подальше. Хрипатый Соловей бил немца кулаками и ногами, совал ему пальцы в рот и рвал губы, и выуживал глаза из их ям. Он прижимал Фридриха Беме к стене и придерживал его, чтобы тот не сполз на пол, потому что непристойно бить и убивать лежащего человека.

Фридрих Беме выжил, освободился в 54-м году, уехал в Германскую Демократическую Республику и стал там заместителем министра труда.

А Хрипатого Соловья завтра кто-то стукнул около бани дубиной по голове — может, немцы, а может, свои, блатные. Он умирал в лагерной больничке, в зоне, и я пришел проститься с ним.

Хрипатый Соловей лежал на спине, посиневшее, с красным отливом лицо его было безмятежно. Я потряс его за плечо, и тогда он медленно увидел меня.

— Я вспомнил, — просипел Соловей, и я наклонился к его рту, чтоб лучше слышать. — Кони таки были в Иерусалиме, и балагулы сидели на телегах.

Памятник

Я лично в побег никогда не ходил. А те, что ходили, возвращались ко мне, в мои руки.

Вы не подумайте, что я такой глиняный, что я только в земле копался и не хотел на свободу. Все хотят, и я хотел. Но меня бы никто не взял с собой в побег, даже сумасшедший. Вы спросите — почему? Из-за моей профессии, вот почему. Люди верят во всякие приметы, в черных кошек, в «тринадцать», а перед побегом — особенно. Так вот, похоронщик — плохая примета, хуже кошки. Меня не взяли бы в побег даже для того, чтобы потом съесть, — и не потому, знаете ли, что я старый или тощий: в лагере все тощие. Просто похоронщик — не для побега, как, предположим, покойник не для свадьбы. Это вместе не идет... Я тут говорю о групповом побеге, когда уходят трое или, скажем, четверо. Можно уйти и одному, это — да. Но одному можно уйти в Крыму или в Сочи, а не у нас на Севере: у нас далеко не уйдешь.

Ну, вот, это было в июне или в июле, не помню уже точно, но летом. У нас там летом ночи светлые, похоже, говорят, на Ленинград. Ушли трое эзков — два блатаря и офицер один, майор, он с войны еще сидел. Как ушли? Да кто их знает, они мне не рассказывали. Ушли с дальней командировки, там кругом топь, гиблые места. А

у нас вечером в лагере шмон пошел, начальство бегают, орет, людей держат на вахте, не пускают в бараки. Тогда мы еще точно не знали, кто ушел, только ясно было, что — побег... Кто ушел, я не знал, зато я знал, что если не завтра, так послезавтра работы мне прибавится. А они пробегали целых три дня.

Есть такие, которые думают, что стоит три дня свободы обменять на всю остальную жизнь, которая, как говорится, под замком. Такие есть, но их почему-то мало. Так что, они — герои? В Америке, конечно, бегут и уходят, так в Америке и дома по сто этажей, а у нас тут Союз нерушимый республик свободных и шаг в сторону считается за побег. Америка! У нас вон один прыгнул с крыши, хотел по воздуху лететь — упал. Так он кто — герой или дурак?.. Нет, я не хочу сказать, что те, кто в побег уходят, — те дураки, а я не иду — значит, я умный. Тут все не так просто, потому что каждый человек по-своему рассуждает: один играет в очко на собственную, извините, задницу, а другой в подкидного дурачка на голый интерес. А я, допустим, вообще в карты не играю, а только раскладываю пасьянс. И каждый ищет кусок сахара в собственном пустом кармане.

Я не буду вам рассказывать про побег — я сам не ходил, не знаю. А те, кто ушел, — те тоже вам ничего уже не расскажут... Ну, что? Майора того я знал — крепкий был парень и кругой, для него замок был хуже бомбы, хуже петли, он замок ненавидел, как страшного врага. Если б он вышел когда-нибудь на волю, он пошел бы замки крушить по всему Союзу — где увидел бы, там бы и сломал: хоть на доме, хоть на складе или каком-нибудь курятнике. Он так считал: когда человек придумал замок, он в ту самую минуту кончился как беззаботная величина, и вот теперь ему, майору, надо это положение исправлять... И второго я знал из той тройки, блатного — он мне как-то носки подарил в трудный день.

Ушли — а лагерь шепчется, боится. Перебийнос, начальник наш, орет: если, мол, живыми или мертвыми их обратно не доставят, я каждого десятого из барака под суд отдам, закатаю. И, хоть я майора и знал с его замками, и второго, который мне носки подарил, а молил Бога, чтоб он сделал меня девятым, а не десятым. И так каждый в нашем бараке. Но ведь все девятыми не бывают, есть и десятые.

Наутро приехал вездеход и увез служебных собак на ту дальнюю командировку.

Собак у нас в лагере было штук пятнадцать, немецких овчарок, жили они в специальном вольере, и был к ним приставлен инструктор из ВОХРы, молодой еще парень, сержант. Ээки рассказывали, что где-то в России, под Орлом, что ли, или под Курском, есть такая особая школа для этих служебных лагерных собак, а рядом — другая школа, тоже особая, для таких вот сержантов. Вместе они учатся, изучают, можно сказать, повадки друг друга. И правда, наш сержант по-собачьи разве что только не выл и не лаял. Собаки слушались его, как сопляки родного отца. А поглядеть на этих сопляков — страшно становилось: звери, разорвут. Он и кормил их, сержант, спецпитание им выдавал: мясо, кашу-овсянку. На одно такое спецпитание три ээка жили бы, как на курорте.

И не было никогда такого случая, чтобы кто-нибудь из нас, зэков, погладил бы, приласкал такую собачку. К ней только руку протяни — она кинется, загрызет. А иногда ведь хотелось вот так взять и сказать: «Ну, чего ты? Ты ведь собака, друг человека. Дай погладить-то!» Друг-то друг, да не наш: какие мы для нее человеки, да и для сержанта тоже.

Но и офицеры этих собак боялись, не подходили.

И всем собакам этим была собака начальника лагеря Перебийноса, по имени Рекс. Не знаю, как волки, я их никогда в жизни не видал — но эта была еще хуже волка: огромная, гладкая, глаза наглые и страшные. Жила она, конечно, не в вольере, а отдельно — у Перебийноса дома. Ужас, просто ужас, а не собака. Перебийнос, когда по лагерю ходил, всегда брал ее с собой. Говорили, что она как бы царских кровей — приходится родственницей собаке Гитлера, и у Перебийноса даже такой документ есть, но он его никому не показывает как коммунист и ответственный офицер.

И вот этого Рекса тоже отправили на дальнюю командировку, ловить.

Мы об этом узнали на третий день, когда майора и того блатного, который мне носки подарил, и третьего — всех их привезли на грузовике и положили около вахты. Майора взяли еще живым и били его об пень — подымали и опускали, подымали и опускали, как будто топор насаживали на топорщике. А на второй машине привезли Рекса — это майор ему башку развалил дубинкой.

Перебийнос увидел, зубами закрипел и махнул рукой страшно. И к себе ушел. И я пошел — к себе, на кладбище, рыть яму. Лето на дворе, рыгть легко по сравнению с зимой.

А надо вам сказать, что у нас в лагере сидел один ээк, Шишов, в бане он работал истопником, а раньше, еще до посадки, лепил Сталина и был заслуженный деятель искусств. Что-то он не так там слепил, кому-то не понравилось — короче говоря, дали ему десять лет за КРД, но дело не в этом. И был у нас еще один, тоже москвич, художник. Я фамилию его теперь не помню, а сидел он, по-моему, за саботаж. Так вот, вызвал их Перебийнос — китель расстегнут, глаза красные — и говорит: вы, говорит, специалисты или кто? Сделайте мне к завтраму вот такую работу. Вот вам хлеб, каша — ешьте, вот вам то, вот вам се. Что еще нужно — скажите, все дам. А не сделаете — пеняйте, мол, на себя. Я вам потом скажу, что он им велел делать, подождите немного, я ведь и сам только назавтра про все это узнал.

А с вечера мне говорят: рой еще одну яму, отдельно рой, хорошая чтоб была яма. Что значит «хорошая яма»? Ямы бывают глубокие и мелкие, большие и поменьше, на одного или, скажем, общие, братские. Хорошая или плохая бывает погода, а могила, если она даже глубиной в четыре метра и расположена прямо у кладбищенских ворот, не становится от этого лучше или хуже... Но мне что? Мне говорят — я рою.

Майора с ребятами привезли на телеге, как полагается. Не успел я с ними закончить — едет грузовик. Машина у нас на кладбище! Такого никогда еще не было. Машина возит на спецкладбище офицеров, их жен. Что такое! А за грузовиком строем идет солдатский оркестр, играет «На сопках Маньчжурии». Грузовик останавливается, из кабинки выходит наш начальник лагеря Перебийнос и командует: «Давайте!» И из кузова сгружают на носилках этого Рекса и еще какую-то штукювину, обшитую мешками. Из ээков на кладбище один я и еще возчик, который майора привез с его ребятами, а остальные все солдаты из ВОХРа. Солдаты стоят у ямы, играют «На сопках Маньчжурии», а ВОХРа кричат, жилы рвет — сгружает с кузова эту штюку в мешках. А Перебийнос похаживает, покрикивает: «Ас-торожно, ас-торожно!» Наконец сгрузили, стоят смирно. И Рекс этот на носилках, закрыт по самую башку одеялом, вполне хорошим еще одеялом.

Солдаты доиграли, и Перебийнос командует: «Опус-кай!» Мы с возчиком взялись, опустили. Тяжелая собака, тяжелей ээка. А Перебийнос опять орет: «Ставь!» Это уже не нам, это ВОХРе. ВОХРа тужится, двигает это, в мешках, поближе к яме. «Засыпай!» Мы засыпаем. «Здесь лежит мой боевой друг, — говорит трудным голосом Перебийнос, — верный мой товарищ Рекс. Ты пал на боевом посту, выполняя свой святой долг. Контрреволюционный бандит тебя убил, враг нашей родной советской власти. Вот он тут валяется, и никто не придет даже плюнуть на его безмянную могилу. А ты, друг, навсегда останешься в наших сердцах, как герой и пример. Группа товарищей». Так он сказал и сдернул мешковину.

Каменный Рекс в натуральную величину стоял у могилы. Хорошо поработал Шишов, собака вышла у него еще страшной, чем была при жизни: шерсть дыбом, зубы оскалены, сейчас горло вырвет у ээка.

Так она и сейчас, наверно, стоит на том кладбище: могилы, могилы, и мертвый Рекс сторожит наших мертвецов.

Козлик

Я не скажу вам, что все в зоне меня любили, но уважали — да. И это не потому, что я такой справедливый и чистый человек, просто это из-за моей профессии. Даже для начальства я был не просто номерной ээк, а как бы только полузэк, получерт какой-то, нечистая, одним словом, сила. Люди — вообще люди, а не только наши ээки — смотрели на меня так, как будто я день и ночь одной ногой в могиле стою, к тому же не в своей, а в чужой.

А что могила, между нами говоря? Вся земля — одна большая общая могила. Кошка сдохнет, дом развалится, а могила останется. Человек об этом думать не хочет, боится человек: потом, потом, не сейчас... П о т о м да т а м — вот и все, что человек согласен знать. Дважды два — это он знает, это даже дети маленькие знают, а что бывает в конце концов — это секрет, ша! И я, похоронщик, знаю этот

секрет, эту служебную, так сказать, тайну. Я вроде собаки около двери, ведущей в т у д а, и со мной лучше не связываться: свой, да не свой.

Да я и сам знаю, что, хочешь не хочешь, а — чужой. Не такой, как все. Ну, да ведь люди на свете все разные живут, это только после смерти все одинаковые.

И надо же было так случиться, что я родился на свет в один день с нашим начальником лагеря Перебийносом! То есть моя покойная мама Фрума из местечка Зверятичи и его, этого разбойника, мама, не знаю, как уж там ее звать, шумели и боялись в один и тот же Божий день, правда, с перерывом в девятнадцать лет. Вот ведь какая дурацкая шутка, а может, и не шутка вовсе, а надобность. Потому что именно в наш с начальником день рождения случилось то, о чем я сейчас расскажу.

Это было на третий год после конца войны. Усатый отдохнул, отъелся и снова взялся за дело: почти каждую ночь людей брали на расстрел прямо из барачков, трудно сегодня вспомнить такую ночь, чтоб никого не взяли. Люди валились спать и не знали, кто доживет до завтра: ты, он, я? Человек не собака, человек ко всему привыкает, а вот к смерти никак не может привыкнуть. И настроение у людей было просто страшное, особенно между отбоем и двумя часами ночи.

А тут как раз день рождения этот, не мой, конечно, а нашего начальника Перебийноса. И когда я сказал нашим — давайте, мол, ребята, отметим праздничек, все стали смеяться, а я и говорю:

— Вот вы уже смеетесь, и это хорошо, — я сказал.

И ребята замолчали и задумались.

Тогда я пошел в каптерку, достал карандаш и написал заявление: «Глубокоуважаемый гражданин начальник! Разрешите нам, заключенным барака №4 вверенного Вам лагеря, скромно отметить Ваш день рождения. Это будет очень хорошо для трудовой дисциплины, а также для повышения политического сознания заключенных. Еще мы просим в порядке исключения воспользоваться патефоном вольнонаемного В.Гундарева для создания праздничного накала». Это заявление я положил в портсигар-самоделку — был у нас один ээк, который подрабатывал всякими самоделками, большой мастер — и понес.

Офицеры с утра уже были пьяные, веселые. Замполит прочитал, улыбается: «Это ты хорошо придумал, сознательно. Только вот насчет патефона пускай сам начальник решает». А про мой день рождения никто даже не догадывается, и нашим ребятам я ничего не сказал — а то, знаете, дунет кто-нибудь оперу, и все пропало.

Перебийнос сначала глаза выпучил — что это, мол, ээки задумали? — а потом, наверно, поверил. Человеку приятно верить во всякие сказочки, и чем он дурей, человек, тем ему приятней. А начальник Перебийнос дурной был, да. Вот он и верит: ээки, пыль — а тоже почет мне хотят оказать и уважение, потому что я тут главный человек, я тут как царь... Вот так он про себя верит, и ему тепло и хорошо.

— Давай, — говорит, — действуй! До двенадцати ночи гуляйте и в ларьке можете отовариться по такому случаю, я скажу.

— А патефон, гражданин начальник? — спрашиваю.

— Бери, — говорит, — под твою полную ответственность. А украдут — сам себя завтра зароешь.

Часов в девять, когда смена пришла из забоя, мы и начали — паечки в барак принесли, из ларька кое-что и чаек на печке заварили, чифирь по-нашему, — сегодня можно, сегодня праздник. А народ-то не знает, что за причина, народ боится: ночь впереди, ночь страшная. В чем, спрашивают, дело? Что такое?

Тогда я выхожу и говорю:

— Отмечаем, ребята, день рождения начальника лагеря. Вон, патефон даже есть, сейчас заведу.

— Что? — спрашивают ребята. — Ты, что, охренел? — И смеются, прямо-таки хохочут, кашляют. А я стою и вспоминаю, когда они в последний раз смеялись, и никак не вспомню.

— Между прочим, — говорю я уже потише, — у меня сегодня тоже день рождения. Шестьдесят. Юбилей, как говорится.

А они еще сильнее смеются, как будто завели их на всю пружину. Барак дрожит, ну, прямо беда. Наконец, успокоились, и я завел патефон, что-то про любовь. Смотрю, теперь одни тихо так улыбаются, а другие голову опустили, глаза трут. И пайка, и чаек, и Утесов поет «Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить».

Когда песня кончилась, вор один — но он по пятьдесят восьмой сидел, за ограбление колхозного бригадира — мне говорит:

— Батя, — говорит, — тебе премия полагается, спасибо тебе, хорошо ты это все придумал. Вот тебе на день рождения подарок! — и дает мне пару носок.

И другие тоже дают, и шутят, и глядят меня. Я сижу, как продавец в лавке — кругом одежда, полотенца, и из посылок кое-что пошло, — и запоминаю, что кому завтра отдать: ведь это все игра. И вдруг думаю: а ночь-то впереди, кому-нибудь отдавать, может, и не придется, да и сам я не застрахован... А ребята, ээки наши, об этом как будто и думать забыли: шумят, смеются, играет патефон.

Вот тут-то он и появился, мальчик этот, с самодельными шахматами из хлеба.

— Натэ, — говорит, — берите! — и дает мне мешочек с фигурками, а сам близко не подходит, боится.

Надо вам рассказать, что это за мальчик.

Лет ему было семнадцать, ну, восемнадцать, он сел как ЧСИР (член семьи изменников родины) — родителей расстреляли после войны, а ему еще привесили участие в школьном контрреволюционном кружке и террор через намерение. Молодой, тихий мальчик, и вот блатные его увидели и решили сделать из него козла. Ягненок — а они из него козла! А козел, если вы не знаете, — это по-нашему как бы лагерная девушка... И каждый его может взять, кто захочет, и никто не считает его за человека, никто. За грязную, дырявую куклу его считают.

— Натэ, — он мне говорит, — это очень хорошие шахматы, и можно их съесть.

Он носил эти фигурки в мешочке, как еврей носит тфилн. Больше у него ничего не было. И я даже на одну ночь не хотел брать у него этот мешочек.

— Бери, батя, не тушуйся, — говорит мне тот вор, который носки подарил. — Ему игрушка эта все равно уже ни к чему: его Шершавый в карты проиграл, он его сегодня кончит.

А Шершавый тут сидит, слушает музыку.

Я — к нему.

— Слушай, Шершавый, — говорю я, — а с тебя должок. Все мне подарки дарят, а ты — нет.

— Ну да, — Шершавый говорит, — я как раз думаю, что бы тебе такое подарить.

— Подари мне козла, — говорю.

— Да на что он тебе? — удивился Шершавый. — Скучаешь, батя, что ли?

— Надо, — я говорю. — Подари — завтра мне работы будет меньше. Землю, думаешь, легко долбать? Вас ведь вон сколько, а я на каждого яму рой. Сил уже нет, мне седьмой десяток пошел!

Шершавый от меня отодвинулся подальше и так говорит:

— Да я-то что! Мне для тебя, батя, не жалко, ты сам знаешь... Погоди, я с ребятами только переговорю.

О чем он там говорил со своими ребятами, я не знаю, но ведь и день рождения у похоронщика не каждый день бывает. Отдали мне мальчика.

Пайку съели, чай выпили, и патефон никто не украл: не такой день.

В двенадцать пошли по нарам, и — слышу — спит барак: не стонут ээки, не вскакивают. Как будто не ночь на дворе и отменил господь Бог расстрелы до утра.

Я мальчика к себе взял — он до этого у парашки спал, у дверей, дал хлеба ему, сахара. Пусть думают, что хотят, про меня, мне все равно. А я лежу рядом с мальчиком и про себя думаю: вот я не только людей в землю прячу, вот я спас одну человеческую душу, и это, пожалуй, чудо. И было мне хорошо.

А в два часа пришел конвой и взял мальчика от меня.

Назавтра я зарыл его — кожа да кости, в чем только душа держалась, которую я на два часа спас!

И надо ли это — спасать душу человеческую на два часа, оттаивать?

Не знаю.

Зырянов

Я, кажется, уже говорил, что многих, очень многих пережил в лагере. И когда я наконец вышел и меня даже реабилитировали, правда, без учета трудового стажа, я постарался выполнить поручения тех, кого там закопал.

Ну, Дважды-два. Помните? Он умер от чахотки. Найдите, он мне сказал, моего любимого поэта и того второго, головореза Зырянова, и расскажите им обо мне, и тогда, может быть, они хоть немного поймут друг друга и даже станут неразлучными товарищами... Не всегда человек говорит перед смертью серьезные вещи, часто путается, забывает — не поймешь, что он хочет сказать. А один кинорежиссер — двадцать пять лет он получил за неправильное изображение жизни — сказал: «Недолго музыка играла!» — и умер. Но Дважды-два прямо-таки мечтал, чтобы эти двое его любимых людей через меня узнали друг друга, это было для него очень важно, он прямо дрожал, когда мне это говорил перед самой смертью. Может, он и прав был, этот чудак Дважды-два: вот подружится поэт с головорезом, и мир станет чуть-чуть лучше. Только я думаю, что ничего из такой дружбы не вышло бы и мир стал бы еще хуже: головорез остался бы головорезом, а поэт стал бы разбойником или пошел бы и повесился в чулане. И что от этого выиграл бы наш мир?

Но человек думает, а мир идет, и я тоже часто ошибаюсь в жизни.

Я освободился, приехал в Москву и пошел искать этого знаменитого поэта. В справочном бюро мне его адрес не дали и еще спросили, кто я такой. Я не люблю, когда меня ни с того, ни с сего спрашивают, кто я такой: из Москвы, знаете, на Север близко ехать, а с Севера в Москву далеко. Я пошел в Союз советских писателей, спрашиваю, а мне гардеробщик говорит: умер, скончался поэт и похоронен на Новодевичьем кладбище. Давно ли умер? Да вот уж года два... Мне понравился этот гардеробщик, очень вежливый человек и немного пьяный, под хмельком, но не бросается рот тебе рвать, не орет, а спрашивает: вы, говорит, родственник нашего поэта или же читатель? Ни как зовут, не спрашивает, ни какого я года рождения. Да нет, я ему отвечаю, просто я освободился из мест заключения и один покойный зэк, Дважды-два, просил меня этому поэту кое-что передать. Тогда гардеробщик достает из галошника полбутылки портвейна и стакан и наливает мне, и говорит: «Давай выпьем!» Обычно в таких случаях люди говорят по привычке: «Чтоб им там хорошо спалось, спокойно лежалось», — а этот гардеробщик никаких таких глупостей не говорил, а просто сказал — давай выпьем. Вполне понимающий человек.

Он мне и Зырянова помог найти — позвонил в справочную и узнал телефон. А на дворе зима, у людей то пальто прими, то пальто им подай, и галоши, и каждый говорит: «Как живешь, Митрич? Как дела, Митрич?» А что он вино держит в галошнике, так это его дело: ему тут скучно целый день стоять.

Такой человек, как этот Митрич, мог бы, пожалуй, стать похоронщиком.

Назавтра выпало 31 декабря, Новый год наступает, люди суетятся, стоят в очередях. А я иду звонить Зырянову.

Хозяин снял трубку:

— Зырянов слушает.

— Один ваш друг, товарищ Зырянов, — я говорю и почему-то боюсь, робею, — просил вам передать очень важную вещь... привет...

— А кто вы?

— Я из лагеря, в Москве проездом.

— Офицер охраны?

— Нет, какой офицер! Я похоронщик, разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом.

— Похоронщик? — переспрашивает удивленно так, даже как бы с радостью. — Ну и ну! Привет привезли? Это надо же так в точку! Давайте, в девять часов я вас жду. Записывайте адрес...

В девять часов вечера я звонил в его дверь. Мне было как-то не по себе: Новый год, к человеку, наверно, гости пришли... Зачем он меня вызвал и даже не спросил, от кого ему привет из лагеря? А я не успел сказать, что это от Дважды-два, как он трубку повесил... Может, он меня за кого-то другого принял? Тогда, пожалуй, еще и разозлится и даже выстрелит, на то он и военный герой.

— Кто там?

— Похоронщик, — я ответил.

Дверь открылась, в коридоре темновато — свет идет из комнаты. Коридор богатый — паркет чистый, потолки высокие, на стене вешалка, на вешалке серая генеральская шинель.

— Здравствуйте, коллега, — сказал Зырянов, пропуская меня в квартиру. — Пальто вот сюда вешайте. Проходите.

В гостиной светло, стоит стол посреди комнаты, на столе шампанское, коньяк, из еды — жареная курица, икра в блюде. И елочка на столе — маленькая, не выше шампанской бутылки, а на той елочке вместо игрушек — ордена: и Ленина, и геройская Звезда, и Красное знамя, и медальки, и еще какой-то орден с драконом и драгоценными камнями — я такого раньше никогда не видал.

— Это мне мадам Чан Кайши вручила, — сказал Зырянов, указывая на бриллиантового дракона. — А вы садитесь.

Сели за стол друг против друга. На Зырянове старая солдатская гимнастерка, вся линиялая, над карманом один-единственный орден прикреплен — солдатская серебряная Звезда на георгиевской ленточке, а все остальные ордена болтаются на елке, рядом с курятиной и коньяком.

— Значит, вы похоронщик, — сказал Зырянов и, наклонив редковолосую голову, поглядел на меня через стол. — Вот ведь интересное совпадение.

Волосы у него были светлые и седоватые, и глаза молочно-голубые, как у вареного судака.

— Похоронщик, — сказал я. — У меня на руках умер один ваш товарищ, то есть не то чтобы товарищ, а Семен, я его прозвал Дважды-два, он вместе с вами воевал... — Я не знал, как ему лучше все объяснить, а про того русского старика, которого Дважды-два зарезал по приказанию Зырянова, говорить за столом, за вином мне было как-то неудобно.

— Вот видите, уважаемый, — довольно сказал Зырянов, — какие мы с вами близкие коллеги! У меня на руках тоже умерла целая уйма людей — одни воевали вместе со мной, другие — против меня. Все они умерли, а я, как видите, жив. Мы с вами живы! — добавил он твердым геройским голосом, и мне почему-то стало страшно, мне захотелось встать из-за стола и бежать куда глядят глаза от этого замечательного героя с его елкой.

— Семен его звали, — без нажима, как бы между прочим, сказал я. — Симпатичный такой, молодой еще. Вторым его любимым человеком был один поэт, он тоже умер... Но сначала — вы, а потом уже идет этот поэт.

— Поэт... — без интереса повторил Зырянов.

— Ну да, поэт, — сказал я. — А вы тогда, значит, воевали в каком-то лесу, и вам там попался навстречу старик, старичок, он тащил дрова, в деревню шел.. — Сказать «и вы велели его зарезать» у меня никак язык не поворачивался, вот я и крутился вокруг да около. — А наш Дважды-два, Семен то есть, с вами шел, потому что его послали по комсомольскому набору...

— В лесу, значит, — сказал Зырянов с совершенным уже безразличием. — В большом лесу? — Он налил коньяку в красивые хрустальные бокалы.

— Точно не знаю, — сказал я и незаметно вздохнул, потому что очень трудно было мне говорить с этим героическим головорезом. — Он ничего насчет этого не сказал.

— Кто «он»? — Зырянов длинным глотком выпил свой коньяк и поглядел на меня. Он начал на меня глядеть, и в его судачьих глазах вдруг обозначились ясные и черные дробины зрачков. Он так смотрел, как будто зацепил меня железным крюком за шею и не отпустил.

— Да Семен же! — сказал я, чувствуя, как шея моя и спина наливаются свинцом и я даже пошевелиться не могу. — Который умер! Семен!

— Помню, — отвел взгляд в сторону и мягко постукивая пальцами по скатерти, сказал Зырянов. — Казанский татарин. Сержант. На Кавказе. А старика этого не помню.

— Ну да, — сказал я с большим облегчением, потому что Зырянов больше на меня не смотрел. — Он это. — Хотя, как вы помните, Дважды-два не был ни сержантом, ни татарин и дело происходило ни на каком не на Кавказе. Но мне это было сейчас совершенно все равно, я не собирался ничего объяснять Зырянову и даже не думал с ним спорить. Все.

— И вы сами его похоронили? — терпеливо спросил Зырянов.

— Сам, — сказал я. — Вот этими руками. — И показал руки.

— Погодите, погодите... — глядя на мои руки, усомнился Зырянов. — Он ведь, кажется, был не казанский татарин...

— Казанский, — сказал я, и мне даже стало как-то неловко перед покойным Дважды-два. — Он мне сам говорил.

— Ну, казанский так казанский, — успокоился Зырянов. — Похоронили — и то слава Богу... А многих вы похоронили за свою жизнь? — В его голосе вдруг зазвучало доброжелательное любопытство, и глядел он тихо, как будто заткнул свои стволы серой ватой, и я решил снова попытаться:

— Многих, очень многих, всех разве упомянешь... А вот Семена помню очень хорошо, он сейчас прямо как живой передо мной, и знаете, что он говорит?

Зырянов молчал, глядел в стол, и непонятно было, слышит он меня или нет.

— Передайте товарищу полковнику Зырянову, — продолжал я осторожно, — что он мой самый любимый и главный герой в жизни, а что случилось с тем старичком — так это ничего, потому что была война и обстановка складывалась очень неподходящая... — Я хотел ему еще сказать про поэта, который думал совсем по-другому, но потом решил, что лучше помолчать — ничего у меня не получалось, и Дважды-два просил меня совсем не это передать, и я жалел, что позвонил Зырянову. Я глядел сквозь увешанную орденами елку на хозяина дома, а перед глазами стоял несчастный Семен, которого Зырянов перепутал с каким-то татаринном, а где-то дальше маячил зарезанный старик, о котором он тоже ничего не помнил.

— Я не полковник, — помолчав, сказал Зырянов. — Я генерал-лейтенант на пенсии. Но это сейчас уже ничего не значит. Я — простой солдат! — Он несильно ударил себя кулаком в грудь, и удар пришелся по серебряной солдатской Звезде. — Это главное! Вот эту Звезду я заработал в штрафбате, в академии Штебунина! Вы знаете, что это такое? — Я сделал вид, что вопрос ко мне как бы и не относится, потому что не понял, что он имел в виду — что такое эта самая академия и что значит заработать там орден. — Все эти побрякушки, — он, брезгливо и страшно скривив лицо, указал на елочные украшения, — не стоят ничего, ни-че-го по сравнению с орденом солдатской Славы. Тут, коллега, не связями берут, не фамилией! Тут берут кровью! — Его глаза опять стали наливаться черной тяжестью свинцовых дробинок, и я отвернулся.

Зырянов снова налил коньяку в бокалы и придвинул ко мне блюдечко с икрой. Сам он не ел ничего, только пил.

— Вы, похоронщик, — сказал Зырянов, — когда-нибудь думали о самоубийстве?

— Что? — не понял я.

— Ну, застрелиться, — нетерпеливо сказал Зырянов. — Или там повеситься, утопиться.

— Нет, — сказал я.

— Не оттого, что в лагере вам было плохо, — настаивал Зырянов, — не поэтому. А потому, что вам в один распрекрасный день надоело прислуживать смерти, осточертело! — Он провел по горлу ребром ладони. — Особенно если вдруг к вам является какой-то писака и грозит напечатать, что вы не похоронщик, а палач. А? Вы вот откройте завтра «Вечерку» любопытства ради, прошу вас.

— Я думаю, что служу жизни, — сказал я. — Если б я служил смерти, я бы не выжил.

— Понятно, — сказал Зырянов и улыбнулся, кажется, впервые за этот вечер. Зубы у него оказались золотые, все зубы, которые можно было разглядеть. — А я вот, представьте, в этот наш с вами распрекрасный день не могу сказать, что служил жизни... Я хочу подарить вам кое-что, раз уж Бог вас ко мне привел, — так, безделицу на память. Но сначала выпьем еще по одной! Берите вот рыбу!

Мы выпили, а потом он поднялся из-за стола, вышел в другую комнату и вернулся, неся кинжал в кожаных ножнах, с золотыми завитками на рукоятке.

— Это адмиральский немецкий кортик, — сказал Зырянов. — Я, — лицо его на миг стало холодным и скучным, как у покойника, — убил его хозяина. Ликвидировал, если хотите. Возьмите! И если к вам придет когда-нибудь распрекрасный день, не вешайтесь и не топитесь, а воспользуйтесь этим оружием... Нет, действительно, сам Бог послал вас ко мне сегодня, похоронщик!

Он смотрел на меня и улыбался, как будто я был ему приятен и дорог, а я не знал, куда девать глаза, потому что был уверен, что он ошибается. Я хотел уйти, мне было страшно с этим человеком.

— Потерпите еще немного, — сказал Зырянов, — посидите чуть-чуть, и все.

Он снова направился к той комнате, откуда принес кинжал, оглядываясь на

ходу и напевая довольно громко прыгающим высоким голосом: «Старый похоронщик, старый похоронщик, старый похоронщик крепко спал!» А потом ударил выстрел.

Уже убегая со всех ног по коридору, я увидел через открытую дверь комнаты тело Зырянова на полу. Он лежал ничком, возле его руки валялся пистолет.

Потом, спустя сколько-то времени, я заметил, что сижу на лавочке в расстегнутом пальто и держу на коленях адмиральский кинжал. Лагерная привычка сработала: свое — бери.

Кузьмич

Я живу на свободе, я получаю пенсию, я общительный человек.

Да и раньше, когда я еще сидел в лагере, я тоже не был букой. Но эски все же смотрели на меня искоса и к тому же с прищуром, как будто я, знаете, не простой служащий Смерти, а ее заместитель и закадычный друг, водку мы с ней каждый день пьем из одной кружки... А кто из нас не служащий Смерти? Все мы ей служим, ей, а не жизни, потому что хозяйка-то — она.

Так вот, редко кто в лагере смотрел на меня как на обыкновенного человека, такого, как все, и прибывало ко мне людей неструганых, сучковатых... Э, черт! Вот я рассказываю, а потом получится, что я все веду к своей профессии: сучковатые да неструганые — это ж бортовые доски, а на крышку дерево пускают побогаче, и так уже делают гроб. В Москве, между прочим, гробы выпускает фурнитурно-мебельный комбинат номер 4.. Но это я так, просто к слову пришлось.

В шестьдесят шестом или шестьдесят седьмом году прибился ко мне один старичок, звали его Лазарь Кузьмич, а фамилию я не помню, забыл. Тихий такой старичок, но не ветхий. Дело, как сейчас помню, было 10 ноября, после обеда, а старичка этого, Лазаря Кузьмича, угром только выпустили из сумасшедшего дома.

Я рассказываю не по порядку, не по годам, а как вспоминается. То все про лагерь да про лагерь, а теперь вот про этого вольного старичка. А почему? Может, потому, что тоже шершавый был, не гладкий. А другие ко мне и на воле близко не подходили, как чуяли меня.

Это все было в Ялте, я туда приехал, потому что осенью всегда кашлял — туберкулез привез из лагеря и до сих пор от него никак отделаться не могу. Приехал, снял койку у частницы, хожу гуляю. Цветы, море, на лавочке можно посидеть. Курорт. Кто не был в Ялте, тот не знает. И вот сижу я на лавочке, снял ботинки и дышу воздухом, и тут подходит этот старичок, под мышкой у него книжка, обернутая газетой, и говорит:

— Позвольте?

Я вам уже говорил, что люблю людей, и кроме того — что это, моя лавка? Это государственная лавка, на ней номер есть, а на мне тогда даже номера уже не было, я — никто, ноль. Так что же, сидя на государственной лавке, я ему буду говорить «Не позволяю»?

— Пожалуйста, — говорю, — присаживайтесь.

— Спасибо! — он говорит и кепку снимает. — Лазарь Кузьмич... — И снова надевает кепку, приятный человек.

Сидим.

Потом он книжку свою открывает, и я вижу — что это идиш, книжка на идиш. Это, знаете, не каждый день увидишь в Ялте, и я понимаю, зачем он книжку обернул газетой: на всякий, как говорится, пожарный случай, а то антисемит увидит, начнет спрашивать, приставать... Это понятно, но почему старик, тайком читающий книжку на идиш, — Кузьмич? Лазарь — это, наверно, Элиейзер, но Кузьма — такого у евреев не бывает.

И я его спрашиваю на идиш:

— Простите, как вы сказали... Лейзер... а потом — как?

— Ах, вы имеете в виду это, — улыбается в ответ старичок. — Моего отца, будь благословенна его память, звали Ксил. А меня все зовут Кузьмич, наверно, для простоты.

Так мы сидели на солнышке и говорили, болтали по-стариковски, и нам было легко. А потом он мне рассказал про сумасшедший дом. Вот что он мне рассказал:

— Тут, в Ялте, у меня была часовая мастерская. Я часовщик, простите, не знаю, кто вы по профессии. Я сидел на рынке в своей будочке, мимо с утра до вечера шли люди, и некоторые подходили ко мне починить часы, или продать что-нибудь, или купить что-нибудь. Это ведь как-никак подспорье, и приятно помочь человеку... И вот однажды я прочитал в газете, что Никита Сергеевич Хрущев приедет в Ялту, сядет тут на пароход и поплывет в Алжир, в гости. И уже назавтра взялись чистить базар, красить, мыть, и я на всякий случай прибил красный флаг к моей будке. Не знаю, как вы, а я очень хорошо относился к Никите Сергеевичу Хрущеву, я уважал его. А почему я должен был его не уважать? Так он сеял себе кукурузу, ну и что! А я не сеял, у меня была моя будка и мой кусок хлеба, вы не беспокойтесь!

Тут Лазарь Кузьмич замолчал, снял кепку и потер ею глаза. Что-то его глодало, что-то его грызло.

— Нет, беспокоюсь! — сказал я, чтобы помочь ему справиться с волнением. — Потому что Хрущев выпустил меня из лагеря, а то бы я давно уже загнулся.

— Выпустил, значит... — как бы с сожалением говорит Лазарь Кузьмич и надевает кепку на голову. — Ну вот, приходит ко мне милиционер, отдает честь и подает мне бумажку. А там написано, в той бумажке, что я в двухнедельный срок должен ликвидировать свою будку и покинуть рынок. Как вам это нравится, а? Ликвидировать! «Ты сам понимаешь, Кузьмич, — объясняет мне милиционер, — Хрущев едет, а ты тут торчишь в своей будке. А если Хрущев на базар пойдет?» Как будто Хрущеву делать нечего, только идти на базар чинить у меня часы. Неумный человек этот милиционер! Но спорить с милиционером — это только наживать неприятности, и я сажусь и пишу письмо. «Москва, Кремль, — я пишу, — Н.С. Хрущеву».

Опять он замолчал, Лазарь Кузьмич, — глядит на море и улыбается, и качает головой. Хорошо ему так сидеть, на воле.

— «Н.С. Хрущеву, — я пишу. — Дорогой Никита Сергеевич! К Вам обращается труженик, простой рабочий Окунь Лазарь Кузьмич, проживающий в г. Ялта по такому-то адресу. Вы меня, конечно, не помните, а я Вас запомнил на всю жизнь — в Донбассе, на шахте 4-«Бис», молодого рабочего паренька. Вы тогда рубили уголек для нашей дорогой отчизны, а я вагонетку возил. Теперь Вы великий человек и всемирный герой и едете через наш город в Алжир с миссией мира, а я продолжаю работать на благо Родины. И я хочу пожелать Вам новых побед и, главное, крепкого рабочего здоровья». Так я написал, послал письмо и сижу себе в своей будке, жду. И что бы вы думали? Пришел большой конверт из Москвы, там написано: «Кремль, канцелярия Н.С.Хрущева». Я никогда в жизни таких конвертов не получал, вы можете это понять?! Внукам я хотел оставить этот конверт, внукам и правнукам... Я даже открывать его не стал, а пошел прямо в горком. Пиджак надел и пошел. У дверей часовой стоит, не пускает, а я ему конверт показываю, но в руки не даю. Часовой куда-то звонит, прибегает молодой человек и ведет меня к начальнику, на второй этаж. Начальник сидит за столом, я сажусь против него в кресло и протягиваю конверт. Молча. «Но это же вам!» — трудно дыша, говорит начальник. «Ну, конечно, — я ему отвечаю. — Но это великая честь и такая ответственность. И я пришел к вам, чтобы вы это открыли». — «А что там?» — спрашивает начальник и покачивает мой конверт, как будто это драгоценный ребенок. «Я знаю, что, — отвечаю я и гляжу на него. — Вы читайте...» И он вскрывает мой конверт так, как будто там внутри завещание, и он сейчас получит миллион рублей и в придачу всю Ялту с Симеизом, и читает: «Дорогой Лазарь Кузьмич! К сожалению, Никита Сергеевич не может Вам ответить собственноручно, он очень занят подготовкой государственного визита в Алжирскую Республику. Напрасно Вы думаете, что Никита Сергеевич Вас забыл — он прекрасно помнит Вас, замечательного рабочего человека, беззаветного строителя коммунизма. Ваша вагонетка была показательным примером для прочих тружеников шахты 4-«Бис». Никита Сергеевич просит передать Вам горячий привет и пожелание и впредь созидательно трудиться на благо нашей любимой Родины. От имени Генерального секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева помощник Кудрин». И подпись. И число... Начальник встает, жмет мне руку и поздравляет. «Спасибо, — я говорю, — я приложу все силы и выполню поручение товарища Никиты Сергеевича Хрущева — буду, как и впредь, трудиться на благо простых людей в моей будке». — «В какой будке?» — спрашивает начальник. «В моей часовой мастерской, — я отвечаю, — на рынке». — «Ну, конечно! — машет руками

начальник. — Вам ее уже покрасили? Подновили?» — «Еще не успели, — я говорю, — но я не возражаю. А флаг я сам повесил, чтобы приветствовать Никиту Сергеевича». — «Я распоряжусь, — говорит начальник. — Сегодня же покрасят серебряной краской!» — «Лучше белой, — я поправляю. — Никита Сергеевич учит нас скромности...» Вот как это было, дорогой друг, вот как все это получилось. Но, как вы понимаете, все имеет свой конец, и в первую очередь счастье. Приехал Хрущев, и ко мне на рынок пришел тот начальник и повез меня на торжественную встречу. Зачем я тогда взял часы с кукушкой в подарок Никите Сергеевичу, зачем? Часы он принял и руку мне пожал, а меня черт потянул за язык: «Я Окунь, мы вместе работали в Донбассе на шахте 4-«Бис». Тогда Никита Сергеевич на меня сердито так поглядел и дальше пошел. И уже вечером за мной прислали карету «Скорой помощи» и увезли меня в сумасшедший дом. Зачем я вылез со своей кукушкой? Я ведь, между нами говоря, никогда не был в Донбассе даже проездом. Но я тогда не знал, что и Никита Сергеевич никогда не рублил уголь на шахте 4-«Бис»: в газетах об этом писали, а я и верил.

Он замолчал и долго сидел, опершись руками о край скамейки и наклонившись вперед, как будто собирался вскочить и убежать куда-то.

— И вас только сегодня выпустили? — спросил я. В конце концов, всякое в жизни бывает, и каждый сидит там, куда его сажают.

— Нет, что вы, — сказал Лазарь Кузьмич. — Никиту Сергеевича сняли, и меня отпустили.

— Брежневу вы тоже написали письмо? — спросил я шепотом.

— Ничего не писал, — сказал Лазарь Кузьмич. — Но теперь каждый раз на праздники — под 1 мая и под 7 ноября — меня на несколько дней берут в сумасшедший дом. На всякий случай, как они говорят. Да что «берут»! Я сам иду. А вы бы не пошли?

— А письмо? — спросил я. — Оно у вас?

— Забрали письмо, — сказал Лазарь Кузьмич. — И конверт забрали.

— Ну и хорошо, — сказал я.

Лазарь Кузьмич подумал и согласился со мной.

Дурацкая история

Из чего состоит наша жизнь? Из того, что мы видим, и из того, что мы слышим. Они одинаково необходимы и важны, глаза и уши нашей жизни, хотя для слепого первой зрение, а для глухого — слух. Но не все же в мире слепы или глухи — так придумано Богом и так устроен мир... «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием» — это о нас, не оглохших и не ослепших.

Я слышал эту историю, которую сейчас и вам расскажу, от одного диссидент-писателя, и передаю вам ее, ничего не изменяя, слово в слово, но хотя макароны, как говорится, его — подливка все ж-таки моя. Он пришел ко мне, этот писатель, уже после лагеря — лет пять тому назад. Он собирал разные лагерные истории у бывалых людей и записывал их в тетрадку. И я как раз тогда подумал: почему бы мне самому не записать в тетрадку то, что я видел и слышал?.. Ну вот, этот диссидент сел уже где-то в семидесятые, сел ненадолго, он уже выходил — и тут-то в его лагерь привезли интереснейшего чудака, какого-то Шурика из Средней Азии. То есть привезли-то его из Средней Азии, а прописан он был в Орле, в Средней Азии его только взяли. Это было в пустынных краях и безлесых, и это очень важно для нашей дурацкой истории — то, что края были безлесые. Если б края были лесистые, то Шурика бы не посадили. Может, и не посадили бы.

В тех краях проживала теща Шурика, одинокая вдова. Не то чтоб Шурик плохо относился к теще, нет, не так. Просто он никак к ней не относился — так далеко она жила от города Орла, где Шурик работал по геологической части. Но если бы теща вдруг объявилась не письменно, а вполне натурально, явилась бы в город Орел и пожаловала к Шурику — вот тогда Шурик вспомнил бы ее очень даже быстро, и отношения их, положим, день на третий по приезде сделались бы натянутыми до разрыва. Разрыв произошел бы, по примерному подсчету, на четвертый или на пятый день, и теща уезжала бы на поезде обратно в Среднюю Азию. Можете не

сомневаться, что тещина дочка Клавдия оказалась бы на стороне своего Шурика. И это тоже придумал Бог.

Посылки с азиатской хурмой — это одно, а приезд в город Орел — совсем другое. Но теща как будто ни в какой Орел не собиралась и сидела себе в песках. Переписка между матерью и дочерью тянулась кое-как, через пень-колоду: писали друг другу раз в два-три месяца. Шурик в переписке не участвовал, хотя имя его торчало между других слов, как пень на лужайке: привет Шурику, привет от Шурика. А Шурик ничего не знал про эти приветы и жил без оглядки на тещу.

Потом теща заболела и слегла — срок ее пришел. Из больницы прислали телеграмму Клавдии, и Шурик расписался в получении.

— Ай-ай-ай, — сказал Шурик скороговоркой, прочитав телеграмму.

— Ехать надо, — сказала Клавдия и с опаской, как вредный и хрупкий предмет, приняла из рук мужа телеграфный бланк. — Может, успеем еще.

— Они вот так вот иногда посылают, — с жалостью глядя на жену, сказал Шурик, — а на самом деле — уже и все...

Клавдия ничего не ответила, и Шурик, положив телеграмму в кошелек, поехал в аэропорт доставать билеты. По дороге он прикидывал, во сколько обойдется им полет туда и обратно, и получалось, что — да, обойдется. Получалось, что на море летом уже не съездить, вот что получалось. И выходило, что не плескаться ему в теплом море — из-за тещи. То есть она-то, конечно, не виновата, а все же... Она ни при чем — а Шурик страдать... И накапливались против большой досады и раздражения.

По предъявлении телеграммы билеты дали без звука. Длинная очередь у кассы волком глядела на Шурика с билетами в руках, как будто он по собственной воле, ради хорошего настроения отправлялся в эту самую Среднюю Азию, а очередники вынуждены были зимовать в Орле. С чувством превосходства оглядывая угрюмые лица, Шурик дивился: с ума, что ли, сошел Орел? С чего это столько людей прется в Среднюю Азию — у всех у них, что ли, тещи помирают? Мор, что ли, какой на них напал?

Летели почему-то через Кисловодск. Трясло, болтало. Клавдия молчала, поднося платочек к острому куриному носу. Шурику скучно было лететь, ему не хотелось в Среднюю Азию.

Наконец долетели.

Местное население разгуливало по улицам городишка в полосатых халатах, надетых поверх белых холщовых кальсон. Поджав ноги крендельком, торговцы сидели около арбузных и дынных гор и горделиво предлагали свой товар. Над головами торговцев, прицепленные к ветвям деревьев, раскачивались проволочные клетки. В тех клетках пронзительными голосами орали птицы с кожаными лакированными глазами.

Тещу уже не застали. Следовало получить ее в морге и похоронить на интеркладбище.

А что тут такого? Я, как еврей, не вижу в этом ничего особенного: мы тоже хотим лежать среди своих — после того, как всю жизнь прожили среди чужих. Вот и мусульманские жители песков, наши двоюродные братья, лежат особняком на окраине городишка. Даже, собственно, не лежат, а сидят: их положено хоронить сидя, с пустой чашкой на коленях, потому что нищими мы уходим из этого мира, даже если отсыпать в глиняную чашку золотых червонцев из кожаного мешка... Но не дай Бог похоронить на мусульманском участке чужака — христианина или хоть чукотского шамана с его бубном: будет бунт, будет мятеж, будет священная война. И так и у нас принято, у евреев.

Поэтому открыли на другой окраине городишка интеркладбище для иноверцев. Почему интернационал — это хорошо, а интеркладбище — это дико? Тут все дело в привычке.

Теще, как чужой в этих песчаных местах, следовало лежать на интеркладбище.

С самого утра, к открытию, Шурик отправился в магазин похоронных принадлежностей. В витрине были свалены венки из крашеной жести и пыльные ленты.

— Мне гроб, — сказал Шурик продавцу в тюбетейке и добавил вполголоса: — Попроще...

— Гробов нет, — ответил продавец.

— Как нет? — удивился Шурик.

— Нет, и все, — сказал продавец.

— Но ведь это магазин похоронных принадлежностей! — еще больше удивился Шурик.

— А у нас тут безлесая зона, — снисходительно объяснил продавец. — Езжай к себе в Тамбовскую губернию, там леса много, доски много.

— Но у меня теща умерла, — неизвестно зачем сообщил Шурик продавцу. — Мне гроб нужен!

Продавец пожал круглыми бабьими плечами и из красного чайника плеснул зеленого чаю в пиалу.

— Напрокат хочешь? — отхлебывая чай, спросил продавец.

— Что напрокат? — не понял Шурик.

— Да гроб, — сказал продавец. — На четыре часа. Привезти на место, речи сказать — все как положено. Потом заворачиваешь в клеенку, хоронишь, а гроб сюда везешь. Напрокат можно, у нас тут три гроба напрокат. Ну, берешь?

— А клеенка у тебя есть? — горько пошутил Шурик.

— Нет клеенки, — ответил продавец. — Клеенку в яслях можно достать, на улице Клемент Готвальда. Спроси там Андреевну, няньку, скажи — от меня. Она устроит.

— Ну, спасибо, — сказал Шурик. — Выручил. — И пошел вон из магазина.

Необходимые доски он выменял на два поллитра в строительном тресте № 9. Само собой разумеется, что в этом городишке среди песков не числилось никакого другого строительного треста, ни № 8, ни № 10. За бутылку вермута, извлеченную из того же орловского чемодана, где еще так недавно приятно позванивали две поллитровки, плотник тарного цеха завода соорудил незатейливый гроб. В чемодане задержалась в полном одиночестве бутылка коньяка «Белый аист», припасенная Шуриком для себя лично.

Гроб из свежеструганных досок следовало непременно обить в соответствии с правилами приличия: не каторжника же собирались в нем хоронить, а тещу. И не нашего отечественного каторжника я имею в виду, а заграничного, западного. А чем обить? Ну, миткаль годится для этого дела, ну, сатин. В универмаге на Шурика вылупили глаза, как будто он спросил не миткаль с сатином, а брильянты с изумрудами.

— А если поискать получше? — допытывался Шурик. — Может, на складе?

— Нету, — объяснили Шурику. — А вам на что?

— На гроб, — сказал Шурик, зависимо глядя. — Мне бы что-нибудь однотонное: белое, черное.

— Муар черный есть, — сказали Шурику. — Он на вечерние платья идет, берите, пока не разобрали.

— А чего-нибудь подешевле? — на всякий случай справился Шурик.

— Подешевле нету, — ответили Шурику. — Кому надо, тот возьмет.

Сокрушенно покачивая головой, Шурик отсчитал деньги. Обмен черно-белого телевизора на цветной в этом году категорически отпадал.

— Шнур еще возьмите, — посоветовали Шурику. — Красивый шнур.

— Не надо, — сказал Шурик. — Обойдемся как-нибудь.

Гроб, сколоченный из белых досок и обитый изнутри вечерним муаром, выглядел нелепо, как верблюд на катке. Клавдия смущенно вертела головой, прижимала платок к сухому острому носу. Пришлось за дополнительную плату покрасить гроб масляной краской «под мрамор».

На все эти действия ушел полный день. Часа в четыре, когда гроб только-только еще сох после покраски, Шурик поехал на интеркладбище и удостоверился, что ворота заперты на всякий амбарный замок. Была, впрочем, в воротах калитка, запертая изнутри всего лишь на задвижку. Шурик постучал вначале костяшкой пальца, потом ладонью, а потом и кулаком. На грохот кто-то подошел к калитке и спросил вполне гостеприимно:

— Чего надо?

— Да я договориться хочу... — сообщил Шурик.

Калитка немедля отворилась. На Шурика глядел мужик лет пятидесяти, с круглым милым лицом.

— Я из другого города приехал, — сказал Шурик, — тещу хоронить.

Мужик никак не реагировал на это сообщение. Тещу так тещу. На кладбище для этого и приходят, чтоб кого-нибудь хоронить.

— Мне могилу надо к завтраму, часам к десяти утра, — потребовал Шурик. Он испытывал к круглолицему мужику доверие: все у него есть, и лопата, и чего там еще надо. С таким мужиком мимо земли никого не пронесут.

— Аванц, — сказал мужик и протянул руку ковшиком.

Наутро гроб с тещей привезли на интеркладбище в «левой» полуторке. Шурик сидел рядом с водителем, в кузове — Клавдия и какая-то безымянная старушка, соседка покойной тещи. Ворота кладбища были распахнуты настежь. Водитель с Шуриком сняли гроб с машины, и полуторка укатила. Клавдия и безымянная старушка плакали. Шурик пошел искать давешнего милого мужика.

Мужик обнаружился невдалеке от кладбищенской конторы. Он лежал на травяной поляне, ясные его глаза были открыты небу и солнцу.

— Здоров, — сказал Шурик, стоя над отдыхающим.

— Также и ты, — откликнулся мужик из глубокой травы.

— Как там с могилой-то? — спросил Шурик, испытывая противную тревогу.

— Да никак, — не двигаясь, произнес мужик. — Экскаватор сломался, нечем рыть.

— А лопатами? — спросил Шурик, почему-то уверенный в том, что вопрос его нелеп.

— Да тут камень, — сказал мужик из травы.

— Значит, никак? — спросил Шурик с чувством внезапного и совершенно необъяснимого освобождения от всех забот.

— Никак, — подтвердил мужик. — Послезавтра, если запчасти привезут, экскаватор пустят — тогда можно.

— Ну, я пошел, — сказал Шурик.

На это мужик ничего не ответил.

Проходя мимо Клавдии со старушкой, стоявших на тропинке около гроба, Шурик только обронил: «Стойте тут. Я скоро», — и вышел за ворота. По дороге в геологический отряд он заехал в Дом колхозника, где они с Клавдией остановились, и достал из чемодана бутылку коньяка «Белый аист». С бутылкой во внутреннем кармане пиджака Шурик явился к начальнику геологического отряда — несомненно, пьющему человеку.

— Я сам геолог из Орла, — представился Шурик, ставя на стол бутылку. — У меня тут теща померла.

Начальника отряда это известие почему-то удивило, как будто тещи относились вообще-то к категории бессмертных, а эта взяла и нарушила устав.

— Н-да... — промолвил начальник отряда, недоверчиво чему-то усмехнулся и перевел взгляд на бутылку. Шурик тотчас откупорил и налил в подставленные хозяином стаканы.

— Экскаватор сломался на кладбище, — пожаловался Шурик, выпив, — никак могилу не могут вырыть — камень. Но, если шашку заложить, все будет в порядке... Помоги, честное слово!

— Бери хоть ящик, — без спора согласился начальник отряда. — У нас этого добра хватает... Ты в орловском отряде такого Воротникова знаешь, Петьку? Знаешь, да? Дак это ж мой кореш, вместе учились! Во, тесен мир!

Часа через три, когда солнце уже перешагнуло зенит и тени от крестов интеркладбища потянулись к востоку, в воротах появился раскрасневшийся, как после бани, Шурик на веселых ногах.

— Поцли! — указал он Клавдии и безымянной старушке, потерявшим уже надежду с ним когда-нибудь встретиться и понуро сидевшим в ногах гроба. — Щас все сделаем! В два счета!

Проворно действуя, Шурик установил геологическую взрывчатку чуть в стороне от могил, на зеленом взлобочке позади конторы, и провел горячий шнурок. Он работал увлеченно, время от времени поглядывая на безымянную старушку и на Клавдию с ее куриным носом. Женщины испытывали беспокойство от молчаливой деятельности Шурика.

Взрыв оставил после себя нужную воронку, и Шурик с давешним мылом мужиком, прибежавшим на шум, опустили в нее гроб. Они еще не успели засыпать яму, как явился наряд милиции во главе с двумя мордастыми гавриками в штатском.

Прямо с интеркладбища Шурика увезли в КПЗ при местном отделении КГБ, продержали там сутки и отправили со спецконвоем в область.

На закрытом суде ему шили хранение взрывчатых веществ, диверсию. В старые времена он получил бы вышку и потянул за собой человек двадцать из геологического отряда плюс милого мужика, моего коллегу, плюс, возможно, жену как соучастницу, да и безымянную старушку тоже. А так дали ему всего-навсего пять лет лагеря да три года ссылки. Детский, как мы когда-то говорили, срок!

Синдром последнего стакана

Я старый человек. Я целомудренный еврейский старик. У меня редкая белая борода метелкой.

Мое ветхое тело — лишь оболочка, душегрейка: бедное теплое мясо, крытое сухой, как у ящерицы, кожей. Но я люблю эту оболочку, моя душа привязана к ней и не хочет с ней расставаться.

Все чаще и чаще, особенно по ночам, перед первым светом, я думаю о смерти. Я думаю о ней, как о завтрашнем дне, как о поезде, который — хотя он еще и не виден — уже давно в пути и подходит к моей станции. Длинный товарный состав, платформы, груженные северным угольком. Черный паровоз, молодой машинист с белыми зубами. Хрустят сцепки на стыках рельсов. Вот такой поезд.

Раньше я, перехоронивший почти всех, по-другому думал о смерти: ей — свое и мне свое. И теперь я, одинокий старик, думаю о том, кто мне подаст последний стакан воды.

На бульваре знакомый старичок сказал мне:

— Ну, понятно... Это у вас синдром последнего стакана.

И что мне дался этот стакан?! Как будто это так важно — подадут тебе его или не подадут, как будто больше не о чем думать. А вот застряла проклятая мысль, как заноза в пятке: не вытащишь.

Тут, конечно, дело не в стакане и не в том, кто тебе его подаст: прохожий человек или родной. Дело в том, что за этим последним стаканом наступит. А стакан — просто оттяжка, запятая перед точкой.

Я всю жизнь думал, что не боюсь смерти. Нет, боюсь. Просто я уговаривал себя и убеждал, как чужого далекого человека, что — ну, да, смерть, она и есть смерть, никуда от нее не убежишь, ничего с этим не поделаешь. Жизнь у всех разная, смерть на всех одна... Так неинтересно, нудно уговаривал, что в конце концов поверил. И вдруг веру эту ветром сдуло, и остались на свете только мы двое: я и смерть. И между нами последний стакан воды.

Этот бульварный старичок, который сказал про синдром, — он, между прочим, еще кое-что сказал.

— Вам нужно ездить на велосипеде, — сказал он. — Если вы будете ездить на велосипеде, ваше тело сделается крепеньким, как яблочко. Вот я каждое утро еду на велосипеде до магазина «Молоко» и обратно.

— Но я не умею ездить на велосипеде, — сказал я.

— Тогда ничем помочь не могу, — сказал старичок и отвернулся.

Как будто я просил его помочь мне.

Так вот, перед первым светом я лежу с открытыми глазами и думаю о смерти. Под ватным одеялом тепло до слез, и я начинаю с того, что думаю о всяких приятных далеких вещах. Я как бы листаю старую записную книжку — аккуратно, чтобы не порвать, снимаю с нее красный резиновый пояс, открываю и листаю. Имена, адреса, телефоны... Кто умер, а кто уехал. Никого не осталось у меня. И моя душа послушно поворачивается к смерти, и время как бы склеивается в медовый янтарь, и я в этом янтаре — мухой или крылом мухи.

Но день приходит, еще один жиденький денек, и я почему-то встаю и иду на кухню пить чай. Горячий стакан греет мне ладонь, я долго держу его в руке, прежде чем начать пить. Я благодарен стакану: это не тот, который мне никто не подаст.

Среди тех, кого я каждый раз вспоминаю перед рассветом, лишь один человек вызывает во мне беспокойство. Я не знаю, жив ли он, — скорее всего, нет. То был человек бурный, такие долго не живут: у них кровь течет в жилах быстрее, чем у нас, а жилы-то у всех одинаковые. Звали его Алексей, Леша Крымов, мы с ним сошлись

в лагерной больничке в Абези, на Севере. Его придавило хлыстом на лесоповале, а у меня язвы пошли по всему телу, живого мяса не осталось. Мест в больничке не хватало, нам дали одну койку на двоих. Поинтересовавшись, кто его сосед, Леша Крымов почему-то обрадовался:

— Похоронщик с третьего лагпункта! Вот это да! Ну, батя, знаешь ли ты, всему свое время и всему свое место под солнцем...

А надо вам сказать, что ээки, особенно больные, особой радости при встрече со мной обычно не проявляли.

— Мура, ты только погляди, какая мура, батя! — продолжал Крымов. — Время мое еще не пришло, это я тебе говорю, солнца тут в подзорную трубу не увидишь. Какого же хрена тебя подлюжили именно ко мне, а?

За окном стояла зима, солнце почти не показывалось. Крымов понравился мне с первых же его слов: иногда, редко можно узнать человека по словам не хуже, чем по делам, — совсем не оттого, что слова, как говорится, не расходятся с делом. Дело тут ни при чем, о каком еще деле могла идти речь на больничной койке, на которой, как выжатые половые тряпки, валялись двое издыхающих Божьих детей! Просто слова Крымова были свежи и прозрачны, составлены в прихотливый ряд и, мне казалось, очищали от зловония его разбитый синий рот.

— Розы, — сказал Крымов, — ты помнишь, батя, как они пахнут? Я хочу услышать этот запах, поэтому я выйду отсюда. Я не ставлю перед собой глобальных задач: разлепить глаза миру или дописать «Фауста». Розы! Какая жалкая малость! Но никто не сумеет убедить меня в том, что Вселенная хоть на шаг глубже моего желания. Я выйду!

— Дай тебе Бог! — сказал я.

— У Бога уши вянут от просьб и особенно от обещаний исправиться, если просьба будет исполнена, — сказал Крымов. — Просьба молниеносна: «Дай!» Или даже без «Дай», а просто: «деньги», «бессмертие», «козырный туз». Подразумевается, что Бог в курсе дела и сам все поймет, без лишних слов. А вот обещания затянуты и наивны, обязательно имеют в виду договор: «Ты мне, а потом уже я — тебе».

— Но ты ведь тоже просишь? — спросил я.

— Я не прошу, я клянчу, — снисходительно объяснил Крымов. — Я — нищий и знаю свою место. Я клянчу: «Покатай меня еще немного, господин мой Главный Кондуктор, в этом сладком вагоне! Я в уголке постою. Не выбрасывай меня на ходу!» Но я не обещаю расплатиться за проезд.

Потом он заснул, а утром, когда из палаты потащили умерших за ночь, спросил:

— Что тебе снилось, батя? Расскажи!

— Да так... — сказал я. — Детство. Сестра.

— А мне, — сказал Крымов, — поле. Живой теплый ветер над полем. Вечер, но не поздний — такой жемчужный и позолоченный вечер; и от этой красоты становится неловко, смутно прохожему человеку. Дощатый старый забор в поле, а там, за забором, может, дом, куры, собаки — не знаю. Трава под забором. Мне спокойно. Я умираю в траве.

— Значит, умираешь под забором, — повторил я, и что-то ему в этом не понравилось.

— Запомни, отец, — строго сказал Крымов. — Над забором всегда стоит звезда. Умирают под звездой — не под забором. Запомни это.

— Человек боится, — возразил я, — человек хочет умереть на чьих-нибудь руках, уж ты мне поверь... Хоть бы кто-нибудь шел мимо и остановился под этой твоей звездой!

— А, — сказал Крымов, — понятно. Последний стакан воды. Но я в этом случае выбрал бы папиросу.

Он вышел из больницы через полторы недели, а через два месяца ушел в побег. Погоня вернулась ни с чем, и списали Алексея Крымова, Лешу. Не я один его запомнил — о нем говорили в лагере много и по-разному: что вольно охотничает в тайге, что грабит автоколонны в теплой Туркмении, что добрался до Америки и стал там большим человеком. Но никто не верил в то, что Крымов погиб.

Перед первым светом я лежу с открытыми глазами и вспоминаю разных людей, с которыми встретился за жизнь. Последним я вспоминаю Крымова. За Крымовым наступает рассвет, и я иду на кухню греть вчерашний чай.

Наталья Ванханен

СОСТОЯНИЯ



Валькирия

Пока Валькирия летает —
вершит полет —
пока Валькирия летает,
она живет.

Пока Валькирия летает,
она свята,
и вместе с ней летает правда
и правота.

Ее полет являет милость
вне догм и схем,
пока летает справедливость
от этих к тем.

И две толпы, где гнев не тает,
глядят в упор:
пока Валькирия летает,
не кончен спор.

Ее мгновеньям и столетьям
не удержать.

апрель — 25 мая 1992

Не должно ей ни тем, ни этим
принадлежать.

Бессильны пряники и пушки,
и воронье.
Зря Вагнер вешает гремушки
на хвост ее.

Как часто, посреди бессилья,
едва живой,
ты вдруг почувешь эти крылья
над головой:

исход стрельбы и рукопашных
перереша,
на стороне почти пропавших
ее душа.

Ей оттого не сгннуть в нетях,
меж туч тугих,
что полной правды —
ни у этих,
ни у других.

Познание

А когда обрывается нить
и любимые плечи теряем,
мы ли смеем с тобой говорить,
что чего-то на свете не знаем?

Губы. Зубы. Протяжное «у».
Отворившее космос объятье.
Черный росчерк стрижа на полу.
Беззащитное смятое платье.

* * *

Пахнет с улицы весенней
разучившимся теплом,
шевелением растений,
жизнью, отданной на слом,
самой слабой, никчемушной,
неподсказанной уму,
малой малости послушной,

неподвластной ничему.
И когда сжигают тару
у продмага, погляди,
месяц новый или старый
еле теплится в груди.
В дымке, веря и не веря,
он приняхался к дымку,

и ему на дне апреля,
видно, сладко, дураку.
Для чего он там хлопочет
и расплылся отчего?
Верно, нам напомнить хочет

1990

мудрость сердца своего:
мол, конечно, вы о хлебе,
вы и сухи и тверды,
а у нас в высоком небе
много неги и воды.

Вечерний лес

Уплывает, к далеким вселенным
неразгаданной тягой влеком,
ударяя в закат тяжеленным,
поперечным ночным плавником.

1991

И чего нам особенно жалко:
под прохладой, что вглубь разлита,
в нем таится ночная фиалка,
точно амбра во чреве кита.

* * *

Помнишь Абрамцево, братец?
Оно бормотало,
что бесполезно, что бросим,
что надо расстаться.
Золото таяло, бредило, мрело,
и ало
под ноги осень поправшим ее святотатцам
кротко ложилась, стекала
и капала жиже
слез и дождей и, шурша, разбегалась по полю.
— Люди увидят! Пусти, — говорила, — пусти же!
Что-то еще говорила. — Не помнишь?
— Не помню.

Помнишь колодец?
Ведерко, гремя кандалами,
черпало тьму,
и плескалось желанье по краю.
— Вот, — говорило, — и я неотступно за вами!
Что-то еще говорило. — Не знаешь?
— Не знаю.

Думали — отдых, досуг, детский флирт-переросток,
отблески римских каникул далёко от Рима...
Вышло — часовенка отгиском пряничных досок
на сердце.

Жаль, эта сладость неудобоварима.

Помнишь не помнишь
да любишь не любишь,
как мало,
в общем, оттенков.
К потерям причислены краски.
Помнишь Абрамцево, братец? Оно польхало!
Осени терем особенно пряничен в сказке.

Слева ворона кричала с оглядкой и страхом
на нелюдимом, непереводаимом наречье,
словно уже подмечала: с плеча,
то есть махом,
надо рубить.
Вместе с жизнью, наверное, легче.

Чердак

Пусть хоть строчка или стих
пахнут той прогретостью,
ворсом ковриков сухих,
ломкостью и ветхостью.

Пусть еще покружит в них
пыль былого, лучшего,

1989

будто брызги звезд дневных
от сиянья Тютчева.

Пусть блеснут издалека
залосненным лоскутом
из сокровищ чердака,
где видались с Господом.

* * *

Вам случалось, как и мне,
сквозь терпение воловье
выйти к вольной быстрине,
к мелким звукам Подмосковья.

Ходит солнце дотемна,
по холмам перебредая,
а другая сторона
вся от инея седая.

Там прибрежный пейзаж
бесконечно тривиален,

1989

пошлой скукой мертвый пляж
отдает в тиши купален.

И не так уж он красив,
и повален пляжный зонтик —
нешироких перспектив
недалекий горизонттик.

И загадка для меня
им же вызванная эта
в старом сердце толкотня
планов, музыки и света.

* * *

Я встаю, завариваю чай,
и чайники множатся и множат
безнадегу. Милый, не скучай,
а и поскучаешь — не поможет.
За окном ломает черный наст
дворник наконец, и день — в начале.
Слишком мало времени у нас,
слишком много страсти и печали.
Маятник. Кукушка. Баловство.
Жизнь-копейка. Девочка-оторва.
Времени — всего-то ничего,
а пространства — дьявольская прорва.

1990

Песенка про влюбленных

Что были в отношениях незаконных
и говорили нежные слова,
конечно, это тайна от знакомых,
но эту тайну знает вся Москва.

Как мы с тобой измучили друг друга
и от любви почти сошли на нет, —

конечно, это тайна от супруга,
но эту тайну знает целый свет.

Как я тебя безумно ревновала
и как ты мне грозился выбить глаз,
вся улица, наверное, слышала,
вся улица слышала, и не раз.

А в результате — ах, какая жалость! — Но слух упорный в городе витает,
и кто тому виной, не разберем, что всюду нас встречают
но так все это долго продолжалось, в поздний час.
что оба мы отъехали в дурдом. Должно быть, им чего-то не хватает,
скорей бы только выписали нас!

И в тишине Канатчиковой дачи Должно быть, ежедневно, ежечасно
гремит многоголосая молва, им в городе становится темней
что нам с тобою носит передачи без наших двух влюбленных и
вся улица, весь город, вся Москва. несчастных,
затерянных на улице теней.

17.10.91

Берег

Два моря — справа и слева —
о каменный бьются мол.
Два горя — Адам и Ева,
чей сумрачный вал тяжел.

И в плеске их оголтелом
брожу с любовью моей,

1991

как девочка с новым телом,
еще непривычным ей,

следа за небесным срезом,
чью плоть сквозной самолет
распарывает железом
и розовой нитью шьет.

Состояния

Липы старые твои
до чего многоаршинны!
В состоянии любви
люди смотрят на вершины.
Запоздалые ростки,
подорожник у дороги —
в состоянии тоски
хорошо глядеть под ноги.
С чем не в силах сладить век,
в состоянье сладить некто.
Режет вены человек
в состоянии аффекта.
А на ком лежит печать,
неприметная вначале,
в состоянии молчать
в состоянии печали.
Тот крылат, а тот бескрыл,
сколько данности и дряни...

состоянье сколотил...
...сколько разных состояний!..
Летний вечер. Перелет
облаков через канаву.
Голос маленький берет
небогатую октаву.
Кто позволил? Как посмел?
И с чего он расстарался?
Только б был он, только б пел,
только б он не оборвался!
В состоянии любви,
в состоянии разлуки,
пусть душа у нас в крови,
только б, господи, не руки!
Ей, играющей с огнем,
дрожь привычна и пыланье...
Значит, все-таки живем,
жить почти не в состоянье.

1991

Елена Ржевская

«...Так как все кончено»



Одна из самых кровавых ран войны — земля подо Ржевом. Здесь началась моя фронтовая доля — военного переводчика штаба армии. Больше года бились наши армии за Ржев, за ржевский выступ, который немцы в приказах называли «меч, занесенный на Москву». Сметены с лица земли 92 деревни района. Не считаны павшие на этих ближних подступах к Москве ее защитники. Да и немцы исчисляют свои здесь потери в сотнях тысяч человек.

А за Ржевом — выжженная приказом Гитлера земля Смоленщины, Белоруссии, горе пепелищ; насильственный угон в Германию на рабский труд; перемерзшие землянки по оврагам. Бездомные старики, старухи, дети. Виселицы с болтающимися петлями. Лагеря мучеников-военнопленных. Рвы с телами замученных, убитых людей... Руины восставшей Варшавы...

На этом долгом пути мне не могло и примерещиться, что в дни падения Берлина я окажусь в бункере Гитлера, буду участвовать в его розыске и в опознании обгоревших трупов Гитлера и Геббельса, в установлении обстоятельств самоубийства обоих. Что буду разбирать личные бумаги фюрера и папки Бормана, остававшиеся в бункере. Среди бумаг главной нашей находкой в этом подземелье окажутся дневники Геббельса — тетради собственноручных записей. Даже пролистать тетради не было у меня никакой возможности в те напряженные первые дни мая.

Только спустя почти двадцать лет, работая над книгой, я натолкнулась в не рассекреченном архиве на дневник Геббельса — на одну лишь, хронологически последнюю тетрадь из тех, что нами были найдены. Она охватывала последние приготовления к нападению Германии на Советский Союз, начало войны. Записи из дневника Геббельса, который секретно хранился в нашем архиве и миру не был известен, я опубликовала в своей книге «Берлин, май 1945».

Меня поразило тогда, как саморазоблачительно предстает Геббельс в дневнике. Едва ли можно выразительнее, чем он это сделал сам, рассказать о типе политического деятеля, выдвинутого на авансцену фашизмом: маньяке и фанфароне, злобном карьеристе, одной из тех плоских, мизерабельных личностей, чьей воле предался немецкий народ, обрекая себя на безумие войны.

Все это — старая история. Казалось бы, пора с ней расставаться. Но обстоятельства и течение жизни в мире и в нашей стране побуждают и обязывают снова обратиться к ней.

Ведь даже в устоявшихся демократиях, тем более в молодой, неокрепшей, ютятся агрессивные силы фашистского толка, до поры теснимые на обочины, но при сотрясениях общества готовы ринуться в атаку, инфицируя и увлекая массы. У нас ощущалась такая опасность, но преимущественно было принято не брать ее всерьез. Однако замаячила фигура Жириновского, вполне карикатурно перенимавшего ухватки нацистских заправил, — фарс, да и только.

Книга Е.Ржевской «Геббельс. Портрет на фоне дневника» публикуется в издательстве «Слово». Москва. Перевод фрагментов дневника Геббельса — Л.Сумм, Е.Ржевской.

Но и от немцев я не раз слышала: Гитлер, его команда, сборища национал-социалистов, их лозунги, факельные шествия, их ряженые коричневорубашечники — все воспринималось до поры как фарс. «Возможно, решающее преимущество Гитлера было в том, что никто не верил в реальность его целей», — подвел итоги в конце тридцатых годов английский публицист. «Мы недооценили Гитлера, приняв его при первом появлении за смехотворного и закомплексованного недоучку... — писал не так давно узник концлагерей третьего рейха Симон Визенталь. — Мир не принимал Гитлера всерьез, мир рассказывал о нем анекдоты... Мы не распознали вовремя опасность. Наше поколение дорого заплатило за свой оптимизм».

Эти слова, обращенные в прошлое, для нас звучат как предупреждение. Неумение, а то и нежелание пресечь расползание фашизма — попустительство, равное подстрекательству.

И вот уже слышны посулы насильственно вернуть Россию в границы до 17-го года и угрозы миру, только что оправившемуся от страха атомной войны, нейтронной бомбой. И вновь ксенофобия, антисемитизм — непрменная опора фашизма. По рецепту Геббельса («Мы обращаемся к примитивным инстинктам масс») сулят избирателям водку по 6 рублей за литр и прочие блага.

Лет шесть тому назад я писала, что нам нельзя забывать о судьбе Веймарской республики. В республике (имевшей, кстати, хорошую демократическую конституцию, не ставшую панацеей) созрел нацизм, окреп и при экономическом крахе и отчаянной безработице власть перехватил Гитлер. Я тогда слышала укоры, что зря пугаю сближением ситуаций.

В конце семидесятых Мюнхенским институтом современной истории были изданы 4 тома рукописных дневников Геббельса. Больше половины составили найденные нами в бункере тетради. Институт подарил мне эти тома, что послужило толчком к тому, чтобы вернуться к старой истории.

Я видела страшный конец Гитлера, Геббельса и его жены, их обугленные тела. И шестерых детей, умерщвленных родителями. Дневник давал возможность проследить от самого начала его пути за превращениями Геббельса. Отчетливее представить себе генезис фашизма, его роковой соблазн и тотальную разрушительность для каждого. Видеть, как и в человеке, и в массах накапливается фашизм и маниакальные идеи «искажают человеческую природу» (Бердяев).

Здесь, на журнальных страницах — последние дни третьего рейха. Неизбежность расклады. Фюрер приказывает Геббельсу немедленно переселиться вместе с семьей в его бункер, находится при нем, «так как все кончено». Фантасмагоричен мир подземелья — последняя ставка Гитлера. Свадьба. «Самоубийственный совет». Тут же в саду расстрелы генералов, отступивших с позиций. Назначение фюрером в завещании нового правительства, раздача эфемерных портфелей. Тиран без мистической завесы, вне ореола побед. «И это те, кто правил нами?» — задается в смятении вопросом прилетевшая в Берлин известная летчица и ярая нацистка Ганна Рейч, оказавшаяся лицом к лицу со своими кумирами.

Бессилие Гитлера и все та же страсть к насилию. Отданный им приказ о «выжженной земле» — на этот раз Германии. Его требование самоуничтожения немецкого народа, не обеспечившего ему победу.

И не символ ли нацистского культа насилия — задуманное Геббельсом заранее убийство своих детей?



«Отказаться от войны на два фронта»

10 июля 1943-го союзники высадились в Сицилии. Еще задолго до того Муссолини призывал Гитлера заключить мир со Сталиным, чтобы высвободить немецкие дивизии для переброски на Запад. Но Гитлер твердо следовал своим планам, а дуче он пожелал уверенности в себе самом и решительности. При появлении англо-американских войск итальянская армия не проявляла готовности к сопротивлению. На военном совете Гитлер заявил:

«Лишь жесточайшие меры, подобные тем, к которым прибегал Сталин в 1941 году или французы в 1917-м, способны спасти нацию. В Италии необходимо

учредить нечто вроде трибуналов или военно-полевых судов для устранения нежелательных элементов».

Так в политический обиход нацистских лидеров вошло имя Сталина с иным, чем прежде, знаком — его опыт становился поучительным.

25 июля режим Муссолини пал. Это был неожиданный удар для Гитлера.

Гebbельс обеспокоен: известие об этих событиях может сказаться в Германии и активизировать скрытые подрывные элементы, однако Гитлер посчитал, что такой опасности в Германии нет. Но в сентябре, прибыв по вызову Гитлера в ставку в связи с выходом Италии из войны, Гebbельс застал фюрера крайне встревоженным необходимостью принять строжайшие меры, которые исключили бы возможность подобного хода событий в Германии. Он решился подступиться к Гитлеру с вопросом о зондировании мирных переговоров. Но трудно решить, к какой из сторон надлежит обратиться. К тому же «удручающее обстоятельство» — полная неясность о резервах, которыми располагает Сталин. Тем не менее Гebbельс считает, что надо иметь дело со Сталиным, он «политик более практического склада». Фюрер же склонен обратиться к англичанам. Но не сейчас. Он рассчитывает на то, что по мере вступления советских войск в Европу накалятся противоречия внутри коалиции союзников. И тогда, по мнению Гитлера, англичане станут податливей, пойдут на компромисс.

Из этого расчета Гитлера возникнет в самое кризисное время «концепция» обороны — продержаться во что бы то ни стало до той поры. Но какую все же из сторон предпочесть, с какой из них вступить в переговоры? Спустя почти две недели, когда Гebbельс снова прибывает в ставку, он решительно скажет фюреру, что **«надо отказаться от войны на два фронта»**, будто это целиком зависит от фюрера, будто стоит ему сделать шаг в этом направлении, и он встретит ответную готовность противника.

А ведь уже под угрозой Крым. Наступающие советские войска не дали немецкой армии закрепиться на Днепре. Днепр форсирован. 6 ноября немцы выбиты из Киева. Ослаблены позиции немцев в Атлантике. Кризисная ситуация в Италии.

По личному заданию Гитлера эсэсовец Отто Скорцени осуществил лихую авантюрную операцию — выкрал арестованного Муссолини, тайно содержащегося под стражей на недоступной горной вершине. При встрече его с Гитлером стало очевидным: осласливленный спасением Муссолини не проявляет прежней воли к власти. А более всего удручило Гитлера — этим он поделился с Гebbельсом, — что вопреки его ожиданиям Муссолини не принялся тотчас мстить изменникам, предавшим его, и в первую очередь бывшему министру иностранных дел, своему зятю — Чиано. Муссолини «не проявил никаких признаков подобных намерений и тем самым показал свою явную ограниченность. Он — **не революционер, как фюрер или Сталин**. Он настолько привязан к итальянскому народу, что ему явно не хватает революционной широты в мировом масштабе». Этого порока — привязанности к своему народу — Гитлер с Гebbельсом ни за собой, ни за Сталиным не числили.

Такая вот метаморфоза. В пору договора 1939 — 1941-го и в особенности перед войной, когда Сталин дал себя обвести, Гebbельс не упускал случая уничижительно помянуть его в дневнике. Теперь же, когда Красная Армия побеждает на полях сражений и Сталин в представлении Гитлера концентрирует в себе силу, угрожающую Германии поражением, именно он теперь единственный, кого ставит в один ряд с собой Гитлер.

1944

Дневники Гebbельса за 1944 год, как и за предыдущий, еще не изданы. В Мюнхене историк Эльке Фрёлх, издавшая первые четыре тома дневников, готовит последующие тома, в которые они войдут. А пока что она любезно прислала мне существенные фрагменты записей за 1943 и 1944 годы. Судя по ним, в 1944 году Гebbельс по-прежнему отмечает события прошедшего дня как хроникер, почти не характеризую их. За этой отстраненностью, анемичностью безутешно маячат грозные события.

Однако Гитлер в беседах с Геббельсом все так же превозносит непревзойденную мощь германской армии и предвидит сокрушительность ударов, которые она вот-вот нанесет противнику на Востоке. «Хотел бы я, чтобы эти прогнозы фюрера сбылись». Но Геббельс уже не в силах повторять то, что казалось таким несомненным перед нападением на Советский Союз: для германского солдата нет ничего невозможного. «В последнее время было столько разочарований, что чувствуешь, как в тебе пробуждается «скепсис» (4.3.1944). Но прямога, ясность суждений оставляют его, и с присущей ему слабостью Геббельс готов припасть к плечу фюрера, унять страх, сменить скепсис на доверие, надежду.

«Фюрер спокойно и уверенно судит о положении на Востоке... Нам, возможно, придется уступить еще немного, но стратегического успеха большого размаха Советам не видать».

Положение на восточном фронте хуже некуда: «Мы возлагали слишком большие надежды на распутицу («королева-распутица» называли они), а события не подтвердили этих надежд».

В эту пору нередко советский фронт буксовал, срывался подвоз. На этот раз затишья не было — «совсем наоборот».

10 марта 1944. *Можно только изумляться, какие резервы Сталин еще может вывести на поле боя и насколько Советы способны справляться с трудностями, которые, как все считали, непреодолимы. Если нам в конце концов придется отступить за Буг, начнется серьезный кризис для наших войск в Крыму...*

Но именно это время военных неудач, поражений для Геббельса утешительно озарено расположением к нему фюрера. В сущности, в личном плане это звездные часы Геббельса. Наконец-то его израненное самолюбие удовлетворено: генералы, эти недавние герои побед, окружавшие фюрера, его любимцы, обласканные им, оттеснены. И Геббельс, задвинутый ими в тень, мстительно подогревает негодование фюрера.

«Фюрер часто говорит, что генералитет в целом он считает просто омерзительным. Генералы не связаны с ним внутренней связью — они стоят в резерве и предпочитают охотнее доставить нам неприятности сегодня, чем завтра. Сталин себе облегчил эту проблему. (Сталин, которого они с Гитлером, следя за процессами 1938 года, считали безумцем, разрушающим свою армию, уничтожая командование, теперь сходит у них за провидца. — *Е.Р.*) Тех генералов, которые стоят сегодня у нас на пути, он у себя вовремя расстрелял, и потому сегодня они уже не могут перебежать ему дорогу».

Эти собеседники не помнят, что генералам Гитлера стремительное продвижение войск в 1941-м обеспечил Сталин, разгромив предварительно советскую армию, свой генералитет.

Но, так или иначе, менять генералов Гитлер не считает возможным, да и не на кого их менять.

«Только в еврейском вопросе мы провели такую радикальную политику, — продолжает поклонник сталинского террора. — ... И вопрос с попами Сталин решил таким же образом. Сегодня он может себе позволить оказать благосклонность церкви, которая полностью у него на службе. Митрополиты едят из его рук. Они его боятся и хорошо знают, что, стоит ему возразить, и они получают пулю в затылок. В этой области нам еще надо наверстывать. Но война для этого самое неподходящее время».

«Как в добрые, старые времена»

Геринг сказал в Нюрнберге, что Гитлер любил разговаривать преимущественно с доктором Геббельсом. Он нуждается в Геббельсе, в его пылких выражениях приверженности и умении развеять тяжкие мысли.

Ночь на 6 июня 1944-го. Корабли союзников подходят к берегам Нормандии. В дневнике: «Мы сидели у камина до 2 часов ночи, перебирали воспоминания, радовались многим прекрасным дням и неделям, которые мы пережили вместе. Словом, настроение было *как в добрые, старые времена*».

Но суровая действительность вторглась в часы их идиллического общения. Обозначился мрачный знак развала блока — Венгрия норовит выйти из союза

с Германией. «Предательство должно быть наказано. Теперь фюрер будет действовать». Расправа с неверной союзницей предоставит возможность пожить за ее счет. Получить огромное количество оружия, большие запасы нефти и нефтяные скважины. И продовольствие. Главное же — воспрепятствовать намерению Венгрии выйти из войны.

«Кто сказал А, должен сказать и Б»

Гитлер вынашивает план вновь прорваться к Днепру. Тут уж поддающийся внушению Геббельс срывается: «Но кто сейчас осмелится об этом думать» (15.3.1944).

Бессилие на восточном фронте сублимируется в насилие над беззащитными людьми — венгерскими евреями. В этой привычной для него сфере отступает гнетущий страх, и Геббельс с развязностью хама диктует дневник стенографу: в Венгрии «700 тысяч евреев; мы позаботимся, чтобы они от нас не ускользнули».

Проштрафившийся перед опасными союзниками адмирал Миклош Хорти, замаливая попытку отступничества, согласен теперь использовать евреев как заложников. В Будапешт направлен Эйхман. Начинается депортация евреев. «Теперь Венгрия уже не выйдет из этого ритма еврейского вопроса, — торжествует Геббельс. — Кто сказал А, должен сказать и Б». Тут-то Геббельс — надежный эксперт. С ним самим именно так и происходило. Преодолев когда-то некоторое в себе сопротивление или замешательство, он, переступив, тем с большей агрессивностью предался политике антисемитизма. Политика в этой войне, утверждает он, может осуществляться, только «исходя из еврейского вопроса» (27.4.44). Как и вся политика и идеология фашизма.

4 мая 1944. *Еврейский вопрос в Венгрии энергично решается... Гетто отводятся возле военных заводов, где можно ожидать бомбардировки.*

Подобное проделывал и Саддам Хусейн в дни кризиса в Персидском заливе, держа заложников на объектах, которые могли быть целью наступающей операции.

«Они послали в Венгрию меня, самого «хозяина», как выразился Мюллер, с тем, чтобы быть уверенными, что евреи больше не восстанут, как это было в гетто в Варшаве», — рассказал в своих записях Эйхман, когда спустя 15 лет он был захвачен израильской разведкой. (На русском языке эти записи не публиковались.)

«Я до сегодняшнего дня помню, какие несоразмерно огромные потери понесли наши войска при подавлении этого восстания. Я не мог поверить, просматривая фотографии, что люди, прожившие в гетто, могли сражаться подобным образом».

Его советники-«специалисты» пребывали во всех европейских странах, «находившихся под германским контролем». Они должны были обеспечивать насильственный вывоз евреев в лагеря уничтожения. «Однако в течение ряда лет мы сталкивались со многими трудностями. Во Франции французская полиция помогала нерешительно. В Италии и Бельгии из этого дела ничего не вышло... В Дании эта проблема представляла наибольшую трудность. Король Дании вступился за евреев... В Голландии борьба за евреев была особенно тяжелой и острой, ибо здесь при определении гражданства не делали различия по национальному признаку».

Участвуя в документальном фильме лондонского телевидения, я видела кадры интервью с голландцем, жаль, не расслышала его имени. При вступлении немцев в Амстердам он возглавлял муниципалитет. Его вызвал немецкий бургомистр: «Кто у вас в муниципалитете еврей?» Я ответил: «У нас нет евреев в муниципалитете». И этим я совершил первое предательство. Я допустил дифференциацию людей по национальности». С какой нравственной требовательностью всматривался этот человек в прошлое, в самого себя.

«Я убедился, — пишет Эйхман, — что чем дальше мы шли на Восток, тем меньше было трудностей с местными властями... Но с Венгрией нам пришлось особенно повозиться».

«У меня все плывет перед глазами»

21 июня 1944. *Когда я в эти дни представляю себе тенденцию развития военных действий и на Западе, и на Юге, и на Карельском фронте, и в воздухе, у меня все плывет перед глазами, — вырывается у Геббельса загнанное в подполье отчаяние.*

Только в карательных мерах видит Геббельс надежду на стойкость немецкого фронта и тыла. И такая «реформа» уже началась в армии, «она уже принесла заметный успех... Вынесено и исполнено множество смертных приговоров, в том числе высшим офицерам».

После страшного поражения в Сталинграде Геббельс в своей речи призвал к «тотальной войне». И стремился возглавить введение ее в Германии, но препятствует фюрер. Гитлер опасается излишнего напряжения внутри страны и считает, что еще не пришло время «нажимать на последнюю кнопку». Геббельсу остается довольствоваться размышлениями слабеющего фюрера, извлекающего из потемок опустошенности лицемерный довод:

«Фюрер убежден, что, как ни тяжел нам сейчас вражеский воздушный террор, особенно для наших средневековых городов, в нем есть благо, поскольку он расчищает эти города для современного транспорта... И вообще лишь немногое из поврежденных культурных ценностей незаменимо».

Геббельс старается сломленного Гитлера приподнять и возвысить до уровня прежнего всемогущего фюрера, в котором сам так нуждается. «Фюрер полагает, что Англия уже погибла, и решил нанести ей при первой возможности последний смертельный удар».

«Так пусть приходят!»

При ненастной погоде и расхолодившемся море, когда немецкое командование посчитало, что не приходится опасаться вторжения союзников, когда Гитлер проводил часы в приятной болтовне с Геббельсом, в эту ночь на 6 июля 1944 года дивизии союзников начали высадку в Нормандии.

Фюрер, отмечал еще в марте Геббельс, с нетерпением ожидает вторжения. Он даже замышляет предпринять тайный маневр — «отвести с Запада заметное число дивизий, чтобы заманить англичан и американцев и затем, когда они придут, разбить их в кровь». Угнетенного на этот счет сомнениями Геббельса бодрят хвастливые заверения фюрера, дескать, он разобьет союзников, покончит с войной на Западе и освободит силы для активных действий на Востоке. *«Так пусть приходят!»* Очень рад тому царственному покою, с каким фюрер принял это решение».

Англичане и американцы пришли. И высадились именно в Нормандии, как подсказывала Гитлеру интуиция вопреки прогнозам ненавистных генералов. И в день вторжения Гитлер отдает приказ: тотчас разгромить десантные дивизии. «Плацдарм должен быть ликвидирован не позднее сегодняшнего вечера».

Но, взламывая береговую оборону, союзники наращивали плацдарм.

«Фюрер счастлив, — заносит, однако, Геббельс свои наблюдения в дневник на следующий день после вторжения. — ...он так долго угнетен ожиданием, что, когда наступает решающий момент, у него словно тяжесть спадает с души».

Разбить союзников, сбросить в море, устроить еще один Дюнкерк — эти намерения Гитлера оставались лишь бравадой. Но, если верить дневнику, население Германии, взбадученное геббельсовской пропагандой, пребывало в эйфории: «Немецкий народ почти что лихорадит от счастья... Заключаются даже пари, что война кончится в три дня, в четыре дня или за неделю» (16.6.1944).

Но началось грозное наступление на Востоке.

26 июня 1944. *Снова на Востоке тяжелейший кризис. Кто бы мог этого ожидать... Советам... удалось в два дня осуществить прорыв невиданной ширины... Остается только порадоваться, что нам удалось удержать Минск. Советы спокойно и нагло объявляют, что их удар нацелен на Берлин.*

Еще неделю немцы удерживали Минск. Мне довелось участвовать в Минской операции и входить с войсками 3 июля в освобожденный город.

«Я сожму государственный аппарат железной рукой»

Кульминацией заговора, основную группу которого составляли немецкие офицеры, генералы, фельдмаршалы (Роммель, Вицлебен, Клюге) и родовитые штатские, было покушение на Гитлера. Убрать Гитлера и тем самым расчистить путь к мирным

переговорам с союзниками, спасти для Германии то, что еще можно спасти от полного разгрома, — цель заговорщиков.

20 июля 1944 года в ставке Гитлера взорвалась предназначенная для него бомба. Но Гитлер отделался небольшим ранением и контузией.

Геббельс, оставшийся самым высокопоставленным из находившихся в это время в Берлине нацистских главарей, сыграл активнейшую роль в подавлении начавшегося в Берлине мятежа.

Когда-то в период жестокой распри с партийными сотоварищами у Геббельса вырвалось: «Берегитесь, собаки! Если мой дьявол будет спущен с цепи, вы его больше не удержите!» (27.3.1926). И на этот раз Геббельс неистовствовал в безудержном разгуле террора.

Гитлер не знал предела утолению жажды мести. Кинокамеры геббельсовской команды снимали процесс, на котором подсудимые — боевые и прославленные военные в высоких чинах — представляли в отрепьях, в спадавших без ремней брюках, небритыми, чтобы их униженность, предрешенность смертного приговора устрашающе действовали на зрителей. Но подсудимые оставили в своих ответах суду свидетельству достоинства и стойкости.

Гитлер приказал: «Всех повесить, как скот».

Процесс повешения на перекинутых через крюк струнах, все физиологические подробности предсмертных мук, тоже тщательнейше заснятые на киноплёнку, Геббельс тут же отправлял Гитлеру, и он вновь и вновь ее просматривал.

Казнили заговорщиков в тюрьме Плетцензее. (История, как всегда, иронична. Именно сюда, в уцелевшую часть тюрьмы, снесли 2 мая 1945-го мертвого, обгоревшего Геббельса, уложив на дверное полотно. Одним из первых опознавших его был задержанный вице-адмирал Фосс. В ставке Гитлера он — представитель командующего военно-морскими силами адмирала Деница, до последнего дня оставался в подземелье имперской канцелярии, постоянно общаясь с Геббельсом и его семьей.)

Число казненных по делу «20 июля» составило, по источникам, не менее 5000 человек. Арестованных было много больше.

23 июля 1944. *Фюрер решительно настроен против генералитета, особенно против генерального штаба. Он твердо решил... искоренить эту масонскую ложу.*

И Геббельс снова в коленопреклоненной позе: «Он величайший исторический гений, живущий в наше время».

На пятый день после покушения свершилось наконец то, чего добивался Геббельс: Гитлер назначил его уполномоченным по введению в действие «тотальной войны».

Геббельс достиг своей цели, он возвысился, ощутив себя вторым после фюрера человеком в рейхе. «*Я сожму государственный аппарат железной рукой*». Он круто берется за дело.

Притом жизнь его по-прежнему протекает от встречи до встречи с фюрером, питающей его гордость за избранничество. По-прежнему они предаются отвлекающим от суровой действительности беседам.

2 декабря 1944. *Прогуливаясь по кабинету фюрера, мы перебирали старые воспоминания, радовались совместной нашей борьбе и были счастливы, что, в сущности, мы ничуть не изменились.*



Последний дневник

Последние из найденных машинописных страниц дневников Геббельса охватывают период от 28 февраля до 10 апреля 1945 года.

В начале февраля 1945 года советские войска вторглись на левый берег Одера, заняли плацдарм в районе Кюстрина. Всего 80 километров отделяет Кюстрин от столицы.

Немецкое командование называло Кюстрин «ключом от Берлина». Немецкая авиация и пехота бились, стремясь сбросить зацепившуюся за важный стратегический плацдарм армию противника. Но без решительного успеха.

В юбилейную годовщину основания национал-социалистической партии, 24 февраля 1945-го, Гитлер выступил с заявлением: «25 лет тому назад я провозгласил грядущую победу движения! Сегодня, проникнутый верой в наш народ, я предсказываю конечную победу германского рейха!» Хотя эти слова подкрепить было нечем, многими немцами они принимались на веру.

Советские войска прорвали фронт в Померании. Гитлер негодует. Он предвидел, что в Померании будет нанесен русскими удар, но во всем виновный генштаб не прислушался к нему. И Геббельс в дневнике поносит военное руководство: «Эти люди мне враждебны, как только вообще могут быть враждебны люди».

Он ежедневно диктует своим стенографам по 30 — 40 болтливых страниц. Он один из ответственных лиц — комиссар обороны Берлина. На фоне грозных событий это недержание речи выглядит патологичным. Похоже, дневник для него теперь и вовсе — центр существования. Все тот же дух и стиль. Та же выпренность. Но и та же свара, подсиживание, соперничество. Так же занят Геббельс своим местом возле Гитлера, самим собой. Дневник его, как это легко понять, обращен к истории, и он старается всячески дезавуировать конкурентов в нацистской иерархии, в особенности Геринга, назначенного Гитлером своим преемником. Как бы ни закончилась война, неотвязна мания Геббельса — войти в историю первым вслед за Гитлером.

«Увешанные орденами дураки и тщеславные надушенные франты не должны быть в военном руководстве, — достается от него Герингу. — Они должны либо переделать себя, либо их надо списать. Я не успокоюсь и не буду знать отдыха, пока фюрер не наведет порядок».

Забота его о том, чтобы фюрер сместил Геринга, а это ему никак не удается, хотя населенный, измученный бомбардировками, винит Геринга, ответственного за люфтваффе, за воздушную оборону, обещавшего, что ни один вражеский самолет не появится в небе Германии.

«Оптимистический пример»

До падения Берлина остается два месяца. Немецкие эксперты сошлись на том, что «все шансы потеряны». Но Гитлер не хочет вникать в этот приговор. Он теперь охотно возвращается к событиям зимы 1941 года, когда под Москвой перешли в наступление советские войска.

«Генералитету сухопугных армий тогда полностью отказали нервы, — делится он с Геббельсом, и тот диктует это стенографу. — Генералитет тут впервые оказался перед военным кризисом, в то время как до того завоевывал лишь победы, и вот он единодушно решил тогда отойти до границы рейха».

Те страшные картины отступления, паралича командования несколько теперь не омрачают его. Наоборот, то, что защитникам Москвы удалось добиться такого успеха, когда, казалось, Москва вот-вот падет, воодушевляет Гитлера. Ему мнится, что то же самое произойдет при защите столицы рейха — подъем национальных чувств защитников Берлина создаст перелом в войне.

Геббельс, как всегда, на подхвате и оборону Москвы числит «**оптимистическим примером**». Он вызывает к себе генерала Власова, чтобы расспросить его о мероприятиях, которые при защите Москвы осуществлял Сталин. Власов произвел на него очень благоприятное впечатление. Состоялся обстоятельный разговор.

1 марта 1945. «Он (Власов) считает, что Россия может быть спасена, только если будет освобождена от большевистской идеологии и усвоит идеологию, подобную той, которую имеет немецкий народ при национал-социализме. Он охарактеризовал мне Сталина, как чрезвычайно хитрого человека, поистине иезуита, ни одним словом которого нельзя верить. До начала войны большевизм имел среди русского народа сравнительно немного сознательных и фанатичных приверженцев. Но Сталину удалось при нашем продвижении по советской территории превратить войну против нас в священное дело отечества, что имело решающее значение. Власов описал мне дни в Москве во время угрожающего окружения поздней осенью 1941-го. Все советское руководство потеряло тогда самообладание, и лишь Сталин оказался тем, кто был упорен в своем сопротивлении, даже когда он терпел поражение. Ситуация была тогда почти такой же, как сейчас у нас. Но ведь у нас есть

фюрер, который провозглашает сопротивление любой ценой и постоянно побуждает к этому всех остальных, — схожесть ситуации и схожесть в ней фюрера со Сталиным воодушевляет Геббельса. — Разговор с генералом Власовым весьма ободрил меня. Я узнал из этого разговора, что Советскому Союзу пришлось преодолеть такие же точно кризисы, как те, что мы должны преодолеть сейчас, и что из этих кризисов всегда есть выход, стоит только решиться не поддаваться им».

Нужно объявить второй призыв фольксштурма, формировать женские батальоны, решает Геббельс. Заимствуя опыт Сталина, он полагает, что можно создать особые подразделения из заключенных. «Как мне сообщил генерал Власов, тогда во время обороны Москвы это исключительно оправдало себя. Тогда Сталин спросил его, готов ли он сформировать дивизию из заключенных. Он ее сформировал с тем условием, что за отважные подвиги он сможет даровать амнистию. Дивизия заключенных дралась исключительно. Почему в нынешнем тяжелом положении это не может быть осуществлено у нас».

Во время этого разговора еще раз было повторено Власовым: «Даже данному Сталиным слову нельзя верить. Сталин чрезвычайно хитрый, лукавый крестьянин, который действует по принципу: цель оправдывает средства». Однако такая характеристика подводит Геббельса к заключению в пользу Сталина: «Как ничтожен, к примеру, в сравнении с ним дуче».

Геббельс испытывает почтение пред силой, и сейчас ее олицетворяет для него Сталин.

«Мы бы достигли очень многого в нашей восточной политике, если бы мы уже в 1941 и 1942 годах действовали на тех основаниях, которые отстаивает Власов». Геббельс имеет в виду прокламацию Власова, обращенную к советским солдатам.

Соображения Власова и готовность Геббельса согласиться с ними прозвучали, когда под ногами обоих собеседников горит земля. К тому же Власов, казалось бы, мог уже давно уяснить, что окрепшая Россия, пусть и национал-социалистическая (как он желал бы), ни в коем случае не нужна нацистской Германии. Что любая российская государственность исключалась. И что политика нацистских завоевателей в России органична для них и другой не могла быть по отношению к «низшей расе» — славянам, чьей землей они поставили себе завладеть («жизненное пространство!»), поработив и истребив коренное население. И уж кто, как не Власов, чьи вербовщики разезжали по лагерям, знал о злодейском обращении с советскими военнопленными. В этом не было ничего стихийного — истребление людей планировалось заранее и было нацистской политикой.

В судьбе Власова, возможно, есть своя трагедия, но воевать на стороне Гитлера означало воевать против России.

«На фронте на Одере без перемен»

На пороге голод. Нет в Берлине горячего. «Мы теперь, как верно заметил Шах (заместитель гауляйтера Геббельса), едва в состоянии зарядить наши зажигалки».

2 марта 1945. *Воздушная война справляет и дальше свои бешеные оргии. Мы, напротив, полностью беззащитны. Империя постепенно превращается в абсолютную пустыню.*

Воздушной войной Германия обрушилась на Англию, Голландию, Россию... Ее жертвой должны были пасть Лондон, Москва, Ленинград.

8 июля 1941-го дневник верховного главнокомандования вермахта зафиксировал: «Фюрер категорически подчеркивает, что он намерен сровнять Москву и Ленинград с землей». И Геббельс вторил ему: «Мы и дальше не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом» (10.9.1941).

Теперь воздушная война со всей беспощадностью переместилась в небо Германии.

4 марта 1945. *На фронте на Одере без перемен. У Цобтена все советские атаки отбиты, а в Герлице имели, хоть и скромный, все же успех. Фюрер посетил на восточном фронте корпус... Воздействие от посещения фюрера на офицеров и войска огромное.*

Фюрер считает, что если бы он «сам не явился в Берлин и не взял все в свои

руки, мы бы сегодня стояли уже на Эльбе». Все еще действует, хотя и ослабленно, магическая формула: где фюрер, там победа.

Для пресечения «распространившегося непослушания» генералитета Гитлер спешно учреждает беспощадные военно-полевые суды. И ему уже доложили о приговоре и смертной казни генерала. «Это, по крайней мере, луч света! — восклицает в дневнике Геббельс. — Только такими мерами мы можем спасти рейх».

Геббельс, побывавший в войсках генерал-полковника Шернера, доложил Гитлеру о его «радикальных методах»: «для поднятия морального состояния войск» он повесил немало немецких солдат. «Это хороший урок, который каждый учтет».

Но это бесчинства генералов и властей рейха, проигрывающих войну и мстящих солдатам.

Маршал Жуков в состоявшейся у нас беседе очень высоко оценил немецкую армию — солдат и офицеров. «Таких солдат и офицеров никогда не было, — сказал он мне. — И они ведь до последнего воевали. Спротивлялись. Вот уже капитуляция, а они решают сдаваться не нам, а союзникам и уходят организованно, пробиваются».

В вермахт мобилизованы шестнадцатилетние, призваны в фольксштурм мужчины всех возрастов, формируются в Берлине женские батальоны. «Надо их расположить на второй линии, тогда бы у мужчин пропала охота ретироваться с первой линии», — диктует Геббельс.

Вылавливаются дезертиры, прочесываются поезда. Издан 7 марта приказ: солдаты, попавшие в плен, «не будучи ранеными или при отсутствии доказательств, что они боролись до конца», будут казнены, а их родственники арестованы.

Гитлер досадует, что Германия не вышла из Женевской конвенции, как настаивал Геббельс. Тогда бы солдаты и население «не ожидали со стороны англо-американских войск гуманного обращения», сопротивление было бы упорнее и на Западе дела, вероятно, были бы иными. Заимствуют ли они пример Советского Союза, не подписавшего Женевскую конвенцию, или сами додумались в дни поражений? «Впрочем, — замечает в дневнике Геббельс, — фюрер убежден, что он приблизительно за восемь — десять дней залатает снова дыры на Западе».

Однако на Западе продолжается отступление немецких войск.

«Передо мной приказ маршала Конева. Приказ Конева направлен против распространенных грабежей, чинимых советскими солдатами в германских восточных областях, — диктует дневник Геббельс, — прежде всего запасов водки. Они напиваются до потери сознания, переодеваются в цивильное, напяливают шляпу или цилиндр и разезжают на велосипедах. Конев приказывает командирам повести строжайшую борьбу с таким разложением в советских частях» (2 марта). Характеристика событий, которая содержится в приказе, считает Геббельс, дает представление о происходящем.

В этой связи генерал Гудериан — начальник генерального штаба сухопутных сил — обратился к мировому общественному мнению. Но мир, ужаснувшийся открывшимися злодеяниями в лагерях Освенцима, Майданека с их газовыми камерами, остался глух к жалобам немецких военных властей.

Свойственной Геббельсу нервной злости это не вызвало. Судя по дневнику, такие дела на восточном фронте в определенном смысле устраивают циничного Геббельса. Население боится прихода советских войск, избегает контакта с ними, устремляется на запад. Союзники вступают в города, не встречая сопротивления. Для людей, ютящихся в развалинах разрушенных бомбами городов, их приход — избавление от кошмара войны. Для Геббельса это нестерпимо.

Он негодует — американцы вошли в город с плакатом: «Давайте поцелуемся». А один бургомистр сдал город союзникам по телефону. «Совсем новый стиль в войне», — с сарказмом отмечает Геббельс.

А каково стерпеть: Черчилль, этот закоренелый, ненавистный враг, въехал на танке в разрушенный его авиацией город.

С особой пристальностью следит Геббельс в первую очередь за событиями на западном фронте, хотя он еще в 240 километрах от Берлина, тогда как советские войска в угрожающей близости от столицы. Тому находится объяснение. «Монголы, — сказал ему Гитлер, — так же, как сегодня Советы, бесчинствовали в Европе

без воздействия на развитие тогдашних политических споров». Что касается нашествия Советов, оно прокатится и откатится назад, чего не скажешь о сопернице Англии. Если западные союзники закрепятся, они не уйдут, останутся. И тогда — конец нашей идее. Потому так зло и нервно сцеплен Геббельс со всем, что происходит на Западе.

5 марта 1945. Вечером я на продолжительном докладе у фюрера... нервная дрожь его левой руки очень усилилась, что я замечаю с ужасом.

Гитлер делится с ним: он надеется выправить положение в Померании и направил туда усиленные формирования. Но Геббельс в дневнике позволяет себе усомниться: «Я, правда, опасаясь, что эти части не смогут эффективно встретить советский натиск». Гитлер считает, что генштаб провел его, но сейчас уже поздно что-либо менять, остается только «латать дыры». «Для меня непостижимо, — упирается еще какое-то время Геббельс, — как это фюрер, если он имеет такое ясное представление, не может противостоят генеральному штабу; ведь, в конце концов, он же фюрер, и он отдает приказы». Но запал быстро иссякает, Геббельс привычно склоняется перед фюрером. Хотя на последнем этапе — скептически поддеть ослабевшего, нерешительного фюрера, отгенив свои достоинства и разумение, стало частью его самоутверждения и озабоченности о загробной славе, ради которой не все промахи Гитлера он согласен делить. Геббельс непоследователен не только потому, что лицемер по натуре и искренним бывает изредка, но он ведь еще и диктует двум слушателям-стенографам, а заодно корректирует себя перед историей. А главное, при всем том фюрер остается фюрером, его власть над судьбой того пространства, что еще остается за рейхом, единолична. Лишь с ним одним связана пусть зыбкая, но все же надежда на какое-то чудо.

Он подробно рассказывает фюреру о своей беседе с генералом Власовым, о том, что предпринималось им по заданию Сталина, «чтобы поздней осенью 1941-го спасти Москву».

Парадоксально. Тогда в результате декабрьского отступления под Москвой немецкое командование посчитало в военном отношении войну проигранной. (Так считают и современные немецкие эксперты.) Но война продолжалась еще почти три с половиной года и докатилась до Берлина. Теперь Гитлер и Геббельс прожектерствуют, вроде заняты планированием командно-штабной игры, «играя» на этот раз «за русских».

Но при этом: «Цель представляется фюреру так: найти возможность понимания с Советским Союзом и с брутальной энергией продолжать дальше войну против Англии».

«Выстоять на ногах...»

Фюрер сказал: «Наша задача сейчас должна заключаться в том, чтобы при всех обстоятельствах *выстоять на ногах*. Кризис в лагере противника хотя и возрастает до значительных размеров, но вопрос все же заключается в том, произойдет ли взрыв до тех пор, пока мы еще кое-как в состоянии обороняться» (5 марта).

«Фюрер уверен, что, если какая-либо из держав лагеря противника захочет первой вступить с нами в переговоры, это при всех обстоятельствах будет Советский Союз. У Сталина с англо-американцами очень большие трудности...»

Но ближе к развязке, когда советские войска начнут наступление на Одере и будут штурмовать Берлин, Гитлер круто изменит ориентацию. Его надежды будут связаны не со Сталиным, а с западными союзниками, которые, как он рассчитывает, склонятся к переговорам. И для этого ему необходим хоть какой-то временный успех в Берлине, чтобы продемонстрировать силу, способную противостоят продвижению советских войск в глубь Европы.

А пока что он все о Сталине.

12 марта 1945. Рузвельт и Черчилль должны принимать во внимание общественное мнение. Этой нужды совершенно нет у Кремля, Сталин в состоянии за одну ночь повернуть свою военную политику на 180°. Так что нашей целью должно быть — снова отбросить на восток Советы и нанести им исключительно высокие потери кровью и материальными ресурсами. Тогда, возможно, Кремль проявит себя в отношении нас сговорчивее. Сепаратный мир с ним, естественно, изменил бы радикально военное

положение. Конечно, этим сепаратным миром не будут достигнуты наши цели 1941-го, но фюрер при этом надеется все же участвовать в разделе Польши и сумеет прибрать Венгрию и Хорватию под власть Германии, а также получить оперативный простор для действий против Запада... Какая замечательная перспектива! — воспламеняется Геббельс.

Однако эти планы при всей их агрессивности все же похожи в той ситуации на беспочвенную болтовню «пикейных жилетов».

Но до чего совпадают планы раздела Польши уходивших со сцены разбитых нацистских лидеров с планами, которые развивал в ходе избирательной кампании в России лидер партии, именующей себя либерально-демократической.

«Если б я был фюрером»

После ежевечернего налета английских бомбардировщиков Геббельс у себя дома извлек из несгораемого шкафа старые личные бумаги, перелистывал их, с тоской вспоминая «прекрасные времена, которые никогда не повторятся». Очевидно, какая-то часть этих бумаг была им сложена в те чемоданы, которые он потом взял с собой, перебираясь в бункер фюрера. Они оставались там в его кабинете.

Я упомянула в печати, что одним из первых вошел в этот кабинет старший лейтенант Л.Ильин. Вскоре я получила от него письмо:

«Вот я и есть тот самый старший лейтенант Ильин, большое спасибо, что не забыли вспомнить... Вальтер 35 мм, заряженный, с запасной обоймой был взят у Геббельса в кабинете в столе, там были еще два чемодана с документами, два костюма, часы. Часы Геббельса находятся у меня, мне их дали как не представляющие никакой ценности, но я их храню как память...»

Мне, военному переводчику в штабе армии, надлежало разобраться в бумагах, находившихся в тех двух чемоданах. Среди бумаг неравного значения оказался десяток толстых тетрадей — рукописный дневник Геббельса. Первая тетрадь была датирована 1932 годом, когда нацисты вплотную подступали к захвату власти. Последняя — канун нападения на Советский Союз и начало войны. Дальше и до конца он стал диктовать стенографам свой дневник. Машинописные страницы расшифрованных текстов были обнаружены, в основном, позднее.

Тогда, с первых дней мая, и позже я всецело была связана с розыском Гитлера и проведением тщательнейшего опознания вслед за обнаружением его, мертвого, обгорелого.

20 марта 1945. *Чрезвычайные трудности готовят нам проблема иностранных рабочих, — озабочен Геббельс. С одной стороны, рабочие нужны, потому что, как считает он, даже если Берлин будет окружен, военная промышленность не перестанет работать. — Но, с другой стороны, столица империи насчитывает примерно 100 000 восточных рабочих (Ostarbeiter). Если они попадут в руки Советов, они предстанут через 3 — 4 дня против нас боевой большевистской пехотой. Стало быть, мы должны стараться, по крайней мере, восточных рабочих в случае необходимости как можно быстрее изолировать.*

Угроза гибели нависла над судьбой «восточных рабочих» в Берлине. Но наступление и сам штурм Берлина осуществлялись стремительно, ошеломляя и повергая в растерянность и Геббельса, и исполнителей его зловещных планов.

«Мне представлено генштабом досье, содержащее биографии и портреты советских генералов и маршалов... Эти маршалы и генералы в среднем чрезвычайно молоды, почти все не старше 50 лет. С богатой политико-революционной деятельностью за плечами, убежденные большевики, исключительно энергичные люди, и по их лицам видно, что они хорошего народного корня... Словом, приходится прийти к неприятному убеждению, что военное руководство Советского Союза состоит из лучшего, чем наш, класса», — ищет Геббельс объяснение феномену успеха советских войск, их натиску (16 марта).

Он позволяет себе критиковать в дневнике Гитлера. То в связи с его приказом: «Мы отдаем в Берлине приказы, которые практически вообще не доходят вниз, не

говоря о том, выполнимы ли они»; то за то, что Гитлер не решается в такой критический момент выступить по радио с обращением к народу. «У фюрера теперь совершенно непонятный мне страх перед микрофоном».

Одним высказыванием зачеркивая другое, то сетуя, то лстя Гитлеру, заполняет страницы Геббельс.

Он потрясен, как твердо «берет фюрер дело на себя». Или: «Это прямо-таки удивительно, как фюрер в этой дилемме (речь о воздушной войне) постоянно и непоколебимо полагается на свою счастливую звезду. Иногда создается впечатление, будто живет он в облаках. Но ведь он так часто спускался с облаков, как *Deus ex machina*»¹ (28.3.1945).

Еще двумя неделями ранее Геббельс отметил, что фюрер намерен реорганизовать армию. Он «хочет теперь молодых, проявивших себя на фронте солдат произвести в офицеры, невзирая на то, умеют ли они держать нож и вилку». Одобря это, Геббельс беспокоится, не поздно ли. Но зуд реорганизации не оставляет в покое и Геббельса. Он занимается, уже в апрельские дни, реформированием отделов прессы, радиовещания с тем, чтобы избавиться наконец от слишком влиятельного шефа прессы Дитриха.

Соображения престижа, карьеризм и в этой отчаянной ситуации присущи нацистским лидерам. Даже Геббельс заметил курьезность этого, коль скоро речь о его сопернике — министре по делам оккупированных восточных территорий, «колонизаторе России» Розенберге.

«Рейхсминистр Розенберг все еще противится роспуску восточного министерства. Он называет его теперь не министерством оккупированных восточных территорий, поскольку это воспринималось бы как гротеск, а восточным министерством. Он хочет в этом министерстве концентрировать всю нашу восточную политику. С теми же основаниями мог бы я учредить западное или южное министерство. Это же бессмыслица. Но Розенберг отстаивает престижную точку зрения и не дает себя убедить, что его министерство очень давно пало».

Но и поведение Геббельса носит нередко клинический характер. Он сам недалек от признания этого: «Мы живем в такое сумасшедшее время, что человеческий рассудок совершенно сбит с толку» (2 апреля).

Когда стало известно из сообщений Юнайтед Пресс, что весь золотой запас Германии и художественные сокровища (в том числе Нефертити) попали в руки американцев в Тюрингии, он вскричал в неистовстве: «*Если б я был фюрером*, я знал бы, что следует делать... Сильная рука отсутствует...»

Оказывается, дело в том, что он «всегда настаивал, чтобы золото и художественные сокровища не вывозились из Берлина».

И он, комиссар обороны Берлина, так безрасеудно представляющий себе Берлин наиболее безопасным местом, **8 апреля** (!) предпринял неудавшуюся попытку переправить сокровища из Тюрингии в Берлин.

В последних продиктованных записях дневника: «...если взглянуть на карту, то видно, что *рейх* представляет собой сегодня узкую полосу» (9 апреля).

«Чудо свершилось»

Готовясь к войне с Советским Союзом, Геббельс, выполняя распоряжение фюрера, расправился с астрологами, магнитопатами, предсказателями, ясновидцами.

Обеспечивший этим людям горькую участь, Геббельс отметил тогда с издевкой: «Удивительное дело, ни один ясновидец не предвидел заранее, что он будет арестован. Плохой признак профессии» (13.6.1941). Только фюреру с его прославляемой Геббельсом интуицией подвластно видение грядущих дней. Больше никто не смеет вступать на одну с ним стезю, тем более пророчествовать и смущать народ. Так что с этим было покончено.

Но последнее время внесло неожиданные коррективы. Геббельс то пересказывал, то читал вслух Гитлеру страницы книги Карлейля «История Фридриха II»,

¹ «Бог из машины» (латин.).

духовное сродство с которым фюрер старался внушить своим соотечественникам. «Мы должны быть такими, каким был Фридрих Великий, и так держаться. Фюрер полностью единодушен со мной... Фюрер также стоик и последователь Фридриха Великого». Жизнеописание прусского короля «глубочайше захватывает» Гитлера, особенно то место, где автор уговаривает короля, терпящего поражение в Семилетней войне и рецидившего покончить с собой: «Подожди немного, и дни твоих страданий останутся позади. Солнце твоего счастья уже за тучами, и скоро оно озарит тебя». Смерть русской царицы Елизаветы была внезапной и спасительной вестью для короля, избавлением от поражения.

Разволновавшийся Гитлер поинтересовался гороскопом. В убежище фюрера они с Геббельсом приникли к гороскопу, доставленному из ведомства Гимmlера, и Гитлер убедился, что гороскоп сулит ему во второй половине апреля 1945-го перелом в событиях — военный успех. Но откуда прийти ему? Казалось бы, неоткуда ждать обещанного, остается надеяться на чудо. О «чуде», вернее, о секретном «чудо-оружии» кричит геббельсовская пропаганда. Оно вот-вот вступит в действие, его невиданная сокрушительная сила повергнет в прах противника, изменит ход войны в пользу Германии, погонит советские армии и будет преследовать их вплоть до Урала. Хотя они-то оба знают, что этого немецкого «чудо-оружия», под которым подразумевается оружие атомное, не существует. Это же подтвердит в Нюрнберге министр вооружения Альберт Шпеер. Он скажет: из-за того, что Германия лишилась виднейших ученых, уехавших в Америку, «мы очень отстали в данном вопросе. Нам потребовалось бы еще один-два года для того, чтобы расщепить атом».

Но Геббельс тотчас приступил к новой пропагандистской программе с опорой на чудо: «Фюрер сказал, что уже в этом году судьба переменится и удача снова будет сопутствовать нам... Судьба послала нам этого человека, чтобы мы в годину великих внешних и внутренних испытаний могли стать свидетелями чуда...»

«Умерла царица Елизавета, и для Бранденбургской династии свершилось чудо», — заключает Карлейль. Чья же смерть на этот раз спасет третий рейх и Гитлера? «Судьба располагает многими возможностями», — заметил на сей счет Геббельс. Это было сказано им 12 апреля днем. А поздним вечером ему стало известно о внезапной смерти Рузвельта. Ликованию Геббельса не было предела. «Мой фюрер! Я поздравляю вас, — в экстазе кричал он по телефону, сообщая о смерти Рузвельта. — Звезды предсказали перелом для нас в событиях, военный успех во второй половине апреля. Переломный момент свершился!»

В столице полыхали пожары. Как и каждую ночь, сигналы тревоги извещали о приближающихся к Берлину английских самолетов.

На другой день, 13 апреля, советские войска овладели Веной.

Но Гитлер заклинал в приказах: «В данный момент, когда судьба убрала с этой земли военного преступника всех времен, произойдет поворот в этой войне в нашу пользу...»

3

«Меланхолический вечер»

Вел ли Геббельс дневник и после 10 апреля — остается загадкой. Как знать, может, еще обнаружатся дополнительные страницы. Оставалось три недели нарастающей безысходности, отчаяния, конца. Даже Борман, у которого не было на то навыка, в это крайне напряженное время регулярно делает краткие записи — нечто вроде дневника. Поначалу он еще отмечает кое-что из своих личных дел вперемешку с обстановкой на фронтах: «Был с женой и детьми в Рейхенхалле для осмотра грибного хозяйства (шампиньоны)... Утром большевики перешли в наступление». И на другой день: «Воскресенье 14 января. Посещение тети Хесхен». Но дальше семейная хроника вытесняется сообщениями о павших городах, о разрушениях в Берлине от налетов авиации. «Суббота 3 февраля. В первой половине дня сильный налет на Берлин, пострадали от бомбардировок: новая имперская канцелярия, прихожая квартиры Гитлера, столовая, зимний сад и партийная канцелярия. Бои за переправы на Одере». Налеты на Дрезден... «На Западе остался только один плацдарм» (4 марта). «Англичане вступили в Кельн. Русские в Альтдамме!!!» (8 марта.) Отмечает Борман также отстранения и перемещения Гитлером видных

фигур. Начальник генштаба сухопутных войск Гудериан «отправлен в отпуск» Гитлером в связи с тем, что не удалось скинуть войска Красной Армии, форсировавшие Одер, с занятого ими кюстринского плацдарма. Отстранен стараниями Геббельса шеф прессы Дитрих. «Большевики под Веной. Американцы в Тюрингской области» (5 апреля).

Все ближе к Берлину. И наконец, в середине апреля запись со всплеском восклицательных знаков: «Большие бои на Одере!», «Большие бои на Одере!», «Большие бои на Одере!!»

«Я твердо верил, что Берлин будет спасен на берегах Одера, — говорил Гитлер летчице Ганне Рейч в последних числах апреля. — Мы послали все, что имели, чтобы удержать эту позицию».

16 апреля наступление на Одере началось.

Ценой несчитанных жертв танконепреступные откосы были преодолены. Советские войска вступили на плато, открывавшее путь на Берлин со стороны Одера.

Давно, еще четыре года тому назад, 20 марта 1941-го, Геббельс записал: «Я отправил мои дневники, 20 толстых тетрадей, в подземную сокровищницу имперского банка. Они слишком ценны, чтобы стать жертвой какого-нибудь воздушного налета. Они отражают всю мою жизнь и наше время. Если судьба даст мне еще пару лет, я переработаю их для грядущих поколений». Он извлек их оттуда, и теперь главной его заботой было, чтобы при всех обстоятельствах дневники уцелели.

По секретному заданию Геббельса в министерстве пропаганды его старший стенограф Рихард Отте¹ спешно микрофильмировал бесчисленные страницы дневников.

Берлин больше не казался комиссару обороны столицы самым надежным местом для сокровищ рейха, как это было всего неделю назад. Теперь же он и не помышлял оставлять свое сокровище — дневники — в Берлине. Они должны быть секретно вывезены в безопасные, надежные тайники.

Дневник обрывается 10 апреля. В оставшиеся дни за Геббельса и о нем рассказывают сами события и их очевидцы.

8 апреля Магда Геббельс приехала из Шваненвердера, где она находилась с детьми, в Берлин навестить мужа. «Несколько меланхолический вечер... — записал он. — Одно за другим вваливаются в дом дурные известия. Иногда спрашиваешь себя с отчаянием: куда все это должно привести?»

В этот меланхолический вечер вслух или молча они не могли не задаваться вопросом, что будет с их детьми, все еще беспечно живущими в Шваненвердере. Их диалог об этом начался уже давно.

Вильфред фон Овен, пресс-референт Геббельса, преданный шефу, записал 21 января: Магда Геббельс сказала ему, они с мужем уже давно решили, что покончат с жизнью. Но она еще не может прийти к решению о судьбе детей, хотя и страшится оставлять их на незащищенное, бесправное будущее и возможную месть, как детям Геббельса. Из записи фон Овена видно, что Геббельс и ее, как и фюрера, пичкал примерами из жизни Фридриха Великого по Карлейлю, призывая быть вровень с героическим мужеством великого прусского короля, готового расстаться с жизнью, понеся поражение. Фрау Геббельс ответила мужу, как пишет Овен: «Но Фридрих Великий был бездетным».

29 января фон Овен отмечает: «Фрау Геббельс плачет теперь безудержно. Она все время не может еще прийти к какому-либо решению о судьбе своих детей». И само собой, он не признается ей, что еще в августе 1943 года был посвящен шефом в его намерение в случае поражения убить детей и что при этом «его мысли, — записал фон Овен, — были направлены на эффект перед историей». Подобных признаний в дневнике Геббельса нет.

Дневники должны быть во что бы то ни стало сохранены, дети — уничтожены. Это то, к чему вплотную подошел Геббельс.

¹Р.Отте в 70-е годы был вместе со вторым стенографом привлечен к идентификации расшифрованных ими машинописных страниц.

«Так все кончено»

Прорыв на Одере вызвал смятение в ставке Гитлера. Фюрер намеревался перевести ставку в Берхтесгаден (Оберзальцберг), в свою загородную резиденцию, где, как поначалу ему казалось, он будет в безопасности и сможет руководить действиями армий. Уже отправлены самолетами отдельные службы и архивы, улетели стоматолог Гитлера и личный врач Морелль, с которым Гитлер не расставался, постоянно нуждаясь в его возбуждающих препаратах.

В папках Бормана — я разбирала их в подземелье имперской канцелярии в первые дни капитуляции Берлина — были среди других бумаг тексты его радиogramм адъютанту Хуммелю, распоряжения о подготовке к размещению прибывающих служб.

В дневнике у Бормана: «Пятница 20 апреля. День рождения фюрера, но, к сожалению, настроение не праздничное». На другой день советские войска вступили на окраину Берлина, и снаряды дальнотойной артиллерии рвались уже в центре города. «Пополудни начался артиллерийский обстрел Берлина», — помечает Борман. В этот день Гитлер отдал приказ генералу войск СС Штейнеру собрать под свое командование всех солдат в Берлине и ударить контратакой по наступающим советским войскам. «Каждый командир, который уклонится от выполнения приказа и не бросит в бой свои войска, поплатится жизнью в течение пяти часов».

22 апреля, когда эфир гудел радиogramмами Бормана, извещавшими о предстоящем прибытии фюрера в Берхтесгаден, на военном совещании, которое ежедневно проводилось в бункере Гитлера, было доложено, что контрудар не состоялся. Генералы посчитали, что главнокомандующему Гитлеру следует покинуть Берлин, чтобы немецкие войска могли отступить — столице грозит окружение. Оставаясь в отрезанном Берлине, Гитлер практически не сможет командовать армиями.

Ярость, истерика, выкрики об измене, угроза самоубийства — такой была реакция Гитлера.

Он прервал совещание, велел соединить его по телефону с Геббельсом.

Адъютант Гитлера от СС Отто Гюнше дальнейшее излагает так: «Через несколько минут, ковыляя, вошел Геббельс, он был крайне взволнован». Его немедленно провели в кабинет фюрера, где состоялась их беседа. Когда он вышел из кабинета, его обступили генералы, Борман и другие. Геббельс сказал, что фюрер совершенно разбит, таким он его никогда не видел. И добавил, «как был напуган, когда фюрер прерывающимся голосом сказал ему по телефону, чтобы он немедленно с женой и детьми перебрался к нему в бункер, *так как все кончено*».

Последней радиogramмой в этот день адъютанту Хуммелю в Берхтесгаден Борман распорядился: «Вышлите немедленно с сегодняшними самолетами как можно больше минеральной воды, овощей, яблочного сока и мою почту». Из этого следовало, что прибытие в Берхтесгаден, по меньшей мере, отложено.

«Но Фридрих Великий был бездетным»

Позже, уже арестованный союзниками, Йодль на допросе рассказал, что в тот день, 22 апреля, выйдя из кабинета растерянного фюрера, Геббельс спросил у него, можно ли военным путем предотвратить падение Берлина. «Я ответил, что это возможно, но только в том случае, если мы снимем с Эльбы все войска (стоящие против англо-американских сил) и бросим их на защиту Берлина». Геббельс посоветовал ему доложить эти соображения фюреру. Фюрер согласился с Йодлем и распорядился: Кейтелю и Йодлю лично руководить контрнаступлением и с этой целью отбыть за пределы Берлина. Вместе с ними Берлин оставило все верховное командование со своими штабами. В ставке Гитлера оставались представители от родов войск да Борман и Геббельс.

Объявленное Гитлером решение остаться в Берлине воспринималось генералами высших штабов как демонстративный жест, прикрывающий неспособность его продолжать руководить войсками. И в нарушение воинской традиции Гитлер, главнокомандующий, устранился от ответственности за дальнейший ход боевых действий, возлагая ее на них.

При подходе советских войск немалая часть немецкого населения, бросая свои жилища, устремлялась на Запад. Вся нацистская верхушка позаботилась, чтобы их семьи оказались там же, в расчете на более цивилизованное обращение с ними. И Борман, оставаясь при Гитлере в подземелье имперской канцелярии, переправил из Берлина жену в том же направлении и с тем же расчетом.

Но у Геббельса был свой расчет — «на эффект перед историей», свидетельствует Овен. Он не был фанатиком, как иногда ошибочно судят о нем. Фанатичным было его пылающее, неугомонное тщеславие. И семья приносилась ему на заклятие.

Когда 13 — 14 февраля страшнейшему налету англо-американской авиации подвергся Дрезден, Гитлер, получив письмо от своей сводной сестры фрау Раубал, пережившей эти невыносимые дни и ночи, отозвался о ней с похвалой. Геббельс, не стерпев мгновенно вспыхнувшей ревности, тут же вставил: «А Магда решила при всех обстоятельствах остаться в Берлине». Хотя это еще не было окончательно улажено с нею и его ссылкой на Фридриха II противостояло ее: «*Но Фридрих Великий был бездетным*».

Но в марте Магда Геббельс, видимо, приблизилась к решению, на котором настаивал муж.

Начальник личной охраны Геббельса Вильгельм Эскольд на допросе в мае 1945-го рассказал, что в конце марта, когда советские войска находились на левом берегу Одера и угрожали своей близостью Берлину, жена и дети Геббельса жили в Шваненвердере, в 10 километрах от Берлина, в своем поместье.

«Примерно 31 марта я был вызван отсюда женой Геббельса по вопросу усиления охраны имения. В разговоре со мной и своей матерью она сказала, что в том случае, если военные действия будут развиваться неблагоприятно для немецкой армии, они переедут в Берлин, перейдут на жительство в бомбоубежище фюрера и останутся там до последнего момента, а может быть, даже и умрут, если это понадобится. Жена Геббельса сказала, что у нее есть сильнодействующий яд, который она примет в критическую минуту. Мать жены Геббельса поддержала ее в этом решении».

Это было за шестнадцать дней до начавшегося наступления на Одере, к 21 апреля перешедшего в штурм Берлина.

22 апреля, через три недели после состоявшегося разговора, приведенного Эскольдом (публикуется впервые), дети сошли в подземелье, в «фюрербункер», откуда их вынесли советские солдаты мертвыми.

При жуткой расправе в деревнях за связь с партизанами или за другие провинности перед немецкой армией женщины под расстрелом закрывали своим телом ребенка. Женщины всех наций, брошенные в концлагеря с детьми или в гетто, старались переправить за проволоку ребенка — только бы остался жив, и, может, чья-то добрая душа отзовется, пригреет. А тут у шестерых детей и мать, и бабушка, и самолеты к их услугам — доставят на Запад, где в случае нужды можно встать под защиту Красного Креста. Но фанатизм сламывает человеческий, материнский инстинкт, и даже бабушка с одобрением отправляет дочь на самоубийство, внуков на смертную расправу родителей. (Где-то писали, что бабушка осталась жива и справлялась о могилах внуков.)

Приказ Гитлера о «выжженной земле»

Когда немцы подошли к Москве, Гитлер заявил, что русские армии «полностью уничтожены».

Москва готовилась сражаться на улицах.

Теперь такие надолбы, ежи, как в осенние дни 41-го в Москве, стояли заслоном на окраине Берлина, а советские танки уже прорвались на городские улицы.

22 апреля появился последний опубликованный приказ Гитлера:

«Запомните:

Каждый, кто пропагандирует или даже просто одобряет распоряжения, ослабляющие нашу стойкость, является предателем! Он немедленно подлежит расстрелу или повешенью!.. Адольф Гитлер».

Беспощадная расправа поджидала заподозренного в том, что он недостаточно проникся фанатизмом и слепой верой в победу немецкой армии. На улицах Берлина всем на устрашение вешали солдат (фотографии сохранились).

Донесения о безнадежности сражений на улицах столицы, о бедствиях населения скопились в той же папке Бормана, где его радиogramмы адъютантам. Я их тогда переводила. Такие же донесения должны были стекаться к Геббельсу — комиссару обороны столицы. «Я возложил на себя ответственность за мой народ», — постоянно изрекал Гитлер. Но в дни величайшей катастрофы немецкого народа виновники его бед были глухи к тому, что переживают люди, и никакой ответственности перед ними не испытывали. «За вас думает фюрер, ваше дело лишь выполнять приказ», — надсаживалась геббельсовская пропаганда. Фюрер живет только мыслями о благе народа. Не мысль о народе, а власть над народом, над Германией, господство над миром любыми средствами двигало неистовством мании Гитлера.

«Когда мы победим, кто спросит с нас о методе? — сказал он Геббельсу за неделю до нападения на Советский Союз. — У нас и без того столько на совести, что мы должны победить, иначе наш народ и мы со всем, что нам дорого, будем стерты с лица земли».

Близится поражение, оно сотрет с лица земли Гитлера и соучастников его преступлений. Но откуда это произойдет, он охвачен ненавистью: немецкий народ обманул его надежды. Гитлер отдает приказ о «выжженной земле», как это было при отступлении в России в 1943-м. Но теперь речь о немецкой земле — опустошать, разрушать города. Министр вооружения и любимый архитектор Шпеер возразил ему: это означает лишить немецкий народ средств к существованию. «Нет нужды принимать во внимание то, в чем народ нуждается для продолжения жизни, — заявил в ответ Гитлер. — Наоборот, лучше все это самим уничтожить, так как немецкий народ доказал свою слабость... После поражения остаются только неполноценные...»

В эти трагические часы немецкие солдаты сражались с высокой стойкостью, верные присяге и все еще надеясь на чудо-оружие, на-фюрера, страхась плена и расправы эсэсовцев при отходе с позиций.

На советской стороне в Берлине в наступательном порыве, самоотверженно сражались солдаты, знавшие гнет поражений, безысходность окружения, плена, ярость и воодушевление на победных полях сражений.

Одним часы отстукивали неизбежное поражение, другим — близость победы. Те и другие были всего лишь смертны и погибали в тягчайших боях на улицах Берлина.



«В углу сидели притихшие дети»

23 апреля берлинская радиостанция передала, что фюрер в столице. Еще действовала на немцев магия его присутствия.

Я слышала это сообщение по радио, находясь в Познани. Но так ли это? Может, сказано всего лишь для поднятия духа гарнизона и населения Берлина? «Где фюрер, там победа», — годами внушали немцам Геббельс и его пропаганда.

Но Гитлер был в Берлине, в новом, только что достроенном бункере, куда перебрался 21 апреля. Бункер был связан подземными переходами с бомбоубежищем под имперской канцелярией, был выдвинут в сад и имел запасной выход тоже в сад, чтобы, если рухнет под бомбами массивное здание рейхсканцелярии, фюрер смог бы выбраться.

Когда мы вошли в этот сад, около запасного выхода из бункера стояла бетоношпалка — несколькими днями ранее еще велись работы по укреплению бункера.

Прежде Гитлер давал названия своим ставкам: «Волчье логово», «Гнездо орла». Теперь это был всего лишь «фюрербункер», как называли его обитатели подземелья под рейхсканцелярией. Примерно 40 ступенек вели вниз в это убежище. По этим ступеням, наверно, с любопытством спускались дети Геббельса. Станным было здесь их присутствие, их оживление. Они затевали игры, будто находятся в пещере с «дядей фюрером». Будто скоро полетят с ним на самолете, скроются от бомб.

Каково было Геббельсу находиться тут постоянно на глазах у детей, зная, зачем привел их сюда? Ведь ему вроде не были чужды отцовские чувства, умилялся в дневнике, упоминая детей.

Он сам все годы мастерил себе эту ловушку, гоняясь за первым местом возле фюрера.

Здесь теперь была мера послушания и мера обреченности, экзальтация повседневных словословий фюрера, которые и сейчас неостановимы и давно сформировали в нем, хоть и при дозе критичности, нерушимый пласт преданности. Ну а теперь, когда ничего не состоялось и катастрофически рухнул рейх, что он переживал в этом бункере?

Записей нет. Впрочем, и в прежних он не был ни искренен, ни откровенен. Чаще фальшив, выморочен. Может, всего лишь энергозаряженный фантом? Безостановочно пущенный волчок? Страшно.

25 апреля сомкнулось кольцо окружения советских войск вокруг Берлина. Берлин оказался отрезан ото всего, что еще оставалось рейхом, от ближних и дальних фронтов.

В этот же день на Эльбе с полным дружелюбием друг к другу встретились советские и американские воинские части. Это было ударом по расчетам Гитлера на то, что соприкосновение англо-американских войск со своим советским союзником неминуемо вызовет конфронтацию.

Для Геббельса дополнительным ударом было то, что окружение Берлина и перерезанные пути на Баварию преграждали вывоз ящиков с дневниками для тайного захоронения их где-то в баварских горах, да и союзники были уже вблизи от них. Очевидно, за неимением другого решения в какой-то из оставшихся дней начали свозить эти металлические ящики в подземелье имперской канцелярии.

Следом в «фюрербункер» пришла телеграмма Геринга. Не ссылаясь на свое намерение вступить в переговоры о мире с англичанами и американцами, он, опираясь на декрет фюрера от 29 июня 1941-го, назначивший его преемником Гитлера, хотел заручиться всей полнотой власти для ведения внутренних и внешних дел страны, так как Гитлер, решив остаться в Берлине, лишился этой возможности.

Заверения в преданности не смягчили ярости Гитлера. У него и из окруженного Берлина достало власти разделаться с находившимся в Берхтесгадене Герингом, обвинив его в измене. Геринг был взят под арест, ему был объявлен ультиматум: жизнь будет сохранена при условии, что он немедленно откажется от всех своих притязаний, чинов и постов. Что и было Герингом выполнено.

Под доносившийся непрерывно грохот разрывов снарядов и бомб известие об измене Геринга, единственного рейхсмаршала, носившего такое высокое звание в третьем рейхе, потрясло обитателей бункера.

Борман записал: «Среда 25 апреля. Геринг исключен из партии. Первое массированное наступление на Оберзальцберг. Берлин окружен!»

Для Геббельса то, что произошло, было неоднозначно. Наконец-то покончено с главным соперником — преемником Гитлера. Но факт измены Геринга говорил о приближающейся развязке.

Раттенхубер¹ запомнилось, как в своей комнате при полуоткрытой двери Геббельс шагал из угла в угол, размахивая руками, хватался за спинку стула, ударял им об пол, громко ругал Геринга «жирной свиньей» и выкрикивал, что всегда предупреждал фюрера, чего стоит Геринг.

«В углу сидели притихшие дети», — пишет Раттенхубер.

Дети были разные и разного возраста. Старшая, Хельга, любимица отца, в сущности, почти взрослая — всего 4 месяца оставалось до ее 13-летия. Биограф Геббельса Х.Хайбер рассказывает, что с ранних лет она была смышленной, не по годам развитой. Думается, уж никак не для нее были эти детские игры и сказки, будто они в «пещере». Она не могла не воспринимать, как взвинченно и мрачно нагнеталась атмосфера в бункере. Ее сестра Хильде младше на полтора года. А единственному в семье мальчику, Хельмуту, шел десятый год. Это был неуклюжий, мечтательного склада мальчик, не наделенный отцовским даром проворной сообразительности, и дела его в школе шли неважно, пишет Хайбер. И еще трое детей —

¹ Начальник личной охраны Гитлера.

младших, — увы, все девочки. Их них старшая, Хольде, отставала в умственном развитии, Хайде — последняя — родилась в 1940 году.

Все дети Геббельса в честь Гитлера носили имена, начинающиеся буквой «Н» (Hitler).

«Бронированный медведь»

На поверхности ни днем, ни ночью не стихает бой. Глыбы завалов от рушащихся домов, дико оседающих на пожарищах. Завалы смяты гусеницами наступающих танков. Взрывы, несмолкаемая стрельба, оглушающий гул сражения. Чем ближе к центру, тем ожесточеннее бои. Немецкие солдаты, преданные фюрером, упорно отстаивали 9-й сектор обороны столицы — правительственный квартал.

У немцев иссякали боеприпасы, а им доставляли тюки с листовками Геббельса, с его газеткой «Panzerbar» — «Бронированный медведь» (медведь — эмблема Берлина). Пресса, которой заправлял Геббельс, свелась теперь к этой крохотной газетке в 4 — 6 полос, размером чуть больше тетрадной страницы. Да еще к «фронтовым листкам». Один такой «Берлинский фронтовой листок» попал мне в руки. «Браво, берлинцы! Берлин останется немецким! Фюрер заявил это миру, и вы, берлинцы, заботитесь о том, чтобы его слово оставалось истиной. Браво, берлинцы! Дальше так же мужественно, дальше так же упорно, без пощады и снисхождения, и тогда разобьются о вас цитурмовые волны большевиков...» — так бравурно, пошло. И лживо: «Подмога движется!» Это было уже 27 апреля.

Здесь же сообщалось: «Рейхсминистр Герман Геринг, в течение долгого времени страдающий хронической болезнью сердца, вступившей сейчас в острую стадию, заболел. Фюрер удовлетворил его просьбу — освободил от бремени руководства воздушными силами». И что «накануне фюрер в своей Главной квартире в Берлине принял назначенного им нового главнокомандующего генерал-полковника Риттера фон Грейма и обсудил с ним...» и т.д.

Как происходило это новое назначение, запечатлено Ганной Рейч, сопровождавшей фон Грейма.

Ганна Рейч — известная немецкая летчица-испытатель. До сих пор встречаются и у западных, и у наших историков ошибочные утверждения, будто в последние дни апреля она прибыла в бункер Гитлера, чтобы вывезти его на самолете из Берлина. Но все было совсем не так.

Приказ о назначении главнокомандующего достаточно было отдать по радио. Но Гитлер пожелал, чтобы фон Грейм явился в ставку выслушать о своем назначении. В условиях, когда Берлин окружен, в воздухе господствует авиация противника, этот бессмысленный приказ, сопряженный с риском и жертвами, — прихоть диктатора. Для него церемониал — самоутверждение.

Генерал фон Грейм был командиром и любимым человеком Ганны Рейч. Она настояла на том, что полетит с ним. Теряя десятки истребителей сопровождения, сменив на пути на Берлин и свой пострадавший самолет, фон Грейм был ранен в ногу, пролетая над Бранденбургскими воротами. Подбитый снарядом самолет Ганне Рейч, сменившей его за штурвалом, удалось посадить на магистрали Восток — Запад. С раненым Греймом она прибыла в «фюрербункер». О том, что застала в подземелье, что наблюдала за три дня, подробно рассказала американскому следователю.

В подземелье

Много позже, когда все уже было позади, то, что Сталин скрыл обнаружение мертвого Гитлера, вынуждало разведки всех четырех союзников, входившие в Контрольный совет по управлению Германией, в Берлине продолжать доискиваться фактов о смерти Гитлера.

И вот передо мной документ. Ему предпослано письмо директора разведки США своему советскому коллеге, генерал-майору Сидневу.

Военное управление Германии (США)
Управление директора разведки АРО 742
31 октября 1945 года

Дорогой генерал, зная, что Вы разделяете со мной большой интерес в вопросе смерти Гитлера, препровождаю Вам недавно полученный матери-

ал, подробно описывающий последние предсмертные дни Гитлера в бомбоубежище. Хотя сведения, содержащиеся в сообщении, дают только описание, все же это сообщение придает лишний вес убедительной очевидности того, что Гитлер, вне всяких сомнений, мертв.

Искренне Ваш Г.Брайон Конрад,
бригадный генерал США,
директор разведки.

К этому письму приложен обширный протокол допроса Ганны Рейч, летчика-капитана (почетный титул за выдающиеся достижения в авиации), от 8 октября 1945 года.

На документе гриф «секретно». Письмо и протокол встретились мне при работе в архиве.

Фон Грейм и Ганна Рейч прибыли в бункер 26 апреля. Фюрер с трясущимися руками, со слезами «жалости к самому себе» поведал им об измене Геринга, о том, что он его покинул и за его спиной установил связь с врагом. «Он направил мне непочтительную телеграмму... Он готов управлять вместо меня из Берхтесгадена... Ничто меня не миновало. Никто не остался верным... нет таких разочарований, какие ни пришлось на мою долю; нет измен, каких бы я ни пережил, а теперь еще сверх всего это». Овладев собой, он сообщил, что арестовал Геринга, и объявил наконец Грейму причину его вызова — о его назначении. Грейм, раненный в этом нелепом рейсе на Берлин, вынужден был лежать, вместо того чтобы находиться в штабе ВВС при деле. Ганна оказалась свидетельницей фантазмагорического мира этого подземелья. Все вокруг были истеричны, взвинчены. Впрочем, и сама Ганна Рейч, как пишет Раттенхубер, «производила впечатление фанатической истерички». Но ее показания тем интереснее, что они принадлежат еще недавно убежденной, фанатичной нацистке, которой пришлось увидеть лицом к лицу своих вождей и кумиров в той роковой ситуации.

Комната, отведенная Рейч, была смежной с кабинетом Геббельса. Дверь кабинета обычно оставалась открытой, и было слышно, как он непрерывно ораторствует наедине с собой, злобно потрясенный изменой Геринга, обвиняя его в военной катастрофе. «Эта свинья, которая всегда выставляла себя главным помощником фюрера, теперь не имеет мужества быть рядом с ним... он хочет сменить фюрера как главу государства... он никогда не был по-настоящему одним из нас, в душе он был всегда слабым и предателем».

Рейч отмечает, что все это выглядело по-театральному, с усвоенными жестами и ораторскими приемами. «Нервное подсакивание — смешная картина. Обращаясь к миру, он говорил о том, какой исторический пример дают находящиеся в бункере... Казалось, он ведет себя, как всегда, так, будто выступает перед легионом историков, жадно ловящих и записывающих его слова». Они с Греймом, слушая эти тирады, грустно спрашивали себя: «И это те, кто правил нашей страной?»

Рейч и Грейм заявили фюреру, что останутся здесь с ним до конца. Гитлер был тронут и вручил им по ампуле с ядом. Ганна поняла, что это — конец и фюрер осознает, что все кончено.

(Позже фон Грейм воспользовался этой ампулой. О его самоубийстве тогда же сообщила «Правда».)

Вместе с тем Гитлер говорил Ганне: «У меня еще есть надежда. Армия Венка идет с юга. Он должен и он отгонит русских». У него дрожали руки, тряслась голова, он передвигался по комнате взад-вперед неверной походкой, и по его лицу вопреки высказанной надежде было видно, что пришел конец. Или сидел, «сгорбившись, у стола, вода по испачканной потом карте пуговицы, представляющие его несуществующие армии, как мальчик, играющий в войну».

Что же касается фрау Геббельс, то летчица отдает дань ей «как храброй женщине, большей частью владевшей собой, иногда горько плакавшей». Но при детях она «держалась мило и весело». Признавалась Ганне: если третья империя не может дальше существовать, она не хочет дать своим детям пережить ее. «Фрау Геббельс часто благодарила Бога за то, что жива и может убить своих детей, чтобы спасти их от зла, которое последует за поражением. «Они принадлежат третьей империи и фюреру, и если их обоих не станет, то и для них больше нет места. Но вы

должны помочь мне. Я больше всего боюсь, что в последний момент у меня не хватит сил».

В этом месте американский следователь записал: «Из замечаний Ганны Рейч можно с уверенностью сделать вывод, что фрау Геббельс была просто одним из наиболее убежденных слушателей «высоконаучных» речей ее собственного мужа и самым резко выраженным примером влияния нацистов на немецкую женщину».

Гитлер, собрав обитателей бункера, на их глазах вручил ей свой личный золотой знак отличия как истинно немецкой женщине.

«Самоубийственный совет»

27 апреля была снаряжена группа для розыска подозрительно исчезнувшего из бомбоубежища генерала войск СС Фогелейна. Он был представителем Гиммлера тут, в ставке. Уже переодетого в гражданскую одежду, готового вот-вот скрыться, Фогелейна задержали в его квартире, в районе, которым с часу на час должны были овладеть советские войска. И высокопоставленный эсэсовский генерал, женатый на сестре Евы Браун — что и способствовало его карьере, но не помогло в этой ситуации, — по приказу Гитлера был расстрелян эсэсовцами в саду имперской канцелярии.

Все страшнее становилось от усилившегося обстрела рейхсканцелярии, и фюрер собрал «второй *самоубийственный совет*», как назвала Ганна Рейч это совещание, где речь шла о «массовом самоубийстве». Даны были инструкции, как принять яд, что в ампулах, состоялась «общая дискуссия, каким образом произвести уничтожение человеческих тел после самоубийства. Потом короткие речи с клятвами верности фюреру и Германии. Но еще сквозила слабая надежда, что Венк продержится достаточно, чтобы дать возможность уйти».

Снаряды рвались на перекрытии бункера, он сотрясался, и напряжение обитателей бункера доходило до предела.

Налаженной связи с выехавшим из Берлина командованием не было. Связь по радио нарушалась, ненадолго восстанавливалась, и вновь антенны выходили из строя. Что происходило за пределами Берлина, а вернее — самого бункера, достоверно известно не было. Пользовались сведениями противника, передаваемыми по радио агентством Рейтер и другими станциями. Так стало известно, что Гиммлер изменил. И, отстранив фюрера, назвав его недееспособным, пытается через Швецию вступить в переговоры о капитуляции Германии перед западными союзниками.

Это известие повергло Гитлера в бешенство. Рейч сказала, что он «бесновался, как сумасшедший». В бункере все кричали и плакали — «все смешалось в безумной судороге». Гитлер распорядился, чтобы раненый Грейм и Рейч вылетели и отправили все имеющиеся самолеты в помощь Венку — на Берлин. И чтобы Гиммлер был арестован, не оставлен в живых. Кое-как они улетели.

Остальные обреченно оставались в подземелье. Никто не смел покинуть эту фараонову гробницу. Пример с Фогелейном был нагляден.

Отто Гюнше, адъютант Гитлера, вспоминает: 26 апреля утром он находился в телефонной комнате, когда туда вошел Геббельс. Он казался еще меньше, тщедушнее. Бледное с желтизной лицо, затравленность в глазах. Заговорив о положении в Берлине, он спросил Гюнше, сколько, по его мнению, может продержаться Берлин, успеет ли подойти Венк. Гюнше не сообщает, что он ответил, но едва ли что-либо утешительное.

Этот мучивший его вопрос Геббельс лихорадочно задавал в те дни многим. Однако в передовице газеты «Бронированный медведь», в последний раз вышедшей 28 апреля, он обещал измученному городу, обороняющемуся гарнизону, что в «столице немецкого порядка, европейского порядка» противник понесет «решительное поражение». И «в Берлине эта война решится... Фюрер в Берлине. Мировой враг будет здесь разбит».

Сам же он в этот день писал прощальное письмо своему пасынку Харальду. Оба письма, от отца и от матери сыну, вывезла из Берлина Ганна Рейч. В конце 70-х годов эти письма были в Германии опубликованы. Их предоставила вдова Харальда

Квандта, крупного западноберлинского предпринимателя, погибшего в автокатастрофе в 1967 году.

«Не думаю, чтобы нам удалось еще раз увидеться, — писал Геббельс. — Значит, это, скорее всего, последние строки, которые ты от меня получишь». Он наставляет Харальда продолжить традиции семьи и «показать себя достойным той тяжелейшей жертвы, которую мы решились и приготовились принести», чтобы послужить примером на будущее.

Геббельс все время озабочен обращенностью к истории, которая для него, утратившего веру в Бога, и есть загробный мир, озабочен тем, чтобы занять в *том* мире выдающееся положение. Это особый вид тщеславия — нацистское тщеславие, воплощенное в нем, характерное и для других.

«Такой матерью, как твоя, ты можешь гордиться. Вчера вечером фюрер вручил ей золотой партийный значок, который он многие годы носил на кителе. И она это вполне заслужила».

О детях он не обмолвился. О них пишет жена. Это чудовищное письмо матери написано в «фюрербункере» 28 апреля 1945-го. (Публикуется впервые на русском языке.)

«Мой возлюбленный сын! Уже 6 дней мы, папа, твои пять сестер и братик и я, находимся в «фюрербункере», чтобы завершить нашу национал-социалистическую жизнь единственно возможным, почетным исходом. Не знаю, получишь ли ты это письмо... Ты должен знать, что я осталась с папой против его воли, что еще в прошлое воскресенье фюрер хотел мне помочь отсюда выбраться». То и другое неправда. Но, обеляя того, кто настойчиво склонял ее к страшному решению, она героизирует свой образ, внушает сыну: «Ты знаешь свою мать — мы одной крови, я ни минуты не колебалась. Наша прекрасная идея погибает — и с ней погибает все, что было у меня в жизни прекрасного, замечательного, хорошего и благородного. Мир, который наступит после фюрера и национал-социализма, уже не стоит того, чтобы в нем жить, и потому я взяла с собой также и детей. Слишком жаль оставлять их для той жизни, которая придет после нас, и милосердный Господь поймет меня, если я сама дам им избавление». Она описывает, как замечательно ведут себя дети, хотя удары бомб сотрясают бункер, «их присутствие здесь уже потому благословение, что они то и дело вызывают улыбку фюрера». (Выходит, уже ради одного этого стоило затащить детей сюда.) «Вчера вечером фюрер снял свой золотой партийный значок и приколот его мне. Я горда и счастлива. Помоги мне, Господь, сохранить силы, чтобы совершить последнее, самое тяжелое». На пороге предстоящих убийств она — «горда и счастлива». Цель: верность фюреру до самой смерти, и «то, что мы можем окончить жизнь вместе с ним, это такая милость судьбы, на какую мы никогда не могли рассчитывать». Они — пускай. Но при чем тут дети!

Новый рейхскамплер

В дневнике Бормана запись: «Пятница 27 апреля. Гиммлер и Йодль задерживают подбрасывание нам дивизий... Наша имперская канцелярия превращается в груды развалин. Мир сейчас висит на волоске».

Ожидаемые вслед за отлетом фон Грейма самолеты не появились над столицей. И что ужаснее — добралась наконец в «фюрербункер» сокрушительная весть: армия Венка то ли разгромлена, то ли окружена и рассеяна, одно ясно — она не существует.

Но Геббельс продолжал упорно выкрикивать в микрофон из убежища: «Армия Венка спешит на помощь Берлину!», «Защитники Берлина! Армия Венка на подступах!»

В Берлине в первые дни капитуляции хозяйка квартиры, где мы заночевали, показала мне так называемый «народный приемник» — «Volksempfänger». Такой получали все немцы взамен своих приемников, их во время войны надлежало сдать — пресекалось слушание иностранного радио. Примитивный «народный приемник», полукруглый, с зияющей впадиной, будто в распахнутом ртом, был прозван немцами «Goebbelschnauze» — «морда Геббельса».

Как ни был Гитлер сломлен, все еще в его власти продлевать обреченную на бессмысленные жертвы войну. В Берлине даже школьники, даже 12-летние, нередко целыми классами, были преступно брошены в самое пекло безнадежных сражений на берлинских улицах, чтобы своими жизнями продлить еще на несколько часов жизни Гитлера («Друга детей») и Геббельса. Но русские уже рвались к Потсдамер-плац, на подступах к рейхсканцелярии.

В бункере начался или, вернее, продолжался театр абсурда, как сказали бы сейчас. Гитлер срочно улаживал личные дела.

Ева Браун самовольно появилась в убежище рейхсканцелярии в середине апреля, до того скрываемая от глаз публики уже более 12 лет. Гитлер познакомился с ней в фотоателье Гофмана, ставшего монополистом на право снимать фюрера. Она работала в ателье ассистенткой. Пыталась покончить с собой — оттого ли, что ей была невыносима ее роль: ни жена, ни любовница, скорее всего, лишь хозяйка в Берхтесгадене, или из-за каких-то других причин. В тесном бункере ее положение обрело отчетливые контуры. Долше скрываться под маской анахорета было бесполезно. Надо было объясниться, что он и сделал в личном завещании. Но пока поспешил с бракосочетанием, чтобы придать благопристойность тому, что стало явным. Поддался ли настояниям Евы Браун или поступал так в награду за ее готовность умереть с ним? Был доставлен в бункер мелкий чиновник министерства пропаганды, и без лишних проволочек, в обход строгих формальностей, принятых в третьем рейхе, брак был оформлен. Ева Браун расплачивалась за него жизнью. Состоялся свадебный ужин, на котором присутствовала чета Геббельсов.

Когда 4 мая в подземелье я расспрашивала технического служащего рейхсканцелярии, видевшего, как выносили мертвых Гитлера и Еву Браун, он сказал, что перед тем была свадьба. Я не поверила, зная, какой в это время был ад на поверхности. Подумала, что это бред надорвавшегося человека, пережившего тут, в подземелье, отчаянные дни.

Борман, 29 апреля: «Второй день начинается ураганым огнем. В ночь с 28 на 29 апреля иностранная пресса сообщила о предложении Гиммлера капитулировать.

Венчание Адольфа Гитлера и Евы Браун. Фюрер диктует свое политическое и личное завещания.

Предатели Йодль, Гиммлер и генералы оставляют нас большевикам!

Опять ураганый огонь!»

К утру завещания Гитлера были готовы.

В политическом завещании с обычной лживостью Гитлер заявляет о себе как о миротворце, никогда не желавшем войны, а войны будто жаждали евреи. Но достаточно полистать «Майн кампф», которая пропитана апологией войны и реваншистскими страстями, чтобы убедиться — в основе доктрины национал-социализма была война. А уж практика германского фашизма безоговорочно подтвердила это. Да и Гитлер следом опровергает эту свою дешевую преамбулу в прощальном послании армии — письме начальнику штаба верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршалу Кейтелю. Ввергший Германию в крах и в разгром ее армию, погибая в результате агрессивной войны за захват «жизненного пространства» для немцев за счет России, Гитлер заканчивает послание опорной фразой из «Майн кампф»: «Цель остается все та же — завоевание земель на Востоке для немецкого народа».

Все та же идея маньяка.

В завещании он исключает из партии Геринга и Гиммлера. Назначает президентом адмирала Деница. Апогей абсурда — формирование Гитлером в завещании правительства во главе с назначаемым им рейхсканцлером Геббельсом. А для Бормана придуман портфель министра партии. Новому правительству, а значит, его главе — Геббельсу (которому — и это понятно Гитлеру — не выбраться из Берлина, не уцелеть) вменяется «продолжать войну всеми средствами», «до конца придерживаться расовых законов».

Все то же самое, с чего начинал Гитлер: избранная раса и расовые законы, антисемитизм и война.

Геббельсом принято эфемерное назначение, полученное в благодарность за верность, как Магдой золотой знак, как бракосочетание Евой Браун. Но Геббельс победил всех своих соперников и вышел на пост, который мог быть только его мечтой. Так осуществилась его карьера.

В своем завещании Геббельс написал, что впервые ослушивается приказа фюрера, велевшего ему покинуть столицу и принять участие в назначенном им правительстве, ради того лишь, чтобы находиться рядом с фюрером в эти трудные дни в Берлине.

Но и напоследок Геббельс солгал. «Покинуть столицу» не было никакой возможности, а Гитлер не только не приказывал ему это сделать, но держал Геббельса с женой и детьми возле себя до последнего своего часа.

«От своего и моей жены имени и от имени моих детей, которые слишком юны, чтобы сами это высказать...» Геббельс сообщает в завещании об их решении остаться в Берлине и окончить жизнь верными фюреру.

Все смешалось здесь, в подземелье: искреннее отчаяние и жест, фанатизм, комедианство, трагедия и смерть.

Гитлер и Ева Браун покончили с собой в 3.30 дня 30 апреля. По распоряжению Гитлера их тела были вынесены в сад имперской канцелярии, облиты бензином и подожжены. Но он приказал сжечь его дотла, а это выполнено не было. Это заняло бы непомерно много времени, которым никто из обитателей бункера не располагал. Их тела оказались в воронке из-под снаряда, присыпанные землей, где их обнаружили советские солдаты.

Борман пометил в этот день, 30 апреля, что Адольф Гитлер и Ева Б. — мертвы.

Надо было решать, что же дальше. Предлагалось идти на прорыв из кольца окружения вслед за боевой группой командира лейб-полка СС «Адольф Гитлер» генерал-лейтенанта Монке.

Но новый рейхсканцлер принял решение, возможно, поддержанное остальными. Направить письмо Сталину, известить о смерти Гитлера, о назначении нового правительства и просить о перемирии в Берлине, чтобы воссоединиться с президентом Деницем (он находился под Фленсбургом) и в правомочном составе приступить к переговорам с советским правительством.

Что было на уме у Геббельса, что преследовал он этим единственным своим действием в ранге рейхсканцлера, можно только предполагать. Выбраться в случае удачи из окруженного Берлина? Но мог ли он рассчитывать на положительный ответ Сталина, когда за три дня до того в бункере стало известно переданное по иностранному радио сообщение, что на предложенную Гиммлером западным странам капитуляцию был дан ответ: «Правительство его величества уполномочено еще раз подчеркнуть, что речь может идти только о безоговорочной капитуляции, предложенной всем трем великим державам, и что между тремя государствами существует теснейшее единодушие». Но как знать, Сталин ему виделся своевольным. А может, Геббельс просто оттягивал время. Ведь все равно ему, хромому, с шестью малыми детьми невозможно и пытаться идти на прорыв. А может, суетность тщеславия толкала его на этот шаг. Чтобы его триумф — эфемерное рейхсканцлерство — не затерялось в веках, если завещание Гитлера не будет вынесено за пределы Берлина, не уцелеет. Надежным останется послание на имя Сталина, где сказано, что он назначен фюрером рейхсканцлером. Оно сохранится в истории. Все это мои догадки. Но письмо было написано. Сталину сообщалось, что сегодня «добровольно ушел из жизни фюрер. На основании его законного права фюрер всю власть в оставленном им завещании передал Деницу, мне и Борману. Я уполномочил Бормана установить связь с вождем советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между державами, у которых наибольшие потери. Геббельс». В последней фразе он по-прежнему находчив, хотя формулировка курьезна. Приложен список новых членов правительства.

Впервые в Берлине через линию фронта был направлен парламентар, генерал Кребс, начальник генштаба сухопутных войск. До войны — военный атташе в германском посольстве в Москве.

Шли часы. Кребс вернулся с той же формулировкой отказа, какая дана была из Англии правительством его величества.

Подпись под капитуляцией, которая ничего, кроме гибели, Геббельсу не сулила, а клеймила его имя позором, была бы крушением всех его посмертных планов. Остановить же бессмысленное кровопролитие, облегчить страдания населения, раненых, прекратить разрушения — не было его заботой.

«Фюрербункер» пустел, его обитатели уходили на прорыв. У Геббельса оставалась последняя по его сценарию задача. Исполнительницей была мать.

Последний акт

Взятый в плен вице-адмирал Ганс-Эрих Фосс, представитель в ставке Гитлера от военно-морских сил, рассказал на допросе. Он был в числе тех, кто перед тем, как уйти на прорыв, поодиночке спускались в блиндаж Геббельса и прощались с ним. Еще раньше Геббельс, разговаривая «о тяжелом положении, создавшемся для Германии и лично для нас, не допускал мысли о возможности сдать в плен советскому командованию, заявляя при этом: я был имперским министром пропаганды и вел в отношении Советского Союза самую ожесточенную пропагандистскую деятельность, за что советское командование меня никогда не простит».

При прощании Фосс просил Геббельса, чтобы он пошел вместе с ними. «Он ответил: «Я все обдумал и решил оставаться здесь, мне некуда идти, во-первых, потому, что с маленькими детьми я все равно не пройду, тем более с такой ногой, как моя. Я для вас буду только обузой». Затем я простился с его женой, которая находилась в другой комнате, на прощание она мне сказала: «Нас связывают дети, с которыми теперь нам никуда не уйти».

О последующем рассказал работавший в последнюю неделю в госпитале имперской канцелярии, в бомбоубежище, зубной врач Хельмут Кунц. Он был очень подавлен, нервничал, сбивался. Еще 27 апреля встретившая его в коридоре фрау Геббельс сказала, «что хочет обратиться ко мне по одному очень важному делу. И тут же добавила: сейчас такое положение, что, очевидно, нам с ней придется умертвить ее детей. Я дал свое согласие».

Этот день настал 1 мая. Жена Геббельса позвонила ему в госпиталь и просила сейчас же прийти в бункер¹.

«Когда я пришел в бункер, то застал в рабочем кабинете самого Геббельса, его жену и государственного секретаря министерства пропаганды Наумана, которые о чем-то беседовали. Обождал у двери примерно минут 10. Когда Геббельс и Науман вышли, жена Геббельса пригласила меня зайти в кабинет и заявила, что решение уже принято (речь шла об умерщвлении детей), так как фюрер умер и примерно в 8 — 9 часов вечера части будут пытаться выйти из окружения, поэтому мы должны умереть. Другого выхода для нас нет.

Во время беседы я предложил фрау Геббельс отправить детей в госпиталь и передать их под защиту Красного Креста, на что она не согласилась, а заявила, пусть лучше дети умирают. Минут через 20 в момент нашей беседы вернулся Геббельс в рабочий кабинет, он обратился ко мне со словами: «Доктор, я вам буду очень благодарен, если вы поможете моей жене умертвить детей».

Я Геббельсу, так же как и его жене, предложил отправить детей в госпиталь под защиту Красного Креста, на что он ответил: «Это сделать невозможно, ведь все-таки они дети Геббельса».

После этого Геббельс ушел, и я остался с его женой, которая около часа занималась пасьянсом.

Примерно через час Геббельс снова вернулся вместе с зам. гауляйтера по Берлину — Шахом, и поскольку Шах, как я понял из их разговора, должен уходить на прорыв с частями немецкой армии, он простился с Геббельсом. Шах попрощался с женой Геббельса, а также со мной и ушел.

После ухода Шаха жена Геббельса заявила: «Наши сейчас уходят, русские могут в любую минуту прийти сюда и помешать нам, поэтому нужно торопиться с решением вопроса».

Когда мы, то есть я и фрау Геббельс, вышли из рабочего кабинета, то в передней сидели двое неизвестных мне военных лиц... Геббельс и его жена стали прощаться с ними, причем неизвестные спросили: «А вы как, господин министр, решили?» Геббельс ничего на это не ответил, а жена заявила: «Гауляйтер Берлина и его семья останутся в Берлине и умрут здесь».

Геббельс возвратился к себе в рабочий кабинет, а я вместе с его женой пошел в их квартиру (бункер), где в передней комнате фрау Геббельс взяла из шкафа шприц,

¹ Текст протокола допроса Хельмута Кунца приводится здесь с уточнениями обстоятельств умерщвления детей, которые он внес при повторном допросе.

наполненный морфием, и вручила мне, после чего мы зашли в детскую спальню, в это время дети уже лежали в кроватях, но не спали.

Жена Геббельса объявила детям: «Дети, не пугайтесь, сейчас вам доктор сделает прививку, которую сейчас делают детям и солдатам». С этими словами она вышла из комнаты, а я остался один в комнате и приступил к вспрыскиванию морфия, сначала двум старшим девочкам, затем мальчику и остальным девочкам...

После того как я всем детям сделал укол морфия, выйдя из детской спальни в соседнюю комнату, я посмотрел на часы — было 20.40 (1 мая). Ожидал вместе с фрау Геббельс, пока дети заснут, она просила меня помочь ей дать детям яд. Я отказался сделать это, сказав, что у меня не хватает для этого душевных сил. Тогда фрау Геббельс попросила меня найти и позвать к ней д-ра Штумпфеггера, первого сопровождающего врача Гитлера. Через 3 — 4 минуты я нашел Штумпфеггера там же, в бункере Гитлера, сидящим в столовой, и сказал ему: «Доктор, вас просит к себе фрау Геббельс». Когда я возвратился с Ш. обратно в ту комнату возле детской спальни, где оставил жену Геббельса, ее там не было, и Ш. прошел прямо в спальню. Я же остался ожидать в соседней комнате. Через 4 — 5 минут Ш. вышел из детской спальни вместе с женой Геббельса и сразу же, не сказав мне ни слова, ушел. Жена Геббельса мне также ничего не говорила, только плакала. Я спустился с ней на нижний этаж бункера, в рабочий кабинет Геббельса, где застали последнего в очень нервном состоянии, расхаживающим по комнате. Войдя в кабинет, жена Геббельса заявила: «С детьми все кончено, теперь нам нужно подумать о себе», — на что ей Геббельс ответил: «Нужно торопиться, так как у нас мало времени».

Дальше жена Геббельса заявила: «Умирать здесь, в подвале, не будем». А Геббельс добавил: «Конечно, мы пойдем на улицу, в сад». Жена ему бросила реплику: «Мы пойдем не в сад, а на Вильгельмплац, где ты всю свою жизнь работал». (Это рядом, где министерство пропаганды.)

Когда майор Быстров после допросов пересказал мне ответ Геббельса на совет доктора Кунца отдать детей под охрану Красного Креста: «Это сделать невозможно, ведь все-таки они дети Геббельса», — мне в этих словах послышалась горечь. Мол, на какую защиту, пусть и Красного Креста, могут рассчитывать дети, если они — дети Геббельса. Эта фраза запала в память.

И только много лет спустя я поняла, что ошибалась. Он совсем другое имел в виду.

Это же дети Геббельса, у них особая предназначенность, миссия, означал его ответ. От имени маленьких и бессловесных и тех неспрошенных, кого следовало, по их разумению и возрасту, спросить, он заявляет в завещании об их готовности умереть.

Дети, доставлявшие ему при жизни отцовскую радость и рекламу — образцовая немецкая многодетная семья, — теперь должны своей смертью упрочить его посмертную славу. Какой уж тут Красный Крест!

Известный немецкий писатель Элиас Канетти пишет: «Он принуждает свою жену и детей умереть вместе с ним». И вот неожиданно еще один мотив решения Геббельса, приведенный с его слов Шпеером: «Моя жена и мои дети не могут меня пережить. Американцы только натаскают их для пропаганды против меня».

Выходит, счетчик пропагандиста отстукивал в Геббельсе при страшном решении.

Раньше, живя с детьми в загородном поместье в Ланке, он перестал пускать их в школу, опасаясь, что они наслушаются, как ругают их отца местные ребята. Теперь он ограждается р а д и к а л ь н е е.

Канетти считает, что гибель детей «не следует рассматривать как возмездие за его деятельность — это ее кульминация».

Похоже, что так.

Йозеф и Магда Геббельс покончили с собой в двух шагах от выхода из «фюрербункера» в сад, приняв цианистый калий. Здесь их обнаружили советские офицеры на следующий день, под вечер, обгоревших, не захороненных. Геббельс распорядился сжечь их тела, но эсэсовцы, которым было поручено, подожгли их и разбежались.

Было 2 мая, день капитуляции Берлина.

Еще не был найден мертвый Гитлер. Смерть комиссара обороны Берлина и гауляйтера, министра пропаганды и просвещения стала свидетельством конца третьего рейха. И чтобы все это видели, его вынесли на Вильгельмштрассе. Он был узнаваем.

Улица еще задымлена, не развеялась гарь сражения, не догорели пожары. Имперская канцелярия мечена снарядами, осколками, но уцелела. Цел и орел со свастикой в когтях над главным входом. Снимала кинохроника. И Геббельса обступили какие-то командиры, желая попасть в кадр. Все это выглядело гротеском истории.

Я тогда в первый раз увидела мертвого, обугленного Геббельса. Черный труп на подмостках в клочьях нацистской формы; странно уцелевший на черной шее желтый галстук с шевеливающимися от ветра ржавыми от огня концами.

Не символична ли эта желтая петля на шее изобретателя желтой шестиконечной звезды?

Желтая петля

В этот же день 3 мая маршал Жуков сообщил Сталину, что «на Вильгельмштрассе, где в последнее время была ставка Гитлера, обнаружены обгоревшие трупы, в которых опознаны имперский министр пропаганды Германии доктор Геббельс и его жена.

3 мая на той же территории в штаб-квартире Геббельса... обнаружены и извлечены трупы шестерых детей Геббельса.

По всем признакам трупов детей можно судить, что они были отравлены сильнодействующими ядами» (архивный документ. Не публиковался).

Детей я увидела, когда их вынесли в сад имперской канцелярии.

В этот же день приказом за подписью члена Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Телегина была создана комиссия для судебно-медицинского исследования трупов.

В это время отделы штаба нашей армии стояли на окраине Берлина, в Бухе. Меня попросили проводить эту группу экспертов в один из двухэтажных домов. Там в подвале я снова увидела Геббельса. Он лежал в стороне от шестерых детей, черный, почти голый, все еще с желтым галстуком на шее. Дети казались живыми, спящими, с пятнами будто бы румянца на щеках (действие цианистого калия), в ночных рубашках из светлой фланели, а кто-то из них в пижаме из той же материи.

Это было, кажется, 5 мая. С 6-го комиссия приступила к судебно-медицинскому исследованию в полевом госпитале, расположившемся в одном из уцелевших корпусов печально известных клиник Буха. В 1933-м здесь впервые в Берлине приступили к зловещему, невиданному, оскорбительнейшему обследованию населения на предмет выявления степени их расовой достаточности. Теперь кроме семьи Геббельса судебно-медицинской экспертизе подверглись здесь Гитлер и Ева Браун, найденные в воронке из-под снаряда и доставленные на экспертизу. Не могу еще раз не повторить, что ироничной истории уютно, чтобы имя руководителя этой комиссии было — Фауст. Подполковник медицинской службы, главный судебно-медицинский эксперт 1-го Белорусского фронта доктор Фауст Шкаравский.

Геббельс и вся его семья, по показаниям исследования, умерли от цианистого калия.

Мертвых детей Геббельса обнаружил 3 мая старший лейтенант Ильин. Строки его письма об оставшихся двух чемоданах с документами в кабинете Геббельса я привела. В этом же письме ко мне он писал: «...А в комнате, где лежали отравленные дети, абсолютно ничего не было, кроме постельной принадлежности. Я спросил через своего переводчика, почему отравили детей, они не виноваты...»

19 мая прибыл из Москвы, из ставки, генерал, посланец Сталина, чтобы на месте все проверить и удостовериться в гибели нацистских лидеров. В Финове, где они были временно захоронены от посторонних глаз в земле и охранялись скрытым постом, мне пришлось и повторно, и заново переводить при опросах свидетелей опознания Гитлера и извлеченного из земли Геббельса с семьей.

В Финове майор Быстров провел дополнительно опознание Геббельса начальником его охраны Вильгельмом Эккольдом, чтобы еще раз задокументировать и сохранить.

Все проверивший, во всем удостоверившийся генерал отбыл на доклад Сталину. Вскоре нас известили: расследование считать завершенным.

В последних месяцах 1945-го штаб нашей 3-й ударной армии передислоцировался в Магдебург на постоянное место. Останки Гитлера и Геббельса, находившиеся во временном захоронении, тоже переместились и были окончательно преданы земле там же, в Магдебурге.

Казалось, в бункере Геббельс обрел предельную близость с фюрером. Но и это не было пределом. Им оказалась их общая могила.

Они еще издали шли навстречу друг другу, обусловили во многом один другого и оба были творцами катастрофы, постигшей немцев и мир.

Мара Залите

Каждый вечер пылает ХОЛМ...

С латышского.

Перевод Сергея Морейно



* * *

Все так усложненно.
Чтобы упростить,
по холсту пройдет
золотая кисть.

Кисть, хотя и выдумка,
все-таки поможет,

золотую краску
поверху положит.

Золотую краску
или серебро.
Может, и распишется
умное перо?

Перемирие

Там плещет флаг, гляди, там плещет флаг
над чердаком. И этот дом, раз так,
обжит, и белый флаг к трубе приник,
и в нем будильник поднимает крик
на тех, кто сладким ртом во сне ворчит...
Горячий, красный сыч сидит в печи.
Там мать ручною мельницей гремит,
и белый флаг над крышею дымит.

* * *

Они валяют дурака.
Ты думаешь, их жизнь легка?
Нет, легче лес валить, рубить дрова
И за полночь валиться на кровать,
И со спокойным сердцем крепко спать.

А если нечего рубить.
Ни дров, ни леса, ни избы,
Таким что делать? Как им быть?

¹ Мара Залите родилась в 1952 году. Живет в Риге. Вышли сборники стихов на латышском: «Вчера в зеленой траве» (1977), «Завтра может быть» (1979), «Небеса, небеса» (1988). Автор стихотворных пьес.

На русском — сборник «На стороне солнца» (1986).

Работа есть. Нам впору падать с ног.
 А после забываться птичьим сном.
 Дела идут ни шатко и ни валко,
 Чтоб это все потом на свалку
 Чужие люди повезли...

И вываляян наш хлеб в пыли.

Акварель Бректе

Идет одинокий путник
 мимо Шведских ворот,
 карабкается по брусчатке,
 подошвы рвет.
 Петух на шесте фонарном
 под липой,
 в горле звезда — до зари поет,
 до хрипа.

Идет одинокий путник,
 ах, никому не знакомый,
 мимо корчмы и церкви,
 мимо казенного дома.
 Лишь в небе молочная пенка
 да горьких черемух сок.
 Проходит ворота путник,
 как господь бог,
 одинок.

* * *

Когда хорек мороза траву гложет,
 Я не пакую, как журавль, сумы дорожной...

Когда отечество застигнуто зимой.

В каком они экстазе, Боже мой,
 Скликают тех, кто тяжести земной
 Пока еще не в силах превозмочь.
 И только прочь стремятся, только прочь!

Когда отечество застигнуто зимой.

А может статься, это жребий мой?
 И нужно мужество, не дожидаясь чуда,
 Все бросить, улетая в никуда?

Но не сейчас.
 И только не отсюда.

* * *

Я сегодня банально мерзла.
 За окном задыхалась липа.
 Ветер гибким звереньшем ерзал
 на суку, обдирая листья.
 Я хотела отпить из кружки —
 снова ручка была отбита.
 И всю ночь старомодные ритмы
 дождь выстукивал наизусть.
 Он оставил мне две поэмы
 и назвал их —
 тоска и грусть.

* * *

Время — прилежный старатель.
Просеивает песок.
Мы просочились сквозь его сито.

И замкам на вечном песке
Вставляем новые стекла.

* * *

Перекопан весь Млечный путь.
И ты мог бы ко мне заглянуть.
Я налью тебе чаю чуть-чуть.
Только ты осторожен будь.

Больше некуда повернуть,
Ни домой, ни куда-нибудь.
Я тебя полюблю чуть-чуть.
Лишь сегодня и лишь чуть-чуть.

А потом я хочу взгрустнуть.
Лишь сегодня и лишь чуть-чуть.

* * *

Там бал, огни и скрипы под ногами,
и в полночь, может быть,
заявятся цыгане
со счастьем маленьким
меж двух тузов в кармане.
Появятся цыгане.
Никогда?
Молчи, молчи! Кого-нибудь обманешь
еще, а мы должны свой шанс,
несомый в прикупе двумя тузами мимо,
не упустить.
И подвести баланс.
Сердца дрожат в углах — немые мимы —
и бал, огни и скрипы под ногами,
и в полночь, может быть,
заявятся цыгане.

* * *

каждый вечер пылает холм
вместе с замком в лучах заката
и его ни залить ни задуть
никаким муссонам пассатам
никаким спецам по холмам
никаким — расчетливым — нам
каждый вечер пылает холм
когда ты себе ужин жарить
а с утра — то ли встал туман
то ли дым и зола пожарищ
то ли кто себе тешет кол
то ль деревья идут куда-то
каждый вечер пылает холм
вместе с крепостью и закатом

Валерий Подорога

Россия. XX век. Власть

Беседу ведет Сергей Королев



С.Королев. Что такое власть в современной России? Как она выстроена? Каковы ее знаки и лики? Что такое технологии власти? Насколько обоснованы амбиции тех, кто считает, что постиг сущность власти и овладел ею?.. Стереотипное, инерционное сознание торопится продолжить: все эти проблемы волнуют каждого в современной России и прочая, и прочая... Но в том-то и дело, что не волнуют они всех и каждого. Отвращение к политике, усталость от политического словоизвержения и вполне реальных трудностей повседневной жизни первых лет «демократии» породили весьма странное, двойственное отношение к власти: она остается чем-то внешним и чуждым, небезопасным для гражданина — и в то же время стала неинтересной обычному человеку...

Дело даже не в усталости от политики. Вопрос о власти интересен или неинтересен лишь в зависимости от того, что мы понимаем под властью.

Я читаю ваши, Валерий Александрович, работы о Мишеле Фуко, Андрее Платонове, Сергее Эйзенштейне, о Гитлере, Сталине — и вижу, что ваш подход к проблематике власти вообще не имеет ничего общего с какого-либо рода политическими соображениями, никак не связан с упоминанием набивших оскомину имен наших политических лидеров...

Ваше видение этого феномена полностью отличается и от обыденного понимания, и от тех суперполитизированных схем, в тисках которых бьются над разрешением загадок власти едва ли не 90 процентов аналитиков. И потому следовало бы, вероятно, начать нашу беседу с того, какой видится власть через призму неангажированного философского сознания. Итак, что есть власть? Что она есть сама по себе, не скрытая нагромождением институтов, масками, ритуалами и символами или, напротив, воплощенная в лицах политиков, «людей у власти»? Или, быть может, следует сказать — Власть? Не знаю, насколько совместимо подобное написание с вашим последовательным стремлением лишить власть ее мистического или полумистического ореола, снять порожденную ею систему мифов...

Власть: мифология и сущность

В.Подорога. Действительно, стоит уточнить вопрос: не «что есть Власть», а «что есть *власти*» — все это множество непрерывно взаимодействующих социальных сил? Мыслить следует не о том, кому принадлежит власть, а о том, как она действует, функционирует, производит образы реальности. Может быть, все-таки стоит попытаться разъединить, как бы это ни было трудно, форму, в которой власть себя проявляет, от того, что она реально делает.

Способность власти к собственной мифологизации просто поразительна, она никогда не хочет быть, а хочет лишь казаться. Общеизвестно, например, представление: власть — это всегда власть политическая. В таком случае демифологизацией власти будет ее деполитизирование. Однако то, что я говорю, не следует переносить в непосредственный политический опыт (делополитизирование армии, органов безопаснос-

ти и т. д.). Я просто полагаю, что исследователь должен всегда пытаться строить такие познавательные модели, которые позволили бы ему «засечь» власть там, где она существует без всякого прикрытия или маски, там, где она, как говорит Фуко, «не ожидает нападения».

Политический образ власти — одна из масок. Реальное функционирование власти не располагается в сфере политически видимого. Меня интересует власть как событие. Неважно, от чьего имени она заявляет себя, является ли она легитимированной или нет. Иначе говоря, я отказываюсь от определения властной функции через модус обладания: некто, обладающий властью, есть субъект власти. В данном случае меня не столько смущает тавтология подобных суждений, сколько их скрытая предпосылка: власть дана, власть открыта к обладанию, обладай ею, борись за обладание ею и т. д. Но если она все же не дана, а всегда уже есть, то есть существует, действует до всякого обладания? Крайне интересен для анализа вот этот зазор между властью, которой обладают, и властью существующей, которая уже всегда есть.

С.К. Согласен с вами. Но мне кажется, что демистификацию власти следует понимать достаточно широко. Действительно, если власть скрыта под маской политической власти, если под этой маской ей удобно, комфортно, то акт демистификации будет связан с деполитизацией власти. Но во многих случаях (что особенно заметно в истории России) неполитические технологии власти были как бы наложены и на процесс формирования государственности, и на зачаточные формы политического процесса.

Давайте вспомним, что в России «самобытные» архаические технологии власти наложили очень сильный отпечаток на все то, что касается формирования власти. Возьмем хотя бы уникальный российский феномен «дома», «двора» и его воздействие на технологии властвования. «Как был устроен частный быт, — писал русский историк и философ XIX века К.Д.Кавелин, — точно так же было устроено и все государственное здание... В царской власти, сложившейся по типу домовладыки, русскому народу представилась в идеальном, преображенном виде та же самая власть, которую он коротко знал из ежедневного быта, с которой жил и умирал».

В тоталитарном, сталинском обществе архаическим технологиям власти суждено было обрести второе рождение, правда, уже в откровенно мистифицированном виде, но и здесь мистификацией был образ «отеческой» власти, как бы берущей под свое крыло все общество. И существовал он, как это ни парадоксально, наряду с тотальной политизацией всех сторон и сфер человеческого бытия и, разумеется, власти как таковой. Однако в любом случае мне кажется справедливым и необходимым разделение понятий «власть» и «политическая власть»... И наконец, напомню ваше же утверждение о том, что власть как явление и механизмы власти не могут быть адекватно поняты в рамках традиционной схемы субъект-объектных отношений.

В.П. Дело в том, что власть не очевидна, очевиден политический опыт, в который мы сегодня ввергнуты. Именно он ослепляет нас своей доступностью и даже, я бы сказал, дешевой навязчивостью. Неочевидность власти, на мой взгляд, заключается в том, что она лишь в отдельных случаях может определяться с помощью субъектных отношений, в модусе обладания. Опираясь на грамматические структуры языка, мы овладеваем дискурсом власти, но не властью. Заслуга Фуко как раз состоит в том, что он показал, что сама субъектность есть идеологема власти: не мы присваиваем себе власть, а она нас присваивает и (конечно, не только через язык) дарует нам чувство обладания. Другими словами, субъект власти возникает как знак ее мистификации, исчезновения, как знак ее неподвластности ничему вне себя.

Чтобы пояснить сказанное, приведу пример. Допустим, некто выступает в качестве субъекта власти, другой же — в качестве объекта. В один момент я могу быть субъектом некоторого опыта властвования, в другой — выступать как объект. Отношения могут бесконечно усложняться, но в любом случае они рассматриваются с точки зрения некоторой сознательно выбранной стратегии поведения: в каждый момент субъекты власти претендуют на понимание совершаемых ими властных функций.

С.К. Вы полагаете, что подобные претензии абсолютно беспочвенны?

В.П. Видите ли, существует предел компетенции, который никогда не превзойти субъектам власти и за которым власть из средства достижения определенных целей становится властью самой по себе, ибо создает самих субъектов власти. Этот предел компетенции указывает на существование такой сферы власти, которая остается как бы «между» субъектами власти; она каким-либо образом не может быть сознательно (на уровне определенных решений) освоена. Я мог бы сказать, что есть власть отца, власть

врача, власть тюремного надзирателя, власть чиновника, власть военачальника и т.п. И это все *власти*, а не Власть, ни одна из них не может существовать без другой, они замещают или отражают, пронизывают друг друга.

Я думаю, не стоит, размышляя о власти, сразу же отводить ей место только в суверенности государства, института или партии. Власть — не вверху, она не есть то, что выситя, вздымается, разрастается в бюрократические пирамиды и иерархии. Власть — это совокупность непрерывно совершаемых воздействий, но вовсе не образ. И поскольку эти воздействия непрерывны и даже, можно сказать, «случайны», они не могут быть сведены к некоторой легальной норме поведения политических субъектов. Та власть, о которой я говорю, иллегальна и не нуждается в законе, чтобы осуществлять свои властные функции. Более того, она и осуществляется лишь потому, что не опирается на миф о правоспособном субъекте власти.

С.К. Было бы весьма интересно проследить, как «работает» ваша концепция власти при интерпретации каких-то конкретных, причем достаточно известных событий. Тем более вы подчеркнули, что власть вас интересует прежде всего как *событие*... Ну, возьмем, например, приход большевиков к власти в 1917 году. Они *захватили* власть? Или это должно трактоваться в каких-то иных терминах?

В.П. Когда говорят о захвате власти большевиками, предполагается обычно, что большевики захватили то, что уже было до их «захвата». Такая точка зрения небезосновательна. Действительно, большевики осуществили захват власти... но прежде империя рухнула или настолько ослабла, что позволила себя «захватить». Я хочу сказать следующее: *захвачено может быть только то, что открыто захвату*. И было бы ошибкой думать, что большевики захватили государственный аппарат старой власти и приспособили его для своих целей. Для этого должна была бы радикальным образом измениться природа этой партии, этой корпорации, этой группы, что было в принципе невозможно.

Иными словами, захвата имперской власти не было и быть не могло, имперская власть уже была разрушена, и не только большевиками. Говорить о захвате власти применительно к Ленину и его партии можно, но не как о конечном акте — захватили, и вот она, власть, — а как о своеобразном процессе, предполагающем непрерывность удержания самой власти. Большевики как бы *изобрели* саму ту власть, которую они захватили, они не захватили ее раз и навсегда, а как бы все время ее захватывали. Великая идея: захватывать власть без конца, каждый день и час, каждое мгновение. Большевистский захват власти и на самом деле упразднил образ государственности, покоящейся на Законе и Праве. Вместо государственного строительства целью стал процесс непрерывного захвата власти. Власть, которая сама себя захватывает, змея, кусающая собственный хвост, не нуждается в идее государственности.

С.К. Мне кажется, то, о чем вы говорите, очень близко к интерпретации идей Ницше Мартином Хайдеггером. Хайдеггер констатирует, что Ницше продумывает и учреждает то, что он называет «волей к власти», в качестве основополагающей черты сущего. Но это понятие — «воля к власти», ставшее чуть ли не расхожим, для самого Ницше содержит истолкование *существа власти*. Всякая власть есть власть лишь постольку и до тех пор, пока она «больше-власть», возрастающая власть. Она способна держаться в самой себе, то есть в своем существе, только превосходя и превышая самое себя, *овладевая* всякой достигнутой ступенью власти. Копь скоровпась останавливается на какой-то достигнутой ею ступени, она уже становится немощью власти, деградирует, распадается...

В.П. Да, именно такова власть, которая определяется не через норму права, а исходя из отношения одной силы («чувства власти») к другой. Потому-то идеи Ницше чрезвычайно важны для нас. Более того, если мы стремимся понять генеалогию имперской или тоталитарной власти, мы как бы обречены быть ницшеанцами, или вебериянцами, или кафкианцами, использовать идеи тех мыслителей, которые дальше других продвинулись в понимании власти; ибо основы генеалогии власти заложили прежде всего Ницше и Фуко, а теорию бюрократии создали Кафка и Макс Вебер. В частности, Ницше точно указал на принципиальное различие между наказанием за преступление и процедурами исполнения наказания: первое может приобрести форму Закона, второе — развиваться совершенно независимо от первого и, более того, определять характер разнообразных технологий властвования, не нуждающихся в юридически правовом обосновании.

С.К. Возвратимся, однако, от Ницше к реальностям большевизма и тоталитарной системы...

В.П. Важно анализировать тоталитарную систему как динамическую, где центробежные силы господствуют над центростремительными, но не устраняют последних. Важно понять их соположение вопреки статике сталинских и послесталинских социальных образований, которые являли собой *видимость* триумфа тяжести и неподвижности. Тоталитарная система покоится на динамичном принципе: всегда и везде осуществляя насилие, любыми средствами; процесс применения насилия не должен останавливаться, прерываться и т.д. Все должны способствовать этому процессу насилия, все должны участвовать в нем, абсолютно все, каждый на своем месте и какими угодно средствами: непосредственно физическими, ценностными, символическими... Именно таким образом и формировалось пространство тоталитарного сообщества. И присвоение власти правящей корпоративной группой — «партией», — которая контролировала эту систему на протяжении более семидесяти лет, было процессом постоянной вовлеченности в «захват». Можно сказать, что каждый день нужно было заново захватывать власть, и это делалось — вспомним ГУЛАГ, великие стройки и все прочие эксцессы, в том числе и символические... Нужно было непрерывно, безостановочно пожирать время, пожирать пространство, пожирать людей для того, чтобы поддерживать весь этот космос насилия, саму утопию «захвата власти».

С.К. Интересно, как все это соотносится с вашей идеей о наличии тайной и явной власти? На первый взгляд, эта идея или сходные идеи высказываются достаточно широким кругом обществоведов, политических деятелей и просто политически ангажированных интеллектуалов. Писатель А.Кабаков как-то заметил: «У нас недооценивают сейчас роль структур тайной власти. Явная власть может сдаваться, может не сдаваться, может бороться, ее видно... Но есть тайная власть, которая не сдается, потому что никто на нее не может выйти напрямую, назвать — она тайная». А что подразумеваете вы под «тайной властью»? Не скрывается ли за сходством терминов совершенно различное понимание проблемы?

В.П. Предпочтительнее более точный термин — видимая и невидимая власть, потому что это дает более сжатое представление о явлении. Далее, необходимо развести обыденные понятия о тайной и явной власти. У нас тайная власть — это обязательно ЦРУ, это КГБ, это чуть ли не полчища «серых кардиналов» из ближайшего окружения президента и тому подобное. Речь же идет совсем о другом. Говоря о неявной или невидимой власти, я имею в виду технологии власти — то есть ту власть, суть которой не в силах осознать сами ее носители, сколь бы высокие места в иерархии они ни занимали («винтики» и «шестеренки» механизма власти не в состоянии понять, как работает все устройство в целом, и еще менее способны изменить что-либо в его работе).

Дело в том, что, когда мы видим некоторый ряд знаков, которыми власть заявляет о своем присутствии (символика, ритуалы и т.п.), мы видим то, что не является видимым, что скорее относится к словесному воплощению власти или ее естественно-моральной форме. Мы видим и как бы не видим. Чтобы действительно видеть, нужно найти другую позицию видения, заняв которую, мы перестанем видеть слова и сможем увидеть вместо них механизмы власти. Мы должны смотреть на власть из ее собственной тьмы и не появляться на свету ее моральной формы. И только тогда мы будем зрячими, когда сможем увидеть тот конкретный механизм власти, который продуцирует свою моральную форму как некое halo, сияние или нимб, что дает возможность власти избавиться от ее собственной тени. Иначе говоря, мы должны смотреть на власть ее же собственными глазами. Вы скажете: «Это невозможно!» Я скажу: «Это необходимо!»

С.К. Помнится, в одной из своих публикаций вы уподобили деспотически тоталитарную власть пресловутой «черной дыре». Эти два сравнения создают своеобразную оппозицию — сияющий образ видимой власти и непроницаемая тьма ее реального облика. Хотя «черная дыра», насколько я понимаю, это, конечно, скорее метафора, а не прямолинейное противопоставление «темного» и «светлого» начал в реальном пространстве нашего существования в обществе.

В.П. Действительно, я прибегнул к довольно рискованной аналогии — с известным астрофизическим объектом. Подобно «черной дыре» темное, невидимое тело власти всасывает в себя всю возможную энергию социума, наращивает массу насилия и террора до той невозможной плотности, пока она не перейдет критический рубеж и не станет причиной самоубийства деспота.

Видимо то, что с нами делает власть, невидимо и не может быть видимо то, что делает власть именно такой, какова она есть, «черной дырой» социума. Власть деспота

подобно «черной дыре», производит сгущение минусовой социальной материи, и эта власть потребляет... потребляет... потребляет... Все что угодно может быть потреблено, пожрано без остатка этой властью, ибо всякий внешний предел ее агрессии не является границей, это лишь порог интенсивности, он лишь усиливает голод власти, понуждая ее потреблять все больше и больше... Парадоксальность социальной физики этой власти заключается в том, что она существует лишь до тех пор, пока она «накачивается» социальной энергией. И именно тогда она начинает светиться, блистать, является нам во всем великолепии знаков и фигур, пространств и горизонтов — блистать, оставаясь при этом черной дырой.

Но есть и другой аспект проблемы. Дело в том, что беззащитность перед лицом власти, вызывающая у человека чувство страха и тревоги, образовала в нашем обществе устойчивый негативный фон жизни. Пока еще между социально активной и творческой личностью, отдельными группами населения и властью как системой насилия не существует промежуточного социального пространства (то, что обычно называют «гражданским обществом»), которое ограничивало бы действие властных структур до того разумного предела, благодаря которому власть может осуществляться в рамках законности и легальности. Но власть, чьи механизмы прозрачны, видимы и доступны для членов общества, это уже другая, несбыточная власть. Власть, которой не бывает. Напротив, абсолютная власть по самой своей природе не может быть ни законной, ни легальной. Более того, тоталитарный тип власти в несравненно большей степени, чем какой-либо другой, стремится к тайне, секретности, закрытости.

С.К. Очевидно, это стремление власти к тайне, превращение процесса властвования в таинство, в мистику не есть только порождение тоталитаризма; они имеют значительную, насчитывающую тысячелетия историю...

В.П. Несомненно. Скажем, в эпоху становления абсолютистских монархий (особенно во времена Людовика XIV) управление общественными и политическими делами осуществлялось по принципу «секретных писем» («lettres de cachet»). Такого рода письма имели силу административных указов и исполнялись немедленно, без санкции со стороны парламента. Как тут не вспомнить, с одной стороны, сталинские списки приговоренных к казни, рекомендации, советы, приказы, а с другой — страсть к доноситељству, захватившую население во времена террора. Секретное письмо и донос невозможно отделить друг от друга, и то и другое — важнейшие элементы секретности властных функций.

А не повторяются ли сегодня эти секретные письма с поразительным подобием — в логике административных инструкций и телефонном праве, в подзаконных актах и тайных решениях? Это длящееся долгие годы сближение тайны и власти в конечном итоге превратило «работу» служителей власти в преступное ремесло, которое своим существованием ставит под сомнение закон. Я хочу сказать, что видимые формы имперской власти не являются формами самой власти и никоим образом не объясняют того, как эта власть реально действует. Они морализуют, мифологизируют, рассказывают историю этой власти (кстати, обычную историю о «гадком утенке»), но не имеют никакого отношения к конкретному технологическому процессу самого властвования. Но именно он окутан тайной, бдительно и ревниво охраняемой.

Этот тип власти как бы колеблется в двух уровнях социальности: один уровень образует то, что можно назвать трансценденцией власти («светлое будущее», «жертвы не напрасны», «есть такая партия»); другой — имманацией власти («действовать не по закону, а по совести»). На одном уровне власть заявляет о себе как о сверхсоциальной силе, вне-и-над-общественной, как о «последнем суде»; на другом же уровне, уровне ее конкретных действий, она оказывается имманентной всему невидимому пространству асоциальных и антисоциальных сил. Иными словами, она и без закона и вне закона, то есть она неподотчетна любому возможному гражданскому обществу, направлена прямо против него и никогда не даст ему сложиться. В сферу социально видимого попадает, как ни странно, трансцендентная функция власти (все эти внешние знаки власти, ее реквизиты, полномочия и символика). Ширмой для этой власти становится вся государственная система. Все то, что мы приписываем власти, говоря: «Вот она, вот она действует!», является не более чем оптической ошибкой, ибо она всегда действует так, чтобы в момент действия никто не мог сказать, что это действует власть, и приписать ей ответственность за свершенное. Тайна и есть это безвоздушное пространство власти, где задыхается правовое общество, но где власти дышится легко.

Бессознательное власти

С.К. Не могли бы вы несколько подробнее остановиться на формах бытия, способах существования, механизмах самореализации этой иллегальной, не нуждающейся в оправдании закона «власти самой по себе»?

В.П. То, что вы, очевидно, подразумеваете под способами самореализации власти, я называю технологиями власти, понимая под ними определенные промежуточные, но непереходные структурные образования, действующие в границах институциональных систем власти. Это не просто набор нейтральных технических орудий, которые волен как угодно использовать отдельный политик, группа или институт. Как мне представляется, эти технологии власти существуют независимо от господствующего режима политически оформленных властных отношений. Если хотите (правда, это будет некоторым упрощением), технологии власти — это бессознательное власти. И в этом смысле они обладают особыми качественными признаками, которые не могут быть продублированы в сознании политических субъектов.

Сейчас в публицистике и научной литературе достаточно распространена точка зрения, согласно которой Россия была заражена цивилизаторской марксистской идеей, эта идея при посредстве левой интеллигенции проникла в массы, и ее тотальное насаждение «в головах» в конечном итоге привело к террору. Иными словами, первопричина — идея, следствие — террор. Я же пытаюсь двигаться в обратном направлении и полагаю, что сталинская террористическая машина является первичной по отношению к идеологическим, политическим и экономическим механизмам. Действительно, почему бы не попытаться локализовать сферу террора в пространстве и времени, почему бы не представить ее как отдельный континент (архипелаг ГУЛАГ) со своими природными, экономическими и технологическими характеристиками? Не ту ли задачу ставил перед собой Т.Мор в «Утопии»? Сбывшаяся утопия и есть топос террора.

Другой немаловажный момент. Я допускаю подобное выделение террористического пространства и в силу того, что в нем власть функционирует как чистое насилие. То есть в этом пространстве технологии власти проявляются через наращивание насилия, которое может остановить лишь исчезновение самой власти. Вот почему для меня вопрос об идейной направленности сталинского режима не имеет смысла, ведь террористическая машина обладает своей «суммой технологий», и только поэтому она действует. Лишь затем, когда будет проведен скрупулезный анализ механизмов функционирования этой машины, можно будет выделить идейные мотивы тех или иных групп власти, хотя их психологические «переживания» не смогут иметь какого-либо отношения к принципам функционирования террористической машины.

Посмотрим на это с иной стороны. Многие исследователи (социологи и историки) сегодня пытаются подсчитать количество погибших насильственной смертью в нашей стране, начиная с 20-х годов, и называют цифру в 50—70 миллионов человек. Конечно, легче всего забыть, не вспоминать, как если бы это все произошло в другом времени и с другим народом. Ну, а если помнить? Что же произошло? Мор, чума, вспышка эпидемии насилия? Можно ли понять результаты действия террористической машины, оставаясь в здравом уме? Исчез, стерт с лица земли, почти изъят из национальной памяти громадный континент исторической жизни. Такова плата за «светлое будущее». Может быть, это необходимое жертвоприношение народа, решившего одним ударом завоевать будущее, и винить тогда нужно только этот народ? Вопросы, вопросы... Я убежден, что это катастрофа не просто политическая, а скорее биологическая, и ее невозможно осмыслить в терминах «красных» и «белых», плохих и хороших вождей и т.п. Отсюда только один вывод: машина террора, достигшая таких «невиданных» оборотов, должна быть осмыслена как суцностная база сталинского режима власти.

С.К. Мне все же кажется, мы не поймем вполне действия сталинской машины террора (в том смысле, в каком писал о «человеческой машине» Л.Мэмфорд), если будем осуществлять наш анализ власти, в том числе тоталитарной власти, не выходя хронологически за рамки большевистской революции и сталинского террора, не «опускаясь» в глубь российской истории. Как мне представляется, ткань технологий власти формировалась в России на протяжении столетий, и многое было заимствовано, преобразовано Лениным и его партией, как бы «слиплось», слилось с собственно большевистскими технологиями властвования. Мы ведь пока не ставим вопрос о том, что сделало этот конгломерат технологий власти именно таким, каков он был и каков есть. Наверное, существуют и какие-то геополитические причины, ведь технологии

формировались на протяжении веков в определенном гигантском, не имеющем аналогов пространстве, которое осваивалось и властью и людьми определенным образом; наконец, какое-то воздействие оказала этническая карта этого пространства... Можно было бы перечислить еще полдюжины исторических факторов, столь же весомых...

В.П. Это верно, и в принципе следует учитывать генезис властных технологий и его воздействие, скажем, на действие террористической машины тоталитарного общества... Что же касается геополитического пространства и влияния этого фактора на формирование власти, на ее действие, то эта проблема мне кажется чрезвычайно важной. И нам не миновать ее, коли мы попытаемся разобраться в том, что есть власть в этой стране и может ли она быть изменена, демократизирована, сделана более прозрачной, человеческой, а также — как, каким образом это изменение осуществить, если оно возможно.

Территория государства и территория власти

С.К. Очевидно, у описанной вами машины террора есть не только сущностное, но и пространственное измерение. ГУЛАГ ведь не только перемалывал миллионы жизней, но и поглощал, всасывал в себя новые пространства, сделав бывшую Российскую империю не только самым густонаселенным, но и самым обширным адом, когда-либо существовавшим над и под землей...

В.П. Можно попытаться описать действие сталинской террористической машины и с этой точки зрения. Каждая государственная власть возникает на основе некоторой территориальной целостности. Возможно, уникальность отечественной истории определяется тем, что территориальные границы (то есть границы, которые должны указывать на тип власти) никогда, вплоть до настоящего времени, не соответствовали культурно освоенному пространству. Я имею в виду до сих пор не снятый разрыв между территорией государства и жизненным пространством самой территории. Совершенно ясно, что территория там, где она сводима к «обжитым» пространствам, является территорией, охраняемой государственной властью. Я вспоминаю формулу В.О.Ключевского: «История России — это история страны, которая колонизируется».

Как это можно интерпретировать сегодня? Всмотревшись в историю страны за последние семьдесят с лишним лет, мы приходим к выводу, что формула Ключевского остается актуальной. Этот зияющий разрыв между территорией и жизненным пространством так и не устранен. Напротив, он все время возрастал, не мог не возрастать, так как почти все народы, входившие в состав СССР, так или иначе находились в процессе колонизационного движения. Террористическая машина действует таким образом, что постоянно стремится увеличить разрыв между территорией и «обжитым» пространством. И это понятно. Ведь она производит из реального материала жизни абстрактные геополитические карты. Овладеть территорией — это значит *дестратифицировать* обжитое пространство, то есть разрушить сложившиеся в нем системы социального воспроизводства жизни (механизмы взаимоотношений с природой, социальные структуры, традиционные культуры и т.п.).

С.К. Таким образом, происходит своеобразное переструктурирование, «выворачивание» пространства, уничтожение его социокультурной идентичности. В сущности, все социальные и политические катаклизмы последних семидесяти лет так или иначе стимулировали этот процесс. Революция и гражданская война, коллективизация и индустриализация, Великая Отечественная война, наконец, великие стройки века и покорение Севера, начиная с ГУЛАГа и до БАМа, сталинские насильственные переселения народов, уничтожение «неперспективных» деревень, создание гигантских водохранилищ — «рукотворных морей», проекты поворота рек — все это лишь некоторые примеры дестратификации...

В.П. Но и их вполне достаточно, чтобы признать тот очевидный факт, что все эти великие движения народов были связаны с общей стратегией властвования. Все это — следы великих машин террора. Только движение, только оно одно открывает этой власти путь к геополитическому абсолюту, к ее вечной утопии — ГУЛАГу.

С.К. Итак, вы полагаете, что тоталитарная власть стремится постоянно утверждать господство территории как безличного и абстрактного пространства над пространством обжитым, или пространством жизни?

В.П. Да, именно так. Более того, территория, на которую претендует эта власть, есть государственная тайна. Не случайно до сих пор засекречены все микроформатные

карты СССР. Территория — это особое пространство, если хотите, это чистое или пустое пространство, где власть может беспрепятственно осуществлять террористические действия.

В сталинскую эпоху этот раздел проходит по линии границы между двумя пространствами — догулаговым и гулаговым. Первое — видимое, второе — невидимое. Пространство ГУЛАГа освобождает от чувства страха перед арестом, но это освобождение идет через полную потерю прав; необходимо стать эзком, чтобы освободиться от прямого действия на тебя террористической машины, необходимо «исчезнуть», чтобы ощутить себя человеком. Когда мы говорим об Освенциме или Дахау, то мы говорим о лагерях уничтожения, где террор локализован в строгой непрерывности, ритмичности акций уничтожения; когда мы говорим о ГУЛАГе, то нам приходится говорить не столько о технологии «уничтожения», сколько о таком месте на территории СССР, которое не существует как социально маркированное, и вместе с тем именно это экстерриториальное место является пространством «нового континента», где во всей своей завершенности сбылась утопия террористической власти.

Рабы ГУЛАГа строят каналы, заводы, фабрики, железные дороги и т.д., но их нет, они не существуют; выполняются пятилетние планы, а эти живые-мертвые или мертвые-живые продолжают быть невидимыми. Великие сети коммуникации и индустриальные гиганты появляются из экономического ничто, из пространства ГУЛАГа, которое не нанесено ни на одну карту. Вот почему, и это, пожалуй, вполне справедливо, террористическая власть предстает как власть сверхпродуктивная. Это действительно власть, которая производит средства для жизни, поддерживает ее существование, но только за счет рабского труда в лагерях, а точнее и более абстрактно, за счет превращения всего исторического снова в природное. Эта власть видит себя и вечной и историчной; а все то, что вне ее усилий и интересов, рассматривается в качестве природного. Не только материя природна, богатства недр и вод, но и сам человек выступает в качестве одного из природных объектов.

С.К. Таким образом, ГУЛАГ предстает не столько архипелагом, сколько континентом, Континентом Власти, постоянно расширяющим свои пределы за счет сокращения, так сказать, пространства жизни... Может быть даже, что все остальное — это лишь архипелаг?

В.П. Поль Вирилио замечает: «Я думаю о новой технике исчезновения, которая порождает ГУЛАГ... Что такое ГУЛАГ? Это разновидность антигорода, который существует на невидимой территории». Но есть ли здесь оппозиция города и антигорода? Может быть, это даже не противостояние, а скорее, массивованное действие машины террора, которая непрерывно стремится к бесконечному расширению невидимых пространств власти. ГУЛАГ — это полигон нового властного эксперимента, в нем такого типа власть может наконец-то полностью актуализировать себя. ГУЛАГ — это сбывшийся сон тоталитарной власти. Вот почему я склонен считать, что догулаговое пространство — это всего лишь «предпространство», оно не только не в силах противостоять гулаговому, но и является случайным, аморфным, а еще точнее, *дестратифицированным* настолько, что в любое мгновение переходит в гулаговое пространство. Пространство догулаговое — это пространство-мираж, оно условно и декоративно. Об этом, в частности, говорит сама патетичность догулагового пространства («героизм труда», парады и праздники): патетика есть знак присутствия ГУЛАГа в догулаговом пространстве повседневной жизни. Но что такое ГУЛАГ? Зададимся и мы этим вопросом. ГУЛАГ — пространство, *стратифицированное* для массы.

С.К. Мне хотелось бы взглянуть на ситуацию колонизации России и на то воздействие, которое она оказала на генезис технологий власти в России, с несколько иной позиции. Дело в том, что еще в домонгольский период колонизация Великороссии, будущей Центральной России, то есть продвижение «великорусского элемента» на Восток, в земли, населенные до того племенами финского происхождения, была не этнической, а христианской. Еще К.Д.Кавелин замечал, что христианство «заменило переселенцам сознание народности», то есть этнической общности. С тех пор на протяжении веков (продолжает Кавелин) русский и православный в народном сознании — одно и то же: православный, хотя бы и не русский по происхождению, считается русским; природный русский, но не православный, не признается за русского.

В.П. К сказанному вами я бы хотел добавить следующее наблюдение. Литературная мифология русского этнического и национально-культурного типа, мифология «русской души» может быть описана в терминах пространства, точнее, *простираания*. В то

время как эксперты по русской душе исследовали занудное величие русско-азиатской равнины и обнаружили ее субстанциональное свойство — *простираение*, они то ли по неведению, то ли с умыслом «забыли» о российской имперской государственности, которая всегда отождествляла себя с безмерным могуществом захватываемого пространства. Не пространство России, а пространство имперской России простиралось, не встречая на пути никаких, кроме географических, границ, к северу и на восток. Российская империя была как бы частью природы и потому безграничной. Вспомним о том раздражении, которое подчас охватывало русских писателей, философов, историков при взгляде на бессмысленную широту русской равнины: «В России нет расстояний», нет «пейзажей», нет «чувства местности». *Пространство России оказалось вне Истории*. Не следует ли отсюда, что «русская душа», завороженная простирающимся пространством, является душой *огосударственной, имперской* и что пространство русско-азиатской равнины — не столько чисто природное, сколько имперское, то есть простирается не в силу только ему присущих физических свойств, а по законам имперских завоеваний, колонизаций или миграций.

С.К. И при этом не исключено, что жесткие технологии власти в России стали естественной реакцией на ту свободу, которая диктовалась российскими геополитическими реальностями: огромной едва заселенной, необжитой территорией, открытой для *бегства от власти* — во-первых, для неконтролируемой миграции, во-вторых, для легкой смены ареалов хозяйственной деятельности. Ключевский описывает, как земледелец, расчистив участок и истощив его за 2—3 года, переходил на другое место, покидая тем самым сферу контроля и юрисдикции местных властей (вотчинник, помещик, монастырь и пр.).

Разумеется, ГУЛАГ и крепостное право — явления чрезвычайно различные, и любые параллели здесь рискованны. Но о том, что пространство — или, что, быть может, точнее, пространства — России было определенным образом *стратифицировано* задолго до 1917 года, тоже не следует забывать. Как и о том, что даже на той, имперской, а не тоталитарной основе возникали островки ГУЛАГа — вспомним демидовские подземные заводы или политических «бунтовщиков», замурованных «во глубине сибирских руд». Мне кажется, скорее в тоталитарном обществе происходит какая-то чудовищная инверсия догулагового и гулаговского пространства. У сталинско-бериевского ГУЛАГа есть какие-то предфазы, или, по крайней мере, в российской истории было нечто такое, что предвосхищало лагеря 20 — 30 — 40-х годов XX века, хотя, вероятно, мы не были фатально обречены нашей историей пережить то, что пережила наша страна в послеоктябрьский период.

Распад системы, распад империи... Распад России?

С.К. Сейчас многие говорят о той стремительности, с какой рухнула прежняя система, и говорят нередко с нотками удивления в голосе. Действительно, порой кажется, будто произошло нечто в духе пушкинского — «темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа...». Однако не так легко понять, почему то, что мы считали если не вечным, то, во всяком случае, чрезвычайно живучим и способным к самосохранению и самовоспроизводству, чуть ли не в одночасье исчезло, оставив только облако пыли над руинами. Не подтверждает ли это ваши слова о том, что на уровне микрополитики власть превращает человека в чисто природный объект, уничтожая, расплывая человеческие и природные ресурсы, а тем самым становится патологией природы и, подрывая основы собственного существования, движется к суициду...

Но, положив руку на сердце, можем ли мы утверждать, что политический кризис коммунистического режима был непосредственно порожден абсолютной невозможностью для власти продолжать микрополитику самоубийственного типа? Поэтому было бы интересно узнать, были ли стремительность распада системы, ядром которой действительно была КПСС и ее номенклатура, и этот происшедший в считанные дни обвал неожиданностью для вас — неожиданностью, разумеется, не с политологической точки зрения, а в свете вашего понимания природы власти, существовавшей в стране?

В.П. Мне кажется, что все успешные рассуждения о крушении тоталитарной власти, распаде «имперской системы», о том, что на смену этой власти пришла новая власть — демократическая, несут несколько абстрактный и поверхностный характер. На протяжении веков в отечественной истории существовала традиция негативного

властвования, которую мы просто не можем оценивать позитивно, поскольку власть всегда представляла собой орудие насилия. И это орудие насилия стало самой властью; из средства превратилось в цель. Ведь что такое тоталитарное государство? Это такая система властных отношений, которая опирается на непрерывное насилие; но эксцессы насилия постепенно стабилизировались, и благодаря автоматически непрерывному действию на общество они приобрели характер нормы. Это не могло не отразиться в законодательной практике: появляется норма насилия, которая представляется и законодателю, и гражданину в качестве естественной нормы общежития. Такого рода норма находит свое выражение в законе о чрезвычайном положении, и этот «закон» действует с 1917 года...

И вот мы оказываемся в ситуации, когда развал империи при определенных обстоятельствах может превратиться в ситуацию распада России. Целый ряд вопросов: КПСС действительно уже нет, общество изменилось и продолжает трансформироваться, но что происходит с властью в этот переходный период? Что изменилось в природе власти, как изменилось и изменилось ли вообще? Может ли измениться природа власти в новом политическом режиме или она неизменна? Каковы возможности выработки новой глобальной национальной стратегии жизни, новой глобальной системы ценностей?

Складывается впечатление, что и структура власти, и логика, и образ ее действий остаются во многом такими же, какими были прежде.

О какой бы эпохе мы ни говорили, перед нами неизбежно встает вопрос: в каком отношении находятся жизнь и власть? Будет ли власть оставаться властью, осуществляющей стратегию дефицита жизни, терроризирующей или просто инерционно распыляющей, разрушающей весь горизонт природной материи, или она сможет стать созидательным началом? Началом, в той или иной степени формирующим новую **ЭКОНОМИЮ ЖИЗНИ**...

Здесь важно объяснить, что я имею в виду. Понятие экономии жизни не связано исключительно с экономикой. Оно включает в себя экологические, геополитические факторы, факторы личного развития, семьи, ресурсов питания и производства, здравоохранения и т.д. — огромное количество переменных, которые в совокупности и составляют экономию жизни. Сегодня, как мне кажется, общая стратегия экономии жизни никоим образом не строится; идут бесконечные разговоры о приватизации, о рынке, происходит даже реальное продвижение к рынку — рынку, который рассматривается в качестве спонтанной, «естественной» машины экономии жизни. Как будто стоить только запустить рынок, и экономия жизни будет сама спонтанно разворачиваться и регулировать всю нашу жизнь. Это не более чем миф; подобного развития событий нигде не было, это совершенно невозможная ситуация. Я бы сказал, что это остаточные явления имперской мифологии.

Ситуация имеет и другой аспект. На мой взгляд, совершенно неправомерно моделировать власть по экономическим структурам, представлять экономику в качестве смысла, «души» власти, а обладание богатством как обладание элементами власти. Это в корне неверно, хотя бы потому, что властные интересы почти всегда выходят за рамки чисто экономических; экономические интересы, богатство, деньги не есть нечто такое, что продуцирует саму власть, они могут использоваться лишь как средство в каких-то определенных ситуациях, да и то не всегда.

С.К. Иными словами, во власти, с которой мы сейчас сталкиваемся, осталось гораздо больше от «прошлого», чем от идеальных демократических моделей, к которым наше общество как будто стремится. И говоря о ней, видимо, следует не столько прибегать к таким красочным терминам, как «крах», «распад», «обвал», сколько рассматривать ее в контексте определенного типа преемственности.

В.П. Несомненно. Об этом и идет речь. Фактически и до, и после момента, когда реальностью стал распад империи и появление России как наиболее мощного государства на территории бывшего СССР и правопреемницы Союза, вопрос стоял достаточно жестко и просто: как удерживать власть в переходный период? И, совершенно очевидно, был избран курс преемственности, опоры на старый аппарат, стиль, технику властвования. Еще Фуко очень пронзительно заметил, что нужно поймать власть там, где она циркулирует, потому что власть — это есть циркуляция, это не есть некий результат; она не распадается на субъекты и объекты. И именно в этом контексте мы можем рассмат-

ривать ситуацию преемственности или — существует и такой миф — ее опоры на представительные институты, достижения легитимности через волю народа и т.д.

С.К. Но очевидно, что действующие лидеры не мыслят в категориях М.Фуко; я не в состоянии представить себе политика, который говорит себе: «власть циркулирует...», «власть бессубъектна...», хотя бы потому, что каждый из них воспринимает себя как безусловного, бесспорного субъекта власти. И тем не менее логика их действий вполне укладывается в рамки, скажем так, освоения новым режимом безотносительно к этому режиму существующих, в значительной степени унаследованных технологий власти.

В.П. Здесь важно понять именно логику и мотивацию действий этой новой власти. Это в значительной степени логика политических комбинаций. Ее, как и прежде, определяет не экономическая созидательность, базирующаяся на стремлении к экономии жизни, а традиционная для наших властных структур политическая *реактивность* — то есть деятельность, основанная на простой реакции на изменение внешней ситуации. Более того, существовавшей в нашей стране на протяжении десятилетий власти удалось воспитать человека, который мыслит и существует не в категориях экономической *креативности* или созидательности, а в пространстве политической реактивности. Большинство наших сограждан не представляют собой автономных субъектов, способных к самостоятельному творчеству, к созиданию. Народ тоже смотрит на свое существование, на свое настоящее и будущее через призму различных политических сценариев...

С.К. Но, возможно, с переходом к рынку, либерализацией цен, завершением приватизации большинству наших граждан придется изменить свою жизненную парадигму, свое мировосприятие и реагировать прежде всего на изменение базисных экономических факторов, то есть осознать свои фундаментальные экономические интересы?

В.П. Видите ли, наш народ привык на любые изменения экономических реальностей откликаться в привычных формах политической *реактивности*. Проще говоря, предъявлять определенные требования не к себе, а к государству. Это очень важный момент, так как экономическая *креативность* включает в себя политическую реактивность, но политическая реактивность никогда не составляет экономики жизни.

Таким образом, хотя прежняя однопартийная система как бы аннулирована и вроде бы сложилась новая система власти, но эта система пока сделала ничтожно мало для создания новой экономики жизни. И она, эта система, отнюдь не стремится форсировать распад старой, тоталитарной, системы.

С.К. Но не продиктовано ли стремление власти замедлить процесс распада старых структур желанием хоть как-то контролировать этот процесс?

В.П. Я думаю, чем дольше длится распад, тем он страшнее. Чернобыль здесь является жуткой, но достаточно убедительной метафорой. Что же касается контроля, то, как мы знаем, тоталитарные структуры также стремились контролировать максимум возможного.

С.К. Хорошо, тогда не можем ли мы встать на диаметрально противоположную точку зрения и предположить, что курс российского руководства на форсированный демонтаж Союза после августа 1991 года, ликвидация СССР как целого в течение каких-то двух недель — это реализация (хотя, быть может, неосознанная) сходной с вашей концепции распада старых структур и старого целого? По принципу «чем дольше идет распад, тем страшнее»?

В.П. Я думаю, что курс российских властей связан с определенным сочетанием чисто политических обстоятельств, определенной комбинацией политических сил, партий, движений и т.д. Видите ли, каждый блок нашей имперской структуры, каждое ее звено предполагает свое время распада. То, как отсоединялась Прибалтика, — это одно, как отсоединялась Украина — это другое, ситуация с Чечено-Ингушетией — нечто третье. То, как будет проходить процесс внутри России, — это нечто четвертое, пятое, шестое, какой-то иной вариант. Но это не значит, что происходит распад, выявляющий новую экономику жизни. Происходящий распад — это просто результат, побочный продукт, элемент некоей игры политических сил.

Ведь совершенно очевидно: все, что не является экономией жизни, является экономией смерти. Сейчас процесс распада идет под знаком Танатоса, под знаком разрушения экономики жизни. Ради таких целей, как утверждение независимости или самостийности, бывшие республики Союза готовы, похоже, чуть ли не на все: вспомни-

те хотя бы скандальное сообщение о том, что где-то в высших сферах обсуждался вопрос о возможности обмена ядерными ударами между Украиной и Россией. Если вдуматься, это политическое безумие, потому что в действительности не существует ни проблемы раздела вооружений, ни проблемы Крыма, а существует лишь проблема экономии жизни. И она не может быть решена на уровне заявлений политических лидеров и политических комбинаций — она решается на уровне обычных человеческих потребностей и их осуществления.

С.К. Есть ли какие-то рамки у этого процесса распада?

В.П. Распад завершится тогда, когда империя превратится в груды отбросов, которые не годятся ни на что. Это не является какой-то катастрофой — просто из этой груды уже невозможно будет ничего создать, и тогда придется вводить новую экономию жизни.

«Государство без центра»

С.К. Давайте возвратимся к теме «поспеавгустовской власти». Вы, насколько я помню, заметили, что ситуация распада империи может превратиться при определенных обстоятельствах в ситуацию распада России. Очевидно, это замечание следует понимать так, что наше отношение к распаду России должно быть иным, нежели к распаду имперских, тоталитарных структур. Иными словами, максима: «распад закончится, когда империя превратится в груды отбросов» — здесь уже не работает?

В.П. Когда мы обсуждали вопрос о распаде тоталитарной империи, мы рассматривали структуры власти; когда же мы говорим о России, речь идет о геополитике. Это существенно иная проблема и существует иной угол зрения. И здесь для того, чтобы констатировать ситуацию распада, совершенно не обязательно, чтобы вся территория распалась на отдельные «княжества», на отдельные региональные структуры. Достаточно трем-четырем экономически сильным сырьевым единицам выделиться, чтобы Россия перестала существовать. Возможно, что даже выделение одного сибирского региона уничтожает Россию полностью, что выделение Татарстана уничтожает Россию. Даже если никто больше не выйдет из состава России, но в центре нашего государства будет находиться другое государство, имеющее все атрибуты государственности — границы, армию, службу безопасности, таможни и т.д. и т.п. — и ведущее свою собственную государственную политику, то Россия — в геополитическом смысле — будет уничтожена.

На сегодняшний день распад еще не состоялся — пока все находится в стадии политических деклараций. К тому же для того, чтобы стать суверенным государством, недостаточно декларировать определенные государственные признаки, их надо обеспечить, и даже тогда, когда их возможно обеспечить (а это не всегда возможно), для этого необходимы десятки лет.

Мы обязаны спросить: есть ли, скажем, у Татарстана возможности, чтобы стать государством? Нет никаких. Внутри государственного тела никакое государство не может быть создано. Мафия, какие-то тайные, теневые структуры, всякого рода полипообразные, паразитарные образования могут возникнуть, но государственность в такой ситуации не может быть создана. Независимость Якутии? Еще в меньшей степени. Суверенитет бывших автономий есть с самого начала ложная, выраженная лишь словами и ничем не обеспеченная позиция. Мы можем понять возникновение феномена суверенизации — для этого нам, правда, придется из сферы геополитики возвратиться к проблемам власти, но оценки феномена это не изменит. Ибо весь процесс осуществления государственного суверенитета в Татарстане и в еще большей степени — в других республиках происходит на уровне «озвучивания» некоторых мифов и идеологии посттоталитарного общества... В действительности мы знаем, чем они реально являются: сырьевыми придатками, которые зависят от центра, ибо вся система коммуникаций идет через центр и они полностью подавлены этой системой коммуникаций.

Значит, для того, чтобы создать автономные источники коммуникаций, которые позволят осуществлять хотя бы тот минимум суверенности, который на словах взял себе Татарстан, нужна система поперечных, а не через центр проходящих коммуника-

ций, — система, возникновение которой связано с самоопределением, обретением самостоятельности другими территориями и их саморазвитием. В этой ситуации Татария, Чувашия, Мордовия, Подмосковье и Ярославская область равным образом становятся «государствами» — каждый регион приобретает некоторые признаки государства, — и тем самым создается штатная, земельная структура. И когда такая новая система, такая горизонтальная «сцепка» земель появляется, Татарстан как суверенное государство, противостоящее центру, уничтожается, уничтожается этой сцепкой земель. И суверенность Татарстана в рамках России впервые получает какие-то серьезные основания.

С.К. Исчезает Татарстан как нечто, противостоящее центру, но меняются и функции центра; центр становится иным, не тем, что прежде...

В.П. Мы получаем структуру нового типа, структуру, в которой центр утрачен, как бы исчезает. Он как бы выводится за пределы геополитической «доски», если провести аналогию между геополитическим пространством бывшего СССР и шахматной доской. Центр впервые становится государством, только государством, демократическим государством, он отвечает лишь за внешнюю политику, армию — за все внешние обстоятельства сохранения территории, за налоги, наконец. Центр вытесняется из этой структуры, но равным образом вытесняются претензии на создание собственной государственности у каждой отдельной территории, особенно у бывших автономий. Я убежден, что это единственный вариант решения проблемы распада империи в условиях России. «Государство без центра» — единственное решение, потому что основное напряжение в нашей политической жизни — это «периферия — центр». Все везде ненавидят центр. Почему? Почему центр проклят в этой стране? Можно выдвинуть множество версий, но он — проклят. Поэтому самая большая, самая жгучая проблема сегодня, как, каким образом перейти от империи, точнее, от болеющей империи, к «государству без центра».

Сейчас же мы переживаем переломный, критический момент, момент перехода от суверенизации к приватизации. Возникают новые корпоративные, без национально-окрашенной структуры. Но в то же время — и об этом свидетельствуют события во многих «горячих» и относительно спокойных точках бывшего Союза — не везде еще процесс суверенизации и становления *так называемой* государственности исчерпал себя. Суверенизация продолжает накладывать свой негативный отпечаток на все происходящее на территории бывшего Союза. Это настолько очевидно, что я даже не буду приводить примеров.

Вероятно, реальный выход из этих суверен-национальных мифологий заключается в развернувшейся ныне погоне за собственностью, стремлении корпоративных групп овладеть ею в любых формах. Поэтому я — не считайте меня слишком категоричным — считаю, что национализм и национальная суверенизация уже прошли свой пик, уже не жизнеспособны, несмотря на то, что эти процессы имеют довольно сильную инерцию. Суверенизация оказывается бессмысленной борьбой в темной комнате, потому что всем силам, которые вовлечены в противоборство, становится все более и более ясно, что не этим сейчас надо заниматься: нужно делить собственность.

Интеллектуал и власть

С.К. Мне хотелось бы закончить нашу беседу, поговорив о тех, к кому так или иначе, в той или иной степени принадлежат авторы этого текста, об ученых, о философах, в конце концов, используя прочно укоренившееся на Западе и почему-то не привившееся у нас понятие, — об интеллектуалах. Вы не раз говорили о том, что коренной вопрос нашей жизни и нашей политической философии, или, что, может, точнее, философии власти, — в каком отношении находятся жизнь и власть?

Но для тех, кто всерьез, не по-дилетантски думает над этим вопросом, не менее важно понять, в каком отношении находятся — или должны находиться — интеллектуал и власть. Ведь, несмотря на все потрясения последних лет, тело и душа человека по-прежнему являются объектом воздействия безличных и бездушных технологий власти. Правда, изменяется набор этих технологий: машина власти, как замечал М.Фуко, безразлична к наличному материалу истории и извлекает из социальной реальности

лишь то, что находится «под рукой» в данный момент времени: остатки и клочки разнообразных технологий, правил, ритуалов, элементов исторической психологии... Вы, кстати, достаточно подробно анализировали этот вопрос в своем очерке о М. Фуко...

То, что в регионах, где проживают миллионы чеповек, не действуют практически никакие законы, не значит, что «власти стало меньше». Напротив, обретая крупицы свободы, человек платит за это самую высокую цену, а обеспечение свободы требует власти, а новые механизмы и технологии власти, новые способы существования и самоопределения этой власти в прежнем технологическом пространстве создают цепь новых ограничений свободы и прав человека... Власть в новой ситуации по-новому стремится подмять под себя, подчинить себе жизнь... Человек, обретая свободу, как это ни парадоксально, становится во многих отношениях все более уязвимым, все более зависимым и беззащитным перед действием неумолимых, безличных властных технологий. И все это происходит на фоне колоссальной моральной ломки (ломки скорее уже в патологическом, медицинском смысле слова), на фоне шока от распада государства, в ходе которого прежнее имперское целое далеко еще не обрело качественной определенности «чистых элементов», не достигло той стадии процесса, которая делает дальнейшее его развитие невозможным, но когда уже ставится под вопрос существование национального целого; на фоне шока от скачков цен и напряженности, порожденной ожиданием этих скачков, на фоне разочарования значительной части интеллигенции, приходящего от краха «шестидесятичной» парадигмы обновления общества... Смятение в мыслях, смятение в чувствах, мечтания о вхождении в мировую цивилизацию и ощущение реально происходящего погружения в «третий» или, быть может, даже в четвертый мир, ностальгия по сильному и гордому государству и неизбывный страх, перешедший по наследству от поколений, прошедших сталинские лагеря... Что могут сегодня сделать те, кто стремится сохранить собственное человеческое достоинство и противостоять фрустрации и этому безжалостному пространству власти? Что им необходимо? Я говорю не в последнюю очередь и об интеллектуалах, об ученых. Бесстрашие, мужество, независимость мышления?

В.П. Раз уж зашла речь о Мишеле Фуко, хочу напомнить вам нечто, имеющее, как мне кажется, определенное отношение к нашей современной ситуации, может быть, большее отношение, чем к любой другой. Так вот, Фуко полагал, что интеллектуал находится сегодня как бы на пересечении властных отношений; более того, он давно уже мишень власти.

В современном мире интеллектуал не может избежать политизации, политической ангажированности, но речь идет не о вовлеченности в политическое действие, а о политическом содержании самого знания, того знания, которое он производит. Знание перестает быть социально и политически нейтральным, и именно интеллектуал в силах использовать его позитивно. Политическая автономия интеллектуала, полагал Фуко, теперь заключается в том, чтобы не быть отдельным, высшим, изначальным; и если действовать, то не от имени подавляемого меньшинства, а как само меньшинство, образующееся по случаю и распадающееся, как только возникает угроза его институционализации... Иными словами, ускользать от власти там, где она неизмеримо могущественна, и атаковать там, где она ослаблена и не ожидает нападения... Эта позиция Фуко, конечно, не руководство к действию, но, думаю, серьезный повод для размышлений.

С.К. Хорошо, а что делать интеллектуалу в России?

В.П. Я бы сказал, что нам сегодня надо работать в двойном ключе, одновременно рефлексируя и над образом возникающей в нашем обществе демократии и по поводу определенной конкретной ситуации, которая возможна в России. Мы сегодня поставлены в такие обстоятельства, которые заставляют нас думать, и думать предельно, и не в силу каких-то общепринятых правил игры, а в силу того, что игра отсутствует. Однако же на самом деле, когда мы не находим правил игры, мы расслабляемся и начинаем рефлексировать в рамках какой-то известной модели, проецируем ее, как я уже сказал, на нашу территорию и наше общество.

Существует масса проблем, которые наше сознание просто отбрасывает. Вспомните то, что я говорил о микрополитике. Ведь если умирает целый регион, а в политике ничего не происходит, то, значит, и политика становится другой. Я имею в виду ту политику, которая раньше овладевала человеком через желудок, а теперь перешла на уровень клеточной работы... И многие из такого рода проблем мы просто отбрасываем,

поскольку сами мы в данный момент являемся людьми нормальными, относительно благополучными...

Теперь вернемся к вашему вопросу о том, что же в современной ситуации необходимо интеллектуалу и ученому. Вы сказали — бесстрашие, мужество, независимость мышления... Наверное, и первое, и второе, и третье, и еще многое другое. Надо только ясно понимать, какое бесстрашие и какое свободное мышление нужны нам сегодня. Я полагаю, что бесстрашие, которое нам сегодня необходимо, заключается в том, чтобы обдумывать, прогнозировать, строить модели внеимперского происхождения, то есть не ориентироваться лишь на какую-то одну, пусть сегодня и признанную в качестве идеально демократической, модель. Мыслить без того, чтобы империя была в наших мыслях, мыслить против империи.

Еще раз повторяю, чтобы не быть превратно истолкованным: мыслить против империи.

С.К. Я бы сформулировал эту мысль несколько по-иному: интеллектуал не только не должен любить власть — он не должен позволять власти любить себя. Он должен быть способен очистить свои мозги от демагогии и идеологии власти, он обязан найти в себе силы и разомкнуть ее объятия... Способны ли мы на это?

Ингерманландская трагедия



Среди множества народов, населяющих нашу страну, есть такие, которые, по словам Т.Каипбергенова, живут «без дома и флага». Среди них — этносы с

многовековой культурой и драматической историей. О судьбах таких народов мы рассказываем в этой рубрике.

Древняя земля моя

Не старайтесь искать эту землю на современных географических картах. Не найдете. Не лишут о ней и в энциклопедиях. Но она была и есть. Это весь Карельский перешеек между Ладогой и Финским заливом. Дальше граница Ингерманландии проходит от Санкт-Петербурга на запад по берегу Финского залива до границы с Эстонией, потом поворачивает на юг по реке Нарве, на юго-восток по реке Луге. Затем проходит на северо-восток до реки Мга; по которой следует до Ладожского озера.

На этой территории еще в I — VIII веках поселились финские и близкие к ним племена, пришедшие с востока и следовавшие в ту часть Скандинавского полуострова, которая теперь называется Финляндией. Те финские племена, которые осели здесь и не пошли в Скандинавию, получили название ингерманландцев (по-фински — инкерилляйсет).

Откуда такое название? Существуют народные легенды, объясняющие его. Из них наиболее правдоподобными кажутся две. По одной — король Швеции Олави отдал свою дочь Ингергердин за новгородского князя Ярослава. Ярослав подарил невесте землю, которой дал ее имя, слегка сократив его, — Инкери.

По другой легенде, название этой земли происходит от названия реки Инкери, которая впадает в Неву. На берегах Инкери с давних пор проживали финские племена, называвшие себя инкеройцами. Кроме финских племен здесь жили также эстонцы, чудь, ведь, ижорцы и другие близкие им по языку племена.

В 1150 — 1300 годах эта территория вместе со всей Финляндией входила в состав шведского государства. Согласно же исследованиям Карамзина, в XII — начале XIII века земли южнее Ладоги и Финского залива, занятые финскими племенами, принадлежали Новгородскому княжеству.

На историю Ингерманландии пагубно влияло ее географическое положение. Начиная с XI и вплоть до XVIII столетия Ингерманландия была зажата между Россией и Швецией. Ингерманландцы испытывали на себе последствия многочисленных войн между этими государствами.

Войны между Швецией и Россией под водительством Карла XII и Петра I шли именно за территорию Ингерманландии и выход России к Балтийскому морю. Местным жителям они приносили лишь разрушения и голод. Проживавшие здесь малые племена не выдерживали тягот войны и в поисках спасения уходили в новые места, часто растворяясь там в других племенах и этнических группах.

Под шведским владычеством ингерманландцы, как завоеванный народ, находились в бесправном положении. На их земли из Швеции выселяли преступников. Сами ингерманландцы не участвовали в парламенте, не призывались на военную службу, но облагались тяжелыми налогами. В силу последнего обстоятельства Швеция, правда, была заинтересована в хозяйственном развитии региона. По свидетельству Эйно Карху, король Густав Адольф приглашал в Ингерманландию немецких помещиков, отдавая им лучшие земли. Впрочем, это мероприятие не увенчалось успехом, поскольку район был слишком беспокойным.

Швеция образовала на этой территории Ингерманландскую губернию, а король Юхана прибил к своему титулу в 1581 году еще и титул Великого князя Ингерманландского. Губерния под названием Ингерманландия существовала на европейских картах.

Новый период в истории Ингерманландии начался с завоевания этих территорий Петром в результате Северной войны в самом начале XVIII века. Ингерманландия стала одной из российских губерний, и теперь уже новый правитель ее, князь Александр Данилович Меншиков получил титул Ингерманландского. Вскоре (1708) указом Петра Великого к губернии присоединили обширные территории, начиная от нынешней Эстонии и кончая Новгородской, Псковской, Тверской, Олонецкой и Ярославской губерниями.

В центре Ингерманландии строился город Святого Петра — столица Российского государства. Это обстоятельство имело огромное значение для дальнейшего развития региона, а также для судьбы его жителей. Из глухой шведской провинции Ингерманландия превращается в столичную территорию, как бы пригород столицы. А в 1719 году губерния получает название Петербургской. Слово же «ингерманландский» еще долго сохраняется в названии российского военного корабля и гусарского полка.

Быстрое строительство и развитие столицы Петра привели к большим переменам на всей территории Ингерманландии. Выселялись сотни деревень, на месте которых строились новые поселения с величественными дворцами, парками, прудами и системами фонтанов. Так появились города Царское Село, Павловск, Гатчина, Красное Село, Стрельна, Ропша, Петергоф, Ораниенбаум и другие. В этих же местах располагались казармы для гусарских, драгунских, пехотных полков.

Строительство дворцов, парков, искусственных водоемов существенно меняло ландшафт этих мест. Сюда завозились неведомые до тех пор птицы — фазаны, лебеди, разводилась озерная рыба лососевых пород.

Для местного крестьянства присоединение региона к России означало принятие тягот крепостного права, которых оно не знало при шведском владычестве. Блеск богатейших дворянского и купеческого сословий контрастировал с нищетою крепостных крестьян, работавших на помещичьих полях и небольших участках, выделенных им в соответствии с правилами общинного землепользования. Общинное землевладение сохранялось и после отмены крепостного права, до конца XIX столетия.

Близость столицы и, следовательно, рынка сбыта имела большое значение для развития крестьянского хозяйства. В город поставляли молоко, мясо, картофель, овощи, грибы и ягоды, фураж, дрова и даже елки к Рождеству. Крестьяне на лошадях привозили в город и другие грузы, включая сырье для заводов и фабрик. Со своей стороны, город обеспечивал крестьянам дополнительный заработок зимой. В те времена они могли позволить себе покупать продукты, которых не давала северная природа: недостающее количество хлеба, фрукты, сахар, растительное масло... Для крестьян стали организовывать снабженческие и ссудные кооперативы.

В развитии культуры и формировании самосознания ингерманландского народа большая роль принадлежала лютеранской церкви. Она организовывала конфирмационные и воскресные школы, обучала людей грамоте. Местные священники даже не венчали молодых людей, не умевших читать религиозные книги.

Первые светские школы в Ингерманландии появились в семнадцатом веке — для детей чиновников и священников. Обучение в них проходило на шведском языке и латыни. Первая финская школа для крестьянских детей была открыта в 1785 году в деревне Колпино близ Гатчины. Позднее появились финские школы в других приходах и в Петербурге.

Существенным толчком для развития образования после отмены крепостного права стало открытие в 1863 году учительской семинарии в Колпине. Семинария готовила учителей, священников и органистов для церкви. По данным Эйно Карху, в 1913 году в Ингерманландии насчитывалось уже 229 финских школ, где обучалось около восьми тысяч детей.

С появлением местной интеллигенции и ростом числа грамотных крестьян возникла потребность в печатном слове на родном языке. И в 1870 году в Петербурге начинает издаваться первая еженедельная финская газета. За ней последовали и другие — «Ингерманландская газета», «Новая Ингерманландия», «Нева»...

После революции

После Октябрьской революции Финляндия и Эстония получили самостоятельность, в России началась гражданская война. Ингерманландия оказалась в центре событий. Из Эстонии выступали войска Юденича, финские войска нападали на Карелию и Карельский перешеек. Некоторые ингерманландцы были втянуты в эту борьбу на той или иной стороне, но беда состояла в том, что безвинно погибали люди, которые вообще не участвовали в ней. В 1918 году в деревне Кивеннапа финские офицеры расстреляли безоружного крестьянина, первого мужа моей матери Ивана Лавонена. Мой старший брат, восемнадцатилетний Матвей, отправившийся на поиски отца, тоже был расстрелян. От рук финнов погибли мой дядя Иван Кяппи и многие другие крестьяне деревни Лембалово.

Другим бедствием для ингерманландских крестьян стал военный коммунизм, давивший экономическое развитие хозяйств. Многие, если была возможность, уходили в Финляндию и Эстонию.

Обстановка несколько улучшилась после заключения мирных договоров с Эстонией в феврале 1920 года и Финляндией в октябре того же года. Тринадцать деревень образовали эстонскую Ингерманландию. Однако предложения Финляндии об установлении ингерманландской автономии на всей территории Ингерманландии российской стороной приняты не были. Вместе с тем официально было заявлено, что ингерманландцы получат все права национального меньшинства, в том числе местное самоуправление и культурную автономию. Эмигрантам обещали амнистию.

В полном объеме эти обещания не были выполнены никогда, хотя в годы нэпа положение в экономике и культуре ингерманландских крестьян и всего населения заметно улучшилось. Была проведена земельная реформа и увеличены земельные наделы беднейшему крестьянству. Например, моему отцу к его единственному гектару добавили еще один. После отмены продразверстки крестьяне стали умножать поголовье скота. До начала коллективизации даже самые бедные семьи в нашей деревне имели по 3 — 4 коровы, а в более крепких хозяйствах держали по 10 — 12 голов. Скот выпасали в лесу, сено косили на лугах. Со сбытом проблем не было. Петроград покупал молоко и молочную продукцию всю без остатка, успешно продавались здесь картофель и овощи, грибы и ягоды, дрова и сено.

В тот период благоприятные сдвиги произошли и в культурной жизни. Во всех сельских местностях открывались начальные школы на финском языке, а с 1929 — 30 годов — и неполные средние. Одна из них начала работать в 1933 году в Лембалове, в бывшем помещичьем имении, туда я и поступил. Обучение проводилось у нас на финском языке, русский преподавался как предмет, а с шестого класса мы начали изучать и немецкий.

В первое время учительский состав комплектовался из выпускников ленинградского финско-эстонского педагогического техникума, позднее учителей с высшим образованием стали готовить на финском факультете ленинградского Педагогического института им. Герцена.

В конце двадцатых годов в Ингерманландии было открыто еще одно учебное заведение для детей из национальных меньшинств — финско-эстонский сельскохозяйственный техникум в Рябове, близ Всеволожского, где мне довелось учиться.

В Токсовском районе, в Рандолове, в начале тридцатых годов была открыта школа, где на финском языке обучали бухгалтеров, бригадиров-полеводов, заведующих фермами для колхозов, а в Ленинграде — финская партийная школа, которая готовила, главным образом, культработников.

При сельских Советах открывались клубы, в деревнях — избы-читальни, в районных центрах — дома культуры. В Ленинграде успешно действовал финский Дом просвещения, а в нем — квалифицированная театральная труппа и оркестр. Именно там начался творческий путь скрипача Синисало и аккордеониста Суни, впоследствии известных деятелей музыкальной культуры Петрозаводска.

На финском языке выходило три газеты. Они, а также книги на финском языке печатались в Ленинграде, в типографии «Кириялая» на Полтавской улице, где работало и финское книжное издательство.

Русский город и ингерманландская деревня жили бок о бок, помогая друг другу. Так было бы и дальше, если бы в 30-е годы не начала осуществляться политика уничтожения ингерманландского села и его жителей.

Начало конца

Первый удар — так называемое раскулачивание более или менее зажиточных крестьян в 1930 — 31 годах. По данным исследователя Тойво Флинка, в процессе раскулачивания были вывезены в отдаленные места 18 тысяч ингерманландцев. В моей памяти сохранились события тех лет. Людей вывозили без предупреждения, зачастую ночью, причем выселяли не только зажиточных крестьян, которые в свое время пользовались наемной рабочей силой, но и таких бедняков, как Матти Пекки из нашей деревни Мустылово, который имел всего два гектара земли, двух коров, лошадь и пятерых малолетних детей. Крики, плач оглашали деревню. Остававшиеся пока бедняки несли отъезжавшим кто что мог: одежду, посуду, продукты...

Вывезенные крестьяне распределялись по разнарядкам НКВД туда, где требовалась даровая рабочая сила: на торфоразработки, в Хибинские горы для добычи апатитов, в засушливую Среднюю Азию, где организовался хлопководческий совхоз «Пахта-Арап». Состояние здоровья людей во внимание не принималось. Мою сестру Любу вместе с мужем Семёном Хусу вывезли в мончегорскую тундру и зимой поселили в палатке, где сестра через два месяца родила и тут же потеряла ребенка. Условия труда были ужасными, ни одеждой, ни приличным питанием выселенных не обеспечивали. Среди них стали быстро распространяться эпидемические заболевания. Люди, без всякой вины оказавшиеся в непривычных климатических условиях — то слишком холодных в тундре, то слишком жарких в Средней Азии, то просто в торфяных болотах без соответствующей одежды и обуви, — болели и умирали.

Второй удар по ингерманландскому народу был нанесен в 1936 году. Из приграничных деревень Карельского перешейка — Мустылово, Хипелияги, Коркеамяги, из всего Лембаловского района, Мийкула и многих других сел (всего около ста) — были вывезены все, до единого человека.

Только теперь нам стало известно, что эта и предыдущая акции были заранее спланированы. Еще 4 марта 1930 года бюро Ленинградского обкома ВКП(б) приняло постановление о выселении местного населения из погранполосы, чтобы «обеспечить безопасность границы рядом с Ленинградом». Местным населением на границе с Финляндией были ингерманландские финны, жившие там в течение многих веков. Тем самым было нарушено обязательство советского правительства, данное Финляндии в связи с заключением мирного договора в 1920 году, сохранить условия национально-культурного развития ингерманландских финнов.

25 марта 1935 года поступило распоряжение НКВД СССР об очистке пограничной зоны Ленинградской области и Карелии от кулаков и антисоветских элементов в порядке репрессии. Под эту чистку попали все жившие там ингерманландские финны. Бедняки и середняки стали кулаками и антисоветскими элементами.

Моя семья — одна из многих

Нас выселили в мае 1936 года. На вопрос, почему нас прогоняют из своих домов и со своей родины, чиновники НКВД отвечали: «Вывозим подальше от войны». Начиная с 1932 года здесь шло строительство долговременных огневых точек, дорог и других сооружений. Готовились к войне.

Мне тогда было 14 лет, я учился в 7-м классе лембаловской неполной средней школы, но мне не разрешили остаться даже на два месяца, чтобы закончить школу. Мой отец Николай Степанов был тяжело болен, уже три года он страдал туберкулезным менингитом. К весне болезнь обострилась, отца нельзя было трогать с места, но на просьбу оставить нас с отцом дома нам ответили отказом. Драматическая коллизия разрешилась сама собой: отец скончался 3 мая. Похоронили его на лембаловском кладбище 6 мая, и в тот же день, попрощавшись с отцом, мы простились с домом и родиной навсегда.

На станции Васкелово нас погрузили в товарные вагоны и повезли неизвестно куда в обход Ленинграда. Через несколько дней остановились на станции Уйта, в пятистах километрах от Ленинграда в направлении Вологды.

В наших покинутых деревнях оставались исправные дома, колхозные хозяйственные постройки, которые впоследствии не заселялись и не использовались. А после войны их просто не стало. Оказавшись в родных местах через 22 года, я увидел поля, заросшие травой и деревьями, засоренные колодцы. Так же выглядели бывшие села Лембаловского района и в мой более поздний приезд, осенью 1991 года, спустя 55 лет со времени депортации коренного населения.

Что ожидало нас в Вологодской области? На станции Уйта нас встречали колхозники на подводах-телегах, запряженных слабенькими лошадьми. Привезли в село Нижнее, где расселили в заброшенных домах по две-три семьи в каждом. На бедных песчаных почвах колхоза шли весенние полевые работы. Мне велели идти в лес, где пасутся лошади, поймать одну, запрячь и начинать бороновать поле. Этим я исправно занимался до конца пахоты. Потом послали сплавать лес на реке Колбе. Там я и работал, пока не уехал учиться во Всеволожский финско-эстонский сельскохозяйственный техникум, что в Ленинградской области.

В те времена, как известно, колхозники не имели паспортов и были фактически собственностью колхозов, как когда-то крепостные — собственностью помещиков. Несмотря на это, некоторые люди, в основном молодые, все же выезжали на свой страх и риск из мест ссылки, возвращались в Ингерманландию и, если везло, поступали там на учебу или устраивались работать.

В 1937 году пришла новая беда: в местах ссылки многие мужчины были безвинно арестованы НКВД. Как правило, они пропадали на веки вечные, оставляя многодетные семьи в горе и нищете. Так бесследно исчезли в недрах НКВД Пекки Иван, Пекки Матти и многие другие крестьяне нашей деревни.

Их семьи были вынуждены бесплатно работать на фермах колхоза. Жена моего погибшего на войне брата Семена — Катерина Левонен, оставшись одна с пятерыми детьми, задаром проработала на ферме телятницей 25 лет.

Третий тяжелейший удар был нанесен советским правительством по народному образованию и культурной автономии ингерманландцев в 1937 — 38 годах. В Ленинградской области были закрыты все учреждения культуры на национальном языке: школы, училища, техникумы, финский факультет пединститута, дома культуры, в том числе ленинградский финский Дом просвещения и его театр. Были прекращены издание газет и выпуск радиопередач на финском языке, закрыто финское издательство и все финские церкви. Шли повальные аресты деятелей культуры, учителей, специалистов — в том числе эмигрантов из Финляндии, прибывших в СССР после поражения революции 1918 года в Финляндии, а также в годы экономического кризиса. Среди них был муж моей сестры Франс Хавулинна — высококвалифицированный столяр и охотник, преподаватель нашего техникума Лейно и многие другие.

После трех курсов моего обучения во всеволожском техникуме наше агрономическое отделение было переведено в беседский техникум Вопосовского района, что в западном районе Ингерманландии. Здесь вместе с нами учились эстонские и русские студенты.

Летом 1940 года я окончил его и был направлен на работу агрономом-семеноводом плюсского районного отдела сельского хозяйства Ленинградской области. После нескольких месяцев работы меня призвали в армию — в город Ровно, неподалеку от польской границы.

Война и новые испытания

На фронте я был уже в первый день войны и воевал до самого ее конца, сначала на Юго-Западном фронте, потом на Западном и Третьем Белорусском. Победу встретил в Восточной Пруссии. Однако далеко не всем моим соотечественникам выпало достойно защищать родину. И не было в том их вины.

При наступлении немцев многие тысячи ингерманландцев отступали к Ленинграду под защиту войск Красной Армии. В их числе были мой брат Иван Лавонен с семьей, моя сестра Хилма Лавонен с маленьким ребенком и многие другие родственники и знакомые.

Вся эта масса людей оседала в пригородных деревнях Всеволожского района.

Мужчины пополняли ряды защитников блокадного города, женщины, дети, старики участвовали в оборонных работах.

Люди искали спасения в Ленинграде и не знали, что уже готовились предательские решения советского руководства. Государственный Комитет Обороны СССР и Военный совет Ленинградского фронта 3 апреля 1942 года приняли постановление об изъятии из действующей армии военнослужащих финской национальности и переводе их в рабочие колонны НКВД, то есть — в концлагеря. Те постановления в отличие от нынешних выполнялись ретиво и мгновенно. У советских граждан было отнято конституционное право на защиту отечества. Из армии отчислялись люди, добровольно, в первые часы войны вставшие на защиту родины, даже Герои Советского Союза.

Всех воинов-ингерманландцев отправляли в концлагеря Урала, главным образом, в Челябинск. Моего брата Семена Лавонена эта участь не постигла лишь потому, что он погиб в начале войны в боях под Псковом.

9 июля 1942 года Государственный Комитет Обороны СССР и Военный совет Ленинградского фронта приняли постановление «О высылке из Ленинграда и пригородов социально опасных элементов», а 26 августа того же года — новое постановление «Об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пограничных районов Ленинграда».

В суровую морозную зиму 1943 года через Ладогу по разбитому льду, под обстрелом везли на открытых грузовых машинах плохо одетых, голодных, замерзших людей, среди которых было более 25 тысяч ингерманландских финнов, в том числе детей и стариков. Были там моя шестидесятипятилетняя мать, сестра Шура Курхинен, ее муж Павел, дети Оскар и Эйла, мой брат Иван Лавонен с женой Айно и детьми Суло и Люли, родной брат Павла Курхинена Иван с женой и тремя детьми и много других знакомых и родственников.

За Ладожским озером, в Шиферово эвакуированных ингерманландцев погрузили в товарные вагоны и повезли на восток. Много людей погибло в дороге от голода, холода и болезней. Умерла и жена моего брата Ивана — Айно. Сам он с двумя малолетними детьми был отправлен в Красноярск, а с началом навигации — пароходом еще дальше, до таежного города Енисейска. Поселили их за Енисейском, в поселке Подтесово.

По дороге к семье брата присоединилась моя старушка мать. Сестру Шуру с мужем и двумя детьми отправили в город Ачинск под Красноярском.

Узнав об эвакуации моей семьи из блокадного Ленинграда, я недоумевал: почему их отослали так далеко? Лишь после войны мне стало известно, что их увезли из блокадного Ленинграда отнюдь не для спасения, а как ссыльных, которых лукаво называли спецпереселенцами.

По приезде на место их постиг еще один удар: все мужское население было собрано и увезено обратно, в трудовые колонии НКВД города Челябинска — настоящие концлагеря, окруженные колючей проволокой и охраняемые войсками НКВД.

Сюда отправили и моего брата Ивана, не приняв во внимание того факта, что в подтесовском бараке остались его двое малолетних детей и шестидесятипятилетняя мать — все они были нетрудоспособные. В концлагере муж моей сестры Шуры Павел Курхинен встретился со своим братом Иваном. Муж другой сестры, Любы, Семен Хусу, — со своим братом, привезенным туда из Средней Азии. Оба они там и погибли. В челябинских трудовых колониях содержались ингерманландцы, отозванные с фронтов Великой Отечественной войны, включая тех, кто был награжден орденами, медалями и звездами Героев Советского Союза за храбрость, проявленную при защите Отечества. Их «вина» состояла лишь в том, что в документах в графе «национальность» значилось — «финн».

Сколько их там было собрано и сколько похоронено, можно узнать лишь из архивов НКВД, но если из двух братьев Хусу погибл оба, то статистика эта в любом случае трагична.

Едва не спасшиеся

А что стало с ингерманландцами, попавшими под немецкую оккупацию? Их судьба была не слаще.

Для немцев в отличие от советских властей они были такими же советскими гражданами, как русские и прочие народы СССР, и исполняли тяжелую трудовую повинность: на торфо- и лесоразработках, погрузочно-разгрузочных и оборонных рабо-

тах. Суровые зимы 1941 — 43 годов, голод, болезни унесли много жизней. Об этом подробно написано у Хелены Миеттинен в книге «Ингерманландцы — народ без земли» (Хельсинки, 1980).

Но вот в 1943 году между немецкими и финскими властями состоялись переговоры, в результате которых десятки тысяч ингерманландцев (по мнению известных исследователей Тойво Флинка, Хелены Миеттинен, Эйно Карху и других, около 63 тысяч) были вывезены на пароходах через Финский залив в Финляндию и размещены в разных местах страны. Их обеспечили жильем, одеждой, работой и питанием. Со временем они даже обзавелись домашним скотом. Среди них оказался мой родной брат Николай с семьей. Он получил квартиру в районе города Лоймаа и работал шофером.

Некоторая часть ингерманландцев, однако, все же была вывезена в Германию, Польшу и не избежала бесправной участи других угнанных туда советских людей.

Сотни наших братьев и сестер, оказавшихся в немецких концлагерях на территории Эстонии, передавались эстонским крестьянам в качестве батраков, зачастую обращались с ними скверно и даже порой возвращали своих единовѣрных братьев в гестаповские лагеря. Об этом мне рассказывали ингерманландцы, сами батрачившие на эстонцев, сейчас они живут в Питкяранта.

Но вот кончилась тяжелейшая и кровопролитнейшая из войн, которые знало человечество. Это породило надежду на лучшую жизнь у всех людей на земле. Ждало улучшения своей участи и многострадальное население Ингерманландии.

В побежденную Финляндию нахлынули представители командования Советской Армии, уполномоченные заниматься репатриацией советских людей на Родину. Ингерманландцам обещали вернуть дома и все имущество. Кому не хочется увидеть родной край и снова поселиться в собственном доме!

55 из 63 тысяч вывезенных в Финляндию финнов вернулись в СССР. Но были жестоко обмануты. Их принудительно вывезли на лесоразработки в Псковскую, Калининскую, Новгородскую, Вологодскую и Ярославскую области. В калининские леса «вернулась» и семья моего брата Николая. Разумеется, никто не приготовил им там нормальных условий жизни. Фактически они считались ссыльными и были обязаны проходить унижительные проверки и фильтрацию. Жили в землянках.

В порядке исключения

После окончания войны я служил в авиации в Восточной Пруссии, потом в Западной Белоруссии. Осенью 1945 года попросил отпуск и поехал в Сибирь, чтобы забрать оттуда мать и детей брата. Заглянул по пути в Ачинск, к сестре Шуре, где она работала учительницей в школе и жила с двумя детьми в маленькой комнатухе.

Доехав до Красноярска, я узнал, что пароходы на Енисейск уже не ходят. Выручили в военкомате, посадили в одну из трех открытых грузовых машин без тентов, которые при двадцатиградусном морозе шли до Енисейска — километров 400.

Приехали в суровый послевоенный зимний Енисейск. Ноги окоченели в хромовых сапогах, шинель тонкая. Спасибо исключительному гостеприимству сибиряков. Старшина Каргин, с которым мы познакомились по пути из Красноярска, пригласил меня в свой теплый сибирский дом, где сам не был уже 4 года.

Было так приятно видеть его радостную встречу с женой и сыном. Попарились в жарко натопленной бане, угостились сибирскими пельменями.

Но мне надо было ехать дальше. Оказалось, что Подтесовский затон находится на другом — правом берегу Енисея. А период для переправы самый неблагоприятный — ледоход, по-здешнему — шла шуга. Связь с правым берегом отсутствовала, даже почта не ходила. Что делать?

Обращаюсь в местное управление госбезопасности. Принимает меня начальник в звании капитана. Излагаю свою просьбу: отпустить мою старую мать и двух маленьких племянников со мной к месту моей службы в Западной Белоруссии.

Да, подтверждает капитан, ваша мать и ее внуки числятся в списках спецпереселенцев и не имеют права никуда выезжать. Но, учитывая ваши военные заслуги, я напишу коменданту Подтесова, чтобы он отпустил их с вами до Ачинска, где живет ваша сестра. А вы будете ехать через Красноярск, зайдите в краевое управление КГБ,

оставьте там заявление лично на имя Лаврентия Павловича Бери. Опишите ваши заслуги, награды, думаю, вашей маме, сестре и племянникам разрешат переехать к вам.

На вопрос, как переправиться через Енисей, мне ответили, что нужно ждать, когда станет лёд. Но как ждать, когда на исходе деньги и продукты и дорог каждый день? Помог случай. Нашлись смельчаки — четыре человека, среди них одна отважная женщина. Всем им надо было переправиться на тот берег, и они взяли меня в свою группу. Арендовали лодку и стали переправляться. Было страшно: трещит лёд, наваливается на лодку, мы выскакиваем на льдину, перетаскиваем лодку через нее и снова спускаем на воду. И так десятки раз, Енисей в этом месте имеет ширину около четырех километров. Наконец вечером, когда уже стемнело, мы пристали к правому берегу. Мокрый по пояс, поскольку провалился в мягкую шугу, я прошел пешком 22 километра и в 12 часов ночи постучал в дверь барака, где жила моя мама. Мы не виделись около шести лет. Полугодные и полураздетые, мама и племянники жили в маленькой комнатухе вместе с другой семьей. Не описать нищеты, которая их окружала. Четырнадцатилетняя племянница Люли работала на строительстве дамбы наряду со взрослыми.

Я думал о своей матери. Вдова. Два сына и брат погибли, защищая советскую власть, третий сын — я — четыре года сражался за Родину против немецко-фашистских захватчиков, еще один сын трудился в одном из челябинских лагерей. И за все это советская власть отплатила ей годами ссылки.

Подтесово тогда представляло собой лагерь без колючей проволоки, вполне интернациональный. Довелось встречать там и ингерманландцев с Карельского перешейка, и сына подполковника бывшей литовской армии, и финнку, эмигрировавшую с родителями из Финляндии в тридцатые годы, и еврейских девушек, и коренных сибирячек. Подавляющее большинство населения составляли женщины. Иногда под конвоем проводили колонну власовцев. Комендант поселка милостиво разрешил мне увезти маму и племянников. Через две недели, когда Енисей стал, соорудили из детских лыж сани, упаковали скудное имущество, попрощались с соседями, знакомыми и рано утром — в путь.

К моменту прибытия в Красноярск иссякли последние съестные припасы. К счастью, у меня нашлись военные талоны, и с разрешения коменданта станции мы получили хлеб и колбасу, что было большой радостью детям и маме. Наконец добрались до Ачинска. В единственной комнате сестры Шуры нас стало теперь семеро, но все же мы были вместе! На следующий день пишу заявление на имя Бери. Прошу разрешить моим близким переезд к месту моей службы. Еду обратно в Красноярск, в краевое управление КГБ. Велят возвращаться в часть и ждать ответа из Москвы. Собираюсь в дорогу. К сожалению, маму и сестру с детьми приходится пока оставлять в Ачинске. Семья слишком большая, кормиться нечем, и я отваживаюсь без разрешения увезти с собой хоть племянницу Люли. Около недели пути пассажирским поездом — и мы в поселке Кадуи Вологодской области, где жили еще две мои сестры, с которыми мы не виделись более семи лет. Это было Рождество 1945 года. Новый, 1946-й — первый год без войны, — мы с Люли встретили вместе с ними.

Приезжаю в холодный, голодный, израненный Ленинград. В Ольгине нахожу племянницу Лелю, в общежитии — другую племянницу, Тамару. Узнаю, что моя самая старшая сестра Аня и ее семнадцатилетний сын умерли от голода. Поклонился их могилам.

И снова в путь — в Западную Белоруссию, к месту службы. На душе тревожно за оставленных в Сибири мать, сестру, племянников.

Весной получаю письмо от сестры Шуры, в котором она сообщает, что ее пригласили в районный отдел КГБ и объявили: в ответ на мое заявление Москва разрешила моим родственникам вернуться на родину.

В середине лета мать, сестра Шура, ее дети и отпущенный из трудового лагеря муж сестры Павел прибыли в Юкки, пригород Ленинграда, и поселились в своем доме. Возвращались в родные места и некоторые другие спецпереселенцы, получившие персональные разрешения. Но многие остались в далекой Сибири. Мой брат Иван, его сын Суло, внук Женя похоронены в сибирской земле.

И снова беда

Не успели некоторые «возвращенцы» устроиться в родных местах, как весной 1947 года последовал новый тяжелый удар по ингерманландскому населению.

7 мая 1947 года Совет Министров СССР издал распоряжение о запрете для финнов поселяться в местах прежнего проживания в Ленинграде и области. На основании этого вердикта все вернувшиеся из ссылки и репатриированные из Финляндии ингерманландцы должны были снова покинуть исторические места своего поселения в течение 24 часов. Но если раньше голодных и больных ссыльных вывозили в Сибирь за казенный счет, то теперь каждый должен был находить собственные средства. В паспортах ставилась отметка о запрещении жить в Ленинграде, в области, а также в Эстонской ССР.

Кстати, в Эстонии обосновались к тому времени тысячи ингерманландцев, которые были там нужны как рабочая сила для восстановления хозяйства республики, но и эстонское правительство ничего не сделало для спасения их от выссылки.

Мою многострадальную семью снова постигла участь изгнанников. Теперь они следовали в Карелию.

Сестра Хилма и ее муж — кузнец Рейно Пелконен с двумя маленькими детьми устроились было работать в совхозе в районе Кекегольма, но тут снова пришло распоряжение: выслать их еще дальше, поскольку Кекегольм присоединили к Ленинградской области, а 26 ноября 1948 года Президиум Верховного Совета СССР издал еще один кощунственный указ — «О поселении навечно репрессированных народов и запрете выезда из ссылки». Дальше ехать было некуда.

Настали новые времена, и вопрос о возвращении в родные места репрессированных и депортированных народов зазвучал во весь голос. Но об ингерманландцах словно забыли. Наш народ не упоминается в документах по национальным проблемам.

На Украине реабилитируют бывших бандеровцев, на совести которых много крови. В Прибалтике возвращают имущество лицам, которые с оружием в руках боролись против властей. В чем виноваты ингерманландцы? Почему им не возвращены их отнятые дома или не возмещена их стоимость?

Почему на Карельском перешейке, в бывшем Токсовском районе, безлюдны большинство деревень? А ведь эти места по красоте, бывало, сравнивали со Швейцарией! Почему никто не живет в Лембалове и в расположенных за ним деревнях?

Почему не восстанавливаются культурные учреждения ингерманландцев, которые действовали до 1937 года?

Известный борец за восстановление прав ингерманландского народа Тойво Флинк еще в 1989 году писал в газете «Советская Карелия» о плане развития культуры и материальной поддержке ингерманландского народа. Якобы такой план был передан двум президентам, Михаилу Горбачеву и Мауно Койвисто. Однако он увяз, видимо, в бюрократическом болоте. Во всяком случае, о нем ничего не известно.

Разве не имею я права спросить, где мой дом в деревне Мустылово, откуда меня насильно вывезли 6 мая 1936 года? Верните мне его. Где отцовский земельный участок, который он своими руками расчистил от леса и распахал?

Все это больно и обидно. Но страшнее всего то, что ингерманландцы утратили свою культуру и язык. Мне довелось встречаться в Ленинграде с ингерманландцами, которые пережили блокаду, прошли сибирскую ссылку, вернулись, но совершенно забыли родной язык.

Вопросы о воссоздании финских школ, библиотек, клубов, книгоиздательства и газет в местах компактного проживания ингерманландцев до сего времени не только не решены, но и не подняты. В результате, по данным хельсинкской организации «Инкеринпимито», за последние годы более семи тысяч ингерманландцев эмигрировали в Финляндию. И это в то время, когда в самой Ингерманландии, например, на Карельском перешейке, прекрасные земли пустуют с 1936 года. «Финляндия объявила, что все ингерманландские финны могут вернуться на родину своих пращуров и получить там права гражданства. И люди поехали, потому что на родине отцов и дедов их не принимают и несуществующей вины с них не снимают», — писал Э.Карху.

Но разве в этом выход из положения? Каждый народ должен иметь возможность свободно жить и полноценно развивать свою культуру на исторической родине, но для этого ему нужна помощь и поддержка тех, кто имеет власть.

Дитер Гро

Россия глазами Европы

300 лет исторической перспективы



Гердер: переместится ли в Россию европейская культура?

Тема России занимала Гердера с первых литературных опытов — с «Оды Петру III» по случаю возвращения этим русским императором Восточной Пруссии Фридриху Великому — и до последних лет жизни. Здесь мы впервые встречаем у западноевропейского автора, замышляющего создать философию истории, наброски к проблеме «Европа — Россия». Было бы неправомерно объяснять этот интерес лишь биографическими обстоятельствами, так как Россия никогда не могла бы стать для него проблемой без определенных исторических предпосылок. Юный Гердер с четырнадцати до восемнадцати лет учился в университете Кенигсберга, покоренного войсками императрицы Елизаветы Петровны, и уже в этот начальный период своей жизни обратил внимание на Россию и ее историю. Назначение на должность помощника ректора церковной школы в Риге (1764), благодаря чему двадцатилетний Гердер стал российским подданным, еще более закрепило его интерес. Набросок «Оды Петру I», относящийся к этому времени, свидетельствует о том, что он все глубже входит в русло привычных просветительских суждений о Петре Великом. Мы видим в оде царя, несущего свет «погруженным в ночной мраки лесам» и ведущего страну в новый земной рай. В статье Гердера «Имеем ли мы ещё и теперь народ и отечество древних?» (1765) Петр I также предстает «создателем нового отечества» и «великим отцом».

Однако вскоре обращенные в прошлое фантазии Гердера конкретизируются и обретают реальное отношение к современности и к будущему. Поэтому вполне закономерно, что в ходе этого развития взглядов место Петра I как идеального правителя занимает Екатерина II. В своих заметках, относящихся ко второй половине 60-х годов и содержащих мысли о просвещении народов, Гердер приходит к заключению, что эта задача не по плечу «только одним философам», что она может быть решена лишь в союзе с правителями. Воспитание должно быть «политически-человеческим и одновременно религиозным... чтобы одно не противоречило другому, чтобы все человечество стало просвещенным. Мысли, душевные силы, гений — никакого принуждения, никаких привилегий...» Размышляя о России, он продолжает: «Замыслы российской императрицы — ее планы, предложения и т. п. В Германии все завершено, но тут еще многое следует сделать, например в Лифляндии... Надежда на Украину и т. д.».

Критика Европы должна была поставить перед Гердером, жившим тогда в Риге и непосредственно наблюдавшим европеизацию России, вопрос: переместится ли в Россию европейская культура? Для него это было не праздным теоретизированием, а вопросом, имевшим решающее значение для всего его тогдашнего существования. Гердер исходил из того, что «каждая нация... переживает свой золотой век лишь единожды»...

В «Журнале» («Дневнике»), т. е. в записках, сделанных Гердером во время поездки из Лифляндии в Нант в 1769 году, он приходит к окончательному убеждению, что Европа скоро погрузится в сон, но «великое дело совершенствования национальной культуры еще предстоит Востоку».

С какими же представлениями о России приступает Гердер к своей задаче «начать дело, которое будет длиться вечность» и станет содержанием его жизни — «историей, трудом»? История здесь — это «история прогресса и сил человеческого духа во взаимовлиянии всех времен и народов!», а труд — применение увиденного и усвоенного в прошлой истории к будущей действительности, которую еще предстоит создать. Эта действительность не одинакова для вся и всех, она индивидуальна, она лишь образец, то необходимое, что предвзательно должно быть как бы усвоено народом, прежде чем его можно будет использовать, ибо «ни одна страна, ни один народ, ни одна история» не идентичны с другим. Культивировать следует самобытность нации, будить то, «что в ней спит, но должно действовать». Предпосылкой этого является, таким образом, познание нации и ее истории. История народа — это для Гердера и история человечества, поскольку история человечества как нечто целое осуществляется лишь народами: несущими в себе человеческое — на этот раз как понятие качественное.

Суждения Гердера о Петре I все еще позитивны, хотя он уже считает, что тот не отвечает его идеалу государственного деятеля. Зная мнение Руссо и будучи от него зависимым, Гердер тем не менее исходит из собственного анализа. Он считает, что Россия находится на ложном пути и, чтобы действовать там, ему пришлось бы отказаться от своих надежд. Лишь дистанцировавшись от России, Гердер получил возможность иначе оценить роль Петра. Для того, кто вознамерится усовершенствовать Россию, не должно существовать никаких «особенностей» русского народа, не ведущих его к добру. Отсюда проистекает жажда подражать «хорошим задаткам нации, которая... стоит на верном пути». Из «многих маленьких диких народов... должна возникнуть культурная нация» — скажем, Украина как «новая Греция». В хитрости, лени, простоте нравов — всюду Гердер склонен усматривать начатки добра. Лишь одно вызывает у него серьезную озабоченность: в основу своих реформ Екатерина закладывает «побудительную причину, которой нация пока не обладает, — честь». Русский бесчестен «по природе», считает Гердер, он — «раб, стремящийся стать деспотом». Что может дать в этом случае законодательство? Честь внедрить оно не в силах, а без чести само бездейственно. Таким образом, государство не располагает никакими движущими силами. Если бы на самом деле правил «закон, а не царственная персона», тогда можно было бы изменить порядок вещей. Однако надежда на нового Монтескье, которым Гердер сам хотел бы стать при царском дворе, позволит преодолеть эти трудности. Очевидно, Гердер не вполне понимал Монтескье. Верно, что дело в добродетели, но ее нельзя насадить насильно или преднамеренно.

Прибыв в Нант, Гердер узнает о победах России над турками, и надежды, высказанные им в «Журнале», получают новый стимул. Он решает начать работу над сочинением, которое хочет отправить Екатерине, «чтобы она и ее деяния, — как пишет он Бегрову, — во всем блеске продемонстрировали то, чего не смог достичь покойный Монтескье, так как в его пору столь великих дел еще не было». Он сообщает далее, что приступил к исследованию, которое «распространится ни больше, ни меньше, как на формирование народов, времен, законов, правительств, самого века. К этой работе меня побуждает не просто дух времени и мода, к которым я снисхожу, но в гораздо большей мере мое личное положение в мире и в том месте, куда судьба поместила отведенный мне отрезок жизни, — то правительство, при котором я живу, и та огромная культура, которую дарует мне вся Европа». Яснее сказать о том, из каких побуждений возникли его намерения в отношении России, было невозможно.

Мы не склонны переоценивать перемену, происшедшую с Гердером в Бюкебурге, однако ее значение для нашей темы обусловлено уже тем, что практическое просвещение народов теперь уже не стоит больше в центре его замыслов, и это привело к тому, что на некоторое время Гердер потерял Россию из виду. Его бюкебургский труд «Еще одна философия истории для образования человечества» (1774) ясно свидетельствует, что, невзирая на всю полемику с просветительской философией истории, против которой в первую очередь и направлено его сочинение, он по-прежнему увлечен ею. Философия истории Гердера бюкебургского периода является, пожалуй, первой философией истории, в которой непосредственной темой становится распространение европейской цивилизации в мире. Основу сочинения составляет не прежний оптимизм, а,

напротив, понимание «старения европейской культуры». Однако вера Гёрдера в прогресс еще достаточно сильна, чтобы мысль об упадке культуры как бы поддержать мыслью о ее перемещении. «Старение» Европы все больше превращается в уверенность, что «узкая полоса культуры» распространится, вероятно, на весь мир.

Таким образом, русские (характерно, что нигде в сочинениях Гёрдера нет указаний, идет ли речь только о них или о славянах вообще) становятся одним из народов, призванных перенять европейскую культуру и нести ее дальше в том процессе, который автор обозначает как «путь Бога через народы». Однако в 1779 году на горизонте его размыслений вновь всплывает Украина: «Возможно, колесо судьбы повернется вспять, страны Причерноморья и те, что окружают их, оживут и возрадуются в новых греческих науках и искусствах».

Только в своем фундаментальном труде «Идеи к философии истории человечества», части которого увидели свет между 1784 и 1791 годами, Гёрдер вновь глубже занялся русскими и славянами. Здесь уже достигнута та ступень гёрдеровского мышления, где цель истории становится исторически имманентной. «Царство гуманности» провозглашается «истинным Божьим градом на Земле», «гений гуманности... палингенетически переселяется в народы, поколения и роды». Социальная история, история человеческих действий и устремлений, вводится в русло всеобъемлющей естественной истории. И всюду обнаруживает себя Создатель, которого можно опознать лишь в силах, направляющих природу и историю. Он способен переносить естественную необходимость законов природы на историю, ибо «все, что может существовать, существует, все, что может произойти, произойдет».

Какое же место в истории, понимаемой как развитие всех возможностей, занимают славянские народы, которым Гёрдер посвятил в четвертой части своей главной книги отдельную главу и которые «на земле занимают больше места, чем в истории»? То, как он изображает их, скорее походит на идиллию, чем на историческое описание? По Гёрдеру, славяне как миролюбивые народы никогда не претендовали на мировое господство и подвергались жестокому угнетению со стороны своих соседей. Не было бы ничего удивительного, если бы их поработили, хотя Гёрдер не объясняет, почему это не произошло повсеместно. Ближе к реальности описание неблагоприятного географического положения славян: с одной стороны, они находились близко к немцам, а с другой — тылы их были открыты для набегов восточных татар, от которых они много пострадали. «Но колесо все переменяющего времени вращается неудержимо, и славянские народы, столь глубоко павшие, некогда столь трудолюбивые и счастливые, пробудятся наконец от своего долгого тяжелого сна, сбросят с себя цепи рабства, станут возделывать принадлежащие им прекрасные области земли — от Адриатического моря до Карпат и от Дона до Мульды — и отпразднуют на них свои древние торжества спокойного трудолюбия и торговли»¹. Упоминание о «цепях рабства» и то, что автор в этом пассаже ограничивается упоминанием лишь об одной части территорий, занимаемых славянами, в то время как несколькими страницами ранее он перечислял все населенные славянами земли, обнаруживают современный Гёрдеру исторический контекст. Славяне, о которых тут идет речь, это не все славяне, а лишь определенная их группа, на освобождение которых от турок надеется Гёрдер. Вторая война русских с турками объясняет также и прямо противоречащую его исторической концепции надежду на возрождение Греции — «греческий проект» Екатерины был известен во всей Европе. С ним связан также и гёрдеровский прогноз заката Османской империи.

Можно ли сказать, что все это не более чем политическая конъюнктура, давшая новый толчок юношеским мечтам Гёрдера, дремавшим со времени Бюкебурга? Утвердительно ответить на этот вопрос мешает нам то обстоятельство, что здесь перед читателем возникает совершенно иной, чем прежде, образ славянских народов. Гёрдер рисует уже не юношески мощных варваров — русские и их государственность не упоминаются вовсе! — которые унаследуют в будущем европейскую культуру, а миролюбивый народ, занятый земледелием и торговлей. Нет больше речи о перемещении культуры, европейская цивилизация и культура должны прийти к ним лишь постепенно, по мере своего распространения. Предпосылкой служит здесь то, что «законодательство и политика Европы со временем будут все больше поддерживать спокойное трудолюбие и мирные отношения между народами», способствуя их усердию и объединению. Новый гуманистический идеал, дальнейшее развитие юношеских мечтаний, утопичес-

¹ И. В. Гёрдер. Идеи к философии истории человечества. М., «Наука», 1977. С. 47.

кая вера в то, что «кабинеты могут враждовать друг с другом, государственные машины могут вести между собой войны, но отечества — никогда», уверенность в постепенном отмирании государства, концепция истории как прогресса человечества от изначального хаоса ко все более высокой организации общества определяют в значительной мере характеристику славянских народностей и ту роль, которую Гердер отводит им в будущем мире. Все выглядит уравновешенным, спокойным, и грядущее отдается во власть исторической необходимости и божьего промысла.

В «Письмах для поощрения гуманности» (1793—1797) Гердер выступает против всех тех, кто, видя «дряхление Европы», предсказывает «упадок и смерть всего человеческого рода». Почему западный уголок нашего северного полушария должен обладать всей культурой, спрашивает Гердер. Разве не может в будущем в силу событий, которые сегодня еще нельзя предвидеть, «стать метрополией какая-нибудь колония»? Что за беда, «если несколько засохших ветвей и листьев отпадут с мощного дерева? Другие займут их место и расцветут еще пышнее». Будет ли и Россия принадлежать к этим «пышным ветвям» на дереве культуры?

Давайте посмотрим, как пятью годами позднее, в «Адрастее», Гердер пытается ответить на этот вопрос. Петр I был величайшим из когда-либо живших героев, ибо такого звания заслуживает «не тот, кто разрушает, а тот, кто создает, кто из презираемого народа умеет создать нацию». Однако, несмотря на то, что Гердер приписывает «этому великому дикарю» «гениальную силу», в его аргументации дает себя знать весь тот путь, который философ проделал со времени своей юношески восторженной оды, посвященной Петру I. Россия могла бы обрести совершенно иной облик, утверждает он теперь, если бы Петр не поставил ее на голову, если бы вместо Петербурга сделал Азов ее столицей, «резиденцией в удачнейшем месте, в центре империи». «Отсюда огромная Российская империя вошла бы в Европу, не будучи ей в тягость». Сколько трудов и крови сберегла бы Россия! Едва ли можно оспорить, что Петр сделал из своего народа «искусную нацию», однако нельзя и утверждать, что русские стали первыми в «просвещении и образовании». Да и как могло быть иначе, полагает Гердер, если «у всякого растения есть свой календарь» и «даже величайшее усердие ограничено естественными возможностями». Тем, что Петр повернул свою империю новой гранью, он пустил ее равно как и своих последователей, по ложному пути, ибо сердце России находится как раз между Европой и Азией, а не в Европе. Россия представляет собой сегодня «стоячее море многочисленных народов, отличающихся языками, образованностью, нравами». Как бы успешно могла Россия соответствовать этому своему маргинальному положению, находясь в центральной точке Черноморского побережья! Это допущение позволяет Гердеру заглянуть в будущее: торговля и ремесла, труд и богатство переместились бы в Россию, области возле Черного и Средиземного морей, и России не было бы надобности вмешиваться в дела и заботы «маленькой Западной Европы» — «в своем великолепном срединном положении между Европой и Азией она без оружия повелевала бы миром». В завершение этой прекрасной картины Гердер даже признает за Грецией и Малой Азией возможность второго расцвета. Эти провинции он представляет себе через несколько столетий «дружественным центром Старого света». Однако в годы Петра еще не пришло время для возрождения, «национальный характер, греческие нравы и образ жизни, наконец, греческая церковь стояли прочно, как скала». Чтобы вернуться к реальности, Гердер привлекает понятие исторической необходимости: «Время диктует свои планы и свой образ действий, которые никому не дано предвосхитить; существующее положение вещей, то есть естественное разделение и естественные границы, должно в конечном счете определять все».

Понять, как Гердер оценивал Петра Великого, можно, лишь исходя из его концепции исторической необходимости. Петр увел Россию с ее «естественного» пути и потерпел неудачу, ибо опередил «естественное» развитие своего народа и действовал без учета его «календаря». Чтобы придать своему суждению наглядность, Гердер использует образ перевернутой, поставленной на вершину пирамиды. Соорудить посредством исторического действия прочное строение, полагает он, способен лишь тот, кто включается в русло истории, то есть движется в потоке необходимости...

Возвращаясь к приведенным выше мыслям Гердера о Старом свете и о колонии, способной стать метрополией, отметим, что он вряд ли сомневался в том, что Северная Америка станет центром Нового света. Поэтому можно сказать, что Гердер был одним из первых европейцев, на чьем горизонте будущего — пусть лишь на краткий миг — Россия и Северная Америка предстают как страны, которые поделят между собой мир,

и это для него одновременно означает, что оба государства вступят во владение европейским культурным наследием. Однако, согласно утопическому прогнозу Гердера о будущем человечества, эта возможность не сможет реализоваться как мировое противостояние.

Гердер был первым, кто осмыслил положение России в контексте определенной философии истории. Еще увереннее, чем в философии Лейбница, звучит у него мысль, что Россия вступает на смену «старой Европе». Несмотря на это, у Гердера не идет и речи о коренном изменении европейского самосознания — европейская культура не должна погибнуть, она распространится в любом случае, но центр тяжести ее переместится на Восток или на Запад, то есть в Россию или в Северную Америку. У Гердера, как и у Лейбница, самосознание Европы в своей основе не разрушается, этому препятствуют вера в прогресс и отсутствие конкретного исторического повода для такого разрушения, или, как у позднего Гердера, этот повод еще недостаточно осмыслен во всем его значении.

Можно сказать, что Гердер заложил основы для осмысления инобытия России и это осмысление обусловило кризис европейского самосознания, ибо только Россия, понимаемая отныне не как задворки Европы или только грядущий носитель европейской культуры, территория, куда эта культура, возможно, переместится, только такая Россия могла в будущем противостоять Европе как историко-географическое целое. Лишь последствия Французской революции и их полное осмысление позволили ответить на вызов, который Россия бросила Европе.

Россия глазами сторонников и противников Наполеона

Отрезок времени между 1789 и 1830 годами стал переходным периодом в отношении европейской интеллигенции к России. Именно тогда, на фоне европейского кризиса, возникшего с началом Французской революции, были заложены понятийные основы проблемы «Европа — Россия», окончательно включившие восточный колосс в расклад политических сил Европы.

Мы увидим, что отношение Западной Европы к России определялось тремя политическими антагонизмами. Прежде всего противопоставлением деспотии и свободы, или, иначе говоря, легитимности и революции, во-вторых, противоречиями между Англией и Россией, которые к началу 90-х годов XVIII века достигли своего апогея. К ним в середине и конце 90-х годов присоединилось еще одно, возникшее из традиционного противоборства между Францией и Англией противостояние, в котором Франция как «основная сила цивилизованной Европы» выступала уже против союза Англии и России. Таким образом, с одной стороны, эти антагонизмы определялись идеями Французской революции, с другой — более давним противопоставлением приоритетов на суше и на море. В какие взаимоотношения друг с другом должны были вступить эти противоборствующие идеи, было еще не ясно. Но вопрос заключался в том, какие из этих идей конструктивны для будущего отношения Европы к России.

В какой степени в Европе в конце XVIII и в начале XIX века воспринимали Россию как другой мир, хотя и редко понимая ее рационально, можно судить уже по тому факту, что к этому времени никто больше не возлагал надежд на возможность каким-то образом изменить эту огромную империю. Мир «Востока» — это понятие приходит теперь на смену «Северу» — внушал или страх, или надежды, его воспринимали как окончательно сформировавшийся один с сожалением, другие с восхищением. Политические решения определялись самим отношением к России — за нее или против — и усилиями понять ее самобытность.

Какое мощное влияние оказала война за независимость США на европейское самосознание, то есть каким предстало освобождение Северной Америки в свете событий 1789 года, становится ясно из письма барона Мельхиора фон Гримма Екатерине II от 31 декабря 1790 года. «Два государства, — предостерегает барон императрицу, — поделят между собой все преимущества духа, наук, искусств, вооружения и промышленности: Россия на востоке и ставшая в наши дни свободной Северная Америка на западе, а мы, другие народы сердцевины Европы, мы будем слишком отсталы, слишком унижены, чтобы, опираясь на расплывчатую и ограниченную традицию, пом-

нить нечто иное, кроме того, чем были мы прежде». Это было, пожалуй, одно из первых свидетельств, в котором соединились все три важнейших элемента консервативного европейского пессимизма, а именно: потрясение от революции, освобождение Северной Америки и предполагаемая сила России, страны, не затронутой революцией. Эти три исторических фактора решительным образом изменили самосознание европейской интеллигенции, независимо от ее политической ориентации. Изменения эти сквозят и в письме Гримма: Европа теряет статус сердцевины мира и тем самым перестает быть центром мировой истории.

Прогноз Гримма тем удивительнее, что в 1790 году столь эпохальное событие, как революция, еще не было осмыслено во всем его значении и радикальные историко-философские выводы еще не были сделаны. Только в 1796 году увидели свет «Манифест равных» Сильвиана Марешаля и Гракха Бабефа и «Размышления о Франции» Ксавье де Местра. Авторы обеих книг протискивались сквозь современные события, пытаясь постигнуть революцию. Однако эти попытки сразу же обнаружили свою диалектическую структуру: в сущности, революция была пересена в бесконечность. Один из авторов, побежденный¹, рассматривал ее в эсхатологическом аспекте, двое других, которые еще — или уже — не принадлежали к победителям, — в утопическом.

Лишь разделы Польши сделали очевидным тот раскол, в который было ввергнуто российское общество. Еще до этих событий англо-русские противоречия достигают своей высшей точки в так называемом «Russian Armament» 1791 года, за которым, видимо, стояли торговые и геополитические соображения английского правительства, так и не претворенные в жизнь, поскольку вскоре потеряли какую-либо реальную цель. В связи с этим требования поддержать Турцию для того, чтобы противостоять исходящей от России угрозе Египту и торговле в странах Леванта, раздавались не только в многочисленных памфлетах, но начиная с 1790 года и в парламенте Великобритании. Не удивительно, что тогда Турция в противоположность России рассматривалась тут как гарант европейского равновесия. Призрак вторжения России в Индию, этот «кошмарный сон» антирусской английской публицистики XIX века, вновь всплыл как предпосылка для строительства Суэцкого канала. В той или иной мере мы имеем здесь дело с геополитическими аргументами. Но вскоре после этого мы встречаем именно в Англии сочинение, объясняющее такую необходимость другими мотивами. В «Письмах о предмете соглашения государя и разделе Польши и Франции», появившихся между 1792 и 1793 годами, автор отстаивает тезис о том, что Англии приходится переходить на сторону Франции, дабы получить возможность оказать достойное сопротивление союзу «деспотических держав»: России — Пруссии — Австрии. Этот тезис подкрепляется прогнозом возможного раздела Франции странами Тройственного союза. Здесь впервые выдвигается мысль о возможности русского вторжения в Индию с севера — а не через Малую Азию — и подчеркивается русская опасность для Европы после упразднения польского барьера. Варварское население России, читаем в «Письмах», стоит вне истории, так как оно еще неспособно усвоить идею свободы. Россия, эта «Северная Америка Европы», неуязвима благодаря своему географическому положению, отныне становится прототипом государств, которые противятся «победному шествию свободы». Не случайно первая формулировка альтернативы «деспотия или свобода» принадлежит англичанину, который сочувствует Франции. Если Франция была еще слишком озабочена собственными обстоятельствами, а Германия — слишком занята противоречиями с Францией, чтобы видеть, что сулит общий фронт всех «прогрессивных» сил против России, то на позицию Англии повлияли два существенных момента: островное положение и свежее воспоминание о только что осознанных конфликтах с Россией.

Формула, которая здесь звучала как «свобода против деспотии», для другой стороны означала «легитимность против революции». Союзники уже давно обратили свои взоры к России. Вильгельм, барон баварский, был, пожалуй, первым, кто в своем сочинении «Чего можно ждать от России для блага человечества в современных критических обстоятельствах?» (1794) рассчитывал на то, что Россия спасет Европу от «французских орд». Впрочем, он достаточно честен, чтобы подвергнуть критике деспотизм и крепостное право в России, однако, по его мнению, они шли уже к своему концу, да и у кого еще можно было искать помощь и спасение от «французского терроризма», как не у России! Пятью годами позже подобное мнение находим у Э. А. В. Циммермана, который в I томе своего труда «Франция и Америка» призывает обратить взгляд на

¹ То есть Ксавье де Местр (прим. ред.).

Север, чей «возвышенный ум» послужит «руководством к великому совместному делу, к уничтожению чудовища [революции]».

Разделы Польши еще более приковали взоры Европы к России. Литературными последствиями этих событий стали польская мечтательность и польская поэзия, а также превращение восхитительного идеала — Екатерины — в образ женщины с ненасытным честолюбием и жадной властью. В глазах «прогрессивной» Европы Россия заняла теперь однозначное политическое положение. Полонофилия и русофобия пришли к синтезу, в котором оба мотива взаимно усиливали друг друга. Политическая позиция полонофилов опиралась на те же идеи, что и русофобов. Момент политического доноса ощущается уже в стихотворении Кондорсе «Польский ссыльный в Сибири». Однако выносимый Россией приговор не ограничивался лишь сферой политики. Против разделов Польши выдвигались аргументы законности и равновесия в Европе. Пробуждающийся национализм также давал повод к антирусским заявлениям. Прежде всего эти мотивы мы находим в опубликованном в 1794 году сочинении «Попытка доказательства, что российская императрица не была в силах и не имела возможности гарантировать Вестфальский мир». Автор, убежденный монархист, рисует опасность уничтожения Россией «германской свободы», что станет возможным после того, как опустится польский «шламбаум». Образ колосса на глиняных ногах, который может рухнуть на Германию и всю Европу под собственной тяжестью, является в этом сочинении современным вариантом старых опасений, что Россия-де, «восточная держава», угрожает равновесию в Европе. Эта мысль почерпнута из высказываний короля Швеции Густава III, который дополняет свои прогнозы тем, что приписывает России стремление стать «универсальной монархией». Отклоняя революцию, должны ли мы именно Россию «делать гарантом нашей конституции? И позволить со временем казакам и татарским ордам расправиться с нашей свободой? Нет, никогда!».

Людвиг Тимотеус Шпитлер в том же году также настаивает на том, что Россия «стремится стать универсальной монархией». Во второй части своего «Очерка истории европейских государств» он констатирует, что со времени Французской революции в Европе не существует равновесия. И тут слышится влияние идей Густава III. В отношении будущего Шпитлер настроен оптимистичнее, поскольку полагает, что благосостояние народа, к чему стремится российское правительство, с течением времени может подорвать его деспотизм. Книга «Мир Пруссии с Францией» (1795), оправдывающая Базельский мир с позиций Пруссии, требует создания союза Пруссии, Швеции, Дании, Франции и Турции, чтобы помешать «молнии с востока» разгромить оплот Европы и обесценить себе «господство на суше». Жизненные интересы Австрии могут быть соблюдены лишь внутри предлагаемого союза, равно как и интересы Англии, которая «заботится только о господстве на морях и не думает о том, что владелец луга обязательно съест доску, чтобы перейти через ручей...».

У немецких радикальных публицистов, приверженцев идей 1789 года, выступления против России точно совпадают с идеями внутриевропейского передела. Эрнст Людвиг Поссельт (1763 — 1804) был первым, кто в своих «Европейских анналах» (1795) сформулировал применительно к России и Франции ключевое понятие ситуации вражды-дружбы в начинающейся всевропейской войне — «деспотия против свободы», предсказывая через сто лет решительную битву между этими двумя странами — остальные европейские государства к тому времени будут завоеваны той или другой стороной. Современная история, провозглашает он, явится рубежом эпох наподобие всемирного потопа или основания Рима. Неприступность, воинственный дух, «чудовищная мощь» — это лишь некоторые качества, приписываемые Поссельтом «колоссу, в котором происходит устрашающее кровосмешение силы и дикости со всеми искусстваами Просвещения... И кто поставит границы перед этим азиатским Гекулесом, который уже опасно европеизировался? Кто сможет вопреки всему ходу вещей поверить, что государство с такими колоссальными внутренними силами... внезапно остановится?». Тезис Буасси д'Англа, что Россия должна рухнуть под своей собственной тяжестью, решительно опровергается Поссельтом, в частности, его ссылками на завоевательные планы России: «Российский кабинет обозначил свой план столь грандиозными и четкими линиями, что отказ от него невозможен». Таким образом, Европе придется выбирать между «опасностью красного колпака и кнутом». Георг Фридрих Ребман (1768 — 1824) также прибегает к символу кнута, не видя никакой разницы между красным колпаком санкюлотов и деспотическим кнутом. Он уже принял решение. В его «Политическом зодиаке» (1798) Екатерина предстает таким мясником, низводящим своих подданных

ниже уровня животных. Однако это состояние не может продолжаться вечно, и потому восстание «неизбежно». В своем «Новейшем сером чудовище» (1797) он характеризует Россию как азиатскую державу, чьи «орды — гунны нашего времени». «Они вечно стремятся на запад, выступая против лучшей части человечества... Россия хотела бы с помощью железного жезла властвовать над сушей, как Англия — над морями». События, полагает Ребман, скоро подтвердят прогноз Руссо. Ребман также прибегает к образу колосса, который может рухнуть на Европу. Однако уже через несколько лет мы читаем у него же следующее признание, вызванное реакцией на глубокое разочарование в дальнейшем развитии Франции: «Истины, которые под напором страстей, в рокоте народного гнева были утрачены на берегах Сены, возможно, будут подхвачены на набережных Невы, в заснеженных просторах Сибири и принесут со временем великолепные плоды». В этом неожиданном превращении ненависти к России в надежду на «русское будущее» мы впервые сталкиваемся с тем феноменом, который впоследствии еще не раз будет нам встречаться у самых радикальных — не обязательно в политическом смысле! — публицистов и философов, например, у Генриха Гейне, Эрнеста Кордера и Бруно Бауэра. Выбор в пользу России станет для них выходом из дилеммы, в которую они — у Гейне это продолжалось недолго — были ввергнуты в результате крушения своих идеалов на Западе. Надежда на Россию давала им, таким образом, последнюю возможность жить предвосхищением будущего, тем более что свое интеллектуальное существование они считали пророческим. Можно *mutatis mutandis*¹ провести параллель между ними и французскими традиционалистами, которые как раз были крайне консервативными противниками России, и тем самым точно так же разрушить взаимозависимость понятий консерватизма и русофильства, как традиционалисты разрушили связь прогрессизма с русофобством. Лишь революция 1917 года избавит обе группы от их дилемм, но при этом поставив одну из них, прогрессивную, перед новым выбором: стать европейцем или же радикальным интеллигентом, для которого Москва — это новая Мекка.

Подобно Ребману двадцатидвухлетний Йозеф Гёррес, приверженец идей 1789 года — «этого блистательного триумфа века», занимает в своем «Красном листке» позицию, направленную против России и Англии. Он провозглашает на будущее «английско-меркантильную и русско-политическую всемирную деспотию»; Россия предстает «колоссом, слепленным из снега, льда и крови», держащимся на «кнуте и страхе», без которых этот монстр сразу же развалился бы на свои разнородные элементы.

«Еще до революции, — развивает свои мысли Гёррес, — под многократными ударами азиатского чудовища треснуло по всем швам государственное устройство Европы», а после революции деспоты бросились в объятия российского деспотизма и все вместе навалились «под оглушительный лай и дикий вой на новое свободное государство», чей вождь — Наполеон — стремится к «спасению человечества». Фигура Наполеона становится фоном для исторической концепции автора, которую он развивает несколькими неделями позже. «Современность является дочерью прошлого и матерью будущего, и если существуют установленные, вечные законы, в соответствии с которыми человечество должно выплыть из густого тумана варварства на свежий воздух культуры», то следует принимать во внимание также дни деспотизма и варварства, ибо во всех «деспотических государствах» имеются «недвусмысленные симптомы», указывающие на скорый кризис. «Если на Западе пришла к расцвету система, контуры которой просматриваются, то кто является гарантом ее равновесия? Неужели восточный колосс, великий мастер-разрушитель некогда владевшего миром деспотизма?» Это Гёррес тоже отрицает. Своеобразие его концепции состоит в том, что противоречие «деспотия — свобода» или «варварство — прогресс» он поднимает до уровня романтической концепции истории, согласно которой одна из сторон непременно должна победить, а другая, то есть Россия, — потерпеть поражение.

В связи с турецкими проблемами в Англии все больше акцентировали русскую опасность. Из всей массы публикаций конца XVIII — начала XIX века, имеющих отношение к России и свидетельствующих о большом интересе, проявляемом к этой стране, выберем одну брошюру. В «Очерках о военных и морских силах Франции и России» (1803) прогнозируется предстоящая решительная схватка между царем и «консулом». Если они направят друг на друга свои враждующие легионы, то все переговоры,

¹ Внеся необходимые изменения (латин.).

соглашения о нейтралитете, демаркационные линии останутся лишь пустыми словами. Тогда придет конец кабинетным войнам, потому что последним мотивом борьбы будет стремление к Босфору и Дарданеллам, от которых сегодня зависит и завоевание западного мира. В этой решительной битве будут только победители и побежденные, ибо речь тут пойдет не больше и не меньше, как о «мировой диктатуре». При всем своем негативном отношении к английским спекуляциям по поводу споров между Наполеоном и Россией автор все же ясно сознает, что с Французской революцией в европейских войнах возникли новые элементы и что старая политическая система Европы начала рушиться.

В повороте Гёрреса и Ребмана против российской и английской деспотии уже находит выражение то, что обнаружится ниже, когда мы станем рассматривать французскую публицистику конца 90-х годов: разборы конкретной ситуации на военных фронтах вытесняются размышлениями о глобальных исторических противоречиях. Распространенные аргументы, подтверждающие это, можно найти уже во французском памфлете 1796 года «Размышления о естественных процессах союза Оттоманской Порты, Франции, Польши, Швеции и Дании». Безэтого союза, утверждает в «Размышлениях», вся Европа находилась бы в опасности «оказаться под всеобъемлющим господством варварской Московии». Но еще 22 января 1795 года Франсуа Антуан Буасси д'Англа (1756 — 1826) в своей речи перед Конвентом, исходя из политической ситуации, прогнозирует будущее России. «Россия претендует на господство на суше так же, как надменный Альбион — на море», — привычно формулирует он. Традиционные французо-английские противоречия расширяются здесь под влиянием политической конъюнктуры: Франция в одиночестве выстает как форпост Европы против ее настоящих врагов! Народы Европы, продолжает он, должны объединиться против «варварских народов» Российской империи, вместо того чтобы изнурять себя в противоборстве с Францией, от этого выигрывает только Россия. «Народы, разве вы забыли, как вторжения готов и вандалов разрушили Римскую империю, более мощную, единую и опасную, чем сегодня вы! — восклицает д'Англа, обращаясь к Европе. — Я знаю, можно с уверенностью утверждать, что Российская империя — это колосс на глиняных ногах, что коррупция опережает там созревание здоровых сил, что рабство, существующее в этой стране, лишает всякой прочности ее силу, всякой энергии — ее начинания. Да, она огромна, но по большей части пустынна; роскошна, но бедна; она уже сейчас слишком обширна, чтобы ею можно было управлять, и, распространяясь вширь, она тем самым идет к самоуничтожению... Но, прежде чем погибнуть, этот гигант раздавит вас... Он упадет, но прежде превратит вас в руины, не развалится, пока не разграбит вас, не рассеет и не уничтожит». Из тезиса Буасси д'Англа о том, что Франция является форпостом Европы против ее противников, то есть против России и Англии, становится ясно, что во Франции идеи 1789 года уже не считались определяющими при оценке политических противоречий. Если против Германии использовались идеи «естественных границ», то для объяснения традиционного противостояния между Францией и Англией — концепция антагонизма суши и моря. Перед французской публицистикой встала проблема, как включить Россию, континентальную державу, в эту же систему противостояний.

Борьба Франции с Англией, рассматриваемая в свете этих противоречий, может кончиться лишь победой одной из сторон, ибо «английское правительство не может сосуществовать с Французской республикой», читаем в самом, пожалуй, блистательном памфлете, обращенном против островной морской державы, — в сочинении Бертрама Барера де Вьзака «Свобода морей, или Английское правительство без маски» (1798). Франция, как представитель Европы, выступает не только против Англии, но и против России, которая вместе с Англией наносит вред Европе: «Гений Петра Великого повернул бы его к Франции: он стремился цивилизовать Россию. Амбиции же его наследников обратили их к Англии: они стремились к подавлению Европы». Намеченное здесь противоречие между цивилизацией и варварством развивается дальше. «Англия и Россия находятся вне Европы. Морские волны и северные льды отделяют ее от двух самых ярых врагов». Так противостояние приводится к кратчайшей и точнейшей формуле, в которой обозначенная выше проблема решена очередным отлучением России от Европы: теперь речь шла о войне цивилизованной страны против моря и нецивилизованной суши. Если Англия — это воплощение варварства на море, то Россия — на суше. Это мнение не только Барера, но и многих других его соотечественников. Например,

Эшассерио в своем сочинении «Политическая картина Европы в начале XIX века и способы обеспечения продолжительности общего мира» (1802) считает, что Европе грозят «морская держава» и «три века опустошения». О том, что все эти аргументы нельзя расценивать исключительно как пропаганду, свидетельствует памятная записка Талейрана, составленная в сентябре 1806 года, где утверждается, что Россия якобы «всегда являлась пособником Англии против Франции» и «была чужда политике других европейских стран» и что поэтому целесообразно укрепить Пруссию как оплот против этой страны.

Идеи противостояния России и Франции должны были стать реальностью после объявления Наполеоном континентальной блокады Великобритании (1806). Однако Россия, располагавшая всеми средствами цивилизации в своем правительстве и всеми силами варварства в своем народе — уже хорошо знакомая нам антитеза, — могла, как оказалось, дать отпор, хотя «великий полководец и его несравненные воины», вероятно, «на какой-то момент могут заставить дрогнуть, гиперборейского колосса». Так утверждает анонимная брошюра 1807 года «О политике и прогрессе российского могущества». Это послужило точной характеристикой ситуации, сложившейся к началу похода 1812 года против России, которая наилучшим образом отражена в сочинении Монгайара «Вторая война в Польше, или Размышления о гражданском мире на континенте и о независимости Европы на морях» (1812). Нападение Наполеона интерпретируется здесь как выступление цивилизации против варварства; Наполеон олицетворяет, по мнению автора, все цивилизованные нации, их культуру и науки, мир на суше и свободу на море против варварства Англии и России; старый враг — властительница морей Англия — стал еще опаснее благодаря союзу с дикой Россией, этим воплощением варварства на суше. В своей книге «Океанократы и их сторонники, или Война с Россией 1812 года» Видеман считает, что с формированием противоборствующих сил — Европа с одной стороны, и Англия с Россией с другой — будет достигнут их окончательный антагонизм. Теперь существуют только две большие коалиции!

В этот момент — когда было признано, что общественное мнение Европы пока не полностью настроено против России — наполеоновская пропаганда выпустила еще одну книгу — «О прогрессе российского могущества, начиная с его зарождения и до начала XIX века» Лёсюра (1812) — где впервые публикуется так называемое «Завещание Петра Великого», то есть основные положения этой фальшивки. В дальнейшем она долгое время, чуть ли не до 60-х годов XIX века, будет играть все возрастающую роль в европейской антирусской публицистике. Обязанное уже самим своим появлением пропагандистским планам, «Завещание» отлично подходило для этой цели.

Однако было бы ошибочно предполагать, что этой враждебности со стороны приверженцев Наполеона противостояла позитивная оценка России его противниками. Фридрих фон Гентц, еще в 1804 году возражавший против переоценки возможностей русского нападения на Францию, писал три года спустя, что «большая, опасная и, к сожалению, неизлечимая иллюзия возлагать надежды на помощь России... ввергла Австрию, Пруссию и Англию во все их нынешние бедствия». Барон фон Штайн также скептически настроен в отношении России. Если Австрия будет разбита, пророчествует он в своей памятной записке от 1808 года, то Франция при поддержке всей Европы выступит против России. Эта страна, находящаяся во власти развращенной бюрократии и населенная рабами, «сможет лишь короткое время выдерживать битву с цивилизованной Европой». Россия для этого автора, как он пишет в одном из писем 1810 года, «это скотская масса, не представляющая собой никакой привлекательности в настоящее время и не имеющая перспектив на будущее».

Эрнст Мориц Арндт, лишившийся по причине своей враждебности Наполеону места доцента в Грейфсвальде и вынужденный искать прибежища в Швеции, опубликовал там в 1808 — 1809 годах в журнале «Северный контролер» статью «Краткое слово о России и ее отношении к остальной Европе до и после Петра Великого». Арндт полностью находится под давлением французско-русских противоречий, почему и пишет, что «и в будущем даже наилучшим образом вооруженной державе будет не по силам поколебать этого колосса. Мы поистине недалеки от той эпохи, когда этот вопрос и государство Екатерины будут подвергнуты страшному испытанию». И тем не менее он не склонен приписывать этому колоссу чрезмерную прочность, поскольку его оценка России сплошь негативна. Хотя он и причисляет Россию к Европе, но считает, что

русские «и по сей день могут быть лишь отдаленно причислены к *остальным* европейцам», и русский человек остается варваром и никогда не будет принадлежать к «благородному, свободному и цивилизованному миру». «Очевидно, что по сравнению с остальными своими европейскими современниками русские еще пребывают в варварском состоянии. Таковы их нравы, такова их конституция, таково их правительство, их государственные перевороты и революции». Выявляя причины этого, Арндт придает особое значение «близости и общению с варварами», по-новому оценивая исторически обусловленную отстраненность россиян от Европы и их неблагоприятное географическое положение. Мы не имеем тут возможности вникать в «антропологию» Арндта и вынуждены, ограничившись вышесказанным, констатировать, что зерно различий между Россией и Западной Европой он понимает как различие между сушей и морем. Вот как звучит одно из многочисленных высказываний на эту тему: «Если подумать о деятельной жизни, которую сулит России море, о просвещении и силе, которые она благодаря этому может обрести, то каждый легко поймет, как ничтожны ее выходы к морю и как длинны ее дороги по сравнению с большинством других европейских стран». Именно поэтому Россия отстала в развитии так, что «никакое гражданское состояние, никакое гражданское устроение не могло до сих пор преуспеть в этой несчастной стране, рабский дух и поныне веет над пространной империей». На вопрос, чем могла бы стать Россия в будущем, Арндт отвечает: «Я не говорю, что русские не могут быть другими в силу низости своей природы, этим я лишь утверждаю, что они не станут другими, пока продолжается униженность их состояния». А изменится ли это состояние, зависит от «мудрости и высоты духа» русского дворянства: «Сумеет ли оно благородно отказаться от своих сословных интересов, сможет ли из вялого и праздного деспота стать уверенным в себе и полным сил гражданином, чтобы из рабов вырос благородный и свободный народ? От этого зависит всё». Мы видим, что и Эрнст Мориц Арндт воспринимал противоположность Западной Европы и России не в плане революции и контрреволюции. Политическая позиция предписывала ему рассматривать различие Западной Европы и России в аспектах варварства и цивилизации, выдвинув идеал замкнутого и нерасчлененного государства и доступного моря, оплодотворяющего прилегающие к нему страны торговлей и культурой. Аргументация, в отношении России приблизительно совпадающая с французской, которая противоречие суши и моря интерпретирует все же иначе.

Накануне войны между Францией и Россией, которая была предсказана не только антирусски настроенной французской публицистикой и от которой многие современники ожидали разрядки европейской напряженности, на тему «Россия и Европа» высказывались также и некоторые немецкие литераторы. Жан Поль в своих «Третьих сумерках над Германией», опубликованных в 1810 году в «Немецком музее», иронизирует над страхом современников перед варварской Россией. В предшествующей истории, полагает он по поводу опасности для европейской культуры, якобы исходящей от русских, непросвещенные вторгшиеся народы всегда растворялись в массе просвещенных. Будь это не так, мировая история, «начинавшаяся с численного преобладания варваров», не могла бы развиваться под влиянием более высокой культуры. Пойди Россия по европейскому пути, опасность была бы еще меньшей. «Велика ли беда, если свет переходит от одного народа к другому, распространяется все шире и ни с одним из них не расстается, не оставив там хотя бы проблесков света?» Вспомним прогноз Гёрдера о будущем Америки: если Европа и впрямь впадёт в варварство, то Северная Америка «разыграет во второй раз наш исторический спектакль», и тогда «Старый свет» станет, возможно, когда-нибудь ее плантацией. В созданном Жан Полем образе России мы встречаем один из последних живых побегов тех просветительских надежд в отношении России, в которых пессимизм в итоге уступает место вере в прогресс.

Иначе обстоит дело у Генриха фон Клейста. Европейское самосознание испытывает в его творчестве столь сильное потрясение, что уже никак не реагирует на привычную диалектику истории и само квалифицирует себя как низшую точку падения, как поворотный пункт. В статье Клейста «О театре марионеток» (1810), где он рисует картину будущего мира, полностью технизированного и рационализированного, на сцену выбирается медведь, который как своего рода мистический символ воплощает мир Востока, то есть России. Благодаря безошибочному инстинкту этот зверь превозмогает любую технику. Он одолевает опытного рапириста, ибо попросту не реагирует на его уловки. Борьба с медведем бессмысленна, победа над ним невозможна. Прежде чем наполеоновская армия обрушилась на Россию, бессмысленность этого

акта нашла выражение в пророческих видениях поэта. Клейст, противник Наполеона, воплощавшего Запад, сознательно отдавал тогда предпочтение Востоку. В Берлине начала XIX столетия под впечатлением француско-российских противоречий, перед которыми отступали на второй план прусско-французские, выражать такое предпочтение было, естественно, легче, чем сорока годами позже левогегельянцу Бруно Бауэру. В середине века неизмеримо возросли интеллектуальные затраты, потребные для провозглашения такой позиции.

Понятно, что война России против Наполеона на стороне Австрии и Пруссии на какое-то время приглушила, по крайней мере в Германии, антирусские настроения. В глазах многих Александр I предстал освободителем Европы от гнета Франции. На этом мнении сошлись самые различные политические и философские течения. Полагали, что нецивилизованные народности России занесут с Запада глубоко в Азию «превосходные ростки более высокой культуры». Многие считали, что в России можно найти истинных друзей Германии. Если Наполеон является воплощением деспотизма, то Александр — свободы. Гентц еще весной 1814 года смотрел дальше. «Все, что Россия могла получить благодаря Наполеону, — писал он Меттерниху, — она (к большому ущербу для Европы) получила сполна... Помогая Бурбонам вернуться на трон, царь Александр закладывает основы политической системы, которая наиболее благоприятна для России из всех возможных, но... к сожалению, и наиболее опасна для остальных стран». Лорд Кэстльри также разглядел эту опасность, которая может вырасти из слишком тесной зависимости Австрии и Пруссии от России: «Одна мощная военная держава подчинила два других, более слабых, находящихся в зависимости от нее государства и благодаря этому оказывает влияние на отдаленные части Европы».

Восстановление европейского равновесия — «вот что необходимо», требовал Вильгельм Бутте (1772 — 1833) в своем труде «Идеи о политическом равновесии в Европе» (1814). Он настроен оптимистичнее, чем упоминавшиеся выше государственные деятели и публицисты, ибо стал жертвой непосредственного впечатления от того, как Россия, «чтобы сохранить рабство», пожертвовала Москвой. Бутте слишком долго пребывал в этом идеологическом пространстве, чтобы суметь подняться в сферу трезвого политического мышления. В 1815 году он снова выступает в «Неизбежных обстоятельствах мира с Францией» против антирусской точки зрения. Если Россия когда-нибудь действительно пожелает стать универсальной монархией, она непременно развалится, «в то время как идея государственности может проявиться у множества соседствующих с ней и взаимодействующих друг с другом стран». Исходя из уже старых, но как раз в это время вновь возродившихся представлений, Бутте конструирует культурное предназначение России в Малой Азии и на Балканах. Отчетливо видно, как здесь делается попытка с помощью уже отработанной схемы удовлетворить новую политическую реальность. В 1814 году барон де Биньон публикует «Сравнительный доклад о финансовом, военном, политическом и моральном состоянии Франции и основных государств Европы». Он пытается доказать здесь, что разделы Польши послужили причиной всего, что за ними последовало. Поэтому независимость Польши должна быть восстановлена. Следующий пласт мотивации четко отделен от этого требования, так как автор тщится доказать, что у России и Франции в конечном счете общие интересы. Он проявляет излишнее усердие, заботясь также о том, чтобы предостеречь Европу, и особенно Австрию, от российской опасности. Эта путаница мотивов и целей показательна для тогдашней ситуации, которая была совершенно не прояснена относительно роли России в европейской системе государств. Биньон предполагает, что слабость Австрии по сравнению с Россией обусловлена тем, что существенную часть ее населения составляют славянские народы, которые симпатизируют России и никогда добровольно не пойдут против нее.

* Если в 30—40-е годы XIX века, в основном, были выработаны формулы, определявшие отношение России к Западной Европе вплоть до XX века, то в годы между Французской революцией и Венским Конгрессом на фоне начавшихся широкомасштабных исторических сдвигов возникло новое понимание феномена России. Вкратце остановимся на некоторых из этих понятий в их движении.

Можно было предположить, что с разделами Польши возникнет мысль о крушении «барьера», и то, что Россия была заклеимлена как нарушительница равновесия, относится к тому же ряду политических представлений... Мы не можем отнять у авторов право на личное мнение. Гораздо важнее то, что примерно в это же время Россию в

разных странах обвиняли в стремлении стать универсальной монархией, и это показывает, сколь большой вес ей приписывали. Не так уж важно, выдвигалось ли это обвинение всерьез или использовалось с пропагандистскими целями. После устранения польского барьера Россия оказалась непосредственно на границе с Европой, а Османская империя была существенно ослаблена — это стало фактом расширяющейся российской экспансии и позволяло предполагать, что теперь на очереди Западная Европа. Было широко распространено представление о том, что постепенно очередь дойдет и до всех других стран. Если к этой изменившейся ситуации применить старое клише «колосс на глиняных ногах», то сам собой возникает образ колосса, готового обрушиться на Европу. И тот факт, что такое представление сложилось, пусть даже для использования в пропагандистских целях, является первым признаком наступившего к тому времени кризиса европейского самосознания. Сюда же относится и создание образа России, загнивающей еще до наступления зрелости. Такая формула подходила лучше всего, когда хотели суммарно высказаться о крепостном праве, коррупции и неоспоримых успехах России в области цивилизации и техники. Мнение разочаровавшихся в России просветителей о том, что она якобы переняла у Запада одни только пороки, было предшественником этой формулировки.

В 90-е годы XVIII века впервые всплыло понятие «мировая диктатура», заменившее «универсальную монархию». Это изменение указывает на распад прежней политической системы, который стал возможным лишь в результате революции. В 1796 году мы уже встретим в антирусской публицистике формулу: Россия якобы мечтает о «европейской диктатуре». Отныне прежняя формула о державе, стремящейся стать «универсальной монархией», которая употреблялась главным образом как пропагандистское оружие, не может больше считаться справедливой в обеих своих составных частях. Во-первых, потому, что «универсальная» предполагает замкнутость европейской системы государств, а замкнутости больше не существует, во-вторых, потому, что представления о реалиях новой государственности просто взорвали понятие «монархия» для определения самодержавного господства. Если замена одного из слов — «монархия» — в основном имела отношение к Французской революции и ее последствиям, то замена другого — «универсальная» на «мировая» — касалась главным образом вхождения России в европейскую систему государств.

О к о н ч а н и е с л е д у е т

Перевод с немецкого Б. Залеской

Пятрас Браженас

Возможно, мы встретимся

Ответы на вопросы «ДН»



Первая мысль, которая пришла в голову после того, как прочитал вопросы, была примерно такая: не мне они адресованы, не ко времени и не о литовской литературе они вовсе... Что делают в таких случаях? Любезно благодарят за предоставленную возможность высказаться и отговариваются нехваткой времени или подыскивают еще какой-нибудь предлог... Зайди речь о каком-то другом издании, и я скорее всего прибегнул бы к испытанному методу. Но по отношению к журналу «Дружба народов»? Журналу, который многие годы внимательно следил за развитием литовской литературы, печатал наиболее яркие произведения наших авторов и где я сам опубликовал не одну статью, не одну рецензию?.. Это было бы некрасиво, непорядочно. Даже если, как уж говорил, вопросы показались несвоевременными и вообще слишком трудными для меня... Поэтому даже в том случае, когда мои ответы станут восприниматься рассуждениями «не на тему», я все-таки решусь предоставить их вам, попадая по сути «под перекрестный огонь» собственных мнений.

1. Что изменилось в литовской литературе после распада СССР, появились ли новые мотивы, новые типы, новые подходы, новые ценности?

Должен признаться, первая часть этого вопроса, касающаяся изменений в национальной литературе после распада СССР, вызвала у меня нехорошее подозрение (хотя понимаю, что подозрительность — отвратительная болезнь наших дней). Я как будто услышал далекое эхо из отошедших времён, когда «Дружба народов» уже одним своим названием была призвана

утверждать определенные идеологические постулаты, за которыми было больше лицемерия, чем правды. По счастью, я как читатель прежде всего возвращаюсь в памяти к «Дружбе народов» восьмидесятих годов, когда журнал своей общественной ориентацией, принципами и критериями художественного отбора и впрямь согревал собственное название, дышавшее холодом официальной пропаганды. Так почему же я ошетинился против первой части вопроса? Потому что распавшийся Советский Союз, дружба народов и журнал под этим же названием являются понятиями столь различными по уровню и содержанию, которые сегодня просто не умещаются на одном общем мысленном пространстве. Дружба народов — когда словесно обозначенное явление соответствует содержанию, заложенному в это смысловое обозначение — чувство святое и неприкосновенное, его следует оберегать и лелеять, возможно, это даже гарант сохранения мира. СССР — последний имперский монстр на планете, который, даже умерев, распространяет вокруг себя десятилетиями копившийся запах гнили и яд замедленного действия. И то, что на воображаемой диадеме, венчавшей голову этого монстра, было выгравировано «дружба народов», так же кощунственно, как и «с нами Бог» на пряжках солдатских ремней у служителей другого монстра XX века...

О журнале «ДН» я уже говорил в самом начале. Могу добавить, это — змея, пригретая на груди монстра, которая не однажды его кусала. Конечно, не подобает литератору растолковывать собственные метафоры, однако во времена недоверия и подозрительности — простиительно: слово «змея» употреблю не как ругательств-

во (существует и такое употребление этого слова), но как символ исцеляющей силы.

И поэтому, понимая искреннее внимание журнала «ДН» к процессам, происходящим в знакомых ей (или ему. — П.Б.) литературах, я между тем хотел бы проигнорировать зафиксированную в первой части вопроса связь с фактом распада СССР. Хотел бы проигнорировать — ибо неточно охарактеризована ситуация. И тут важно не мое или чье-либо мнение, а объективная реальность, в которой такое глобальное событие, как распад СССР, и такое локальное явление, как литературный процесс (хотя национальные амбиции и самоуверенность пользуются подобным эпитетом), по сути — почти несообщающиеся сосуды. Не за последние пять лет, а значительно раньше умерли естественной смертью не столь уж многочисленные произведения литовской литературы, пытавшиеся языком искусства проиллюстрировать оставленную еще Сталиным правду о том, как вошли Литва и другие Прибалтийские государства в «великую семью народов». Факт агонии СССР не открыл, а лишь позволил публично, вслух объявить историческую правду, вернув понятию «мирная революция», связанному с репрессиями 50-х годов и цензурой последующих лет, его настоящее значение — аннексия и оккупация. В этом самом месте можно привести слова одного литовца, точнее, литовского писателя, оправдывавшегося перед своим коллегой — русским писателем: дескать, прости, брат, лицемерил. Ты, возможно, действительно не знал, как, каким образом нами, независимым государством, «управляли» в 40-е годы. Но мы это все знали... Только не перед каждым станешь вот так оправдываться, и прежде всего — не перед теми, кто прикрывался идеей дружбы народов, числясь нашими «братьями по перу», чьи романы и стихотворения когда-то мы переводили на литовский язык и кто сегодня, «позабыв» исторические границы России, без всякого чувства стыда шлет самых темных подонков из имперского прошлого, угрожая прочитым неблагодарных «прибалтов», — вот они-то, видно, хорошо понимали подлинную суть «освободительной» миссии...

Вот что значит «неосторожность» в формулировке, даже если она касается лишь части вопроса, впрочем, части, требующей «львиной доли» ответа, отодвигая в конец и «новые мотивы, новые типы, новые подходы, новые ценности». Понимаю, что можно было все перевернуть вверх ногами и, не реагируя на первую часть

вопроса, шире поразмышлять по поводу второй. Но это уже другая проблема: еще не хватает и нового материала, и хотя бы минимальной временной дистанции, чтобы прояснить такие вещи, а тем более их прокомментировать языком критики.

Осмелюсь утверждать, что в этом отношении мы все находимся приблизительно в одинаковом положении: все, что можно было не только осмыслить, но и публично (пускай иногда довольствуясь и опытом эзопова языка) назвать — названо, и даже с помощью художественных средств: социальная эрозия общества, отчуждение людей, деградация личности. То, на что было наложено табу в отношении Литвы — правда о 40-х годах, борьба с послевоенным сопротивлением, то, что «искажало», осложняло образ межнациональных отношений и т. д., еще дожидается своей очереди. Литовцы, оказалось, не слишком большие фанатики «писать в стол» — возможно, еще и потому, что те, кто очутился в эмиграции, компенсировали это честным словом, возвращение которого на родную землю и было самым важным событием последних лет. Можно только порадоваться, что политическая эйфория по поводу независимости не ввела в искушение художников слова, и они не стрясли с дерева, название которому творчество, как можно больше незрелых плодов. Несправедливо было бы утаить и трудности издания серьезной литературы, которые возникли с появлением прибыльного читателя, пролезающего повсюду. Посему и говорю, что «новые мотивы, новые типы, новые подходы, новые ценности», возможно, уже и зарождаются или даже родились, только еще не дошли до нас.

2. В каком контексте мыслите вы сейчас свою национальную литературу, что осталось от всесоюзного контекста, существует ли новый, какой: мировой, региональный?

Диапазон размышлений о контексте — в зависимости от характера и наклонностей размышляющего — мог бы быть очень широким: от признания многопланового контекста до отрицания его существования. Должен признаться, контекст — моя Ахиллесова пята. Припоминаю, еще в те давние времена один известный русский критик, знаток многонациональной советской литературы, дружески поучал меня, что следует освободиться от местнического мышления, возвыситься до уровня «союзных обобщений». Ничего не вышло из

этих уроков... Я признаю и цену компаративистский взгляд на литературы соседних народов, на литературы более широкого региона, а также мировую литературу, однако отношу этот взгляд к области академической науки — литературоведения. В центре внимания литературного критика все-таки прежде всего находятся отдельное произведение и наиболее близкие контексты первого плана: произведение в творчестве этого автора, произведение на фоне развития определенного жанра, чаще всего — произведение в контексте национальной литературы. Лишь самые значительные произведения, а они появляются не каждый год и даже не каждое десятилетие, становятся подлинными репрезентативными национальной литературы и могут представлять собою объект при изучении регионального или мирового литературного контекста. Оглядываясь назад и думаешь: многое ли из того, чему в свое время было суждено получить всесоюзное звучание, войти во всесоюзный контекст, сохранилось на сегодняшний день или хотя бы остается непреложным фактом для национальной литературы? Как ни вглядывайся — увы, не все и не всё. Что в таком случае стала бы означать ностальгия по когда-то имевшемуся контексту?

Вообще, очевидно, становится ясно, что ответ на вопрос, в каком контексте я вижу сегодня свою литовскую литературу, будет одинаково правильным даже при наличии двух крайних позиций (присутствие мирового контекста и отсутствие любого контекста), не говоря уже о возможных промежуточных, компромиссных вариантах ответа. И в самом деле, от всесоюзного контекста не осталось ничего, но и новый — региональный или мировой — тоже пока не возник. Признаюсь откровенно: из-за этого вовсе не хочется бить головой о стену или рвать на груди рубашку. Проживем и без этого самого контекста, который так или иначе всегда навязывался именно государством и властью, ими же и акцентировался.

А вот литературный контекст, который формируется десятилетиями и столетиями, в котором перекликаются гении-творцы далеких стран и регионов, который не требует от государства «вспомоганий», — такой контекст нужно и чувствовать, и оберегать. И не просто нужно, а прямо-таки крайне необходимо чувствовать, ощущать. В этом отношении мне — как читателю и даже как литературному критику — значительно важнее не вписывать литовскую литературу в какой-нибудь контекст, а как-то

не прозевать того, что нарождается в литературе соседних или далеких стран, обнаружить то, чего не было в моей собственной, а может, и вообще никогда не будет. Но это — уже зона третьего вопроса.

3. Что вы можете сказать о состоянии межлитературных связей, информации, переводе, обмене книгами, какие отношения будут теперь актуальны: двусторонние или какой-то новый тип духовного пространства?

А вот по этому поводу у меня и более определенное мнение, и более ностальгические чувства. Политические коллизии, неотвратимость которых была очевидна, а последствия непредсказуемы, особенно неблагоприятны для литературных связей, культурной информации, личных контактов. «Мастера культуры» перед лицом схожих коллизий не раз призывались ответить на вопрос, с кем они, и в который раз, увы, демонстрировали, что они отнюдь не с культурой, более вечной и более всеобъемлющей, чем все другие открытия человечества, а со своими партиями, идеологиями, классами, народом... Последнее слово я произнес, преодолевая огромное внутреннее сопротивление: народ, как и культуру, мне всегда хочется внести в список интегрированных, а не дифференцированных понятий. Увы, увы... Святое чувство патриотизма и выражающее его понятие в очередной раз превращаются в пародию, карикатуру на самое себя. Утешаться можно лишь тем, что это свойственно только небольшой части литераторов-творцов, исповедующих политическую активность или с гипертрофированными национальными амбициями, что большинство все-таки в это самое время тихо льнет и к своему народу, и к мировой культуре, что подобная тишина — единственная альтернатива ожесточенному крику, неизбежно им нарушаемая, но все-таки преодолимая.

Я не верю в себя как в футуролога и не возьмусь прогнозировать какие-то невообразимые направления культурных связей, а также их формы. Я реалист и понимаю, что политическое напряжение, военные конфликты, экономическая ситуация, в которой находимся все мы, только-только начинают формировать эру новых ценностей, будучи откровенно неблагоприятными для культуры. Вопросы культурных связей в повестке гуманитарных забот отодвигаются на последнее место. Если в этом и нет святотатства, то по крайней мере неловко говорить об оперативной инфор-

мации, новых переводах, обмене книгами, иных возможностях наполнения духовного пространства, пока льется кровь народов-соседей, когда опасность вызывает само скопление вооруженной силы на территориях чужих государств, когда миллионам грозит голод, пока улицы наших столиц пустеют с наступлением раннего вечера под напором волны насилия, а в столичных парках вырубают столетние деревья, спасая людей от стужи, пока, едва назвав различные формы геноцида, мы тут же начинаем чувствовать зубы собственного, национального геноцида, которые при сегодняшней нехватке медикаментов и недоступности из-за высоких цен, перегрызают артерии наиболее пожилым людям и облученным чернобыльским детям...

Если художник слова способен чем-нибудь помочь, пускай он прежде всего сде-

лает что-то там, где это еще хоть что-нибудь значит, и на том языке, на котором ему легче говорить и на котором его лучше понимают.

Если мы выживем, если энергетический кризис не вычеркнет из обихода такие понятия, как связь, коммуникации, транспорт, торговля, культурный обмен, то, возможно, мы встретимся после этого кошмара более чистыми, хорошими, будем разумнее хозяйничать, заботливо беречь и холить то духовное пространство, которое даже в страшные времена тоталитарного режима все-таки не осмелились разгородить ни с помощью границ, ни с помощью занавеса или колючей проволоки, ни с помощью идеологии или цензуры. Сохранить бы как-нибудь духовное содержание, а форма найдется...

Перевод с литовского

Михаил Одесский,
Давид Фельдман

Выйти живым из строя

Русская литература:
поэтика болезни, здоровья и труда



«Человек болеющий» — вечная тема литературы. Не сама болезнь (объект исследований не художественных, а собственно медицинских), но именно человек, его чувства, переживания. Здоровье же традиционно понималось как состояние «не-болезни».

Советская (шире — социалистическая) литература создала совсем иную традицию. Вне зависимости от наличия или отсутствия недугов критерием здоровья стала способность к «труду на благо общества» (пресловутая «трудоспособность»), болезнь же осмыслилась в качестве многоступенчатого испытания воли героя, борющегося за сохранение своего права (и смысла жизни) —

служить социуму. В итоге на уровне стереотипа мышления (специфически советского стереотипа) утвердилось понимание здоровья, ассоциируемое не с состоянием «не-болезни», но с состоянием полноценного служения социалистическому обществу, хотя изначально в русском языке понятия «здоровье» и «труд» даже противопоставлялись: синонимы слова «труд» — «страдание», «скорбь», синоним слова «больной» — «трудоваый»...

Избегая оценок (эстетических, политических и т.п.), мы попытаемся проследить основные этапы формирования нынешнего стереотипа — от литературы Древней Руси до литературы Страны Советов.



Вы ли мне целители? Христос бо ми есть целитель души и телу.

«Житие Григория Нового»

Итак, болезнь в литературе Древней Руси. Как правило, это не результат эпидемии и не психическое расстройство. Согласно традиционным представлениям, эпидемия — не столько болезнь каждого страдающего индивида, сколько напасть коллективная, по характеру аналогичная войне, голоду, стихийным бедствиям. В психических же расстройствах видели не телесный недуг, а захват бесами души человеческой: душевнобольной вроде бы и не тождествен сам себе — это уже другая личность. Для древнерусской литературы типично изображение так называемых повседневных соматических болезней — пе-

реживания, связанные с ними, непосредственно относятся к страдающему, который, в отличие от одержимого бесами, самотождествен, хотя и ущербен.

Недуг разрывает если не все, то многие социальные связи, почему и воспринимается как своего рода репетиция смерти, окончательно отлучающей от социума, лишаящей права на общение. Если «человек болеющий» не приемлет подобного отлучения, то перед ним, естественно, встает проблема борьбы с недугом. И поскольку средневековая литература несводима к беллетристике, не удивительно, что в Древней Руси литературными считались и тек-

ты, непосредственно отвечавшие на вопрос «как лечиться?». Вариантов ответа предлагалось три.

Первый из них содержится в молитвах-заговорах: текст сам по себе является исцеляющим средством, т.е. прочел — вылечил. Архаическая основа заговоров очевидна, хотя сохранились они в списках XVI—XVIII вв. и, безусловно, бытовали в христианской среде. Например, «Молитва об изгнании болезней» предписывает «взять воды чистой и ненапитой и в ту воду опустить крест над главою болящего», после чего отгонять «лихорадные болезни», заклиная их «святым мучеником Сисимием и предтечею Иоанном и четырьмя евангелистами». Святые в заговорах — стражи здоровья, а болезни — демоны, устрашающиеся креста.

Второй вариант ответа на вопрос «как лечиться» содержат своего рода самоучители. «Лечебник» (XVI в.) прямо указывает, что пользование им с функциональной точки зрения тождественно обращению к целителю: следуй написанному и «не востребуши лекаря». «Лечебник» деловит и «научен», однако в нем, как и в «Травнике» (XVI — XVIII вв.), прослеживается та же логика «христианизированного» магизма: название целебной травы «Петров крест» говорит само за себя, а хороша она, когда «жена скорбит месячно», равным образом — «от еретика и от напрасная смерти». При сборе же целебных растений «Травник» рекомендует просить благословение и у Господа, и у «матери-сырой земли», ибо «от земли трава, а от Бога лекарство».

Третий вариант ответа предусматривал полный отказ от использования магических формул и услуг всякого рода целителей. Избавления от недуга «человек болеющий» должен был искать только в церкви, у священнослужителей, а лучше — у святых. Лишь их дар исцеления — от Бога, лекарь же — фигура сомнительная: само слово «врач» происходит от «врать», «ворчать», т.е. первоначальное значение — «колдун», следовательно, обращение к колдуну-заклинателю небезопасно для христианина. В древнерусской литературе врачи постоянно посрамляемы святыми, лекарей высмеивают, им не доверяют. К примеру, в «Житии Григория Нового» мученик восклицает: «Вы ли мне целители? Христос бо ми есть целитель души и телу». И понятно, что при таком подходе самым эффективным «духовно-медицинским» средством считались святые мощи, «цельбоносные гробы», по определению князя

С.И.Шаховского. В Киево-Печерском патерике, например, повествуется о Симоне-варяге, который благодаря мощам тотчас «исцеле от ран», аналогично — заболевший Владимир Мономах сразу же «здрав бысть», а Северо-Русский летописный свод сообщает, что «у гроба святого Алексия митрополита чудотворца простило черныца Наума», хромого от рождения, который тоже «бысть здрав».

Отметим, что три варианта ответа на вопрос «как лечиться» при всех различиях (прочитать заклинание, обратиться к лекарю, прибегнуть к помощи церкви) основываются на едином, не формулируемом словесно, однако подразумеваемом представлении о здоровье как о благе. Причины такого единства вполне объяснимы. Убеждение в том, что здоровье — самодовлеющая ценность, характерно для сознания «безмолвствующего большинства». Массовый читатель искал в «христианской словесности» прежде всего соответствий своим убеждениям, и древнерусская литература не стремилась изменить его сознание радикально. Но если идея здоровья обычно не формулировалась словесно, то на вопрос «что есть болезнь» давались развернутые ответы.

Для «безмолвствующего большинства» болезнь — результат вмешательства злых сил в естественный порядок вещей, это безусловное зло, и необходимость борьбы с ним очевидна. Однако христианская система ценностей обуславливает и другой ответ. Утрата здоровья — в воле Божьей, значит, безоглядно стремясь к исцелению, христианин рискует ради возвращения одной ценности утратить другую. Соответственно, наряду с вопросом «как лечиться» возникает вопрос о том, почему Бог послал недуг.

Утрата здоровья может изображаться как предупреждение о том, что некими конкретными поступками или бездействием заболевший гневит Господа. В подобной ситуации надеяться на лечение нелепо — исцелится лишь тот, кто внял призыву Божьему. К примеру, в «Повести о Николле Заразском» женщина, по неведению препятствовавшая исполнению высшего предназначения, заболела и лежала «недвижима, — едино дыхание в персях ея бяше». Когда же больная вняла предупреждению, она выздоровела.

Недуг истолковывается в качестве не только предупреждения, но и непосредственной кары, настаивающей грешников, что происходит, например, со Святополком Окаянным в «Сказании о Борисе и

Глебе». Кара Божия сурова: грешников разбивает паралич, они истекают кровью, заживо разлагаются, испытываемая неопишуемые муки, плоть их съедается червями, и, конечно же, печение тут смысла не имеет. Оно способно лишь усилить гнев Божий.

Впрочем, недуг мог быть и даром Божиим, позволяющим избежать греха или же в страданиях искупить уже совершенное. К примеру, Киево-Печерский патерик повествует о блаженном Пимене, который «болезнь уродился и в зрелом», а потому «чисть бысть от всякия скверны». Подобно страданиям Иова болезнь понималась и как испытание, дарованное Богом, — эта трактовка близка идее болезни-искупления. Так, митрополит Даниил доказывал душеполезность мучительной смерти — «много бо спасения обретают, иже горкою смертию тела отлучающиеся». Примечательно, что столь ярко выраженное предпочтение смерти долгой перед смертью скоропостижной, «легкой», прямо противоречит нынешним установкам. Более того, смерть в страданиях, при подобном ее осмыслении, была даже и предпочтительней выздоровления, ибо, по словам Антония Подольского, выздоровевший часто забывает о благих помыслах и раскаянии.

Что есть болезнь — посланное Богом предупреждение, наказание, испытание или же спасительное искупление, — надлежало решить каждому страждущему. Это была его личная проблема, соотносимая с его действиями, намерениями и т.п. Исключение составляла, пожалуй, лишь одна группа недугов — так называемые женские болезни, страдания, связанные с деторождением: беременность, роды, «скорби месячныя». В данном случае ни поведение, ни помыслы женщины роли не играли. Женские недуги — напоминание роду человеческому об изгнании из рая и проклятии, постигшем Еву, а вместе с нею и всех женщин — «в болезнях родиши чада» («Острожская Библия»). Потому страдания женщины считались не только неизбежными, но и необходимыми. В молитвах, сопровождавших крещение, просили об облегчении и скорейшем «исправлении», детям же предписывали помнить о муках, перенесенных матерью, почитать ее. Так, «Измарагд» (XVI в.), цитируя Иисуса, сына Сирахова, призывал: «Не забывайте труда материя и еже о детях болезнь и печаль».

Приходя к выводу, что болезнь — проявление воли Творца, средневековый человек неизбежно задавался вопросом: надо ли вообще лечиться? И, пожалуй, на-

иболее последовательным ответом был ответ отрицательный. Если болезнь, напоминая о смерти, дает возможность подумать о совершенных грехах, если, наконец, делает «человека болеющего» причастным мистическому общению, «общению» с Богом, то выздоровление, возвращение в социум — цель сомнительная. Более того: характерный для религиозной культуры «культ болезни» требует не только смиренно принять недуг собственный, но и отказаться от любых попыток способствовать исцелению ближнего.

Однако точное следование этой установке приводит к противоречию: «культ болезни» в крайних своих проявлениях не совместим с идеей христианского милосердия. А потому, не ставя под сомнение духовность, доминанту средневековья, литература предлагает ряд исключений. И вот, с одной стороны, «Скитский патерик» повествует, как великий анакорет Пимен не желал исцелить заболевшего родственника, Иван Плешков упоминает в «Повести о Нипо-Сорском ските» запрет монахам лечить друг друга, а с другой стороны, митрополит Даниил в «Послании Дионисию» призывает тех, кто способен исцелять, не отказываться от помощи страждущим. И, пожалуй, дело тут не только в милосердии. Сколь бы ни была высока идея «спасительного недуга», обыденное сознание «человека болеющего» не приемлет, отвергает ее так или иначе. В устойчивых метафорах и сравнениях аксиоматически предполагается ценность здоровья, риторические фигуры, построенные на понятии «болезнь», всегда подразумевают нежелательность ее, но отнюдь не наоборот. Аналогично — врач, как правило, посрамляемый на уровне сюжета, получает своеобразную компенсацию в устойчивых сравнениях, метафорах и речевых фигурах. К примеру, И.М.Катырев-Ростовский в трактате «На иконоборцы» (XVII в.) рассуждает: «Хто убо стыдися многихъ струповъ и язвъ врачу исповедати, болезнующее согнание внутреннее и обоюдные вреды, како спасутся от язвъ и болезненныхъ страданий?» В «Житии Сергия Радонежского» святой — «врач», даже «богоподательный врач», а Максим Грек в «Послании к желующему отрешися мира» (XVI в.) называет алтари «врачеванием», «исцелением». Тут, можно сказать, уважение к медицине, обусловленное заботой о здоровье, проявляется «подсознательно».

Таким образом, древнерусская литература предлагает различные, порой диаметрально противоположные модели поведе-

ния «человека болеющего» и осмысления недугов. Причем это не столько жесткие рекомендации, сколько система аргументов: страждущий выбирает образец по си-

лам — более или менее высокий, — но в любом случае у «человека болеющего» остается возможность не отречься от христианской системы ценностей.



Не ты ль, который знал избрать
Достойный подвиг русской силе...

Г.Р.Державин

В XVIII—XIX вв. «человек болеющий» — по-прежнему объект пристального внимания литературы, хотя по сравнению со средневековьем многое изменилось. В частности, медицинские книги напроочь исключены из состава словесности, а советы «как лечиться» — из сферы художественных интересов. Тем не менее основные образы и модели остались. Например, у Л.Н.Толстого в «Войне и мире» аустерлицкая рана Андрея Болконского и связанные с нею страдания заставляют молодого князя отказаться от суетных мечтаний о воинской славе и карьере. Аналогично — болезнь-предупреждение меняет миропонимание Наташи Ростовской — после неудавшегося побега с Курагиным, через болезнь-предупреждение проходит после плена и Пьер Безухов, что окончательно определяет для героя новую систему нравственных ценностей. В страданиях умирает Андрей Болконский, но умирает счастливый: муки от раны, полученной на Бородинском поле, — искупление, Элен же гибнет от болезни-проклятья, болезни-кары. В «Смерти Ивана Ильича» страшная болезнь — дар грешнику, позволяющий в страданиях переосмыслить свою жизнь и прозреть духовно. Яркий пример болезни-дара, оберегающего от греха, — недуг Лукерьи в рассказе И.С.Тургенева «Живые Мощи». Впрочем, примеры легко множить.

Не слишком существенно изменилось и понимание здоровья. Оно осмысляется как состояние «не-болезни», и забота о здоровье, равным образом обращение к врачам — норма. А вот осмысление такого понятия, как «труд», изменилось весьма значительно. Мы уже упоминали, что для средневековья типично противопоставление понятий «здоровье» и «труд», синонимом же «работы» изначально была «неволя». Из этого, конечно, не следует вывод о вековой неприязни русского человека к труду. Причина в том, что литература Древней Руси — прежде всего религиозная литература, а в традиционной системе ценностей иного осмысления быть не мог-

по. Повседневный труд «пропитания ради» подобно родам и иным «женским хворостям» неизбежен и необходим, поскольку напоминает об изгнании из рая, о первородном грехе. Потому праздность — грех, но грешно и сосредотачивать все помыслы на работе. Труд — удел земной, христианину же полагается в первую очередь думать о душе. Такое понимание труда в значительной степени сохранялось и позже, несмотря на широкое распространение социалистических теорий. Например, Л.Н.Толстой в «Войне и мире», иронизируя по поводу престижа военной карьеры, писал: «Библейское предание говорит, что отсутствие труда — праздность было условием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие все тяготеет над человеком, и не только потому, что мы в поте лица должны снискивать хлеб свой, но потому, что по нравственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны. Тайный голос говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором бы он, будучи праздным, чувствовал бы себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие — сословие военное. В этой-то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы». Несколько видоизмененная, эта тема угадывается и в «Трех сестрах» А.П.Чехова — поручик Тузенбах одержим мечтой выйти в отставку, чтобы наконец-то поработать, искупить греховную праздность военной службы.

Понимание труда как необходимости, но необходимости, соотношенной с проклятием, отразилось и на лексическом уровне. Синонимы слова «работать» — «надрываться», «уродоваться», «горбатиться», «вламывать». Более экспрессивные варианты из области табуированной

лексики, полагаем, тоже известны читателям.

Конечно, идея труда понималась и шире, но в основе своей труд не был смыслом жизни. И уж тем более странным в аспекте средневековой системы ценностей выглядит сопоставление труда с подвигом и героизмом. Само слово «подвиг» относилось к лексике церковной, и ни с каким героизмом не ассоциировалось. Труд — долг перед Богом, христианину положено трудиться, даже если нет нужды в поте лица снискивать хлеб свой, подвижник же — аскет, и в труде для него важен не результат, а именно «скорбность», страдание телесное. Вошедшие в обиход к XV в. сочетания «ратный труд», «ратный подвиг» связывались прежде всего с деяниями религиозного характера — защитой Святой Руси от иноверцев. При отсутствии конфессионального противопоставления ни о каком подвиге речь не шла. Подвижнический труд — труд во имя Бога, во благо церкви, но опять же героизм и доблесть тут ни при чем.

По мере секуляризации культуры понятие «подвиг» все чаще соотносилось с деяниями воинскими. Но речь шла именно о борьбе с врагами государевыми, хотя и вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Сочетание «героический подвиг» даже на исходе XIX в. не казалось плеоназмом — о первоначальном значении слова еще хорошо помнили. Равным образом сочетание «подвижнический труд» означало труд на благо отечества и в ущерб личной выгоде, однако с героизмом и доблестью это, как правило, не связывалось. Служба — дело царское, работа — дело личное...

Такое осмысление понятий «труд» и «подвиг» зафиксировано в сборнике «Вехи» — своего рода энциклопедии сознания русской интеллигенции, точнее — секуляризованного интеллигентского сознания, для которого все еще характерны религиозные модели. «Христианские черты, — писал С.Н.Булгаков в статье «Героизм и подвижничество», — воспринятые иногда помимо ведома и желания, чрез посредство окружающей среды, из семьи, от няни, из духовной атмосферы, пропитанной церковностью, просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших деятелей русской революции». Однако, отмечал Булгаков, «благодаря этому лишь затухает вся действительная проти-

воположность христианского и интеллигентского душевного уклада», и «важно установить, что черты эти имеют наносный, заимствованный, в известном смысле атавистический характер и исчезают по мере ослабления прежних христианских навыков при более полном обнаружении интеллигентского типа, проявившегося с наибольшей силой в дни революции и стряхнувшего с себя тогда и последние пережитки христианства». По мнению Булгакова, героизм изначально противопоставлен подвижничеству: герою надлежит стремиться к определенной цели, «свершить что-то свыше сил, отдать при этом самое дорогое, свою жизнь», у подвижничества же принципиально иной смысл — «несение каждым своего креста, отвергнувшись себя (т.е. не во внешнем только смысле, но и еще более во внутреннем), с предоставлением всего остального Промыслу». Этой «религиозно-практической идее», подчеркивает Булгаков, соответствует термин «послушание», заимствованный из монастырского обихода.

Впрочем, идея послушания, хоть и послушания особого рода — светского, — была не чужда русской культуре рубежа XIX — XX вв. «Врач и инженер, — утверждал Булгаков, — профессор и политический деятель, фабрикант и его рабочие одинаково при исполнении своих обязанностей могут руководствоваться не своим личным интересом, духовным или материальным — все равно, но совестью, велениями долга, нести послушание».

Где же и на каком уровне совпали понятия «труд», «героизм» и «подвиг»? Подобные совпадения характерны для сознания революционно настроенной интеллигенции. Вдохновленный идеей подвижнического служения народу интеллигент видел подвиг даже в повседневной своей профессиональной деятельности, если считал, что работает, пренебрегая личной выгодой и собственным здоровьем. А если подобное служение народу интеллигент полагал еще и формой противодействия самодержавию (что соотносилось с возможностью репрессий, т.е. самопожертвованием), труд осознавался в качестве проявления героизма. И все-таки даже интеллигенция не дошла до понимания здоровья как способности к «общественно-полезному труду». Для того чтобы утвердился ныне привычный стереотип, идея труда, пусть даже и переосмысленная в духе утопического социализма, должна была еще более трансформироваться — почти до неузнаваемости.



Наш кодекс труда кладет в свою основу принцип трудовой повинности.

Л.Д.Троцкий

С приходом к власти большевистского правительства социалистическое осмысление труда стало утверждаться в массовом сознании, хотя и с существенными изменениями. Понятийная система социализма, где труд — элемент основополагающий, начало всех начал, была сопряжена с моделью «военного коммунизма», культивировавшейся прежде всего правительством Германии в годы первой мировой войны. Согласно этой модели в государстве устанавливается режим «осажденной крепости»: каждый гражданин обязан работать там и столько, где и сколько определит правительство, которое, в свою очередь, обязано обеспечить элементарные потребности каждого «защитника». На этой базе и формировалась новая — советская поэтика труда.

Новое осмысление понятия «труд» внедрялось в сознание масс, главным образом, на уровне законодательном. Утвержденная 12 (25) января 1918 г. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» (которую отказалось обсуждать Учредительное собрание) ввела «всеобщую трудовую повинность», в чем В.И. Ленин видел одну из важнейших «очередных задач Советской власти». Принятая 10 июля 1918 г. Конституция РСФСР (ее 1-й раздел составила пресловутая Декларация) придала трудовой повинности новый статус — элемента основного закона государства, хотя до поры это были только общие фразы — конкретный механизм действия закона еще не придумали. Однако от декрета к декрету видно, как быстро совершенствовался общий алгоритм.

Целью введения всеобщей трудовой повинности объявлялось «уничтожение паразитических классов общества», и в связи с этим Ленин предложил создать специальные документы взамен упраздненных ранее «буржуазных» удостоверений личности, паспортов и пр. Ленинская идея была реализована декретом Совнаркома от 5 октября 1918 г. «В целях осуществления основного начала Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики о том, что труд является обязанностью всех граждан Респуб-

лики», правительство предписало практически всем, кто не состоял на государственной службе, получить трудовые книжки, куда не реже, чем раз в месяц, вносились отметки о выполнении трудовой повинности. Труд официально признали обязанностью уже не перед Богом, а перед государством. Однако, утверждая в массовом сознании новый стереотип, марксисты сочли нужным сослаться (хотя бы и не явно) на авторитетный источник, и трудовые книжки — очередной образчик советской документации — украсила евангельская цитата: «Кто не работает, да не ест». Рядом, вероятно, для равновесия поместили лозунг, соответствовавший другой традиции: «Пролетарии всех стран — соединяйтесь!» Язык советской культуры еще не сложился...

Трудовые книжки позже должны были стать универсальным удостоверением личности для всех граждан РСФСР, но это новшество не привилось даже в Москве и Петрограде. К 1923 г. трудовые книжки пришлось отменить: в период гражданской войны, а затем и НЭПа идея оказалась попросту не функциональной. Но она была лишь элементом плана — одновременно внедрялись и другие.

Принятый 10 декабря 1918 г. Кодекс законов о труде (глава «О трудовой повинности») отождествил понятия «труд» и «государственная служба»:

«1. Для всех граждан Российской Социалистической Федеративной Советской Республики за изъятиями, указанными в ст.ст. 2 и 3, устанавливается трудовая повинность.

2. Трудовой повинности вовсе не подлежат:

- а) лица, не достигшие 16-летнего возраста;
- б) лица старше 50-ти лет;
- в) лица, навсегда утратившие трудоспособность вследствие увечья или болезни.

3. От трудовой повинности временно освобождаются:

- а) лица, вследствие болезни или увечья временно утратившие трудоспособность на срок, необходимый для ее восстановления;

б) беременные женщины на период времени за 8 недель до разрешения от бремени и 8 недель после родов.

4. Учащиеся всех школ выполняют трудовую повинность в школе.

5. Факт постоянной или временной утраты трудоспособности удостоверяется медицинским освидетельствованием».

Вопрос выбора каждым рода деятельности стал частью вопросом государственным. КЗОТ — согласно модели «осажденной крепости» — предписывал: «Лица, обязанные трудовой повинностью и не занятые общественно-полезным трудом, могут быть принудительно привлекаемы местными Советами Депутатов к выполнению общественных работ в условиях, устанавливаемых Отделами Труда по соглашению с местными Советами Профессиональных Союзов». Причины пресловутой незанятости ропи не играли. «Трудящийся, не имеющий работы по своей специальности, — гласит КЗОТ, — регистрируется в местном Отделе Распределения Рабочей Силы в качестве безработного», безработный же, «получивший работу не по своей специальности, обязан принять ее, но может заявить о желании исполнять ее временно, до получения работы по своей специальности».

Развивая эту перспективную идею, Ф.Э.Дзержинский выступил с инициативой на заседании ВЦИК 19 февраля 1919 г.: «Кроме приговоров по суду необходимо оставить административные приговоры, а именно концентрационный лагерь. Уже и сейчас далеко не используется труд арестованных на общественных работах, и вот я предлагаю оставить эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения, или, если мы возьмем советские учреждения, то здесь должна быть применена мера такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание и т.д. Этой мерой мы можем подтянуть даже наших собственных работников. Таким образом, предлагается создать школу труда».

Концентрационные лагеря, как известно, были созданы в 1918 г. для изоляции тех, кто считался потенциально опасным Советской власти, хотя и не совершил (даже с точки зрения "революционной законности") конкретных правонарушений. Дзержинский предложил "перепрофилировать" концлагеря, сделав их, во-первых, средством наказания, а во-вторых — источником даровой рабочей силы для решения

масштабных производственных задач. Системе концлагерей "перепрофилировать" не стали, зато придумали так называемые лагеря принудительного труда — их решили создать при всех губернских городах численностью не менее, чем на триста заключенных каждый. «Школа труда» оказалась общедоступной.

Вскоре в ведение государства перешел не только вопрос выбора рода деятельности, но и выбора конкретного места службы. «В целях упорядочения работы в Советских учреждениях, — гласил декрет Совнаркома от 12 апреля 1919 г., — воспрещается самовольный переход советских служащих из одного ведомства в другое и принятие их на службу без согласия того ведомства, в котором они до того работали».

Теперь процедура «привлечения к общественно-полезному труду» существенно упростилась. Зато актуальной стала проблема «личной заинтересованности». Но она решалась испытанными методами — угрозой голода. К страху смерти или лишения свободы можно привыкнуть, а вот к голоду привыкать куда сложнее. «Трудящихся» надлежало лишить всех источников заработка, кроме официального вознаграждения за работу на правительство. Поскольку государственная служба стала единственной законной формой деятельности, то, соответственно, лишь государственные учреждения имели право распределять продовольствие и промышленные товары в качестве заработной платы своим служащим. Не работающему на государство, не получающему от него вспомоществование, даже если бы такой «преступник» избежал уголовного преследования, надлежало умирать от голода. Популярный лозунг «кто не работает — тот не ест» обрел в «государстве рабочих и крестьян» несколько иной смысл: кто не работает на правительство — тот не ест. Правда, реализации этого лозунга больше всего мешали «производители еды» — крестьяне. Закон предписывал им продавать «по твердым ценам» (фактически — отдавать даром) так называемые продовольственные излишки, объем которых правительственные эмиссары определяли вполне произвольно, крестьяне же еще не привыкли так легко расставаться с собственностью. Однако и правительство не собиралось расставаться с монополией распределения: непокорных, которым отказывали в почетном звании «трудящихся», нарекая «кулаками», «эксплуататорами» и «спекулянтами», приводили к по-

виновению силой оружия. Кстати, «спекулянтами» объявлялись не только те, кто «производил еду», но и все, кто приобретал продовольствие в обход государственной монополии. Специальные «заградительные отряды» — под предлогом борьбы со спекуляцией — конфисковывали у горожан, возвращавшихся из деревень, всю провизию, что удалось там купить или выменять. Хочешь есть — служи.

Внедряя в массовое сознание новое понимание труда, правительство требовало от граждан не только обязательной службы, но и готовности в любой момент сменить избранный род деятельности на тот, который, с точки зрения правительства, более важен для государства. Тут требовалось утвердить именно армейскую дисциплину, и толпы спешно мобилизованных трудящихся сводили в формируемые на армейский манер части «трудового ополчения» — под лозунгом «в труде, как в бою».

Все эти нововведения закреплялись законодательно, что наиболее отчетливо выразил декрет Совнаркома «О порядке всеобщей трудовой повинности», принятый 29 января 1920 г. «Опираясь, — гласил декрет, — на основной закон РСФСР и Кодекс законов о труде, требующие привлечения всех трудоспособных к выполнению общественно-полезной работы в интересах социалистического общества, Совет Народных Комиссаров в целях скорейшего обеспечения промышленности, земледелия, транспорта и других отраслей народного хозяйства необходимой рабочей силой на основе общехозяйственного плана» признал обязательным привлечение «трудящегося населения к единовременному или периодическому выполнению — независимо от постоянной работы по роду занятий, — различных видов трудовой повинности», причем «как для государственных, так и в известных случаях и для крестьянских хозяйств». Иначе говоря — где и как угодно советской администрации. Кроме того, разрешался «перевод лиц, занятых в крестьянском хозяйстве и ремесленно-кустарных предприятиях, на работы в государственных предприятиях, учреждениях и хозяйствах», а также «постоянное привлечение к общественно-полезному труду лиц, таковым не занимающихся».

Тем же декретом предписывалось возложить «общее руководство по проведению трудовой повинности на Совет Рабочей и Крестьянской обороны», а при нем создать Главный Комитет по всеобщей тру-

довой повинности «в составе представителей Народного Комиссариата труда, Народного Комиссариата Внутренних дел, Народного Комиссариата по Военным Делам. На местах образовать Губернские, Уездные, а в необходимых случаях и Городские комитеты по всеобщей трудовой повинности». Губернским, уездным и городским комитетам предоставлялось право «предавать Народному суду» виновных в «уклонении от учета и явки по трудовой повинности» и, конечно же, «дезертирстве с работ, а равно в подстрекательстве к таковому». Примечательно в этом декрете и упоминание о необходимости привлечения к уголовной ответственности за «намеренную порчу орудий труда и материалов» и «небрежную организацию работ» — позже более популярным станет термин «вредительство», а на происки «вредителей» будут списаны все неудачи советских хозяйственников. Уголовным преступлением признавалось также «пособничество означенным деяниям и укрывательство виновных и пр.».

Отметим, что добавление «и пр.» весьма существенно: в полном соответствии с законом виной «трудящегося» становилось все, что комитет счел бы таковой. Далее комитет сам проводил расследование и весьма оперативно передавал дело в народный суд, что тоже было вполне законно, поскольку расследование контролировалось (по крайней мере — формально) представителем НКВД. Если же процедура разбирательства в народном суде казалась комитету чрезмерно долгой, то разрешалось «предавать виновных суду военного трибунала», скорострельная справедливость которого была широко известна. Наличие же представителя Наркомата по военным делам позволяло в случае необходимости передать дело сразу в военный ревтрибунал, справедливость которого была еще скорострельней. Позволялось и вовсе обходиться без суда, т.е. «в случае менее важных нарушений трудовой дисциплины подвергать виновных наказанию в административном порядке, вплоть до передачи в штрафные трудовые части».

4 мая 1920 г. Совнарком передал «Главному комитету по всеобщей трудовой повинности исключительное право освобождения от всеобщей трудовой повинности». Иными словами, решать, кто болен, надлежало не только врачу. Армейская аналогия тут очевидна: от трудовой повинности, как и от воинской, должна освобождать специальная медицинская комиссия, по определению заинтересованная в минимальном отсеве. Аналогично организо-

вывалась и борьба с так называемым трудовым дезертирством. Тогда же, 4 мая, Совнарком принял соответствующий декрет, определивший, что «трудовым дезертирством», помимо «уклонения от учета» даже и «после увольнения с работы или службы», является «сокрытие своей специальности подлежащими учету рабочими, служащими и лицами технического персонала, хотя бы они и состояли уже на другой работе или службе», а кроме того — «самовольное оставление работы или службы».

В борьбе с «трудовым дезертирством и всеми видами его укрывательства и пособничества» Главный комитет по всеобщей трудовой повинности действовал «через Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию, Центральную Комиссию по борьбе с дезертирством и местными организациями последних», т.е. «трудовой энтузиазм» возбуждался прежде всего угрозой применения оружия. Весьма важно в данном случае то, что декрет начисто лишен привычного «революционного пафоса» — нормы права, утверждаемые законодателями, казались им вполне естественными. Похоже, и немалая часть населения Страны Советов не видела тут ничего противоестественного — воспитали.

В итоге само понятие «труд» было отождествлено с государственной службой, а в этом качестве — со службой военной. Отождествлено на уровне законодательном, что, собственно, и предлагал Л.Д.Троцкий (выражая, конечно же, волю партийного руководства) в том же 1920 г. на III Всероссийском съезде Советов народного хозяйства. По мнению наркомвоенмора, после окончания гражданской войны рабочий, демобилизованный из армии, должен быть в приказном порядке отправлен туда, «где его присутствие необходимо во имя хозяйственного плана страны. Трудовая повинность предполагает право государства, рабочего государства, приказать рабочему выйти из промыслов кустарных, не говоря уже о паразитарных рядах спекуляции, и перейти в центральные государственные предприятия, которые без этих категорий рабочих не могут работать. Наконец, перевод рабочей силы из одного предприятия в другое в зависимости от хозяйственного плана, от близости сырья и других экономических условий опять-таки входит в права централизованного социалистического хозяйства и представляющего его государства. Далее за этим следует мобилизация рабочей силы. Все это — на основе централизованного общегосударственного плана».

Помимо «квалифицированной рабочей силы», считал наркомвоен, требовалось еще и «применение огромных масс неквалифицированного труда, главным образом крестьянского труда», и эту проблему следовало решать «при помощи широких массовых мобилизаций, соответственно, разумеется, рассчитанных и приуроченных во времени и пространстве. Здесь, — отмечал Троцкий, — мы встречаемся с вопросом политическим».

Политический вопрос заключался в том, что окончание гражданской войны, как уверяло крестьян правительство, означало окончание трудовой, продовольственной и прочих повинностей, мобилизаций и т.п. Но, уверял Троцкий, вопрос легко разрешим: крестьянам следует объяснить, что новые повинности — задаток, получаемый правительством за промышленные товары, которые вскоре предоставит деревне правительство. И тогда, настаивал Троцкий, «руководимый передовыми рабочими наш крестьянин нас поймет, а наиболее косные или близкие к кулацким элементам крестьяне, которые будут упираться, разумеется, будут принуждены считаться с непреклонной потребностью советского хозяйства путем принуждения, путем применения военной силы». В общем, окончание войны ситуацию не меняло — и в мирное время труд оставался боем.

Впрочем, даже «второй человек в партии» признавал, что социалистическое понимание труда-службы пока не удалось привить не только «широким массам трудящихся», но и многим представителям партийного руководства. Потому необходимость новых жертв (причем в более значительных масштабах) он попытался обосновать еще и с точки зрения морали: «Разумеется, менее всего нас могут отшатнуть крики капиталистических критиков о том, что мы нарушаем капиталистический принцип свободы труда. Мы этих принципов не знаем. При капитализме свобода труда означает для одних свободу эксплуатации труда, для других — свободу быть эксплуатируемыми. Это мы разрушили, и наша советская конституция ясно и отчетливо говорит о том, что начало всеобщей трудовой повинности есть краеугольный камень в здании социалистического хозяйства. Наш кодекс труда кладет в свою основу принцип трудовой повинности». Последняя фраза этой тирады звучит афористически — «кодекс труда» понимается гораздо шире, нежели вполне утилитарный КЗОТ...

Идея создания новых армий труда на

основе широкой мобилизации демобилизованных из армии как таковой была соблазнительно проста. Но еще проще (до гениальности) идея создания армий труда непосредственно из уже существующих войсковых частей — при условии отказа от демобилизации, перевода «из боя в труд». Обе идеи были реализованы. Трудовые армии, сформированные в 1920 г., существовали и в период НЭПа. Отказ от них обуславливался исключительно соображениями безопасности: десятки тысяч организованных, обладающих элементарной военной выучкой и минимальным боевым опытом рабочих могли в любой момент выйти из повиновения, и тогда трудовые армии превратились бы в повстанческие, а повстанцев по стране и так хватало. Введение НЭПа означало отказ от военной организации труда, и в декабре 1921 г. началось расформирование трудармий. От всеобщей труд повинности правительству тоже пришлось отказаться.

Реализацию перспективной идеи «милитаризованного труда» отложили до «полной победы социализма». В тридцатые годы крестьянство стало колхозно-совхозным, и в этой области проблема трудовых мобилизаций и равным образом «перераспределения рабочей силы» была решена. Сеть исправительно-трудовых лагерей, созданная по заветам «Железного Феликса», функционировала бесперебойно, оставалось лишь подготовить необходимую правовую базу для организации трудармий из «рабочих и служащих».

Алгоритм был известен, и правительство следовало ему неукоснительно. 20 декабря 1938 г. постановлением СНК вновь введены трудовые книжки, и с 15 января 1939 г. без этого документа ни один гражданин СССР уже не мог считаться работающим. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. запретил рабочим и служащим «государственных, кооперативных и общественных учреждений» самовольный уход с работы, а также самовольную смену места работы. На практике это означало упразднение соответствующей статьи КЗОТ об «увольнении по собственному желанию». С момента вступления в силу этого закона гражданин СССР имел право уволиться лишь при согласии администрации. Нарушение влекло уголовную ответственность, причем народный суд рассматривал дело в пятидневный срок, а приговор вступал в силу немедленно.

Дальнейшее развитие шло как бы само собой. Опоздание на работу приравнивалось к прогулу, прогул — к уголовному

преступлению, аналогично — отказ от командировки, перевода на другое предприятие, отправки на сельскохозяйственные работы и т.п.

Характерно, что Президиум Верховного Совета, принимая приснопамятный указ, не видел различия между «государственными, кооперативными и общественными учреждениями» — эти дефиниции существовали только на бумаге, поскольку гражданин СССР не мог распоряжаться даже своим трудом. Право распоряжаться трудом всех и каждого принадлежало правительству. Правительство, олицетворявшее государство, фактически стало владельцем рабочей силы граждан, а потому элементарное «буржуазное» средство борьбы за производственную дисциплину — увольнение работника — утратило актуальность. Увольнение — отказ от работника, работник — собственность работодателя, отказываться же от собственности нелепо.

Новое понимание труда укоренилось и на уровне языковой обыденности: слова «трудящийся», «человек» и «гражданин» стали в СССР синонимами, соответственно «трудоспособность» осмыслялась в качестве «жизнеспособности». Однако подобные стереотипы внедряются не только на уровне законодательства. Как известно, чтобы управлять социумом, одних средств подавления мало. Социум нужно еще и убедить. И поскольку речь идет об идее фундаментальной, задача убеждения становится едва ли не главной.

В марте 1918 г. Троцкий, выступая на Московской городской конференции РКП(б), указывал: «Необходимо через партию и через наши профессиональные союзы прививать это новое настроение на заводах и фабриках, вводить это новое сознание трудового долга, трудовой чести и, опираясь на это сознание, вводить трудовые суды, чтобы рабочий, который относится безучастно к своим обязанностям, или который расхищает материал и небрежно с ним обращается, или тот рабочий, который не заполняет всех пор своего рабочего времени трудом, чтобы такой рабочий подвергался суду, чтобы имена таких нарушителей социалистической солидарности печатались во всех Советских изданиях, как имена отщепенцев. Эту коммунистическую мораль, товарищи, мы обязаны сейчас проповедовать, поддерживать, развивать, укреплять. Это есть первейшая задача нашей партии на всех поприщах ее деятельности».

Нарком в отличие от многих своих кол-

пег мыспип системно и умеп не топыко рещать, но и грамотно формулировать задачи. Перспектива быпа ему ясна: где, кому, в каком качестве и сколько работать — надлежит выбирать не самому работнику, а правительству, оно же определяет и размеры оплаты. Следовательно, в отношении к труду граждане социалистического государства обязаны усвоить модель «светского послушания»: еспи труд бопее не товар, который можно продать, еспи непзя выбирать работодателя, лос-

кольку он один, труд должен стать делом чести.

Советское законодательство как бы подсказывало дальнейшее. Труд — это государственная служба, государственная служба — всегда спужба военная (поскольку страна — «единый военный лагерь»), военному положено быть доблестным, идеал военного — герой. Копь так, то «труд — депо чести, доблести и геройства». И никак иначе, ведь труд — это бой. Бой за социализм.



Нам ли стоять на месте!
В своих дерзаниях всегда мы правы!
Труд наш есть дело чести,
Есть подвиг доблести и подвиг славы!

А.Д'Актиль

Именно эти установки определили развитие советской литературы как специфически советской. Именно советская литература утверждала понимание труда как боя — героического штурма или упорной, но опять же героической обороны.

Разумеется, для создания такой литературы нужно было «селекционировать» новую породу литераторов. Не капризных, не самолюбивых, но абсолютно преданных и безоговорочно исполнительных, т.е. литераторов-чиновников, писателей-«совспущих», полностью зависящих от благоволения правительства. Задачу эту правительство решило на рубеже 1920-х—1930-х гг., используя усвоенный в годы гражданской войны алгоритм. Вся периодика вновь стала государственной, постепенно ликвидировались частные и кооперативные издательства, после чего правительство оказалось единственным работодателем литераторов. Затем издательства были переведены с хозрасчета на бюджетное финансирование, т.е. проблема реализации тиражей более не беспокоила издателей: единственным покупателем (оптовым) были государственные учреждения, они продавали книги в розницу, а все убытки покрывались за счет налогоплательщиков. Понятно, что при таком подходе лучшими писателями считались те, кого правительство таковыми «назначало».

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы намеренно игнорируем вопрос об искренности классиков советской литературы.

Принципиально в данном случае то, что ни один писатель не мог уклониться от исполнения «социального заказа», оставаясь писателем, профессиональным литератором. Соответственно советское законодательство предусматривало привлечение к уголовной ответственности всякого, кто попытался бы тиражировать им написанное в обход государственных установлений. Вопей ипи неволей каждый литератор занял, по выражению В.В.Маяковского, место «в рабочем строю», точнее — в боевых порядках «борцов за социализм».

Со второй половины 1920-х гг. «строевой» подход к проблеме художественного осмысления труда становится доминирующим, а в качестве образцового «производственного романа» повсеместно пропагандируется «Цемент» Ф.В.Гадкова, впервые опубликованный в 1925 г. «Критик-марксист» Г.Е.Горбачев в установочной статье для «Литературной энциклопедии» (1929) указывал: «Основная тема романа — восстановление заброшенного в эпоху гражданской войны завода, происходящее в самом начале нэпа под угрозой белогвардейского нападения. Ярко показана начавшаяся было деклассироваться рабочая масса. Она — под руководством кровно с ней связанного демобилизованного участника гражданской войны и старого большевика Гнеба и его ближайших друзей, пробивая брешь в саботаже спецов и равнодушии закоренелых бюрократов, самоотверженным трудом и яростным упорством восстанавливает завод».

Сюжетная схема, восхитившая Горбачева, мало чем отличается от той, что в 1920-е гг. уже стала традиционной при изображении событий гражданской войны. Герой-большевик на войне, выполняя решения партии, преодолевал «инертность», «несознательность» и «партизанщину» в среде своих товарищей и подчиненных, искоренял саботаж бывших офицеров-«военспецов» (перевоспитывая их или устраивая доступными средствами), а затем, «выстроив» должным образом свое войско, вел его к победе. Ярость и самоотверженность — обязательные элементы в этой схеме. Ярость и самоотверженность становятся обязательными и в изображении социалистического труда.

С незначительными изменениями ту же схему варьирует и Л.М. Леонов — в романе «Соть» (1929) и повести «Саранчуки» (1930), а потому «марксистская критика» вскоре поставила вопрос о причислении автора к сонму советских классиков. И.М.Нусинов в статье, написанной для «Литературной энциклопедии» (1932), пояснял, что герои «Соти» — «Увадьев и Потемкин, коммунисты, участники борьбы на военных фронтах», с энтузиазмом «продолжили героичку вооруженной борьбы, направив ее на овладение стихией реки Соти, на использование дремучих лесов на ее берегах, на строительство нового бумажного гиганта. Это строительство служит для них плацдармом в ожесточенной борьбе с классовым врагом, укrywшимся в монастыре и использующим монастырь с его старцами для организации кулацкой контрреволюции. В повести «Саранчуки» Леонов развертывает перед читателем перипетию пролетарской борьбы за туркестанский хлопок, уничтожаемый саранчой. Союзники стихии являются здесь кулаки и интеллигент-романтик; энергия последнего бесплодно тратится на психологические надрывы, отвлекающие его от непосредственных задач борьбы со стихией и делающие его пособником классового врага».

Разумеется, о книгах Gladkova и Леонова высказывались также другие мнения, но в данном случае интересна именно крайне политизированная «Литературная энциклопедия». На рубеже 1920-х—1930-х гг. это издание задумывалось как своего рода кодекс законов литературы и о литературе, и выражало оно в первую очередь волю законодателя, т.е. правительства. По крайней мере — должно было выражать. Соответственно все объявленное образцовым, образцом и становилось — до тех пор, пока

правительство не указывало новые примеры для подражания.

Правительство предписало видеть в труде сражение за социализм, и советская литература, пользуясь установленной терминологией, создала в великом множестве модели труда-обороны, труда-осады, труда-наступления и, наконец, труда-штурма. В этом отношении весьма характерен роман В.П.Катаева «Время, вперед!» (1932). Не случайно благожелательный рецензент назвал статью о нем «Один день на поле сражения».

Полею этим стала заводская стройплощадка, где рабочие-бетонщики под руководством инженера Маргулиеса и бригадира Ищенко ценою невероятного напряжения устанавливают очередной «трудоу рекорд». По мысли автора, они действительно воюют, жертвуя всем ради победы. Без военной лексики тут не обойтись, и понятно, что истинными героями оказались те, «кто, как бойцы, вспоминали прежние свои сражения, отмороженными пальцами гордились, как почетными ранами, и с каждой смены возвращались в барак, как соштурма, для кого строительство было — фронт, бригада — взвод, Ищенко — командир, барак — резерв, котлован — окоп, бетономешалка — гаубица, и все они», устремленные к общей цели, «были товарищи, братья, сверстники. Время летело сквозь них. Они менялись во времени, как в походе. Новобранцы становились бойцами, бойцы — героями, герои — вожаками».

В аспекте использования военной лексики автор, безусловно, к оригинальности и не стремился, используя набор расхожих газетных штампов. Да и большинство коллег Катаева об оригинальности не слишком беспокоились. Маяковский, в частности, тоже. Вот, к примеру, хрестоматийный «Марш ударных бригад» (1930):

Сегодня
бейся, революционер,
на баррикадах
производства.
Раздуйвай
коллективную
грудь-меха,
лозунг
мчи
по рабочим взводам.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.

Последовательность, в общем-то, очевидная: бригада — взвод, цех — рота или батальон, завод — батальон, полк или даже дивизия, а граждане СССР в совокупности — «армия труда», где и литератор не обделен местом «в рабочем строю». Кстати, само определение «ударный» — тоже из области военной лексики, причем «ударные предприятия» — по аналогии с ударными войсковыми частями — создавались еще в эпоху военного коммунизма. Правда, смысл затем был тогда несколько иным: не располагая достаточными запасами сырья и топлива, правительство выделяло в каждой отрасли «ударные» заводы и фабрики, которые снабжали в первую очередь. Теперь же аналогия с ударными войсками была полной, ударник стал героем эпохи, штурм — ее символом. Помимо «ударных» появились (опять же по армейской аналогии) еще и «штурмовые» бригады, и характерно, что многотиражная газета шахты, где установил свой рекорд забойщик А.Г.Стаханов, называлась «Штурмовка».

Воюющим, как известно, не до комфорта, есть и спать им приходится не тогда, когда хочется, а когда позволяет боевая обстановка. Соответственно, и герои «производственной литературы» забывают в угаре «боя» о еде и отдыхе. Они, что называется, «безбытны»: дом им вообще не нужен, а на еду и сон жаль терять время. Например, в романе «Время, вперед!» инженер Маргулис буквально голодает, а герой рассказа А.П.Платонова «Бессмертие» (1936) путеец-администратор Левин почти что приучил себя обходиться без сна и т.п.

Где война, штурм, там и потери, потому готовность жертвовать не только комфортом, но и здоровьем, жизнью — критерий оценки боевого духа. Вот и героев (разумеется — идеальных героев) советской литературы собственное здоровье интересует исключительно в аспекте боеспособности, т.е. трудоспособности. Так, в романе А.А.Фадеева «Разгром» (1927) командир партизанского отряда большевик Левинсон постоянно одерживает победу «над недугами, над слабым своим телом», о недомоганиях его в отряде вообще никто не знает. Герой романа В.Кина «По ту сторону» (1928), большевик Матвеев, послан для подпольной работы на территорию противника и, перенеся после ранения ампутацию ноги, более всего удручен не личной катастрофой — увечьем, разрывом с любимой женщиной, а утратой боеспособности. Пренебрегая опасностью, Матвеев занимается расклейкой листовок и гибнет в стычке с патрулем белых, причем

умирает счастливым, ценою жизни вернув себе статус бойца. Эта модель поведения характерна и для «производственной литературы».

Идея труда-штурма и неистовой борьбы за «возвращение в строй» наиболее полно выражена в романе Н.А.Островского «Как закалялась сталь» (1934), а потому имя главного героя — Павла Корчагина — стало нарицательным. Корчагину постоянно приходится действовать в экстремальных ситуациях, и каждая из них — модельна. Будучи раненым, Корчагин продолжает бой, тяжело заболев — не покидает стройку, не имея возможности — физической — продолжать военную службу, готов служить революции где угодно, в любом качестве. Тема, заданная романом Кина — возвращение в строй искалеченного бойца, — практически исчерпана романом Островского. Отнимаются ноги — не беда: можно взять за образец «безногих пулеметчиков на тачанках — это были страшные для врага люди, пулеметы их несли смерть и уничтожение». Отнимаются руки, пропадает зрение — остается голос, а значит, и возможность создавать книги, вдохновляющие «на бой и на труд». В экстремуме само существование Корчагина становится трудом и боем. «Все ли ты сделал, — спрашивает себя герой, — чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?» Корчагин, конечно же, побеждает: «возвращение в строй» становится тождественным исцелению.

На законодательном уровне эта идея была выражена в уже упоминавшемся Указе Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1940 г. Запрещая рабочим и служащим «увольнение по собственному желанию», указ предписывал администрации «дать разрешение на уход», если «рабочий, работница или служащий, согласно заключению врачебно-трудовой комиссии, не может выполнять прежнюю работу вследствие болезни или инвалидности, а администрация не может предоставить ему другую подходящую работу в том же предприятии или учреждении». Что такое «подходящая работа», законодательством вообще не раскрывалось, потому администрация могла, к примеру, не отпускать «на пенсию» инженера-литейщика, утратившего из-за болезни или травмы «профпригодность», но использовать его в качестве дворника, сторожа и т.п.

Характерное для специфически советс-

кой ментальности отождествление здоровья и трудоспособности проявилось и в так называемом периодическом переосвидетельствовании инвалидов, о котором после войны ходили довольно злые анекдоты. Ситуация и впрямь выглядела трагикомически: безруким, безногим и прочим увечным, дабы сохранить право на получение пенсии, надлежало время от времени проходить обследование, как будто инвалиды обладали способностью регенерировать ампутированные конечности, словно ящерица — оторванный хвост. В действительности же комиссию

по переосвидетельствованию интересовали не медицинские чудеса, но приобретение инвалидами любой специальности, позволяющей "служить Родине", несмотря на увечье. Однорукий механик, получив, к примеру, диплом учителя математики, лишался пенсии, как и хромой шофер, освоивший ремесло холодного сапожника. Пенсия — государственная компенсация не за увечье, а за утрату трудоспособности. Восстановление трудоспособности равносильно исцелению...



Из строя меня выведет только смерть.

Н.А.Островский

Литература 1940 — 1960-х гг. по сути мало что добавила к советскому осмыслению таких понятий, как «труд», «болезнь» и «здоровье». Единственное исключение, пожалуй, это опубликованная Б.Н.Полевым в 1946 г. «Повесть о настоящем человеке», где герой — летчик Алексей Мересьев, перенес ампутацию обеих ног, возвращается в строй и в бой благодаря опять же «самоотверженному труду и яростному упорству», которые, по мнению автора, всего более присущи именно «советскому человеку». В принципе, Полевой лишь развивал «корчагинскую» тему, но его книга — еще и развернутый ответ на вопрос «как лечиться». Он подробно описывает гимнастические упражнения, а также прочие приемы восстановления боевспособности, объясняет, каким образом инвалид может доказать социуму, что он победил недуг и вновь готов к полноценному служению. В связи с послевоенной ситуацией книга Полевого — своего рода «сборник задач с решениями» — была признана особо актуальной, и благодаря пропагандистскому натиску имя Мересьева стало символом «советскости» наряду с именем Корчагина.

После «Повести о настоящем человеке», по мнению большинства критиков, «магистральные пути развития советской литературы» были окончательно проложены, «художественные вершины» покорены, писателям оставалось лишь следовать традиции, что они и делали. К примеру, в рассказе И.Грековой «За проходной» (1962) математик, ослепший на испытаниях ракет, возвращается к своей профессии благодаря собственному упорству и, разумеется, помощи коллег, раненый хирург в трилогии

Ю.П.Германа «Дело, которому ты служишь» (1957—1964) исхитряется вернуть бывшее мастерство своим искалеченным рукам, дабы служить тому же самому делу, после чего, жертвуя здоровьем, ведет эксперименты в области радиологии, а инженера, героя повести В.А.Титова «Всем смертям назло» (1967), авария на производстве вообще лишает рук, однако и он сохраняет статус «трудящегося», и т.д., и т.п. Стереотипы, сформированные в 1920 — 1930-е гг., укоренились, что называется, намертво, качественно новых идей нет, да они и не нужны: тоталитарное государство завершило создание своей мифологии.

Инвалиду, т.е. «человеку страдающему», в советской культуре места нет, он — явление чужеродное в «прекрасном и яростном мире» строителей социализма. Из всех вариантов осмысления болезни, предлагаемых русской культурой, советская культура сохранила лишь один, хотя и этот единственный весьма искажен. Для «строителя социализма» болезнь — испытание на верность идее «беззаветного служения» государству. Испытуемый недугом должен бороться за сохранение (восстановление) трудоспособности и, разумеется, побеждать. Альтернативой победе может быть только смерть, но, опять же, смерть в бою, в труде. Именно так умирает хирург Левин в повести Ю.П.Германа «Подполковник медицинской службы» (1949). Больной раком, измученный непрекращающимися болями, Левин практически не покидает госпиталя, продолжая оперировать.

Его предсмертный бред — подготовка к очередной операции: «Сердце его отвратительно сжималось. И перехватывало горло, и в груди было тоже больно, но что это значит для человека, который идет работать. Последнее время он работал, превозмогая и не такие боли.

— Мне дадут халат? — спросил он».

Следующая сцена напоминает облачение умирающего рыцаря — халат, словно панцирь, подан герою, после чего надлежит подать шлем: «Привычным движением он подставил голову под шапочку. И шапочку ему тоже надели. Потом, подняв ладони и повернув их вперед, точно они были стерильными, он сделал шаг, еще шаг». И, наконец, «медленно упал». Ну а потрясенные коллеги, разумеется, описывают его смерть в категориях труда и боя: «Он оперировать шел, понимаете? Он не умирать шел, а работать шел». Герой пал, и вот уже восхищенный полководец спешит отдать ему последние почести: «Несколько позже в палате растворилась дверь и вошел командующий.

— Все? — спросил он, снимая фуражку и глядя твердым взглядом на то, что было Левиным». Затем командующий «посмотрел в уже совсем спокойное лицо Левина, заметил на этом лице выражение гордости и силы» — и вот уже готова достойная эпитафия: «Не надо плакать, девушка, — вдруг сказал командующий. — Зачем плакать? Все умрём, а он хорошо умер, лучше умереть нельзя».

Да, если инвалид — «человек болеющий», «человек страждущий» — не может «вернуться в строй», то лучше бы ему умереть, поскольку дальнейшее существование, как определил Н.А.Островский, — «бесцельно прожитые годы».

Для утверждения этого тезиса тоталитарное государство использовало средства искусства, а любые попытки организации жизни «вне строя» изначально воспринимались как антигосударственные и пресекались на законодательном уровне. Правительство не позволяло инвалидам объединиться для защиты своих интересов: граждане социалистического государства имели право объединяться только ради тех целей, которые не противоречили правительственным. «Признавая организацию инвалидов войны, как преследующую цели выделения инвалидов из общей массы трудящихся, антигосударственной, — гласил декрет от 20 февраля 1920 г., — и учитывая широкую помощь, оказываемую государством инвалидам, Совет Народных Комиссаров постановил: Российский Союз

Инвалидов Войны и Труда — закрыть, а все его имущество передать органам Народного Комиссариата Труда и Социального Обеспечения». Законодательство, как водится, обгоняло литературу, что же касается «широкой помощи» инвалидам в 1920 г., то здесь, полагаем, комментарии излишни.

Инвалидам не разрешалось выделяться «из общей массы трудящихся», однако на исходе 1940-х гг. соблюдать этот принцип стало довольно трудно: слишком много увечных, не имеющих возможности жить на нищенскую пенсию (а порою и не получавших ее), просили подаяния на улицах. Это явно подрывало веру населения Страны Советов во всеобъемлющую заботу правительства, и тогда проблеме решили радикально: безруких и безногих нищих собрали по улицам и вокзалам, стараясь не привлекать внимания прохожих и пассажиров, а затем поместили в закрытые лечебницы, подальше от глаз людских. Понятно, что согласия калек никто не спрашивал, и жаловаться им было некому.

Можно, конечно, спорить о прагматическом аспекте этой операции по сокрытию безнадежно увечных от общества, но с точки зрения эзотерической тут есть своя логика. Социализм, как известно, «первая фаза коммунизма», а коммунизм — своего рода рай, Новый Иерусалим, который возникнет после Страшного Суда — исчезновения буржуазного «эксплуататорского» общества, в раю же «ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр. 21,4), значит, не будет и безнадежно увечных. Коль так, то в преддверии коммунизма им оставаться не положено: само их существование — наглядная контрпропаганда, препятствующая «коммунистическому воспитанию трудящихся».

Надо отметить, что система художественных и правовых методов воспитания «общей массы трудящихся» дала весьма устойчивые результаты. Несмотря на изменения законодательства в годы хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя», большинство советских граждан было убеждено: любые требования правительства, касающиеся труда, абсолютно правомерны. Пример тому — кампания по «борьбе за трудовую дисциплину», проводившаяся на заре правления Ю.В. Андропова. Милицейские облавы в магазинах, парикмахерских, банях и пр. на тех, кто самовольно покинул свои рабочие места, не вызывали у большинства граждан возмущения, напротив — воспринимались как должное, как необходимые меры «по наведению по-

рядка в стране». Застигнутые врасплох «трудящиеся» вели себя подобно сопдатам в самовольной отлучке: они готовы были убежать от патруля, но ни в коем случае не оспаривать законность его действий — на то и патруль, чтоб повить отважившихся на «самоволку». За границей контроль такого рода сочли абсурдом, беззаконием, но для главы государства и подавляющего большинства его сограждан эти средства были вполне естественными. Ведь государство — «единственный военный лагерь».

Слияние понятий «труд», «бой» и «служба» (т.е. «государственная служба») пегко проспеживается практически на любом уровне. Например, проблемы обучения в высших и средних учебных заведениях обычно сводились к «борьбе за успеваемость и посещаемость занятий», причем вопрос о том, кто с кем борется, просто не возникал. Аналогично проблема своевременного сбора урожая в колхозах и совхозах формулировалась как «битва за урожай» (что, в принципе, означает битву с урожаем, почему, вероятно, она и заканчивалась победой последнего). Равным образом так называемое движение студенческих строительных отрядов (ССО), возникшее в 1960-е гг., быстро приняло военные формы: во главе каждого отряда поставили «командира» и «комиссара», общее руководство осуществлялось «штабом ССО». Похоже, тут реализовалась идея

трудоармий со всеми аксессуарами, вплоть до обмундирования единого образца и соответствующих знаков различия. Привычные советские способы пропаганды обусловили и появление нелепейшего, хотя довольно быстро ставшего привычным сочетания «трудовой десант». Кто был тот противник, на территорию которого высаживались новоявленные десантники, понять нельзя, но своя логика тут есть. По общему мнению, десантник — из воинов воин, так почему бы не именовать десантником строителя-ударника, тем более что у него куртка почти армейская и даже тельняшка в напички...

К исходу 1960-х гг. развал тоталитарного государства и соответственно тоталитарной идеологии шеп все быстрее, что на уровне литературы выразилось в некоторой «реабилитации» героев, по каким-либо причинам существующих «вне строя». Ненаказуемость их своеобразия мотивировалась (отчасти) спецификой профессии: журналиста, писателя, ученого, художника или же сменной «поля деятельности» — различного рода «приключениями в отпуске» и т.п. Эта тенденция развивалась также и в 70—80-е гг., а на этапе горбачевской «перестройки» социалистические стереотипы и вовсе деактуализировались. Вот почему в литературе стало наконец возможным «утверждение в правах» тех, кто всеми силами стремится выйти из общего строя — живым.

Братский привет через госграницу!

Рубрику ведет Лев Аннинский



Вот письмо из Донецка от моего старого оппонента Александра Александровича Боргардта. Привожу не полностью, а лишь в той части, которая кажется мне теперь существенной для ответа. Сохраняю жанровое оформление, включая и замечательный эпиграф, ибо хоть и лично это письмо, а по существу — публицистическое выступление на тему, которая, наверное, обожжет многих.

«Варвар, который одевается и ведет себя как китаец, это китаец. Китаец, который одевается и ведет себя, как варвар, это варвар»

Конфуций

Глубокоуважаемый Лев Александрович! Посмотрел Вашу телепередачу, диалог с Михаилом Бергом. Во всяких выступлениях, «круглых столах», интервью, даже в газетных статьях — у меня одна доминанта: не сказать чего-то такого, чего я не мог бы исчерпывающе подтвердить доказательствами. Но, видимо, я составляю исключение, и это не общепринятый стиль.

Общий тон отношений между нашими странами продолжает определяться тотальной украинофобией, наследием прошлого. По крайней мере, лично я не прочитал и не услышал за последние годы по-русски ни единого доброго слова в адрес Украины или чего-то украинского. Ну, кроме, может быть, полтавских галушек со сметаной, об утрате которых так скорбел в «Останкине» господин Алексей Денисов. В передаче, не более не менее, как «Русский мир» (!).

Сейчас уже довольно ясно, что мы все равно останемся, поэтому и следовало бы искать какое-то приемлемое сосуществование. Начать понемногу изменять отношение к нам. Ведь история все равно осудила нас жить рядом.

Народ народу рознь. Польша и Россия не только стремились нас вывести как нацию, но еще и оставить по нам самую дурную память. Татары и турки, хоть мы и бились с ними не на жизнь, а на смерть, себе такого не позволяли. Поэтому с тех пор, как исчезли причины наших споров, мы с ними — лучшие друзья.

В числе исторических преступлений, которые старались при этом навесить на нашу шею, был и русский антисемитизм, который надо было любой ценой превратить в украинский. Только вот как-то уж очень быстро исчез он, этот «украинский антисемитизм». Буквально на другой день после 1 декабря 1991 года. Сейчас у нас еврейю никто и не напомнит, что он еврей.

Обсуждая вопрос «покаяния», Вы с полной нёпринужденностью (удивившей меня) заявили: «Украинцы расстреливали евреев... евреи проводили коллективизацию...» Простите меня, но нельзя построить никаких разумных выводов, опираясь на вымысел. Тем более — на такой. Потому что оба утверждения — это поклеп. Один на украинцев, другой на евреев.

В Бабыем Яре лежат все киевские евреи, но их расстреливали немцы, это известно документально. Лежат там и десятки тысяч украинцев, и вся киевская украинская интеллигенция того времени. В их числе и блестящая наша писательница и поэтесса Олена Телига... Может, это и их расстреляли украинцы? Лежит и немало русских, живших в то время в Киеве и не принявших власть оккупантов.

Не надо так легкомысленно играть этим. Тем более — на многомиллионную аудиторию.

Все мифы о том, что «украинцы расстреливали евреев», лежат в том же русле, что и процесс Ивана Демьянюка, щедро подпитанный московскими фальшивками и тем не менее скандально провалившийся. Но, что поделать, таков был двадцатый век: начался процессом Дрейфуса, кончился процессом Демьянюка. Одно было не лучше другого.

Поверьте мне, я знаю это, наверное, лучше Вас: РАССТРЕЛИВАТЬ — этого немцы не доверяли никому. Более того, этим занимались исключительно зондеркоманды гестапо, а гестапо было частью охранных отрядов, Waffen SS, куда допускались лишь стопроцентные «арийцы».

Столь же странно, извините меня еще раз, утверждение, будто коллективизацию на Украине проводили евреи. Напомню, как это было. Было отобрано более 20 тысяч большевиков Москвы и Ленинграда — «парттысячников», которым раздали револьверы системы «наган» и доверили дальнейшее. Были ли среди них евреи? Возможно, почему нет? Но не они там делали погоду.

Евреев действительно использовали, но несколько по-другому. Для усмирения украинцев в 1939 году, когда Советы оккупировали Западную Украину, и потом, после войны, в борьбе с Украинской повстанческой армией. Тогда туда согнали чуть ли не всех евреев, служивших в системе НКВД. К ним, как к евреям, особых претензий иметь нельзя. Люди они были военные (попробуй не поехать) и действовали не своей волей. Все претензии — к тем, кто их отбирал и посылал.

Это было продолжение плодотворной практики «великой охоты» 1937—1938 годов: если арестовывали украинца, — следователем назначали еврея, и наоборот. Если русского — следователем был еврей, татарин или армянин. Ну, и так далее. Великое это искусство — стравливать народы, разделять и властвовать. Теперь это работает не хуже, чем тогда. Но уже втуне: на новую империю не сработает. Поезд истории ушел...

Ну, пора кончать, извините за длинное письмо. Рад был поглядеть Вас и послушать по телевизору. Как мы ни ругаем современность, а она предоставляет нам все-таки порой совершенно удивительные возможности.

Искренне Ваш АЛЕКСАНДР БОРГАРДТ».

Многоуважаемый Александр Александрович... вместо традиционно тяжеловесного эпитета хотелось бы употребить другой, не менее традиционный, но более отвечающий моим чувствам; но о чувствах дальше, а пока — о предмете.

Всякая телепередача — живой разговор, а всякий живой разговор — это употребление слов не в их стабильно точном значении, а в значении ситуационном, то есть в мгновенном сцеплении с речью собеседника, который «подает» тебе эти слова для ответа. Так было и у нас в теледиалоге с Михаилом Бергом. Получив от него идею «национального покаяния» (русские должны покаяться перед нерусскими), я эту идею, по сути мифологическую, опровергал, беря «в уста» мифологемы из того же ряда и опровергая их именно как мифологемы. Я думал, это ясно.

Вы по мифологемам прошлись с фактоискателем. Это тоже имеет свой смысл, и я с готовностью публикую Ваше письмо для дальнейшего раздумья наших читателей. Но речь-то шла о мифах.

Миф фактами не может быть ни подкреплен, ни опровергнут. В основании мифа всегда есть факты, и, как правило, миф — отражение реальности, но грубое, иногда доведенное до гротеска. Извлечь из него точную картину невозможно: он не для этого делается.

Десять лет назад в Сабре и Шатиле была резня; мир обвинил в этом израильтян. Те резонно отвечали: мы не резали — мы только впустили в лагерь тех, кто резал. С точки зрения юридической это важно: кто насилует, а кто держит фонарь. Но мифологическое сознание не юридично, и если дойдет до «национального покаяния», никто деталями интересоваться не будет. Значит, или надо уходить от мифологического мышления (что вряд ли возможно), или уж мыслить по его логике, и тогда противопоставлять мифу не факты, а то, что его порождает, — эмоции же. Потому что факты найдутся и на той, и на этой стороне.

В Бабьем Яре стреляли немцы, их было не так много за пулеметами. Потому что расстреливаемые были доставлены под дула. Но доставить их под дула немцы своими силами не смогли бы. Кто им помогал? Что, будем сейчас устанавливать национальную принадлежность?

Вот это и был смысл моего спора с Бергом. Главная мифологическая провокация нашего времени: взять трагедию времен мировой войны, где сталкивались многонациональные армии, и задним числом, оборачивая все это на наши нужды, искать в участниках национальное начало.

А что же, этого тогда не было? Было. Были и в ту пору национальные выломы из интернациональной логики.

Один из самых жутких — еврейский. То есть Гитлер истреблял евреев именно и только за то, что они евреи. Почему и поставило человечество на фашизме клеймо — казалось, на веки вечные.

Но это был вылом именно из общей наднациональной логики! Люди, которые оказывались в мясорубке, чаще всего не чувствовали себя «националами». До этого просто не успевало дойти. То есть были, конечно, национальные формирования и в составе гитлеровской армии, и в составе советской, но они, когда стреляли (и когда расстреливали), то не чувствовали себя в этой роли ни украинцами, ни эстонцами, ни татарами. Фашистами — да, коммунистами — да.

Что же, будем теперь вычислять, сколько украинцев было в «интернациональных» карательных формированиях, действовавших именем фюрера и его государства? Пошлем спросить писателей, зачем они это описывали? Зачем Дина Калиновская описывала еврея, который явился в украинское село делать колхоз?

Затем описывали, что это была реальность, которая в свое время стала мифом, а в нынешнее время из мифа снова норовит стать реальностью. Задним числом. И с другим смыслом.

Тут в чем подмена? Еврей, проводивший коллективизацию на Украине, действовал вовсе не как еврей — он действовал как коммунист, а что он еврей — ему было наплевать. Ответ же теперь он должен держать — как еврей (и даже не он, а совершенно другие люди, меченные тем же пунктом в анкете). И вовсе не украинское село он, коммунист, мордовал тогда именем Сталина — он искоренял «частнособственнический сектор», без особого национального прицела. Таков был язык, код, оклик тогдашней реальности. Вытащить ее сейчас на суд по нынешним кодексам — значит, подменить все: и предмет, и закон, и смысл. Тем более когда зовут не просто к покаянию, а к «национальному покаянию».

Национальное покаяние, как и всякое коллективное покаяние, — вообще нонсенс (было еще «дворянское»). Покаяние может быть только индивидуальное, а точнее — личностное. Вот сколько ЭТОТ человек возьмет на себя, столько и вместит. Нечего со стороны подначивать. Впрочем, если появится в печати некоторое количество текстов, в которых «русские» объявят, что они виноваты перед «нерусскими», мир от этого не рухнет, а, может, иные сердца и смягчатся. Но «русские» так же состоят (и состояли) из людей разного этнического происхождения, как и противостоявшие им «нерусские», и этого задним числом не переделать.

Мне в Киеве много чего рассказывали на эту тему, когда я возил старшую дочь в Бабий Яр (в 60-е годы, памятника еще не было, но уже стоял небольшой камень с надписью; слово «еврей» в надписи, понятно, отсутствовало). Мне рассказывали, как одни украинцы прятали еврейских детей, а другие писали на них доносы, и не столько по злобе, сколько от страха, что «пожгут всех». И в зондеркомандах бывали всякие люди. И немец мог заметить недостреленного ребенка и, тайно зайдя в крайнюю хату, указать, что там, в могиле, забросали землей живое существо. И украинка из этой крайней хаты, тайно же, шла и откапывала это еврейское существо и выхаживала. И еврейский ребенок, вырастая, звал эту женщину мамой.

Так кто перед кем должен каяться? Украинка, которая в этой ситуации рискнула спасти «вражье дитя», а в другой, может быть, стояла бы и молча смотрела, как других «вражских детей» гнали по Брест-Литовскому шоссе к оврагу? Она, кстати, и думать, наверное, не думала, что она украинка (это ей теперь сказали, кто она), а была просто добрая душа. Или немец должен каяться, что один раз недостреленного пожалел и выручил, а в десятках других случаев — убивал-таки?

А может, вообще кончить этот национальный контрданс с покаяниями? И перестать вешать национальные бирки на людей, участвовавших в совсем другой драме? Дело давно уже не в том, что кто когда кому причинил, дело в том, как вести себя сегодня. ТОТ поезд ушел. Не попасть бы под ЭТОТ.

Уж на что евреев загоняли в евгеническую клетку, и сами они тому весьма

способствовали, а ведь нашел в себе силы Бен-Гурион заявить: еврей — это тот, кто называет себя евреем.

То есть нация — не кровь, не пункт в паспорте, не территория и даже не язык (первоэлемент культуры). Нация — это, в конце концов, тип поведения. Конфуций знал это за двадцать пять веков до нас. Правда, ни «китаец», ни «варвар» в ту пору не были национальными определениями, а означали приблизительно то же, что и сейчас: человека культуры и — варвара.

Так что нации — в некотором смысле псевдонимы.

Псевдонимы чего?

Того, что мы не умеем назвать. Или называем как-нибудь запросто. «Хороший человек», например. «Хорошо» или «плохо» говорят об украинцах русские? Вы пишете: «...лично я не прочитал и не услышал за последние годы по-русски ни единого доброго слова в адрес Украины или чего-то украинского».

Почему вы говорите это мне, Александр Александрович? Имеете в виду мои статьи о Винниченко, о Мовчане, Драче, Стельмахе, Ильенко? Эти статьи наводят на мысль об украинофобии?

Впрочем, мне и здесь то и дело вешают «русифобию». Что ни скажи о русских, непременно кто-нибудь обидится: ты нас не уважаешь! Только одно и ловят: «хвалишь» или «ругаешь». Когда же до сути-то дойти попытаемся?

Простите, если обострил наш с Вами сюжет. Я ведь чувствую за всей Вашей непримиримостью готовность к диалогу, необходимость общения. «История осудила нас жить рядом», — пишете Вы. Я бы сказал иначе: «История благословила нас жить вместе». И написали Вы мне потому, что чувствуете: при всей остроте наших с Вами споров мне неизмеримо дороже самый факт общения, наша обоюдная нужда друг в друге.

Потому я и склонен употребить на прощание несколько менее официальную формулу: всего Вам доброго, дорогой Александр Александрович! Будем жить дальше. Искренне Ваш Л.А.

P.S. Памятливый читатель, может быть, вспомнит мою полемику с А.Боргардтом в номере 2 «ДН» за 1993 год, но и заметит, что там фамилия была написана неточно. В том вина редакции журнала «Век XX и мир», которому я отвечал на публикацию и невольно воспроизвел ошибку. Теперь я восстанавливаю фамилию моего уважаемого оппонента в правильном виде и посылаю ему через госграницу братский привет.

Декабрь 1993

Александр Изгоев

«Страшные уроки
1917 года...»

Александр Соломонович Изгоев (настоящая фамилия — Ланде) — крупнейший отечественный публицист, видный деятель либерально-демократического крыла российского освободительного движения — родился 10 (22) апреля 1872 года в городе Ирбите Пермской губернии. В 1889 году окончил Ирбитскую гимназию и поступил на медицинский факультет Томского университета. Несколько лет жил за границей, где изучал общественные науки. По возвращении в Россию сотрудничал в марксистских журналах «Новое слово», «Жизнь» и др. В 1900 году окончил юридический факультет Новороссийского университета в Одессе. В 1904 году отходит от социал-демократии, вступает в одесскую группу антимонархического «Союза освобождения». После еврейских погромов в Одессе переезжает в Петербург. Здесь в январе 1906 года на II съезде Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) избирается членом ее ЦК, в состав которого входит вплоть до 1918 года. 1906 — 1918 годы — период интенсивного публицистического творчества А.С. Изгоева. Его статьи, очерки, заметки публикуются в газетах «Дума», «Речь», журналах «Полярная Звезда», «Свобода и Культура», «Русская Мысль» и др. В 1908 году принимает участие в сборнике «Вехи» (статья «Об интеллигентной молодежи»), в 1918-м — в сборнике «Из глубины» (статья «Социализм, культура и большевизм»). В конце 1917 года взамен закрытой большевиками «Речи» организовал издание ряда кадетских газет, среди которых главной была выходившая в Петрограде с

ноября 1917-го по август 1918-го газета «Наш век». В ней А.С. Изгоев выступил с рядом очерков, передовиц, редакционных статей.

Публицистику А.С. Изгоева не обошел вниманием В.И. Ленин. «Известный кадетский писатель», «кадетский идеолог», «рenegат», «известный рenegат», «контрреволюционный либерал», «публицистический приказчик помещиков и капиталистов», «бешеный враг большевизма» — таковы некоторые из характеристик, выдававшихся Изгоеву в разные годы вождям большевиков. В 1913 году достаточно робкая попытка М. Горького встать на общедемократическую точку зрения в статье «Еще о карамазовщине» осуждается Лениным как типичная «изгоевщина».

Испытания, выпавшие на долю А.С. Изгоева после октябрьского переворота, были ужасны. В начале ноября 1918 года он был арестован. 2 декабря З. Гиппиус записывает в дневнике: «Спешно отправлены в Вологду, в «каторжные работы», арестованные интеллигенты (81 чел.); такие «преступники», как Изгоев, журналист из «Речи», например. Очень спешили, не дали привезти им даже теплой одежды. Жену Изгоева при проводах красноармеец хватил прикладом, упала под вагон; вчера служила в столовой журналистов вся обязанная» («Звенья: Исторический альманах». Вып. 2., М., — СПб, 1992, с. 126). Затем последовали принудительные «окопные работы» в Архангельской губернии, проходившие в тяжелейших условиях. В конце декабря 1918 года Изгоев был освобожден и вскоре вернулся в Петроград. «За меня

хлопотали литературные организации Петрограда и М. Горький. Обращались к Зиновьеву, Ленину, Стасовой... Благодаря этому я получил возможность около семи с половиной месяцев пробыть в 1919 году в кругу своей семьи... Впереди меня ждали новые испытания. Они закончились подлинной трагедией, разрушившей семью и совершенно обесценившей для меня остаток моих дней» (А. С. Изгоев. *Пять лет в Советской России*. — В сборнике «Архив русской революции». Т. X. Берлин, 1923, с. 53, 55).

В конце лета 1919 года А. С. Изгоев был вновь арестован, перевезен в Москву, где заключен в Ивановский концентрационный лагерь, располагавшийся на территории бывшего монастыря. В начале 1920 года семью постигает тяжелое горе — в Петрограде умирает младшая дочь. В это же время тяжело заболели и едва не погибли жена и старшая дочь.

В марте 1921 года А. С. Изгоев был освобожден из концлагеря. Возвратившись в Петроград, работал в архиве Публичной библиотеки, сотрудничал в сборниках «Утренники», «Парфенон», выступал с лекциями. В августе 1922 года опять арестован, осенью с группой российских интеллигентов выслан в Германию. Здесь,

а затем в Чехословакии сотрудничал в эмигрантских изданиях — журнале «Русская Мысль», газетах «Возрождение», «Россия и славянство», «Руль». Переселившись в Прибалтику, до конца жизни публиковался в рижской газете «Сегодня». Умер А. С. Изгоев 11 июля 1935 года в городе Хаапсалу (Эстония).

Творческое наследие А. С. Изгоева практически почти неизвестно современникам. Вниманию читателя мы предлагаем некоторые материалы из этого наследия. Хронологически они делятся на две части. Первую составили два газетных очерка и журнальная статья, опубликованные в России в конце 1917-го — начале 1918 годов, вторую — статья, изданная в Париже в 1933 году. Читатель, несомненно, по достоинству оценит тонкость и глубину анализа, пронизательность автора, временами поднимающегося до высот пророческого видения судеб нашего Отечества. До конца своих дней он оставался убежденным коллективистом и поборником прав и свобод человеческой личности — сторонником той «изгоевщины» (пользуясь терминологией Ленина), которая доказала свою историческую правоту и которой принадлежит будущее.

Великорусское движение и Россия

I

Большевизм со всех сторон густо облеплен авантюристами, охранниками, простыми мошенниками. Если снять эту мразь (на это потребуются десятки лет!), останется очень мало. Но кое-что останется. Что именно? Германский социал-демократизм, перелицованный на истинно русский лад. Марксизм в лице большевиков сдался и подчинился русскому утопическому народническому социализму. Последнее, кошмарное не только для марксиста, но и для каждого экономически образованного человека заявление Ленина, что установившийся ныне «натуральный обмен» является «зачатком социалистического хозяйства», особенно ярко подчеркивает эту «сдачу» русской социал-демократии.

На русской почве социал-демократизм совершенно лишился того культурного значения, которое он имел за границей. Российская действительность переработала его в азиатский социализм, являющийся, по общему признанию, лишь в сто раз ухудшенным царским самодержавием.

Небольшие группы марксистов, пыгающиеся удержать и в России за социал-демократией ее мировое культурное значение (Г. В. Плеханов, некоторые меньшевики), слабы, не влиятельны, не имеют никакой опоры в массах, даже городских.

В соревнованиях демагогических групп побеждает всегда та, которая побольше наобещает своим «сторонникам» и поменьше наложит на них связующих пут. Всякая демагогия неизбежно приводит к последнему конечному лозунгу: распивочно и на вынос, бери, что хочешь и как хочешь!

«Левые эсеры», в сущности, те же самые большевики. Самый тщательный

химический анализ не установит разницы между ними. В «большевизме» мы имеем, таким образом, синтез «марксизма» и «народничества», цвет и наиболее зрелый плод русского социализма. Вот факт огромного значения для всей будущей культуры русской жизни, которого нельзя скрывать от себя.

Освобожденный от примесей, о которых говорилось в начале статьи, не случайно, конечно, к нему приставших, «большевизм» является итогом многих десятилетий определенной умственной работы.

Теперь мы видим, какими неразрываемыми кровными жилами этот итог связан с павшим русским самодержавием. Большевизм впитал в себя столько отравленной и гнилой крови русского самодержавия, что сделался похож на него как две капли воды. Мало того. Болезни самодержавия отразились в большевизме в удештеренной и в крайне уродливой форме. Он противен и постыден поэтому гораздо более, чем самодержавие, от которого отличается лишь формальным отсутствием царей. На деле имеются и «цари»...

Как на последнее сходство большевизма с самодержавием, указывают, что, начав с провозглашения «полного самоопределения вплоть до отделения» всех наций и народов, большевизм на практике, при первом же столкновении с жизнью, выступил резким врагом всякого национального и областного самоопределения и самоуправления. Факт этот действительно замечательный и имеющий огромный интерес. Большевики уже объявили войну Украинской Раде¹ и казачьим областям. Не сегодня-завтра, если они удержатся, они объявят войну и Финляндии, Сибири, Бессарабии, Эстляндии, Кавказу. В этом не может быть ни малейшего сомнения. Большевизм проделает все, что делало царское самодержавие. Он роковым образом повторяет все его ошибки и преступления, только говоря при этом несколько иные слова.

Среди этих ошибок и преступлений старого режима его окраинная и национальная политика занимала одно из первых мест. Странная это была политика, которую, во всяком случае, нельзя окрасить в один какой-либо цвет.

Сплошь и рядом следствия этой политики ни в малейшей степени не отвечали желаниям вдохновителей, даже прямо шли с ними вразрез. Держа в темноте, на низком уровне экономического и культурного развития основную массу «коренного населения», то есть великорусского крестьянства, царское правительство надеялось иметь для себя постоянную и прочную опору в темных, безграмотных сельских массах. Что это вышла за опора — мы можем ясно видеть в наше время. А вследствие этого промышленная жизнь на окраинах, где и внешние условия были для нее благоприятны, развивалась темпом гораздо более быстрым, чем в центре. Наряду с этим гонимые из центра великорусские массы разносили по окраинам не великорусскую, а что-то совсем новое — «русскую» культуру.

Царское самодержавие этого факта не видело, не понимало, с ним нисколько не считалось. Формально он выражался в проникновении во все глухие уголки России языка Пушкина, Тургенева, Толстого, в таком замечательном явлении, что талантливейшие из малороссов Гоголь и Короленко сделались «русскими» (не великорусскими и не украинскими, а русскими) писателями.

Было бы ошибочно и несправедливо широкое распространение в России русского литературного языка приписывать влиянию полицейских мер царского правительства. Напротив, эти меры только отталкивали от русской культуры. Она утверждалась в разных местах России вопреки царскому правительству.

Двумя путями шло по разноплеменной России это русское влияние: путем принудительным, через русскую администрацию, и путем вольным, в борьбе с русской самодержавной администрацией. По этому последнему пути в наших розвальнях и кошевках с гиком и присвистом удалых и шальных ямщиков въезжал, между прочим, и «русский социализм», уже давно задавшийся целью удивить «всю Европу». Само собою понятно, что этим «социализмом» не исчерпывалась русская культура.

Если глубоко вдуматься, он занимал в ней лишь небольшое относительно место. Но шума, крика и удалых поз, вызываемых в значительной мере нелепыми и невежественными преследованиями русского самодержавия, было так много, что казалось, будто вольная русская культура вся исчерпывается этим буйным социализмом.

И от налетов этого социализма уже тогда пугливо жались различные населявшие Россию национальности, дорожившие своей родной культурой, несмотря на то,

что наш «социализм» пригоршнями бросал им обещания всех свобод, самоопределений, отделений, независимостей и прочих благ земных и небесных.

II

Прежней России не существует. Она разбита усилиями германцев и большевиков. Подобно раку ползет большевизм по всем областям прежней России и старательно выедаёт все, что хоть сколько-нибудь напоминает государственность.

Ударты революции вызвали к жизни таившиеся при самодержавии под спудом стремления национальностей и областей. Чем сильнее был национальный гнет, тем резче во время революции сказался национальный порыв, сплошь и рядом переходивший в сепаратизм. Если раньше государственное целое подавляло свои разнонациональные части, то теперь отдельные национальности почти совершенно перестали считаться с целым.

Национальности заболели своим национальным большевизмом. Все они заигрывали с нашим российским большевизмом, рассчитывая при его содействии добиться для себя наибольших благ.

Но так было до тех лишь пор, пока большевизм не овладел государственной властью и не вскрыл совершенно своей природы. Тогда и отдельные национальности наглядно увидели смертельную опасность, которая угрожала самим корням их существования. Обещая на словах величайшие свободы «порабощенным народностям», большевизм на деле подкапывался под самое их существование. Полная свобода — но при том лишь условии, что национальности превратятся в безнациональные большевистские толпы и откажутся от всяких государственных стремлений.

Раньше других с этой практической сущностью большевизма пришлось встретиться украинству. И вот мы видим, как в этом движении происходят знаменательные перемены. В конце октября украинцы рука об руку с большевиками свергают власть Керенского. В ноябре у них уже устанавливаются весьма острые отношения со вчерашними союзниками, а в декабре большевистские народные комиссары формально объявляют Украине «войну».

Силою вещей в процессе борьбы с большевиками украинцы дошли до идеи воссоздания России. От узкого, частичного, «партикуляристского» национального движения украинцы пытаются перейти к движению «универсальному», всероссийскому, общегосударственному, ставя своей целью воссоединение распавшейся Великой России вокруг нового южного центра.

Сторонники этой идеи говорят: «Прежнюю Россию объединяла Великороссия, прежнее государство было централистским великорусским. Теперь север, Великороссия, Московия явно гниют, разлагаются; север не в силах собрать Россию, задачу эту выполнит юг».

Как бы в противовес этим притязаниям в последнее время начали говорить о «великорусском движении». Первое известие о нем дошло до столицы из Севастополя, когда там «украинизировали» черноморский флот. Значительная часть матросов, недовольная «украинизацией», сочувственно отозвалась на призыв записаться в «великорусский союз». О дальнейших действиях этого союза мало было слышно. Надо надеяться, однако, что он непричастен к последней попытке большевиков разгромить Одессу и Ростов при помощи судов черноморского флота. Позднейшие известия о великорусском движении говорили уже о Москве, где по почину калужского землячества собрались земляческие съезды и готовился великорусский собор.

Это движение носило уже на себе печать творчества. Оно исходило из факта разрушения России и ставило своей задачей возрождение великорусского племени.

Огромные массы русского народа теперь несомненно «ослеплены» и в этом ослеплении совершают тысячи самоубийственных актов, губящих Россию как единое государство. Солдатам и рабочим великорусского племени в этом процессе истребления русского государства принадлежит первейшая роль. Если бы возрождение великорусского национализма привело к тому, что с народных глаз спала бы пелена и народ увидел бы и понял смысл этого разрушения, это движение было бы воистину великим и освободительным. Конечно, даже взятое в узких пределах образования великорусских землячеств, оно заслуживает всемерной поддержки, как

и всякое другое средство превращения людской пыли в цельные органические соединения людей.

Но с государственной точки зрения этого мало. Великороссия не есть Великая Россия. Последняя гораздо шире и выше. Государственная задача времени — возрождение не всегда великорусского племени, а Великой России. И в будущей Великой России — а она «буди, буди», в это мы все глубоко верим — то племя, та сила займут *культурно* преобладающую роль, которые больше всего поработают для этой великой цели. Путь один — борьба с анархией, воплощенной в большевизме, забравшем такую силу вследствие германских побед над «измалодушествовавшим» русским солдатам всех племен и народностей.

Если «великорусское движение» не перейдет пределов узкого, местного национализма, ему едва ли суждена крупная историческая роль. Что такое, на самом деле, Великороссия? Разве Дон, Терек, Ставропольская губ., Сибирь не населены великоруссами? А между тем сибиряки и донцы противопоставляют себя москалям, ничуть, конечно, не думая отвергать «русской» культуры и тем заметно отличаясь от украинцев так называемой австрийской ориентации.

Что ныне погибающая Россия создана была, главным образом, усилиями великорусского племени, что русское императорство безбожно растрачивало при этом силы великорусского племени, очень мало думая о его культурно-экономическом развитии, оставляя, например, его до XX века на первобытной ступени общинного трехпольного хозяйства, — все это несомненные факты. За эти факты государство и заплатило в нынешние страшные минуты болезнью, имя которой «большевизм».

В преодолении большевистской болезни — спасение и возрождение России. В этой работе призваны принять участие все живые социальные и национальные силы России. Не случайно каждая национальность, как только она начинает свободно самоопределяться и организовываться, чувствует занесенный над нею меч большевизма и вынуждена с ним бороться.

Чем крупнее эта национальность, тем шире раздвигаются для нее перспективы. Значительная часть украинцев, например, довольно скоро поняла, что их существование немислимо без могущественной Великой России, что без нее они обречены стать жертвой своих соседей. Судьба же Великой России зависит от быстроты преодоления большевизма.

Самая большая опасность, грозящая великорусскому племени, — отождествление его с большевизмом. Задача действительно великорусского движения не в какой-то национальной замкнутости великорусского племени, а в решительной борьбе с большевизмом, этим ядовитым продуктом нашей культурной отсталости, сброшенным опьяняющим вином самодержавного насилия.

Кто победит большевизм, тот и соберет вокруг себя Великую Россию.

*«Наш век», 15 (28) декабря 1917 г., № 14, с. 1;
19 декабря (1 января) 1917 г., № 17, с. 1.*

Черный год

Почти девяносто лет тому назад пятнадцатилетний Лермонтов, пророчески предсказывая нашу революцию, писал в нескладных юношеских стихах:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет².

Это и был 1917 год. Он на самом деле оказался России «черным годом». Не потому, что упала «корона царей». Народы живут и без царских корон. «Черным» для России назовут 1917 год потому, что он вообще разрушил все жизненные связи, все те скрепы, которыми только и может держаться государство.

У нас была единая государственная власть. Ее не стало. Огромная часть бывшей России не признает узурпаторской власти народных комиссаров и подчиняться им не желает. Сознание единства России еще чужь-чужь теплится в мысли об Учредительном собрании. Но в благополучный рост этого болезненного ребенка, которому большевики уже поспешили перебить спинной хребет, мало кто верит. Все слабее

становятся надежды, возлагаемые на Учредительное собрание. А по мере того, как слабеют эти надежды, гаснет и мечта о быстром возрождении единства России.

У нас была армия. Усилиями германских агентов, большевиков и других социалистов она превращена в бесчинствующие толпы вооруженных людей, опасные для мирных граждан, бесполезные для защиты родины.

У нас были единые для государства почта, телеграф, монета, железнодорожные пути. На всех этих государственных артериях мы ежедневно наблюдаем, как в том или другом пункте кучка предприимчивых и беззастенчивых людей отмыкает целый край от связи с остальными частями России.

Почтовые сношения внутри России давно уже превратились в насмешку над здравым смыслом. Несмотря на германскую подводную блокаду, почтовые отправления из Франции доходили в Петроград аккуратнее, чем, например, письма и газеты из Донской области. Сношения при посредстве телеграфа сплошь и рядом оказываются более безнадежными, чем даже при помощи почты. Железные дороги явно умирают. Еще катающиеся и торгующие солдаты могут иногда пользоваться железнодорожными путями. Но для платных пассажиров из обыкновенных граждан, не солдат и не пролетариев, железные дороги недоступная роскошь. И ждут русские обыватели смелых предпринимателей иностранцев, которые заведут наконец у нас движение в старинных дилижансах или в новейших автомобилях. Но возможно ли курсирование таких экипажей без иностранной военной охраны?

До недавнего времени единой для всей России оставалась денежная система, покоившаяся на золотом запасе. Часть этого запаса расхищена, судя по известиям об арестах в Сибири солдат с золотыми слитками из русского металлического фонда. Огромная часть запаса в Москве и Петрограде попала в руки большевиков. Нижегородские кладовые пока избежали большевистского плена. Существующая денежная система опирается уже не на металлический запас, а на воспоминания о прежнем кредите. В целом ряде местностей выпускаются особые местные деньги. Если в Терской и Донской областях, в Оренбурге и других городах речь идет о выпуске бонов в старой русской валюте, то на Украине местные сепаратисты собираются печатать уже свои собственные «карбованцы» под обеспечение иностранных займов.

Распадается Россия... Какая? Старая ли только или Россия вообще? Идет ли на окраинах здоровый процесс временного отторжения себя от тяжело заболевшего государственного центра, чтобы, собравши силы, восстановить затем это целое, или мы живем в эпоху падения «Великой Русской империи», как были годы падения великой Римской империи? «И не такие царства погибали», — изрек однажды старый самодержавный ворон К.П. Победоносцев, немало поработавший над тем, чтобы привести Россию к ее нынешнему состоянию, вынуть у народа живую душу, сделать его внутренне беззащитным от всяких насильников и обманщиков.

Финляндия как будто отделилась окончательно и совершенно. А если так, то, какой бы вид ни получила будущая Россия, Петербург не может остаться ни ее столицей, ни центром промышленности, работающей на оборону. Польша отделилась окончательно, и о привлечении ее в состав Российского государства серьезно никто не думает. Судьба Литвы и Белоруссии таит в себе еще много неожиданностей. Курляндии немцы нам отдавать не хотят, но и Эстляндия не столь уже прочно связана теперь с Россией, как до большевистского восстания. Оно имело первым своим последствием чрезвычайное усиление центробежных сепаратистских стремлений тех народов, которые знают, что по большевистскому рецепту постоянного дележа добычи вместо усиления производительности народного труда можно прийти только к гибели и к всеобщей нищете.

Без большевиков украинские сепаратисты никогда не сделали бы такой блестящей карьеры. Теперь их акции о создании на юге России особого украинского государства получают видимость реальности. От большевистской власти люди готовы бежать и в украинское государство. По соседству с Украиной копит свои силы Донская казачья республика, в которой многим так страстно хочется видеть русский Пьемонт³.

Напряженная работа идет на Кавказе, которому угрожают демобилизующаяся, большевистски настроенная русская армия и кое-где готовящаяся к наступлению ввиду русского бессилия турецкие орды. А внутри Кавказ по-прежнему раздрается национальными и религиозными противоречиями — армяно-грузинскими, армяно-татарскими, христиано-мусульманскими.

От Донской области через широкую полосу туманного еще юго-восточного союза казачьих областей и вольных горных народов идет путь в Сибирь, в Туркестан, где утверждается отдельное мусульманское правительство, а затем и на великий сибирский железнодорожный путь, связывающий огромный материк азиатской России с единственным серьезным выходом к морю — Владивостоком.

В Сибири тоже создаются самостоятельные республики.

Этот процесс обособления, почкования республик — самое серьезное и важное явление в жизни России, или бывшей России, за вторую половину 1917 года.

Каков же смысл этого процесса?

Надо признать прямо, что ни внутри старого российского центра, ни в огромном теле старой российской государственности не нашлось таких здоровых сил, которые могли бы выдержать борьбу с большевизмом.

Торжество большевизма — смерть всякой *самостоятельной* свободной государственности.

Смерть эта ведет, однако, не к торжеству интернационализма и социалистического строя, как лгут и болтают большевики, а к подчинению данного народа другой, иностранной государственности. Русским людям нет другого выхода: или преодолеть большевизм, или попасть в иностранное рабство. Сепаратистские национальные и областнические течения и являлись до сих пор орудиями борьбы с большевизмом. В этом смысле они играют положительную роль. Но если они поведут к подлинному окончательному распаду России, то лекарство окажется равноценным болезни.

Все зависит от силы русской культуры. Сможет ли она преодолеть большевизм и сквозь спешно воздвигаемые пограничные рогатки воссоздать новую, но единую Россию?

1918 г. даст на это ответ.

«Наш век», 31 декабря (13 января) 1917 г., № 26, с. 1.

О заслугах большевиков

Неловко даже и написать эти слова. Как можно говорить о «заслугах» людей, с именем которых на веки веков свяжется представление о самом черном годе для России. Мне ли, члену партии, объявленной большевиками «вне закона»⁴, говорить об их «заслугах»? Если это даже ирония, она неуместна. Но в моих словах нет никакой иронии. Я хочу говорить вполне серьезно о серьезной заслуге большевиков. Правда, заслуга эта такова, что заставляет вспомнить об известных словах в Евангелии: «Горе миру от соблазнь: нужда бо есть приити соблазномъ: обаче горе человеку тому, ниже соблазнь приходит».

В наших разговорах о русских политических партиях П.Б.Струве неоднократно указывал на один большой моральный дефект марксизма. Исповедуя социализм как некий идеал далекого будущего, марксизм в силу злоупотребления историзмом и идеей эволюции избавлял своих последователей от необходимости ныне же воплотить свои взгляды в жизнь, согласовать слова с ежедневным поведением. Провозглашая себя социалистами, люди не были ими ни в малейшей степени. Это не только извращало нравственную личность отдельных людей, привыкавших таким путем к безответственности, питаемой отсутствием непосредственной связи между жизнью и идеями, между строем жизни и идеалом. Этот грех марксизма тормозил и развитие общественной мысли. Социализм должен быть испробован в жизни, говорил П.Б.Струве. Только тогда человечество убедится в ложности некоторых основных его посылок, в ложности его учения о человеке. Лишь после такого испытания и провала образованное человечество освободится от власти идола, тяготевшего более полувека над его сознанием.

Желание П.Б.Струве наконец осуществилось. На долю России выпала эта тяжкая судьба — послужить предметным уроком для всего человечества. В силу стечения целого ряда обстоятельств в России в 1917 г. интеллигенция приступила к осуществлению социалистического строя. То, чего ученые социал-демократы всегда так тщательно избегали и хитроумно отодвигали в туманную даль будущего, большевиками поставлено в порядок дня как очередная задача. С 1917 г. мы присутствуем

при событии огромной важности. Происходит не только явление, но и испытание бога. И имя этому богу — социализм.

Надо сделать одну существенную оговорку. Под флагом социализма, в особенности «марксизма», «научного социализма», организовались сотни тысяч и миллионы рабочего класса, преимущественно в крупной промышленности. Под давлением организованного пролетариата все культурные государства вступили на путь социальной политики. Ее задачи — ограничение власти капитала, подчинение его государственному контролю, улучшение положения рабочих, установление в крупной промышленности конституционного строя. Социальная политика — великое прогрессивное явление нашего времени. Она будет развиваться и дальше, имея своей путеводной звездой *стремление* к справедливости и к возможному равенству. Но эта социальная политика, хотя и была вызвана социализмом и им подгалкивалась, в основе своей является резким отрицанием социализма как религиозного учения, имеющего целью преобразование общества на началах упразднения частной собственности и обобществления производства. Социальная политика прежде всего требует крепкого *национального* государства. Социализм отрицает государство. Он по существу интернационалистичен, и осуществление его мыслимо только в международном масштабе. Восьмичасовой рабочий день, улучшение положения рабочих возможны только при защите данной *национальной* промышленности пошлинами и другими государственными мерами. При их отсутствии социальные реформы могут привести только к крушению национальной промышленности, не способной справиться с иностранной конкуренцией.

Великая мировая война 1914—1917 гг. бесспорно выяснила *национальный* характер современного рабочего движения. Как бы ни ругали германскую социал-демократию, как бы справедливы ни были бросаемые ей упреки в измене и предательстве, ясно, что она изменила лишь словесным догмам, которые уже давно твердила, в них не веря. Германскому рабочему классу она не изменяла, как не изменили своему пролетариату ни английские, ни французские социалисты. И только русским социал-демократам выпала на долю мало завидная и мало почетная роль изменников своей родине и своему рабочему классу. Крушение русской промышленности выяснит всем русским рабочим значение «интернационализма». В мировой истории нам пришлось сыграть роль илотов⁵. На нашем примере другие нации и государства будут изучать, что означает и к чему приводит в жизни осуществление социализма.

Но большевики — не социалисты, раздаются возражения людей, спешащих спасти социализм от неизбежного крушения, большевики отреклись от марксизма, увлеклись анархо-синдикализмом и т.д., и т.д. Такие возражения несерьезны и вызваны, очевидно, только желанием интеллигентов-социалистов сложить с себя ответственность за этот грандиозный, единственный в мире опыт осуществления социализма.

Надо быть честным и по отношению к большевикам. Их можно упрекать только за то, *что* они осуществляют социализм, а вовсе не за то, *как* они его осуществляют. Они осуществляют единственно возможным способом. И кто бы за эту задачу ни взялся, он ничего другого не мог бы сделать. Оставалось или еще целые десятилетия болтать о социализме, оставаясь по существу «буржуазными реформистами», или решиться приступить к воплощению своих идей в жизни. Большевики учли, что расшатанный проигранной войной и потрясаемый революцией государственный организм не может оказать им серьезного сопротивления. Учтя это, большевики захватили власть и принялись за введение «социализма». Результаты получились хорошо известные, но за стремление осуществить свою программу в жизни большевиков упрекать нельзя. Это, во всяком случае, честнее, чем с лозунгом социализма на устах проводить кадетскую программу реформ.

Интеллигентские группки социал-демократов меньшевиков и интернационалистов упрекают большевиков в отречении от Маркса, в анархо-синдикализме. Ученые-большевики в подтверждение своих планов сплошь и рядом ссылаются на Маркса. Надо признать, что они имеют на это право. Маркс разделил судьбу Гегеля. Цитатами из его сочинений могут в одинаковой мере прикрываться как правые ревизионисты из нынешних национально-государственных германских социал-демократов, так и левые анархо-синдикалисты и наши большевики.

Конечно, в земельном вопросе большевики уж чересчур откровенно сдали свои

«марксистские» позиции и восприняли «утопическую» земельную программу социалистов-революционеров, притянув таким образом к себе «левых эсеров». Но и в этом пункте меньшевики не имеют права упрекать большевиков. Присоединившись к земельной программе В.Чернова⁶, меньшевики тоже погрешили против чистоты своего учения. То, что в большевистском лагере сошлись левые социал-демократы вместе с левыми социалистами-революционерами, имеет большое значение. Большевикизм является, таким образом, последним словом русского социализма, тем синтезом «марксизма» и «народничества», о котором так много говорили, которого так страстно ждали. Это — завершение огромного, свыше полувекового периода развития русской общественной мысли. Перед нами самый зрелый плод его. И если этот плод привел к разгрому государства, распадению России, к германскому господству, значит, все эти разрушительные свойства были уже заложены в самом семени социалистического учения, как оно привилось в России.

И ни марксизму, ни народничеству, ни социал-демократам, ни социал-революционерам, даже ни народным социалистам не сложить с себя ответственности за то, что большевистские экспериментаторы проделали в 1917 г. над Россией. Все это — дело рук всех социалистов, дело их мыслей. Большевики только осуществили то, о чем говорили другие. Но осуществить это иначе, чем сделали они, было невозможно.

Большевистская практика дает нам возможность судить о ценности тех идей, которые почти 60 лет провозглашала русская социалистическая интеллигенция.

Свобода слова. За несколько месяцев господства большевиков над печатью было совершено более издевательств, чем чуть не за весь императорский период. Большевики не только закрывали и штрафовали газеты и арестовывали редакторов и сотрудников, как Толмачев и Думбадзе⁷, но и разрушали, и отбирали типографии, крали чужие запасы бумаги, расхищали имущество, громили помещения, отдавали газеты на поток и разграбление любой группе людей, желавших заняться этим делом. Никогда положение русской печати не было столь случайным и столь бесправным, как при господстве социалистов.

Неприкосновенность личности. Десятки тысяч людей без различия класса, пола и возраста сидят в социалистических тюрьмах. К ним не предъявляют никаких обвинений. Их не судят. По произволу их вырывают по ночам из жилищ. По произволу их освобождают. Любая группа солдат и матросов, образовав свой хотя бы районный Совет раб. и солд. депутатов, может арестовать кого ей угодно и держать его сколько ей угодно в тюрьме. Законов нет. Суда нет. Царит самосуд и полнейший произвол. И на самосуд, и на произвол нет никакой возможности даже жаловаться. Пародия на суд, устроенная в последнее время под именем революционного трибунала, своей пристрастностью, беззаконием и лицемерием оставила за флагом не только «Варварин суд», но и военно-полевые суды.

Неприкосновенность жилища... почтовой переписки... свобода собраний, союзов, устного слова — где все эти свободы, за отсутствие которых русские социалисты так беспощадно громили царские правительства? Кто из беспристрастных людей не может не признать, что при Николае II все классы, в том числе и рабочий, пользовались гораздо большими свободами, чем при Ленине и Троцком...

Отмена смертной казни... Теперь ясно, как лицемерили наши социалисты, распространяя известную статью Л.Н.Толстого «Не могу молчать!». Убийство генералов Духонина, Коровиченко⁸, убийства в Кронштадте, Выборге, расстрелы офицеров с «Петропавловска», флотских офицеров в Севастополе после пародии суда над ними и т.д., и т.д. — смогут ли когда-нибудь русские социалисты очиститься от этой прилипшей к ним крови!

Всеобщее, прямое, равное и тайное избирательное право... Учредительное собрание как высшее выражение народной воли, как источник всякого права... Что осталось от этих основных политических идей русской социалистической интеллигенции? Сами социалисты их оплевали, загадили, выбросили, как ненужную ветошь. Городские думы, избранные по «самому совершенному закону в мире», они разогнали с такою же легкостью, как простые митинги. А отношение к Учредительному собранию было более высокомерным и презрительным, чем даже отношение царской бюрократии к Государственной думе.

В высшей степени характерно, что для борьбы с этими избранными по «самому совершенному закону», но совершенно бессильными демократическими учреждениями большевики пользовались своими Советами и съездами, т.е. не демократичес-

кими, а ценовыми, куриальными и многостепенными образованиями. Центральный исполнительный комитет съездов является, например, продуктом трех- и даже четырехстепенных выборов, притом выборов неправильных, случайных, не тайных, без всяких гарантий против злоупотребления и насилий, без подлинного подсчета голосов, без проверки прав голосующих и кандидатов. Не заключается ли во всем этом признание непригодности для России той именно системы всеобщих, прямых, равных и тайных выборов, которая до сих пор почиталась одним из символов веры русских социалистов?

Одним словом, возьмите любую программу любой русской социалистической партии и вы убедитесь, что в ней нет ни единого пункта, который не был бы отвергнут и осмеян русскими социалистами, как только они добрались до власти. Очевидно, все в этих программах было нежизненно, несерьезно, неосуществимо, противоречило самому факту государственной власти.

Так оно и было на самом деле. Русский социализм был и остается по существу своему чисто противогосударственным, разрушительным учением, воспринятым интеллигенцией лишь как радикальное средство борьбы с самодержавием. Когда в этой борьбе социалисты силою немецких штыков одержали победу, они поняли, что при помощи провозглашающихся ими принципов нет возможности удержаться у власти. Им приходилось на практике учиться, что такое власть. И они, зачеркнувши все прошлое развитие государственности в России, в своих поисках могли схватиться только за оружие Павла I или даже Ивана Грозного с его опричниной. Люди думали и говорили, что они осуществляют самый совершенный и передовой социалистический строй, тогда как на деле они деградировали власть к начальному периоду всякого самодержавия, когда произвол отдельных самодержцев неразрывно связан с произволом служащих ему толп.

Как это ни звучит парадоксально, но сквозь все ужасы большевистских насилий и преступлений все же пробивалось отсутствовавшее доселе у русских социалистов подлинное сознание природы власти и потребности в ней. Но в организации этой власти, в формах ее проявления и ограничения русские социалисты-большевики зачеркнули все, что было сделано, начиная от Сперанского⁹. Они вернулись к государственной власти времен Павла I, заявлявшего: у меня только тот дворянин, с кем я говорю и пока я с ним говорю. Это ли не идеал полнейшего равенства в чисто большевистском вкусе!..

Развитие нашей государственности — министерства Сперанского, его же свод законов, всеобщая воинская повинность, судебные уставы 1864 года, городское и земское самоуправление, конституционная реформа 17 октября, — все это оказалось столь поверхностным, столь непрочным связанным с толщей русской жизни, что большевикам не стоило почти никакого труда уничтожить все эти приобретения русской общественности. В своем стремительном беге — не вперед, как им кажется, а назад они в два месяца докатились до Павла I. И России теперь для своего спасения необходимо, тоже в очень короткий период, снова пересоздать все эти утерянные нами культурные устои, но на фундаменте, гораздо более широком, чем раньше, чтобы новая буря уже не могла так легко снести их.

Объяснение легкости разрушительной для России большевистской победы в том, что у нас *не было фундамента всякой прочной свободной гражданственности: широкого распространения мелкой частной земельной собственности в массе населения и религиозно-нравственной культуры личности. Сущность русского социализма и заключалась в идеализации как этой исторической отсталости страны, так и моральной слабости народа и интеллигенции.* С силой железного закона эта идеализация, перенесенная из теории в практику, выродилась в демагогию, в потакательство самым грубым и низменным инстинктам толпы.

Тот «интернационализм» народных масс России, которым орудовали бесчестные и честные вожди большевизма, не имел ничего общего с сознательной идеей братства народов как ступенью высшей, чем национальное самоопределение. В «интернационализме» наших масс сказались лишь первобытность развития, отсутствие сознания национальности, патриотизма, любви к своему, индивидуально *своему*, но связанному со всем государством клочку земли, политому потом многих поколений и экономически переплетенному и с промышленностью, и с торговлей, и с государственной политикой. Ни помещичьи латифундии, ни общинное владение с идеей постоянного дележа земли, передвижки полос, непрочности каждого владе-

ния не могли, понятно, способствовать развитию патриотизма. Поэтому-то дрогнула и дезертировала наша измученная армия, когда и в тылу, и в передовых окопах, и социалистами, и германскими агентами был брошен клич: делят землю! Надо признать, что первыми и главными разрушителями армии были все-таки социалисты-революционеры и интернационалисты — циммервальдцы из меньшевиков. Большевики лишь вырвали у них из рук оружие и закончили их дело гораздо скорее, чем те ожидали. И если можно допустить, что В.Чернов, Авксентьев, Керенский, Брешко-Брешковская¹⁰, идеализируя общинное землевладение, искренно продолжали полувековую русскую интеллигентскую традицию и были бессильны бороться с огромной народной волной, стремившейся уничтожить земельные латифундии, то несомненно, что Некрасов, Керенский, Скобелев, Церетели¹¹, перенесшие в нашу политику идеи циммервальдизма¹², сознательно кривили душой. Они не могли не видеть, они видели, что их интернационализм на деле опирается лишь на первобытную слабость развития национального и государственно-патриотического сознания.

То же самое происходило и в области моральной культуры. Русский социализм по существу своему материалистичен и атеистичен. Единственное логическое развитие свое он получил в Нечаеве, Ткачеве и Ленине с их величайшим моральным цинизмом. «Бесы» Достоевского — не клевета на русскую революцию, а книга пророческая в русской литературе. Все, что предсказывал Достоевский, сбылось от первого слова до последнего. Ошибся, быть может, он, будучи славянофилом, только в том, что человека из народа, разбойника Федьку каторжного, морально поставил выше интеллигента Верховенского. На самом деле, как доказала революция, и Федька, и Верховенский друг друга по моральному цинизму стоят. Трудно было разобрать, где начинается один и кончается другой. Материалистическая идея, элементарно истолкованное понятие борьбы классов упали на благодарную почву и дали пышный плод, приведший в ужас тех, кто сеял семена. Интеллигенция, «теоретически» проповедуя материалистический социализм, в своем жизненном обиходе непоследовательно, трусливо, отчасти бессознательно продолжала пользоваться моральным запасом христианства и старорусской дворянской культуры. Народ и новые его вожди оказались смелее и последовательнее. Материализм они поняли как учение, освящающее немедленное удовлетворение всех своих плотских инстинктов. Умственные и нравственные интересы были толпой расценены так, как полагается по истинному смыслу «безбожного учения». Увлекавший, по едкому слову Вл. Соловьева¹³, нашу народническую интеллигенцию силлогизм: «Человек происходит от обезьяны, а потому положим душу за други своя», не встретил в народной массе никакого отклика. Зато идея героев Достоевского: «Если нет Бога, то все позволено» — ударила в самый центр и зажгла огромный пожар.

Интеллигенция при содействии своего атеистического материализма рассчитывала произвести социалистический переворот и установить царство справедливости. На самом же деле мы, как и предсказывал Достоевский, пришли к антропофагии¹⁴. Нет теперь ничего легче, как убить и ограбить человека, если это можно сделать безопасно и с выгодой для себя.

Никакого «социализма», конечно, не получилось. Напротив, никогда социальные связи в России не были так слабы, как при господстве большевиков. Никогда не царили в нашей жизни в такой мере самый буржуазный эгоизм, дух наживы, корыстолюбия, спекуляции, обходы всех законов, сдерживающих эксплуатацию одного человека другим. Массы солдат социалистов-большевиков превратились в странствующих торговцев, по части спекуляции побивших все мировые рекорды. Своим оружием и солдатскими шинелями эти своеобразные «буржуи» пользовались для бесплатного проезда с товарами по железным дорогам, для вымогательства разных льгот по транспорту и выдаче продуктов. А во что превратился так называемый «рабочий контроль»? Разве когда-либо «буржуазный» мир знал такой циничный обход закона, такую безграничную подкупность! Хорош «социалистический строй», когда каждый человек другому стал действительно волком, когда каждое предприятие борется с соседним из-за куса угля, из-за сырых материалов, из-за цен, пуская в ход все преступные приемы и пользуясь как главным орудием борьбы «рабочими» организациями, словами «рабочий», «социалистический», ныне столь же опозоренными, как слово «благонамеренный» в царские времена.

Результаты этой звериной, хищнической борьбы за существование, воцарившейся в жизни с провозглашением социализма, сказались чрезвычайно быстро. В

экономической, как и в политической, области мы со сказочной быстротой двинулись... не вперед, а назад. Один за другим стали закрываться предприятия, фабрики и заводы. Железные дороги, почта и телеграф вернулись в то положение, в каком находились в начале XIX века. В городах еле тащатся трамваи, потухло электричество, замолкли телефоны. Платье, сапоги, калоши стоят безумных денег. На некоторые продукты объявлены таксы, но достать их по этим ценам нет возможности. Зато нелегально, по ценам вдесятеро большим можно получить и таксированные предметы. Остатки разгромленной русской промышленности могут продолжать работать только при норме прибыли в 500—800%. Таково наше царство социализма, превратившееся в царство всеобщего мародерства. Понятно, что подобная «промышленная деятельность» возможна, лишь пока война закрывает границы для иностранных продуктов. Окончится война. Разбитая страна окажется бессильной создать таможенную охрану для своей промышленности. Придут иностранцы, заберут у нас то сырье и продукты питания, которые им нужны, и дадут нам те изделия промышленности и по таким ценам, как соблаговолит. А у нас внутри России будет скудность в съестных припасах, безработица, голод и озлобление. К этому только и сведется в конце концов весь наш опыт осуществления социалистического строя. Мы приедем не в царство светлого будущего, а в нищую, голодающую индийскую или африканскую деревню.

Страшные уроки 1917 г. не могут и не должны пройти для России бесследно. Должна и для России наступить эпоха национального возрождения, национальной честности, совести и ума. Весь старый период русской умственной жизни от 60-х годов должен быть подвергнут жестокой, беспощадной критике. Все, что носит следы антинационального, антигосударственного и, как показала революция, антикультурного в русском социализме, должно быть решительно отмечено. Наоборот, все идейно национальное, рожденное прежней русской мыслью, но освистанное и загнанное в подполье течениями, господствовавшими полвека в русской литературе, должно быть извлечено на свет Божий и восстановлено в своих правах.

Предстоит огромная, в высокой степени плодотворная культурная работа. Вся социалистическая ложь и гниль будут выметены из культурной русской жизни, и создастся наконец в стране здоровое, национальное, государственно настроенное общественное мнение. Большевики, со своей стороны, хоть и отрицательно, от противного, содействуют такому оздоровительному процессу. В этом их заслуга.

«Русская Мысль», 1918, кн. I—II, с. 54—62.

Примечания

¹ См.: *В.И. Ленин*. Манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской Раде. — Полн. собр. соч., т. 35, с. 143—145.

² Начальные строки стихотворения «Предсказание», написанного М.Ю.Лермонтовым под впечатлением крестьянских волнений, так называемых «холерных бунтов», распространившихся летом 1830 г. в южных губерниях России. В июне этого года в Севастополе был убит губернатор Н.А.Столыпин, родной брат бабушки поэта.

³ В XIX в. Пьемонт играл значительную роль в итальянском национально-освободительном движении (Пьемонтская революция 1821 г., революции 1848—1849 гг. в Италии).

⁴ 28 ноября 1917 г. декретом Совнаркома за подписью В.И.Ленина, Л.Д.Троцкого, И.В.Сталина и др. Конституционно-демократическая партия объявлялась вне закона, советским властям предписывалось арестовывать и предавать судам ревтрибуналов членов руководящих учреждений этой партии как партии «врагов народа».

⁵ Низший слой земледельческого населения в древней Спарте, считавшийся собственностью государства. Здесь, в переносном смысле, — страны, оказавшейся в обозе мировой истории, обреченной стать жертвой отрицательного социального эксперимента со всеми его последствиями.

⁶ *Чернов Виктор Михайлович* (1873—1952) — лидер партии социалистов-революционеров, первый и последний председатель российского Учредительного собрания (январь 1918 г.).

⁷ Журналисты, сотрудники российских демократических газет. Биографических сведений о них разыскать не удалось.

⁸ *Духонин Николай Николаевич* (1876—1917) — генерал-лейтенант, верховный главнокомандующий, в результате солдатского самосуда убит на станции Могилев 20 ноября (3 декабря) 1917 г. По свидетельству очевидцев, акт самосуда был отчасти спровоцирован приездом в Ставку нового Главковерха большевика Н.В.Крыленко («Наш Век», 30 ноября (13 декабря) 1917 г., № 1, с. 1). *П.А.Коровиченко* — генеральный комиссар Временного правительства по Туркестану, генерал, убит осенью 1917 г. в Ташкенте.

⁹ *Сперанский Михаил Михайлович* (1772—1839) — политический деятель, граф, автор ряда прогрессивных реформ в области государственного управления, судопроизводства и др.

¹⁰ *Авксентьев Николай Дмитриевич* (1878—1943), *Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна* (1844—1934) — лидеры партии эсеров.

¹¹ *Некрасов Николай Виссарионович* (1879—1940) — один из лидеров левого крыла кадетской партии. *Скобелев Матвей Иванович* (1885—1938), *Церетели Ираклий Георгиевич* (1881—1959) — лидеры меньшевиков.

¹² Имеется в виду проходившая в сентябре 1915 г. в Циммервальде (Швейцария) международная социалистическая конференция, на которой оформился блок, направленный против войны.

¹³ *Саловьев Владимир Сергеевич* (1853—1900) — религиозный философ, поэт, публицист и критик.

¹⁴ Людоедство (*греч.*).

О к о н ч а н и е с л е д у е т

Публикация, вступление и примечания
И.И. МОЧАЛОВА

Агата Кристи Автобиография

С английского.
Перевод Ирины Дорониной
и Валентины Чемберджи



Эта книга разочарует тех, кто ждет от Агаты Кристи «крутой» интриги, волнующих тайн и сенсационных разоблачений. Их в ней нет. Но если вы любите неторопливое чтение, повествования «о жизни», о людях, о временах и нравах, о разных странах и об исторических событиях, преломившихся в конкретных судьбах,— это ваша книга. Читайте ее не спеша, со вкусом — и вы будете вознаграждены, ибо вас ждет знакомство с незаурядным человеком. Не с автором всем известных детективных романов, рассказов и пьес — кто же не знает Агату Кристи в этом качестве! — а с мудрым, остроумным, наблюдательным, непоколебимо преданным строгим устоям викторианской морали, но при этом удивительно терпимым, здравомыслящим и великодушным собеседником. Знакомство вдвойне ценное в наше смутное время, когда не так уж часто встретишь человека, обладающего

безоговорочным душевным равновесием, вкусом к жизни и умением извлечь из нее столько красочного разнообразия. Для журнальной публикации мы выбрали последнюю треть (с сокращениями) этого весьма обширного сочинения. За пределами фрагмента остаются детство и юность писательницы, эскизные, но очень выразительные портреты ее родных, близких, знакомых, первый брак, первая мировая война, кругосветное путешествие, серьезное увлечение музыкой и, разумеется, множество забавных эпизодов и интересных размышлений по самым разным, порой весьма неожиданным поводам. Полностью книга выйдет в нынешнем году в Редакционно-издательском комплексе «Культура», получившем эксклюзивные права на ее русское издание.
Приятного чтения

И.Д. и В.Ч.

Из главы "Война"

...Однажды я получила письмо. Небрежно вскрыв конверт, пробежала письмо глазами, даже не вникнув поначалу в смысл. Письмо было от Джона Лейна из издательства «Бодли Хед», меня просили зайти по поводу рукописи «Таинственное преступление в Стайлсе», которую я предложила издательству.

По правде сказать, я забыла о «Таинственном преступлении в Стайлсе». Рукопись лежала в «Бодли Хед» уже почти два года, но волнения, связанные с окончанием войны, возвращением Арчи¹ и началом нашей самостоятельной семейной жизни, оттеснили для меня писательство и все рукописи на самый дальний план.

¹Арчибалд Кристи — первый муж Агаты Кристи. (Здесь и далее прим. перев.)

Я шла в издательство, полная надежд. В конце концов, видимо, вещь им хоть немного понравилась — иначе зачем стали бы они приглашать автора? Меня проводили в кабинет Джона Лейна, навстречу поднялся невысокого роста человек с седой бородой, его облик соответствовал скорее елизаветинской эпохе. Вокруг повсюду — на стульях и прислоненные к ножкам стола — были расставлены картины, похожие на работы старых мастеров, покрытые толстым слоем лака и пожелтевшие от времени. Мне подумалось, что мистер Лейн и сам прекрасно вписался бы в одну из этих рам в костюме с высоким круглым гофрированным воротником. У него были мягкие, любезные манеры, но жесткий взгляд, который должен был бы насторожить меня, подсказывал, что Джон Лейн из тех, кто умеет заставить автора подписать невыгодный договор. Он поздоровался со мной и предложил сесть. Я огляделась — сесть было некуда, на всех стульях стояли картины. Вдруг поняв это, он рассмеялся: «О, Боже, здесь не больно-то рассядешься», снял со стула портрет какого-то зловещего вельможи, и я села.

Затем разговор зашел о книге. Некоторые из читавших рукопись, сообщил Джон Лейн, находят ее многообещающей; из нее *может* кое-что выйти. Но ее необходимо значительно переделать. Например, последнюю главу. У вас она представляет собой описание судебного заседания, но так суд не описывают — это просто смешно. Смогу ли я переписать финал? Либо кто-то должен помочь мне справиться с юридической стороной дела — что будет, разумеется, не просто, либо мне следует сделать совсем другую концовку. Я тут же выпалила, что постараюсь, поразмышляю — быть может, перенесу заключительную сцену в другое место. Словом, что-нибудь придумаю. Он сделал несколько других замечаний, которые в отличие от возражений против финального эпизода не были сколько-нибудь существенными.

После этого Джон Лейн перешел к деловой стороне, нажимая на то, что издатель сильно рискует, публикуя нового, никому не известного автора, и что прибыли от такого издания практически не бывает. Наконец он извлек из ящика стола договор, который предложил мне подписать. Я была в таком состоянии, что ни изучать договор, ни даже просто сообразить, что к чему, не могла. Он издаст мою книгу! Уже несколько лет как я потеряла всякую надежду опубликовать что бы то ни было, кроме случайного рассказа или стихотворения, и мысль о том, что я увижу свою книгу напечатанной, ошеломила меня. Я подписала бы в тот момент что угодно. Договор предусматривал, что я получу гонорар только после реализации первых двух тысяч экземпляров, да и то более чем скромный. Права на публикацию в периодике или постановку спектакля по этой вещи наполовину принадлежали издателю. Все это не имело для меня никакого значения, единственное, что было важно: *моя книга будет издана!*

Я даже не заметила, что в договоре имелся «крючок» — пункт о том, что пять следующих своих вещей я обязана отдать только этому издательству, причем гонорар за них увеличивался совсем незначительно. Мне все это представлялось удачей и полной неожиданностью. Я с энтузиазмом подписала договор и взяла с собой рукопись, чтобы убрать имевшиеся в последней главе несуразности. Надо сказать, что справилась я с этим очень легко.

Вот так началась моя долгая карьера; впрочем, тогда я и не подозревала, что она будет долгой. Несмотря на «крючок» в договоре, касавшийся последующих пяти романов, я воспринимала публикацию этого как отдельный и совершенно самостоятельный эпизод моей жизни. Я отважилась написать детектив; написала; его приняли и собирались издать. Этим, сколько я понимала, дело и ограничилось. В тот момент я, разумеется, и не помышляла продолжать писать книги. Думаю, спроси меня кто-нибудь об этом тогда, я бы ответила, что, быть может, время от времени буду писать рассказик-другой. Я была совершеннейшим любителем — ни о каком профессионализме говорить не приходилось. Для меня писательство служило развлечением.

Я явилась домой с победным видом, рассказала все Арчи, и мы отправились в Хаммерсмит, во Дворец танцев, отпраздновать это событие.

С нами был, однако, еще кое-кто, хоть я об этом и не догадывалась. Эркуль Пуаро, мой вымышленный бельгиец; отныне я таскала его за собой повсюду, словно горбун свой горб.

* * *

Успешно переработав последнюю главу «Таинственного преступления в Стайлсе», я вернула рукопись Джону Лейну. Затем меня пригласили еще раз, чтобы снять кое-какие мелкие замечания. Я согласилась внести в текст несколько несущественных изменений, после чего волнения, связанные с изданием книги, отодвинулись на задний план, а жизнь пошла своим чередом — обычная жизнь молодой супружеской пары, счастливой, любящей, не очень обеспеченной, но относящейся к этому легко...

Однажды, когда я с тревогой размышляла о том, как трудно стало содержать Эшфилд¹, Арчи заметил (весьма благоразумно):

— Знаешь, твоей матери стоило бы продать дом и поселиться в другом месте.
— Продать Эшфилд?! — в моем голосе звучал ужас.

— Не понимаю, зачем он тебе-то нужен? Ты ведь не можешь даже ездить туда сколько-нибудь часто.

— Я и *мысли* о том, чтобы продать Эшфилд, *не могу допустить*, я люблю его! Он для меня... он для меня... он для меня — все!

— В таком случае, почему бы тебе не попытаться *что-нибудь* сделать? — сказал Арчи.

— Что же *такого* я могу сделать?

— Ну, например, написать еще одну книгу.

Я посмотрела на него с удивлением:

— Допустим, я *могла бы* написать еще одну книгу в ближайшем будущем, но от этого Эшфилду мало проку.

— Ты могла бы заработать кучу денег, — сказал Арчи.

Мне не очень верилось в это. «Таинственное преступление в Стайлсе» разошлось почти в двух тысячах экземпляров, что было вовсе не плохо для начинающего автора детективного романа по тем временам. Принесло же оно мне весьма скудный доход — всего двадцать пять фунтов, да и то это был не гонорар за книгу, а половина от пятидесяти фунтов, полученных за неожиданную продажу авторских прав «Уикли таймс», намеревавшейся печатать роман из номера в номер. Это будет способствовать росту моей популярности, сказал Джон Лейн. Для молодого автора — большая удача напечататься в «Уикли таймс». Конечно, может, он был и прав, но какие-то двадцать пять фунтов в качестве платы за целую книгу меня не слишком вдохновляли на продолжение литературной деятельности.

— Если книга оказалась хорошей и издатель на ней *кое-что* заработал, а я уверен, что это так, он захочет напечатать и следующую. У тебя всегда должно быть что-нибудь наготове, — поучал Арчи.

Я слушала и не возражала. Я восхитилась его умением ориентироваться в финансовых проблемах и стала размышлять о новой книге. Допустим, я соглашусь ее написать — о чем она могла бы быть?

Вопрос решился сам собой однажды, когда я пила чай в кафе «Эй-би-си». Двое за соседним столиком толковали о какой-то Джейн Фиш. Это забавное² имя привлекло мое внимание и засело в голове. Джейн Фиш. Неплохое начало для романа, подумала я, имя, случайно подхваченное в кафе, необычное имя — раз услышав, его не забудешь. Джейн Фиш. Или еще лучше Джейн Финн. Я остановилась на Джейн Финн и сразу же начала писать. Назвала роман сначала «Веселое приключение», затем «Юные авантюристы» и наконец — «Тайный враг».

Арчи поступил очень предусмотрительно, найдя работу до того, как уволился из Военно-воздушных сил. Многие молодые люди оказались в отчаянном положении. Демобилизовавшись из армии, они становились безработными. К нам постоянно приходили полные сил мужчины, пытавшиеся продать чулки или какую-нибудь домашнюю утварь. На них было жалко смотреть. Иногда мы покупали у них пару уродливых чулок только для того, чтобы как-то поддержать. Когда-то они были лейтенантами — морскими или сухопутными, и вот до чего дошли. Иные из них писали стихи и старались их пристроить.

Я решила выбрать героев именно в этой среде — девушка, которая служила в частях гражданской обороны или работала в госпитале, и молодой человек, только

¹ Дом, где родилась Агата Кристи и который она всю жизнь считала родным домом.

² Fish по-английски — рыба.

что уволившись из армии. Оба в отчаянном положении, в поисках работы, встречаются друг друга — быть может, они уже встречались прежде. Ну, и что дальше? Дальше, подумала я, их вовлекают в шпионаж: это будет книга про шпионов, боевик, а не детектив. Идея мне понравилась — после работы над детективной историей «Таинственное преступление в Стайлсе» сменить амплу. Я начала набрасывать план. В целом боевик писать было приятно и гораздо легче, чем детектив.

Через некоторое время, окончив книгу, я понесла ее Джону Лейну. Ему она не очень понравилась: не то что первая — эту книгу не продашь так же успешно. Издатели колебались: печатать или нет. Но в конце концов все же решили печатать. На сей раз мне не предлагали делать столько поправок, сколько в предыдущий.

Если не ошибаюсь, и эта книга разошлась недурно. Гонорар, как и в прошлый раз, был мизерным, но я снова продала права на публикацию романа с продолжением газете «Уикли таймс» и получила на сей раз пятьдесят фунтов, милостиво пожалованных мне Джоном Лейном. Это подействовало вдохновляюще, но не настолько, чтобы начать думать о писательстве как о профессии.

Моей третьей книгой было «Убийство на поле для гольфа». Кажется, я написала ее вскоре после того, как все узнали о *cause celebre*¹, знаменитом преступлении, совершенном во Франции. Я уж теперь не припомню имен тех, кто имел к нему отношение. Человек в маске ворвался в дом, убил хозяина, связал его жену и кляпом заткнул ей рот, свекровь тоже умерла, но, кажется, лишь потому, что со страху подавилась вставной челюстью. Однако жене не поверили и заподозрили ее в том, что она сама убила мужа и что либо ее вовсе никто не связывал, либо это сделал сообщник. Эти события показались мне подходящим фоном для событий очередного романа. Действие должно происходить уже после того, как жену оправдали. Загадочная женщина, окутанная тайной давнего убийства, появляется где-нибудь... пусть на сей раз это будет Франция.

Эркюль Пуаро получил широкую известность после «Таинственного преступления в Стайлсе», поэтому я решила пользоваться его услугами и впредь. Одним из его поклонников оказался Брюс Ингрэм, тогдашний редактор «Скетча». Он позвонил мне и предложил договор на серию рассказов об Эркюле Пуаро для своего журнала. Предложение меня очень взволновало. Кажется, наконец мне улыбнулась удача. Напечататься в «Скетче» — большая привилегия. У мистера Ингрэма был забавный рисунок — портрет Эркюля Пуаро, в общем, образ совпадал с моим собственным видением персонажа, хоть на рисунке он и был немного более утонченным и аристократичным, чем я его себе представляла. Брюс Ингрэм заказал серию из двенадцати рассказов. Восемь я написала очень быстро, и мы даже думали на этом остановиться, но в конце концов решили все же довести цикл до дюжины рассказов, и мне пришлось в большой спешке писать еще четыре.

Я и не заметила, как оказалась накрепко привязанной не только к детективному жанру, но и к двум людям: Эркюлю Пуаро и его Ватсону — капитану Гастингсу. Я обожала капитана Гастингса. Персонаж был вполне шаблонным, но в паре с Эркюлем Пуаро они представляли собой идеальную, с моей точки зрения, команду сыщиков. Я все еще оставалась в русле шерлокхолмсовской традиции — эксцентричный сыщик, подыгрывающий ему ассистент, детектив из Скотленд-Ярда типа Лестрейда — инспектор Джепп, и теперь я еще добавила «человека-гончую», инспектора Жиро из французской полиции. Жиро относится к Пуаро пренебрежительно, как к отжившему свой век старику.

Только теперь я поняла, какую ужасную ошибку совершила, с самого начала сделав Эркюля Пуаро таким старым — видимо, придется, написав три-четыре книги, отказаться от него и придумать кого-то другого, помоложе.

«Убийство на поле для гольфа» лежало чуть-чуть в стороне от шерлокхолмсовской традиции и было навеяно, скорее всего, «Тайной желтой комнатой»². Оно исполнено в весьма высокопарном, несколько даже вычурном стиле. Приступая к написанию очередного произведения, автор часто находится под сильным влиянием героев последней прочитанной книги или недавнего увлечения.

Думаю, «Убийство на поле для гольфа» — умеренно удачный образчик такого рода литературы — весьма мелодраматичной. На сей раз я ввергла Гастингса в любовное приключение. Если уж в книге *должна* быть любовь, я полагала, что

¹ Знаменитом деле (франц.).

² Детективный роман английского писателя Гастона Леру.

вполне могу женить Гастингса. Честно говоря, я начала от него немного уставать. К Пуаро я уже была намертво привязана, но это не означало, что я обязана оставаться намертво привязанной и к Гастингсу.

«Бодли Хед» «Убийство на поле для гольфа» удовлетворило, однако я слегка повздорила с ними из-за обложки. Помимо того, что она была выполнена в чудовищных цветах, ее просто плохо придумали. Насколько можно понять, на ней изображен мужчина в пижаме, умирающий на поле для гольфа от эпилептического припадка. Поскольку убитый, по сюжету, был нормально одет и заколот кинжалом, я возражала. Обложка *может* не иметь никакого отношения к содержанию, но коль уж имеет, не должна его искажать. По этому поводу было много волнений, я пришла в бешенство, и мы наконец договорились, что впредь я буду просматривать и утверждать обложку заранее. У меня и до того было легкое расхождение с «Бодли Хед» — оно случилось в процессе издания «Таинственного преступления в Стайлсе» и касалось написания слова «какао». По каким-то загадочным причинам слово, обозначавшее в тексте чашку какао, было набрано не «сосоа», а «сосо», что абсурдно, как сказал бы Эвклид.

На подобном написании яростно настаивала мисс Хаус — дракон, ведавший всей корректурой «Бедли Хед». «В наших книгах это слово всегда пишется именно так,— говорила она,— так правильно, и у нас в издательстве так принято». Я показывала ей банки из-под какао и словари — на нее это не производило ни малейшего впечатления. «Правильно так, как пишем мы»,— твердила она. Много лет спустя, беседуя с Алленом Лейном, племянником Джона Лейна, основателем «Пингвина», я припомнила, какие ожесточенные бои вела с мисс Хаус по поводу написания слова «какао». Он широко улыбнулся:

— Знаю, она доставляла нам массу хлопот, особенно когда постарела. В каких-то вещах переубедить ее было совершенно невозможно. Она отчаянно спорила с авторами и никогда не уступала.

По выходе книги я получала бесчисленное количество писем, в которых меня спрашивали, почему я так странно пишу это слово: «Видно, с орфографией у вас нелады». Очень несправедливо. У меня действительно всегда были нелады с орфографией, я и сейчас не слишком грамотно пишу, но слово «какао» я писать умею! А вот чего я *не* умею, так это настоять на своем. То была моя первая книжка, и я считала, что издательству виднее, чем мне.

На «Таинственное преступление в Стайлсе» было несколько хороших отзывов, но мне больше всего понравилась рецензия в «Фармацевтическом журнале». «Этот детективный роман» хвалили за то, что в нем «правильно описывается действие ядов, а не придумываются некие не существующие в природе вещества, которые так часто появляются на страницах других книг». «Мисс Агата Кристи,— говорилось в рецензии,— свое дело знает»¹.

Я хотела было издавать книги под псевдонимом Мартин Уэст или Мостин Грей, но Джон Лейн настаивал, чтобы я сохранила собственные имя и фамилию — Агата Кристи, особенно имя. «Агата — имя редкое,— говорил он,— оно запоминается». Поэтому пришлось отказаться от Мартина Уэста и навсегда сохранить фирменный знак «Агата Кристи». Мне почему-то казалось, что женщина в качестве автора, особенно автора детективов, будет встречена читателем с предубеждением, что Мартин Уэст звучит более мужественно и вызывает больше доверия. Однако, как я уже говорила, издавая первую книгу, вы уступаете издателю во всем. Впрочем, здесь Джон Лейн, кажется, действительно оказался прав.

* * *

...Я по-прежнему не помышляла о том, чтобы сделать писательство профессией. Рассказы, напечатанные в «Скетче», приободрили меня — они дали живые деньги. Однако деньги скоро разошлись. Тогда я начала писать новую книгу.

На ееписание подвиг меня Белчер². Однажды, еще до начала путешествия,

¹ В годы первой мировой войны Агата Кристи изучала фармакологию и работала в госпитальной аптеке.

² Старый приятель Арчи, с которым вместе чета Кристи совершила вскоре после первой мировой войны кругосветное путешествие с миссией подготовки Всебританской имперской выставки.

мы сидели у него дома (дом назывался «Мельницей») в Дорни, и он предложил мне написать детективный рассказ «Тайна «Мельницы».

— Недурное название, правда? — сказал он тогда.

Я согласилась. «Тайна «Мельницы» или «Убийство на «Мельнице» — звучит неплохо, подумала я и решила когда-нибудь к этому вернуться. Во время путешествия Белчер часто вспоминал о своей идее.

— Только помните, — говорил он, — если вы напишете «Тайну «Мельницы», я должен быть в ней действующим лицом.

— Вряд ли я смогу вас вставить в книгу, — отвечала я. — Совершенно не умею описывать реальных людей. Я всегда придумываю своих персонажей.

— Ерунда, — заявил Белчер, — я не возражаю, если персонаж будет не совсем похож на меня, но мне всегда хотелось участвовать в какой-нибудь детективной истории.

Время от времени он интересовался:

— Ну как? Вы уже начали писать ту книгу? А я в ней участвую?

Однажды в раздражении я бросила:

— Да. В качестве *жертвы*.

— Что?! Не хотите ли вы сказать, что я буду тем бедолагой, которого убьют?

— Именно, — не без удовольствия подтвердила я.

— Я не желаю быть жертвой, — возмутился Белчер. — Я настаиваю, чтобы меня вывели в роли убийцы.

— Почему же вам непременно *хочется* быть убийцей?

— Потому что убийца — самый интересный персонаж в книге. Вам придется сделать меня убийцей, Агата, поняли?

— Я поняла, что вы *хотите* быть убийцей, — ответила я, стараясь тщательно выбирать слова. Но в конце концов в минуту слабости все же пообещала сделать его убийцей.

Сюжет книги в общих чертах я придумала в Южной Африке. Это снова обещал быть не столько детектив, сколько боевик. Героиню я собиралась сделать веселой молодой любительницей приключений, сиротой, которая отправляется на ловлю счастья. Попытавшись набросать пару глав, я поняла, что мне невероятно трудно писать, основываясь на реальном представлении о Белчере. Я *не могла* изобразить его беспристрастно, у меня получался какой-то манекен. И вдруг в голову пришла идея: я напишу книгу в форме двух рассказов от первого лица об одних и тех же событиях: героиню, Энн, и негодяя, Белчера.

— Не думаю, что ему понравится роль негодяя, — поделилась я своими сомнениями с Арчи.

— А ты подари ему взамен титул, — предложил Арчи. — Это, полагаю, ему понравится.

Так Белчер стал сэром Юстасом Педлером, и когда сэр Юстас Педлер сам начал писать свое сочинение, персонаж ожил. Это, конечно, не был собственно Белчер, но ему были свойственны типично белчеровские обороты речи, и он рассказывал подлинные Белчеровы истории. Он тоже был мастером блефа, кроме того, в нем легко угадывался хоть и не слишком щепетильный, но достаточно занятный человек. А через некоторое время я и вовсе забыла о Белчере, моим пером водил лишь сэр Юстас Педлер. Насколько помню, я никогда в жизни больше не пыталась ввести в книгу реальное, знакомое мне лицо и этот единственный опыт удачным не считаю. На страницах книги существовал не Белчер, а некто по имени сэр Юстас Педлер. Неожиданно я обнаружила, что пишу эту книгу не без удовольствия, и очень надеялась, что «Бодли Хед» примет ее...

В издательстве к ней отнеслись прохладно — мямлили, что это, мол, не чистый детектив, как «Убийство на поле для гольфа», но в конце концов великодушно приняли к публикации.

Именно тогда стала заметна некоторая перемена в их отношении ко мне. С тех пор как, наивная и невежественная в издательских делах, я принесла им свою первую книгу, я кое-чему научилась. Я не была столь глупа, как казалось, быть может, некоторым, и многое узнала об авторских правах и издательских обычаях, в частности из журнала, выпускавшегося Ассоциацией писателей. Я поняла, например, что, подписывая договор, нужно проявлять большую осторожность, особенно если имеешь дело с определенными издателями, что существует масса уловок, при

помощи которых они обманывают автора. Вооружившись этими знаниями, я составила некий план.

Незадолго до выхода в свет «Тайны «Мельницы»» издательство «Бодли Хед» обратилось ко мне с предложением аннулировать прежний договор и заключить новый, тоже на пять книг. Условия его будут намного выгодней. Я вежливо поблагодарила и сказала, что должна подумать, а затем отказалась без каких бы то ни было объяснений. Я считала, что они не совсем честно обошлись с молодым автором, воспользовавшись его неосведомленностью и горячим желанием напечататься. Я не собиралась с ними из-за этого ссориться теперь — сама виновата: всякий, кто не разумеет заранее, каковы справедливые нормы оплаты труда, им выполняемого, рискует попасть впросак. С другой стороны, следовало ли мне, руководствуясь обретенной «мудростью», отказываться от возможности опубликовать у них новый роман? Пожалуй, нет. Я напечатаю книгу на предложенных ими условиях, но долгосрочный контракт на большое количество книг подписывать не стану. Если однажды вы доверились кому-то и этот кто-то не оправдал ваших ожиданий, больше вы ему не доверитесь. Это подсказывает обыкновенный здравый смысл. Я хотела, чтобы действующий договор был скорее выполнен, после чего намеревалась подыскать другого издателя. Мне нужен был, как я считала, и литературный агент.

К тому времени я получила запрос из налоговой инспекции. Они требовали отчета о моих литературных доходах. Это немало меня удивило: никогда не рассматривала гонорары как доход. Единственный доход, которым я располагаю, это сто фунтов годовых с двух тысяч, вложенных в облигации военного займа. Да, это им известно, был ответ, но их интересуют и суммы, полученные мною за публикацию книг. Я объяснила, что это не постоянный доход — просто я случайно написала три книги, так же как прежде иногда писала рассказы или стихи. Я не писательница, не собираюсь заниматься этим всю жизнь. Я полагала, что это называется — мне на ум пришел слышанный где-то оборот — «случайным заработком». Они возразили, что я, несомненно, уже являюсь писательницей, пусть пока это не приносит мне слишком больших доходов. Им нужен отчет. К сожалению, отчета я представить не могла — не сохранила гонорарных счетов, которые мне посылали (если, конечно, мне их действительно посылали, что-то я такого не припоминала). Иногда я получала какой-нибудь чек, но тут же обращала его в наличность, которую немедленно тратила. Тем не менее, к собственной чести, я восстановила картину задним числом. В финансовом управлении выразили некоторое неудовольствие по поводу моей безалаберности в делах и надежду, что впредь я буду обращаться со счетами более аккуратно. Вот тогда-то я и решила, что мне нужен литературный агент.

Поскольку я мало что смыслила в литературных агентах, я вспомнила рекомендованного Иденом Филпотсом¹ Хьюза Мэсси и обратилась в его контору. Впрочем, на его месте сидел теперь другой человек — видимо, Хьюз Мэсси умер, — молодой, чуть-чуть заикающийся, звали его Эдмунд Корт. Он оказался гораздо спокойнее Хьюза Мэсси, и мне было легко говорить с ним. Кажется, он пришел в ужас от моего невежества и проявил готовность впредь руководить моими отношениями с издателями. Он назвал точный процент комиссионных, который хотел получать от прав на публикацию в периодике, на публикацию в Америке, на инсценировки и прочие невероятные, как мне тогда казалось, вещи. Его лекция произвела на меня сильное впечатление. Я полностью поручила себя его заботам и вышла из конторы с чувством огромного облегчения. У меня словно гора с плеч свалилась.

Так родилась дружба, которая длилась более сорока лет.

Затем произошло такое, во что трудно было поверить. «Ивнинг ньюз» предложила мне пятьсот фунтов за право публикации «Тайны «Мельницы»». Теперь, правда, книга называлась по-другому, я перекрестила ее в «Человека в коричневом костюме», потому что первое название казалось мне несколько банальным. Однако «Ивнинг ньюз» предложила еще раз поменять название — на самое глупое, какое мне когда-либо приходилось встречать — «Авантюристка Энн»; тем не менее я прикусила язык: в конце концов, они собирались заплатить мне пятьсот фунтов, и

¹ Английский литератор, читавший первые рассказы Агаты Кристи и помогавший ей профессиональными советами.

хоть у меня были сомнения относительно нового заголовка, я утешила себя тем, что название печатающегося в газете романа не имеет никакого значения. Удача казалась неправдоподобной. Я не могла в нее поверить, Арчи не мог в нее поверить, Москитик¹ не могла в нее поверить. Мама, разумеется, поверила сразу же: ее дочь, безусловно, с легкостью могла заработать пятьсот фунтов, печатая свой роман в «Ивнинг ньюз», — ничего удивительного...

После публикации романа Арчи спросил меня, как я намерена распорядиться пятьюстами фунтами, полученными от «Ивнинг ньюз».

— Это куча денег, — ответила я. — Полагаю, — должно быть, сама того не желая, я произнесла следующие слова без должного энтузиазма, — полагаю, что их *следует* сберечь на черный день.

— О, думаю, об этом особо беспокоиться не стоит. У меня замечательные перспективы в фирме Бейлью, а ты, похоже, становишься преуспевающей писательницей.

— Ну, что ж, — согласилась я, — вероятно, эти деньги или какую-то часть из них действительно можно потратить. — В голове мелькнула мысль о новом вечернем платье, о золотых или серебряных парчовых туфлях вместо вечных черных и о чем-нибудь шикарном — например, роскошном велосипеде — для Розалинды².

Мои мечтания прервал голос Арчи:

— Почему бы тебе не купить автомобиль?

«Купить автомобиль?!» — я посмотрела на него в изумлении. Автомобиль — последнее, о чем я могла помыслить. Ни у кого из наших друзей автомобиля не было. Я всегда считала, что автомобили — это для богатых: они пронеслись мимо со скоростью двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят миль в час, в них сидели дамы в шляпах с шифоновыми шарфами, завязанными под подбородками, и мчались они в какие-то неведомые мне дали.

— Автомобиль?! — переспросила я. Думаю, в тот момент я была похожа на зомби.

— Почему бы и нет?

А почему бы, и в самом деле, нет? Это было в пределах наших возможностей. Я, Агата, могла позволить себе иметь автомобиль, собственный автомобиль! Должна признать абсолютно честно, что из двух событий в жизни, приведших меня в наивысшее волнение, одним была покупка автомобиля: моего любимого «морриса каули» с носом бугалочкой.

Второй раз я испытала такой же восторг сорок лет спустя, будучи приглашенной на ужин в Букингемский дворец самой королевой!

В обоих этих событиях, знаете ли, было нечто сказочное, ибо я не могла себе представить, что такое может случиться *со мной*, что я могу купить собственный автомобиль и ужинать с королевой Англии!

— Где ты была сегодня, киска?

— У королевы у английской...

Это было почти так же невероятно, как если бы я *по рождению* владела аристократическим титулом — леди Агата³.

— Что ты видала при дворе?

— Видала мышку на ковре⁴.

Мышки на ковре у королевы Елизаветы Второй я не видала, но получила высшее наслаждение от того вечера. Миниатюрная, хрупкая, в строгом темно-красном бархатном платье, королева была добра и проста в общении. Помню, она рассказала нам о том, как однажды вечером они сидели в маленькой гостиной и вдруг по дымоходу с диким грохотом обрушился нарост сажки, в ужасе они все выскочили из комнаты. Чувствуешь себя увереннее при мысли, что домашние неприятности случаются и в самых высших кругах.

¹ Шутовое прозвище, придуманное для старшей сестры Агаты Кристи, Мэдж Уоттс, ее сыном. Вслед за ним так стали называть ее и все родственники.

² Дочь Арчибалда и Агаты Кристи.

³ Титул Леди Британской Империи был пожалован Агате Кресте в 1971 году.

⁴ Детская английская песенка. Перевод С. Маршака.

Из главы «Утраченный континент»

Тем временем из Африки от моего брата Монти пришли дурные вести. С тех самых довоенных лет, когда он намеревался водить торговые суда по озеру Виктория, мы мало что знали о его жизни. Тогда он без конца слал письма Мэдж, из которых следовало, что идей у него хоть отбавляй. Вот если бы она только могла вложить небольшой капитал... Сестра верила, что есть все-таки какое-то дело, в котором Монти мог бы преуспеть. Что-нибудь связанное с кораблями, в этом он разбирался. Словом, она оплатила ему проезд в Англию. План состоял в том, чтобы построить в Эссексе небольшое судно. Такой вид транспорта действительно был тогда перспективным — на озере в то время была нужда в малом грузовом судоходстве. существовало, правда, в этом плане и слабое звено: предполагалось, что Монти станет капитаном корабля, а в этом случае никто не мог поручиться, что корабль будет ходить строго по расписанию и окажется надежным средством сообщения.

— Великолепная идея. Сулит большие барыши,— сказал Арчи.— Правда, старина Миллер¹... Что если в один прекрасный день ему не захочется рано вставать? Или не понравится чья-то физиономия? Ему ведь закон не писан.

Но моя сестра, будучи неисправимой оптимисткой, решила вложить большую часть своего капитала в постройку корабля.

— Джеймс² достаточно хорошо меня обеспечивает, я имею возможность благодаря этому помогать в содержании Эшфилда, почему бы мне не рискнуть капиталом?

Мой зять был вне себя. Они с Монти терпеть друг друга не могли. Джеймс не сомневался, что деньги Мэдж пойдут прахом.

Строительство корабля началось. Мэдж несколько раз ездила в Эссекс. Все, казалось, шло хорошо.

Единственное, что ее беспокоило, это что Монти, приезжая в Лондон, всегда останавливался в очень дорогих отелях на Джермин стрит, покупал множество шелковых пижам, заказывал комплекты специально для него разработанной капитанской формы и одаривал Мэдж то браслетом из сапфира, то изящной работы бальной сумочкой и прочими *petit points* — очаровательными безделушками.

— Монти, деньги ведь предназначены для постройки *корабля* — не для того, чтобы покупать мне подарки.

— Но я хочу доставить тебе удовольствие. Ты никогда себе ничего не покупашь.

— А что это там, на подоконнике?

— Это? А, это японское карликовое дерево.

— Но они же страшно дорого стоят!

— Семьдесят пять фунтов. Мне всегда хотелось иметь такое деревце. Посмотри, какая форма. Восхитительно, правда?

— Ох, Монти, лучше бы ты его не покупал.

— Твоя беда в том, что со стариной Джеймсом ты разучилась радоваться.

Когда она пришла к нему в следующий раз, дерева уже не было.

— Ты его отправил обратно в магазин? — с надеждой спросила Мэдж.

— Обратно в магазин?! — с ужасом повторил Монти.— Конечно, нет. Я подарил его регистраторше отеля. Потрясающе симпатичная девушка. Оно ей так понравилось! Она очень тревожится за свою больную мать, и я решил ее побаловать.

Ну, что на это можно было сказать?

— Пойдем пообедаем,— предложил Монти.

— Хорошо. Только пойдем в «Лайонз».

— Отлично.

Они вышли на улицу. Монти попросил швейцара остановить такси. Тот махнул проезжавшему мимо шоферу, и они сели в машину. Монти дал водителю полкроны и велел ехать в «Беркли»³. Мэдж заплакала.

¹ Девичья фамилия Агаты Кристи — Миллер.

² Джеймс Уоттс — муж сестры Агаты Кристи.

³ Один из самых дорогих отелей в Лондоне.

— Дело в том, — объяснял мне потом Монти, — что Джеймс страшный скряга. Мэдж сломалась. Кажется, она только и думает о том, как бы сэкономить.

— Тебе бы тоже не мешало об этом подумать. Что, если денег на постройку корабля не хватит?

Монти лукаво ухмыльнулся.

— Не имеет значения. Старине Джеймсу придется раскошелиться.

Монти прожил у них пять тяжелых дней и выпил немислимое количество виски. Мэдж тайно покупала ему все новые бутылки, прятала у него в комнате, и Монти это страшно забавляло.

Потом он увлекся Нэн Уоттс и возил ее по театрам и дорогим ресторанам.

Порой в отчаянии Мэдж восклицала:

— Этот корабль никогда не попадет в Уганду!

Между тем он мог бы уже быть готов. И если строительство никак не завершилось, то только из-за Монти. Брат был влюблен в свою «Батенгу», как он назвал корабль, и хотел, чтобы она была больше, чем торговым судном: велел украсить интерьер черным деревом и слоновой костью, отделать свою каюту панелями тикового дерева и заказал специальную посуду из жаропрочного фарфора с надписью «Батенга» на каждом предмете. Все это, разумеется, отдаляло момент отплытия.

А тут разразилась война. О том, чтобы следовать в Африку на «Батенге», не могло быть и речи. Вместо этого корабль пришлось продать правительству за бесценок. Монти вернулся в армию — на сей раз в Африканский полк королевских стрелков.

Так окончилась сага о «Батенге».

У меня еще хранятся две кофейные чашечки от корабельного сервиза.

На сей раз письмо пришло от доктора. Мы знали, что во время войны Монти был ранен в руку. Случилось так, что в госпитале по халатности операционной сестры в рану занесли инфекцию. Инфекция оказалась стойкой и давала о себе знать даже после выписки. Монти продолжал заниматься охотой, но в конце концов попал во французский госпиталь, где служили монахи, в очень тяжелом состоянии.

Поначалу он ничего не хотел сообщать родным, писал доктор, но теперь, похоже, умирает — жизни ему осталось не больше полугода — и желает окончить свой земной путь дома. К тому же есть вероятность, что английский климат немного продлит его дни.

Быстро было организовано все для доставки Монти морем из Момбасы. Мама начала приготовления в Эшфилде. Ее охватило воодушевление — она будет сама ухаживать за своим дорогим мальчиком. Ей рисовались идиллические картины сыновней и материнской любви. Мама и Монти никогда не ладили. Во многом они были слишком похожи друг на друга. Жить с Монти было труднее, чем с кем бы то ни было.

— Теперь все будет по-другому, — говорила мама. — Вы забываете, как болен бедный мальчик.

Я не сомневалась, что с больным Монти будет ничуть не легче, чем со здоровым, по сути своей человек не меняется, и все же надеялась на лучшее.

У мамы возникли определенные трудности с тем, чтобы уговорить двух своих пожилых горничных согласиться на присутствие в доме слуги Монти — африканца.

— Думаю, мадам, да, думаю, мы не сможем спать в одном доме с *чернокожим* мужчиной. Мы с сестрой к такому не привыкли.

Мама перешла в наступление — она была из тех женщин, с которыми нелегко тягаться — и убедила их не уходить. Решающим аргументом явилось то, что им предоставится редкая возможность обратиться в христианство чернокожего мусульманина. Сестры были очень набожными женщинами.

— Мы будем читать ему Библию, — заявили они, и глаза их засветились проповедническим огнем.

Мама тем временем подготовила изолированный блок из трех комнат и новой ванной.

Арчи любезно предложил встретить Монти в порту Тилбери. Он также снял в Бейсуотере небольшую квартиру для них со слугой.

Когда Арчи уезжал в Тилбери, я сказала ему по телефону:

— Смотри, чтобы Монти не заставил тебя отвезти его в «Риц».

— Что ты сказала?

— Я сказала: смотри, чтобы Монти не заставил тебя отвезти его в «Риц». Я позабочусь о том, чтобы квартира была в полном порядке, предупрежу хозяйку и куплю все, что нужно.

— Тогда все будет отлично.

— Надеюсь. Но он может предпочесть «Риц».

— Не волнуйся. Я доставлю его еще до обеда.

День шел к концу. В 6.30 вернулся Арчи. Он выглядел очень усталым.

— Все нормально. Я отвез его на место. Пришлось потрудиться, чтобы снять его с корабля — у него вещи не были уложены, а он все повторял: «У нас куча времени. Куда спешить?» Уже все сошли на берег, а у него в каюте все вверх дном — и ему хоть бы хны. Слава Богу, Шебани оказался проворным малым, помог все собрать. В конце концов нам удалось все-таки покинуть корабль.

Он сделал паузу и откашлялся.

— Но дело в том, что я отвез его не на Пауэлл сквер. Он твердо решил остановиться в каком-нибудь отеле на Джермин стрит. Утверждал, что в этом случае с ним будет гораздо меньше хлопот.

— Я так и знала!

— Да, вот так.

Я укоризненно посмотрела на Арчи.

— Ты знаешь, он так убедительно говорил.

— Это Монти умеет,— сообщила я.

Монти показали специалисту по тропическим болезням, которого нам рекомендовали. Специалист дал маме все необходимые указания. Шанс на частичное выздоровление был: свежий воздух, горячие ванны, полный покой. Трудность состояла в том, что, считая умирающим, его так пичкали наркотиками, что теперь ему нелегко было от них отказаться.

Через пару дней мы все же водворили Монти с Шебани на Пауэлл сквер, где им было вполне удобно. Правда, Шебани наделал много шума, забежав в соседнюю табачную лавку, схватив там упаковку сигарет — штук пятьдесят — и выбежав со словами: «Для моего хозяина». Кенийскую систему кредита в Бейсуотере не поняли.

По окончании лондонского курса лечения Монти с Шебани переехали в Эшфилд, и была сделана попытка разыграть пьесу под названием «Сын, мирно оканчивающий свои дни под крылом у нежно любимой матери». Маму это чуть не доконало. Монти вел африканский образ жизни. Система питания состояла в том, что он требовал кормления тогда, когда ему хотелось есть, даже в четыре часа утра. Это было его любимое время. Он звонил, вызывал слуг и велел нести котлеты и бифштексы.

— Не понимаю, мама, что ты имеешь в виду, говоря: «Нужно думать о слугах». Ты платишь им за то, чтобы они готовили, если не ошибаюсь.

— Да, но не среди ночи!

— Это было всего за час до рассвета. Я привык вставать в это время. Хорошее время, чтобы начать новый день.

Что касается Шебани, то он прекрасно все улаживал, пожилые служанки в нем души не чаяли. Они читали ему Библию, и он слушал с огромным интересом. Он рассказывал им истории из кенийской или угандийской, уж не помню, жизни и повествовал об охотничьих доблестях своего хозяина: тот, оказалось, охотился на слонов.

Шебани деликатно наставлял Монти в его взаимоотношениях с матерью:

— Она ваша мать, бвана. Вы должны говорить с ней почтительно.

Через год Шебани пришлось вернуться в Африку к жене и детям, и все стало гораздо сложнее. Слуги-мужчины не приживались — то из-за Монти, то из-за мамы. Мы с Мэдж приезжали по очереди улаживать конфликты.

Здоровье Монти улучшилось, вследствие чего он становился все менее управляемым.

Ему было скучно, и для развлечения он стрелял из револьвера через окно. Лавочники и мамы гости жаловались. Монти не испытывал никакого раскаяния. «Какая-то глупая старая дева, вихляясь, шла по дороге. Я не мог удержаться и выстрелил сначала справа, потом слева от нее. Видели бы вы, как она дала деру!»

Однажды он обстрелял даже Мэдж, шедшую по дороге. Та пришла в ужас.

— Не понимаю почему,— удивлялся Монти.— Я бы ее никогда не задел. Неужели она думает, что я не умею метко стрелять?

Наконец по чьей-то жалобе к нам явилась полиция. Монти показал разрешение на ношение оружия и весьма убедительно поведал о своей жизни в Африке и о том, что ему необходимо тренироваться, чтобы не утратить меткость. Какой-то глупой женщине *показалось*, что он стрелял в нее. А на самом деле он увидел кролика. Только Монти мог выпутаться из подобной неприятности. Полиция сочла его объяснения основательными для человека, ведущего образ жизни подобный тому, какой вел капитан Миллер.

— Дело в том, детка, что мне невозможно больше жить здесь взаперти. Чувствую себя ручным попугаем в клетке. Если бы у меня был маленький домик в Дартмуре — это было бы как раз то, что мне нужно. Воздух и простор — место, где можно свободно дышать.

— Тебе этого действительно хочется?

— Ну конечно! Бедная старушка мама сводит меня с ума. Слишком много суеты. И потом это постоянное время для завтрака, обеда и ужина... Все разложено по полочкам. Я к такому не привык.

Я нашла Монти маленький каменный домик в Дартмуре. Нам также чудом удалось подыскать для него подходящую экономку — женщину лет шестидесяти пяти. Когда мы увидели ее впервые, нам показалось, что это совсем не то, что нужно: ярко крашенная, сильно нарумяненная блондинка, вся в кудряшках, одетая с ног до головы в черный шелк. Большую часть жизни она прожила во Франции и имела тринадцать душ детей.

Однако, как выяснилось, сам Бог нам ее послал. Она устраивала Монти как никто другой: даже вставала среди ночи и жарила котлеты, если он хотел. Правда, через какое-то время Монти сообщил: «Я почти никогда теперь не ем так рано — миссис Тейлор это тяжело, знаешь ли. Она молодец, но ей уже не так мало лет».

По собственной инициативе и совершенно безвозмездно она разбила вокруг дома небольшой огорожок и выращивала там горох, молодую картошку и фасоль. Слушала Монти, когда ему хотелось поговорить, и не обращала внимания, если он молчал. Она была великолепно!

Мама почувствовала себя гораздо лучше. Мэдж перестала беспокоиться. Монти с удовольствием принимал у себя родственников, вел себя во время их визитов очень мило и чрезвычайно гордился превосходной кухней миссис Тейлор.

Восемь фунтов, которые нам с Мэдж пришлось выложить за дом, не были слишком высокой платой за всеобщий покой.

...«Человек в коричневом костюме» имел успех. В «Бодли Хед» упорно уговаривали меня заключить с ними новый замечательный контракт. Я отказалась. Следующая книга, которую я им отдала, родилась из написанного когда-то давно большого рассказа. Мне самой он очень нравился: в нем происходило много сверхъестественных событий. Я немного переделала рассказ, ввела несколько дополнительных персонажей и послала в издательство. Издательство рукопись отвергло, впрочем, я это предвидела. В моем контракте не было оговорено, что я должна поставлять им только детективы или остросюжетные романы. В нем было сказано просто — «каждый следующий роман». То, что я предложила, было романом, а уж принять или отвергнуть его, решать им. Они отвергли, следовательно, я осталась должна издательству только одну книгу, после чего — свобода! Свобода, но ни шагу без совета Эдмунда Корка — впредь у меня будет первоклассный наставник, который всегда подскажет, что делать, а главное, чего не делать...

Публикация «Авантюристки Энн» в «Ивнинг ньюз» завершилась, и я купила свой «моррис каули». Это была превосходная машина, гораздо более надежная и удобная, чем нынешние. Теперь мне предстояло научиться ее водить.

Вскоре после того, как у нас появился автомобиль, разразилась всеобщая забастовка. Я к тому времени взяла у Арчи не больше трех уроков, но он заявил, что я должна отвезти его в Лондон!

— Я не могу! Я не умею водить!

— Умеешь. Ты прекрасно едешь по прямой.

Арчи был замечательным учителем, но ни о каких экзаменах в то время слыхом не слыхивали, и никаких водительских удостоверений никто не выдавал. Как только человек вступал в права владения автомобилем, он нес за него полную ответственность.

— Я совершенно не умею разворачиваться,— продолжала я приводить свои доводы.— И вообще машина всегда едет не туда, куда, как мне кажется, она должна была бы ехать.

— Тебе не придется разворачиваться,— уверенно заявил Арчи.— Ты прекрасно крутишь баранку, а больше ничего и не надо. Если поедешь с разумной скоростью, все будет в порядке. На тормоза ты жать умеешь.

— Этому ты меня научил в первую очередь,— согласилась я.

— Разумеется. Не вижу причин для беспокойства.

— Но движение! — сказала я неуверенно.

— Да нет, с движением тебе столкнуться не придется.

Арчи узнал, что от Хаунслоу в Лондон ходят электрички, поэтому план был таков: Арчи сам ведет машину до вокзала в Хаунслоу, разворачивает ее там, ставит в исходную позицию и отправляется в Сити на поезде, а я должна уже дальше справляться сама. Первый раз это показалось мне самым тяжелым испытанием, когда-либо выпадавшим на мою долю. Я тряслась от страха, но сумела тем не менее благополучно добраться до дома. Пару раз мотор глох, потому что я резче, чем требовалось, жала на тормоза; кроме того, я слишком тщательно объезжала всевозможные предметы на дороге, что тоже осложняло езду. К счастью, движение тогда даже отдаленно не напоминало то безобразие, что творится на дорогах сейчас, и от водителя виртуозного мастерства не требовалось. Покуда не нужно было припарковываться, разворачиваться или давать задний ход, все шло нормально. Самый тяжелый момент настал, когда пришло время поворачивать в Скотсвуд и заводить машину в чрезвычайно узкий гараж, где к тому же уже стояла машина наших соседей. Эта молодая пара, Ронклифы, жила в квартире под нами. Миссис Ронклиф сказала тогда своему мужу: «Я видела, как наша соседка возвращалась сегодня откуда-то на машине. По-моему, она первый раз в жизни держалась за руль. Въезжая в гараж, она вся дрожала и была белая, как полотно. Это просто чудо, что она не протаранила стену».

Думаю, никто, кроме Арчи, не доверил бы мне тогда машину. Ему всегда казалось само собой разумеющимся, что я могу делать многое, о чем сама не догадываюсь. «Конечно, ты это умеешь,— говорил он, бывало.— Почему бы, собственно, тебе этого не уметь? Если ты постоянно будешь думать, что ты того не умеешь, сего не умеешь, ты никогда ничему и не научишься».

Я стала немного увереннее в себе и дня через три-четыре рискнула немного углубиться в Лондон и даже принять участие в дорожном движении. О, какую радость доставляла мне машина! Боюсь, теперь никому не понять, какое разнообразие вносила она в нашу жизнь, позволяя ездить куда угодно, в места, в которые пешком не дойти,— это раздвигало горизонты. Одним из самых больших удовольствий было отправиться на машине в Эшфилд и повезти маму на прогулку. Она обожала такие прогулки не меньше меня. Куда только мы не ездили! Например, в Дартмур, к друзьям, чьего дома она до тех пор не видела, так как без машины туда было трудно добраться. И мы обе получали одинаковое наслаждение от самой езды. Ничто не приносило мне такого удовлетворения и удовольствия, как мой длинноносый «моррис каули».

Весьма полезный в разных житейских ситуациях, Арчи ничем не мог помочь мне в писании книг. Иногда хотелось посоветоваться с ним по поводу замысла нового рассказа или отдельных линий развития сюжета. Когда, запинаясь, я начинала рассказывать, мне самой все казалось в высшей степени банальным, неинтересным — можно найти и другие определения, но не будем уточнять. Арчи слушал со всей доброжелательностью, до которой снисходил всегда, если вообще обращал внимание на других людей.

Наконец я робко спрашивала:

— Ну, как? Что ты думаешь, может это быть интересно?

— Ну, вообще-то может,— отвечал он в своей обескураживающей манере.— Я не вижу здесь, правда, *рассказа* как такового. И потом это не такой уж захватывающий сюжет, не находишь?

— Наверное, ты прав. Ну и что же теперь делать?

— Не сомневаюсь, что ты можешь придумать что-нибудь получше.

Сюжет тут же умирал, сраженный наповал. Иногда я, правда, воскрешала его, вернее, он сам восставал из пепла лет через пять-шесть и, не подвергнутой предварительной критической обработке, расцветал весьма недурно, превращаясь порой в одну из моих любимых книг. Дело в том, что писателю очень трудно выразить в устной речи свой замысел. С карандашом в руке или за пишущей машинкой — другое дело, тогда вещь получается почти такой, какой станет в окончательном виде, но рассказать то, что ты только еще собираешься *написать*, почти невозможно, во всяком случае, для меня. В конце концов я поняла, что, пока вещь не написана, о ней никому нельзя рассказывать. Потом критика даже полезна. С чем-то можно спорить, с чем-то соглашаться, но, по крайней мере, ясно, какое впечатление она произвела на читателя. А описание *будущего* рассказа получается таким беспомощным, что, мягко выражаясь, едва ли кого-нибудь увлечет.

Я никогда не соглашалась на просьбы — а ко мне обращались с ними сотни раз — прочесть чью-нибудь рукопись. Во-первых, стоит согласиться лишь однажды — и у тебя уже не останется времени ни на что другое, ты только и будешь что читать чужие рукописи. Но главное — я не считаю, что писатель может быть компетентным критиком. Его возможности сводятся к тому, что он объясняет, как бы написал это сам, но ведь каждый пишет по-своему и по-своему себя выражает.

К тому же меня пугает мысль, что я могу ненароком обескуражить человека и у него опустятся руки. Один добрый друг показал рукопись моего раннего рассказа известной писательнице. По прочтении его дама с сожалением, но твердо вынесла вердикт: писателя из этого автора не получится никогда. На самом деле, хоть, будучи не критиком, а писательницей, она себе в том отчета и не отдавала, она скорее всего имела в виду, что автор прочитанного ею рассказа пока еще незрелый писатель и что *публиковать* его вещи рано. Критики или издатели на ее месте обнаружили бы большую проницательность, так как их профессия — находить побеги, из которых что-нибудь может вырасти. Вот почему я не люблю выступать в роли критика — боюсь причинить вред.

Позволю себе лишь одно критическое замечание в адрес начинающих писателей: они совершенно не ориентируются на рынке, куда выбрасывают свою продукцию. Например, бессмысленно писать роман объемом свыше тридцати тысяч слов — в наши дни такой роман трудно напечатать. «О,— возразит автор,— но этот роман должен быть именно таким!» Быть может. Если автор — гений. Но большинство-то из нас — ремесленники. Мы делаем то, что умеем и от чего получаем удовольствие, и мы хотим выгодно продать свое изделие. А колитак, ему следует придать ту форму и тот размер, которые пользуются спросом. Какой толк плотнику делать табуретку высотой в полтора метра? Никто не захочет на ней сидеть, сколько бы кому ни внушали, что табурет такой высоты *выглядит* красивее. Если вы собрались писать книгу, узнайте, какого объема книги лучше читаются, и постарайтесь уложиться именно в такой объем. Если хотите написать рассказ для определенного журнала, вы должны точно знать, какого рода и объема рассказы печатает именно этот журнал. Вот если вы задумали написать рассказ для себя — дело другое, пишите как хотите и сколько хотите; но тогда вам придется ограничиться удовольствием, которое вы получите от его написания. Весьма неплодотворно для молодого автора считать себя богоданным гением — конечно, встречаются и такие, но очень редко. Нет, следует рассматривать себя как мастера, у которого в руках хорошее, честное ремесло, и овладеть сначала всеми тонкостями этого ремесла, а уж затем вкладывать в него свои творческие идеи, но подчиняться при этом дисциплине по части формы — обязательно.

К тому времени у меня впервые забрезжила мысль, что я *могу* стать профессиональным писателем. Хоть уверенности еще не было. Я все еще считала, что писать книги — это естественное развитие умения вышивать диванные подушки.

Перед нашим переездом из Лондона в пригород я брала уроки ваяния. Я была истовой поклонницей искусства скульптуры, предпочитала его живописи и мечтала стать скульптором. Однако здесь меня очень скоро постигло разочарование: я поняла, что это не для меня, ибо у меня отсутствовало предметное воображение. Я не умела рисовать, следовательно, не могла и лепить. Какое-то время я еще делеяла надежду, что работа с глиной поможет обрести чувство формы, но в конце концов

поняла, что *не вижу* своей будущей скульптуры. А это все равно что заниматься музыкой, не имея слуха.

Я сочинила несколько песен¹, из тщеславия переложив на музыку свои же стихи. Послушав вальс собственного сочинения, пришла к выводу, что никогда не слышала ничего более банального. Хотя некоторые мои песенки были, по-моему, недурны. А одно стихотворение из цикла «Пьеро и Арлекин» мне даже нравилось. Я решила, что стоит позаниматься гармонией и композицией. И все же именно писательство, похоже, было моим способом самовыражения.

Я сочинила мрачную пьесу. Фабула была основана на кровосмешении. Ее решительно отвергли все импрессарио, которым я ее посылала: «Слишком неприятный сюжет». Забавно, что нынче эта пьеса как раз могла бы заинтересовать продюсеров.

Еще я написала историческую пьесу об Эхнатоне. Мне она страшно нравилась. Джон Гилгуд любезно откликнулся на нее, написав мне, что в пьесе есть интересные моменты, но она потребует слишком больших постановочных средств и ей недостает юмора. Я как-то не связывала юмор с Эхнатоном, но вдруг поняла, что была неправа. В Древнем Египте, разумеется, было столько же юмора, сколько в любом другом месте — жизнь везде и всегда жизнь, — в трагическом тоже есть смешное.

Мне всегда тяжело вспоминать следующий год своей жизни. Верно говорят: беда не приходит одна. Спустя месяц после моего возвращения с Корсики, где я пару недель отдыхала, моя мать заболела тяжелым бронхитом, это случилось в Эшфилде. Я поехала к ней, потом меня сменила Москитик. Вскоре она телеграфировала, что маму лучше отвезти в Эбни², где можно обеспечить ей более подходящий уход. Мама как будто пошла на поправку, но прежней уже так и не стала — она даже редко выходила теперь из своей комнаты. Думаю, болезнь затронула легкие, ей ведь исполнилось уже семьдесят два года. Состояние ее было более тяжелым, чем я, да и Москитик тоже, предполагала. Недели через две после того, как мы перевезли ее в Эбни, Арчи вызвал меня оттуда телеграммой — ему необходимо было отправляться в Испанию по делам.

Я ехала на поезде в Манчестер, когда вдруг совершенно неожиданно ощутила *холод*, словно меня окатили с ног до головы ледяной водой. Сознание мое пронзила догадка: мама умерла.

Так оно и было. Я смотрела на нее, лежащую на кровати, и думала: это верно, что, когда человек умирает, от него остается лишь *оболочка*. Человеческая теплота, импульсивность, эмоциональность моей матери исчезли без следа. В последние годы она не раз говорила мне: «Порой так хочется освободиться от своего тела — оно такое изношенное, такое старое, такое *бесполезное*. Как бы я мечтала вырваться из этой тюрьмы!» Сейчас я с пониманием вспоминаю эти ее слова. Но тогда для нас ее уход все равно оказался безутешным горем.

Арчи не смог присутствовать на похоронах — он все еще был в Испании. Когда он вернулся неделю спустя, я уже ждала его в Стайлсе³. Я всегда знала, что Арчи испытывает отвращение к болезням, смерти и вообще к каким бы то ни было неприятностям. Такие люди знают, что подобные вещи существуют, но едва ли отдают себе в них отчет или обращают на них внимание, пока те не коснутся их лично. Помню, он вошел в комнату, явно не зная, как себя вести, отчего выражение лица у него было неуместно веселым, он как бы говорил своим видом: «Привет, вот и я. Ну-ну, не надо грустить». Когда теряешь одного из трех самых дорогих тебе людей, такое равнодушье больно ранит.

— У меня отличная идея, — сказал Арчи. — На следующей неделе мне нужно будет снова поехать в Испанию. Как ты смотришь на то, чтобы составить мне компанию? Мы бы прекрасно провели время, и, уверен, ты бы там развеялась.

¹ Агата Кристи получила серьезное музыкальное образование и даже мечтала в юности стать профессиональной певицей.

² Ферма, доставшаяся сестре Агаты Кристи по наследству.

³ Дом, который к тому времени приобрели Кристи, по предложению Арчибалда называли Стайлсом — в честь первой книги А. Кристи, «Тайнственное преступление в Стайлсе».

Мне не хотелось развеиваться. Я предпочитала остаться наедине со своим горем и попытаться свыкнуться с ним. Поэтому, поблагодарив Арчи, я сказала, что, пожалуй, останусь дома. Теперь понимаю, что совершила ошибку. Я считала, что у нас с Арчи впереди целая жизнь. Мы были счастливы вместе, уверены друг в друге, и ни один из нас не помышлял о том, что мы можем когда-нибудь расстаться. Но Арчи совершенно не умел жить рядом с печалью, он сразу же начинал искать радостных ощущений на стороне...

Как мне воспоминание стереть,
Слепящий образ твой прогнать из глаз?!

написал когда-то Китс. Но нужно ли прогонять? Если уж путешествовать вспять по собственной жизни, то имею ли я право проходить мимо неприятных воспоминаний? Не будет ли это трусостью?

Думаю, должна вспомнить все — да, было горько, но ведь это уже позади. А без этой нити, следует признать, узор моей жизни получится неполным, ведь и она — часть моего прошлого. Но долго задерживаться на подобных воспоминаниях не обязательно.

Когда Москитик приехала в Эшфилд², я почувствовала себя совершенно счастливой. Затем прибыл Арчи.

С его появлением я испытала нечто, похожее на давний детский кошмар: я сижу за столом, напротив — моя любимая, моя лучшая подруга. Но внезапно я с ужасом осознаю, что она — это не она, а совсем чужой человек. Вот так и Арчи приехал совсем чужим.

Мы поздоровались честь по чести, но просто это был не Арчи. Я не понимала, что с ним. Москитик тоже заметила перемену и спросила: «Арчи какой-то странный — он не болен?» Я ответила: «Может быть». Сам Арчи, однако, сказал, что с ним все в порядке. Но он с нами почти не разговаривал и все время бродил в одиночестве. Я спросила насчет билетов в Алассио³, он ответил: «А, да, все в порядке. Я тебе потом расскажу».

Тем не менее он был какой-то не такой. Я голову ломала, пытаюсь угадать, что же могло случиться. У меня даже мелькнула испугавшая меня мысль, что стряслась беда на работе. Уж не растратил ли Арчи казенные деньги? Нет, в это поверить я не могла. А может быть, он заключил неудачную сделку, попал в затруднительное положение и не хочет мне признаться в этом, чтобы не расстраивать? В конце концов я не выдержала и спросила:

— Арчи, что случилось?

— Ничего особенного.

— Но что-то все же случилось?

— Да, я, видимо, должен кое-что тебе рассказать. У нас, у меня нет билетов в Алассио. Я не хочу ехать за границу.

— Мы не едем за границу?

— Нет, я же сказал, я не хочу.

— Ты хочешь остаться здесь, побыть с Розалиндой? Да? Ну, что ж, это ничуть не хуже.

— Ты не поняла, — раздраженно сказал он.

Понадобились еще сутки, чтобы он решился сказать мне прямо:

— Мне страшно жаль, что так случилось. Помнишь брюнетку, которая была у Белчера секретаршей? Она еще приезжала к нам на выходные с Белчером около года назад, а потом мы пару раз виделись в Лондоне.

Я не могла вспомнить имени, но знала, о ком он говорит.

— Да, — сказала я.

— Я виделся с ней опять, пока жил в Лондоне. Мы часто встречались...

— Ну и что? — спросила я. — Почему бы и нет?

¹ «Строки к Фанни». Перевод Г. Кружкова.

² В течение нескольких месяцев Агата Кристи с дочерью жила в Эшфилде, разбирая вещи матери и бабушки, накопившиеся там за последние годы, и приводя дом в порядок. Арчибалд все это время оставался в Лондоне.

³ Кристи собирались провести отпуск в Италии.

— Ах, — нетерпеливо воскликнул он, — ты опять не понимаешь! Я влюбился в нее и хочу, чтобы ты дала мне развод как можно скорее.

Наверное, с этими словами оборвалась часть моей жизни, та, безмятежная, удачливая, спокойная. Конечно, не сразу, потому что сначала я не могла поверить в то, что услышала. Между нами никогда ничего подобного не было — мы жили счастливо, понимали друг друга. Арчи не обращал особого внимания на женщин. Вероятно, он сорвался, так как в последние месяцы ему не хватало обычной семейной теплоты.

Он добавил:

— Когда-то давно я предупреждал тебя, что ненавижу, если кто-то рядом болен или несчастен, мне это отравляет жизнь.

Да, подумала я, мне следовало это помнить. Будь я умнее и знай своего мужа лучше — или хотя бы постарайся я узнать его лучше, вместо того чтобы идеализировать и считать почти совершенством, — может быть, ничего такого и не произошло бы. Если бы я не уехала в Эшфилд и не оставила его в Лондоне одного, скорее всего, он никогда и внимания бы не обратил на эту девушку. На эту, может быть, и нет, но рано или поздно что-то все же случилось бы, ибо я, наверное, не была способна заполнить жизнь Арчи. Он просто уже созрел для того, чтобы в кого-нибудь влюбиться, хоть само томи не догадывался. Или все дело было именно в *этой* девушке? Может, ему на роду было написано неожиданно влюбиться в нее? Когда мы встречались с ней прежде, он ничуть не был в нее влюблен. Он даже не хотел, чтобы я ее приглашала, так как это могло сорвать его воскресную партию в гольф. Но когда он в нее влюбился, то влюбился внезапно, в одно мгновение, как когда-то в меня. Что ж, вероятно, так было назначено судьбой.

В такие моменты от друзей и родственников толку мало. Они только и знали, что твердить: «Но это же абсурд. Вы всегда были такой счастливой парой. У него это пройдет. Такое случается со многими мужьями. И проходит».

Я тоже так думала. Я думала, что все минует. Но он так не думал...

Я ждала год, надеясь, что Арчи переменится. Он не переменился.

Так закончился мой первый брак.

Я отдала распоряжение своим адвокатам, мосты были сожжены. Мне оставалось лишь решить, чем занять себя в ближайшее время. Розалинда в интернате, Карло¹ и Москитик будут навещать ее. До Рождества я свободна. И я вознамерилась отправиться за солнцем — в Вест-Индию, на Ямайку. Заказав билеты в агентстве Кука, я была готова к отплытию.

Но тут снова вмешался Рок. За два дня до отъезда меня пригласили поужинать мои лондонские знакомые. Мы не были близкими друзьями, но я весьма симпатизировала этой супружеской паре. Среди приглашенных была еще одна молодая чета: морской офицер, командор² Хауи с женой. Я сидела за столом рядом с ним, и он рассказывал о Багдаде. Его корабль базировался в Персидском заливе, и он только что приехал оттуда. После ужина его жена присела рядом со мной. Все говорят, что Багдад — ужасный город, сказала она, а вот они с мужем очарованы им. Их рассказы все больше вдохновляли меня, но одно сомнение тревожило — туда ведь нужно плыть морем?³

— Можете поехать поездом — на Восточном экспрессе.

— На Восточном экспрессе?!

Всю жизнь я мечтала проехать на Восточном экспрессе. Часто, направляясь во Францию, Испанию или Италию, я видела Восточный экспресс в Кале, и мне всегда хотелось сесть в него. «Симплон — Восточный экспресс — Милан — Белград — Стамбул...»

Я схватила наживку. Командор Хауи написал мне, что посмотреть в Багдаде. Не кляните только на Альвию⁴ и мем-сахиб⁵. Обязательно поезжайте в Мосул, в Басру и, конечно же, в Ур.

¹ Шарлотта Фишер — няня Розалинды и секретарь Агаты Кристи, ставшая одной из самых близких ее подруг.

² Военское звание в разряде старших офицеров ВМС, соответствует капитану 3-го ранга или подполковнику в сухопутных войсках.

³ Агата Кристи всю жизнь страдала морской болезнью.

⁴ Название района в Багдаде, где в основном селилась английская колония.

⁵ В Ираке почтительное обращение к замужней европейской даме.

— Ур?! — переспросила я, поскольку как раз прочла в «Иллюстрированных лондонских новостях» об удивительных находках Леонарда Вули в Уре. Меня всегда привлекала археология, хоть я ничего о ней и не знала.

На следующее утро я ринулась в агентство Кука, аннулировала билет в Вест-Индию и вместо этого сделала все необходимые распоряжения для поездки на Симплон—Восточном экспрессе в Стамбул, из Стамбула — в Дамаск, из Дамаска — в Багдад через пустыню. Я была очень взволнована. Потребуется четыре-пять дней, чтобы получить визы и все прочее, и я буду в пути!

— Совсем одна? — с некоторым сомнением спросила Карло. — Одна на Ближний Восток? Разве вы не знаете, что это небезопасно?

— Ах, все будет в порядке, — ответила я. — В конце концов, каждому иногда бывает полезно что-то предпринять в одиночку.

Прежде мне этого делать не приходилось — да и охоты не было, — но теперь я подумала: «Сейчас или никогда. Или я буду вечно привязана лишь к тому, что надежно и хорошо известно, или проявлю инициативу и стану более самостоятельной».

Вот так спустя пять дней я отправилась в Багдад.

Конечно, завораживало само название. Думаю, у меня не было четкого представления о том, как должен выглядеть Багдад. Безусловно, я не ожидала увидеть город Гарун-аль-Рашида. Просто это было место, где я никогда не предполагала побывать, и для меня в нем таилось все очарование неизвестности.

Я путешествовала с Арчи вокруг света; я была на Канарах с Карло и Розалиндой; нынче я ехал а совершенно *одна*. Вот теперь-то и станет ясно, что я за человек — не слишком ли зависима от других, чего я всегда опасалась. Я могла дать волю своей страсти к путешествиям по новым местам — какие приглянутся. Могла в любой момент изменить любое свое решение — так же, как в один вечер променяла Вест-Индию на Багдад. Мне ни с кем, кроме себя, не нужно считаться. Посмотрим, как мне это понравится. Я ведь знала, что у меня характер, как у собаки: пока кто-нибудь не поведет, сама гулять не пойду. Может, такой мне и суждено навсегда остаться? Я надеялась, что это не так.

Из главы «Вторая весна»

Я всегда очень любила поезда. Жаль, что сегодня уже никто не относится к паровозу, как к другу.

Поездка в Дувр и утомительное морское плавание были позади, в Кале я села в вагон lit¹ поезда моей мечты. И именно тогда меня настигла первая опасность, подстерегающая путешественника не так уж редко. Со мной в купе ехала женщина средних лет, хорошо одетая, видимо, бывалая путешественница, с огромным количеством чемоданов и шляпных коробок — да, в те времена еще путешествовали со шляпными коробками, — и она тут же вступила со мной в беседу. Ничего удивительного: нам предстояло ехать вместе — в вагонах второго класса все купе были двухместными. В каком-то смысле второй класс был даже предпочтительней первого, поскольку здесь купе были намного просторнее, и это позволяло двигаться.

Куда я еду, спросила моя попутчица, в Италию? Нет, ответила я, дальше. Куда же? Я сообщила, что еду в Багдад. Ее это привело в восторг: она сама жила в Багдаде. Какое совпадение! Если я еду туда к друзьям, как она предполагала, то она наверняка их знает. Я сказала, что еду не к друзьям.

— А где же, в таком случае, вы собираетесь жить? Не остановитесь же вы в отеле!

Почему бы нет, спросила я. Для чего же еще существуют отели? Последнее замечание я, впрочем, оставила при себе.

О, нет, это *совершенно* невозможно!

— Вам не следует этого делать. Я научу вас, как поступить: вы должны остановиться у нас!

Я немного испугалась.

¹ Спальный вагон (франц.).

— Да, да, никаких отказов я не приму. Сколько вы намерены пробыть там?

— О, совсем недолго, — ответила я.

— Ну, во всяком случае, для начала вы должны пожить у нас, а потом мы передадим вас кому-нибудь еще.

Это было очень любезно, но во мне сразу же что-то восстало против этого приглашения. Я начинала понимать, что имел в виду командор Хауи, когда предостерегал, чтобы я не попала в капкан гостеприимства английской колонии. Я уже видела себя связанной по рукам и ногам. Довольно сбивчиво я попыталась рассказать, что собираюсь посмотреть, но миссис С. — она назвала свое имя и сообщила, что муж ее уже в Багдаде и что она одна из старейшин тамошней английской колонии — тут же отменяла все мои планы:

— О, когда вы попадете в Багдад, вы поймете, что там все не так, как вы себе представляли. Там можно жить в свое удовольствие: сколько угодно играть в теннис, совершать дальние прогулки. Вам понравится, вот увидите. Все говорят, что Багдад ужасен, а я не согласна. Там есть дивные сады, знаете ли.

Я вежливо соглашалась со всем, что она говорила.

— Надеюсь, вы едете до Триеста, а оттуда на пароходе в Бейрут?

Нет, ответила я, я собираюсь проделать весь путь на Восточном экспрессе. Она сокрушенно покачала головой.

— Не думаю, что это разумно, вряд ли вам понравится дорога. Но теперь уже ничего не поделаешь. Однако в Багдаде мы встретимся обязательно. Я дам вам свою визитную карточку. Если вы позвоните нам из Бейрута перед отправлением поезда, мой муж встретит вас на вокзале и привезет к нам домой.

Что я могла сказать в ответ, кроме: «Большое спасибо, но мои планы пока так неопределенны...» К счастью, миссис С. не всю дорогу будет моей попутчицей, подумала я с облегчением. Слава Богу, а то у меня не было бы ни минуты покоя, похоже, эта женщина не закрывала рта никогда. Она выйдет в Триесте и поплывет пароходом в Бейрут. Я предусмотрительно умолчала о том, что собираюсь сделать остановки в Дамаске и Стамбуле, даст Бог, она решит, что я передумала ехать в Багдад. На следующий день мы самым дружеским образом распрощались в Триесте, и я твердо решила хорошо провести время.

Путешествие оправдывало все мои ожидания. После Триеста поезд шел через Балканы, по Югославии. Я с восторгом наблюдала из окна совершенно новый для меня мир: горные ущелья, по которым двигался поезд, запряженные осликами тележки и живописные фургончики, группы людей на вокзальных платформах... Иногда я выходила из вагона на станции — где-нибудь в Нише или Белграде — и наблюдала, как отцепляют от нашего состава огромный локомотив и заменяют его на нового монстра с совершенно другими надписями и эмблемами. Естественно, en route¹ я познакомилась с еще несколькими людьми, но, к моей великой радости, никто из них не проявил обо мне такой заботы, как первая попутчица. Днем я приятно проводила время с американской миссионеркой, инженером-голландцем и двумя турецкими дамами. С последними особенно разговаривать было мудрено, так как мы общались на весьма условном французском языке. Однако удалось выяснить, что положение мое достаточно унижительно, поскольку я имею всего одного ребенка, к тому же еще и девочку. У лучезарной турчанки, если я правильно ее поняла, было тринадцать детей — пятеро из них, правда, умерли, — а еще трое, если не четверо, погибли до рождения. Она гордилась общей суммой своих достижений и не теряла, судя по всему, надежды побить собственный рекорд плодовитости. Дама настойчиво рекомендовала мне всевозможные рецепты увеличения численности семейства: отвары из листьев, из трав, всевозможные способы употребления, кажется, чеснока и, наконец, адрес «совершенно волшебного» парижского доктора.

Пока не окажешься в дороге одна, не осознаешь, насколько внешний мир заботлив и дружелюбен, хоть порой это и утомительно. Дама-миссионерка назвала мне несколько лекарств против желудочно-кишечных недугов, в частности, превосходный набор слабительных солей. Голландский инженер со всей серьезностью наставлял меня относительно того, где следует останавливаться в Стамбуле, и предостерегал от опасностей, уготованных даме в этом городе. «Вы должны быть осторожны, — взвумлял он меня. — Вы благовоспитанная дама, всегда жили в

¹ В пути (франц.).

Англии под защитой мужа и родственников. Не доверяйтесь никому, не ходите ни в какие увеселительные заведения, если точно не знаете, что это за место». Он обращался со мной, как с невинной семнадцатилетней девушкой. Я поблагодарила и заверила его, что буду постоянно начеку.

Чтобы защитить от неприятностей в первый день приезда, он пригласил меня поужинать. «Токатлиан» — очень хороший отель, сказал он. Там вы будете в безопасности.

— Я позвоню вам около девяти, заеду и повезу в чудесный ресторан — то, что нужно. Его содержат две русские дамы благородного происхождения, голубая кровь. У них прекрасная кухня и безупречное обслуживание.

Я с благодарностью приняла приглашение, и все было именно так, как он обещал.

На следующий день, закончив дела, он снова заехал за мной, немного повозил по Стамбулу, а затем приставил ко мне гида.

— Вам не нужен гид от Кука, — сказал он. — Это слишком дорого. Что касается этого, то за него я ручаюсь.

В конце вечера, приятно проведенного среди русских дам, грациозно плававших между столиками, расточавших аристократические улыбки и всячески опекавших моего инженера, он показал мне еще несколько стамбульских достопримечательностей и в последний раз доставил в отель «Токатлиан».

— Хотел бы я знать... — начал он, когда мы прощались у входа, и вопросительно взглянул на меня. — Хотел бы я знать сейчас... — повторил он свой вопрос, и взгляд его стал настойчивей. Потом он вздохнул и добавил: — Нет, думаю, благодарнее не спрашивать.

— Вы очень благоразумны, — ответила я, — и очень добры.

Он снова вздохнул.

— Я бы предпочел, чтобы все оказалось иначе, но вижу, что так будет правильней.

Он взял мою руку, прижал ее к губам и навсегда исчез из моей жизни. Милейший человек — сама доброта, — и это ему я обязана тем, что знакомство с Константинополем оказалось для меня таким приятным.

На следующий день представитель Кука, щеголяя изысканными манерами, доставил меня на вокзал Хайдар-паша по другую сторону Босфора, откуда мне предстояло продолжить путешествие в Восточном экспрессе. Счастье, что он провожал меня, ибо ничто не напоминало сумасшедший дом больше, чем вокзал Хайдар-паша. Все кричали, толкались, размахивали руками и наседали на таможенников. Именно тогда я познакомилась с одним из методов работы переводчиков Кука.

— Дайте мне один фунт, — велел он.

Я дала. Он тут же вскочил на таможенную стойку и, размахивая банкнотой над головой, закричал: «Сюда, сюда!» Его действия увенчались успехом. Таможенник, весь оплетенный золотыми галунами, поспешил к нам, мелом поставил кресты на всех моих чемоданах, пожелал мне счастливого пути и отправился терзать тех, кто не овладел еще однофунтовым методом Кука.

— Ну, а... — я не знала, сколько. Но пока я перебирала свои турецкие деньги — какую-то мелочь, которую мне поменяли еще в поезде, мой гид уверенно произнес:

— Оставьте это себе, может пригодиться. А мне дайте еще один фунт.

С большими сомнениями, но понимая, что учиться приходится на опыте, я послушно протянула ему банкноту, и он покинул меня, приветствуя и благословляя.

При переезде из Европы в Азию произошла какая-то неуловимая перемена. Словно время перестало играть сколько-нибудь важную роль. Поезд двигался теперь неторопливо — вдоль берега Мраморного моря, вверх по склонам гор, — дорога была сказочно красива. Другими стали и пассажиры, хотя точно определить, чем нынешние отличались от прежних, я бы не взялась. Я чувствовала себя отрезанной от привычного мне окружения, но тем интереснее становилось путешествие. Мне доставляло огромное удовольствие рассматривать на остановках людей в пестрых одеждах, толпящихся на перронах крестьян и неведомые кушанья, которые они предлагали пассажирам через окна: что-то нанизанное на вертелы или завернутое в виноградные листья, яйца, выкрашенные в разные цвета, и тому подобное. По мере продвижения на Восток, правда, еда становилась все более неприятной — все более горячей, жирной и безвкусной.

На второй вечер поезд сделал остановку, и пассажиры высypали полюбоваться Киликийскими воротами. Перед нами предстала картина фантастической красоты, никогда ее не забуду. Впоследствии я проезжала по этому пути туда и обратно множество раз и, поскольку расписание менялось, оказывалась там в разное время дня и ночи: иногда рано утром, когда вид был удивительно красивым, иногда, как впервые, около шести часов вечера; иногда, к сожалению, глубокой ночью. В тот первый раз мне повезло. Выйдя из поезда вместе с другими, я увидела неопишное чудо. На горизонте медленно заходило солнце. Я была так рада и благодарна судьбе, занесшей меня сюда! Затем раздался свисток, мы разошлись по своим вагонам, и поезд стал медленно спускаться по длинному склону ущелья, чтобы, переехав через текущую по его дну реку, перебраться на противоположный склон — мы покидали Турцию и въезжали в Сирию через Алеппо.

Прежде чем мы добрались до Алеппо, однако, со мной случилась неприятность: я обнаружила у себя на плечах, на затылке, щиколотках и коленях следы множества укусов и подумала, что меня искушали москиты. Но то были не москиты. По своей тогдашней неискренности я не знала, что это были клопы. У меня на всю жизнь сохранилась особая чувствительность к их укусам. Они выползали из всех щелей старомодных деревянных вагонов и жадно набрасывались на сочных пассажиров. Температура у меня подскочила до 37,8°, и руки вздулись. Наконец при любезной помощи французского коммивояжера удалось разрезать рукава моих пальто и блузки — руки внутри них так распухли, что ничего другого не оставалось. У меня был жар, болела голова, я отвратительно себя чувствовала и думала про себя: «Ах, зачем я пустилась в это путешествие!» Мой новый французский друг был незаменим: где-то купил для меня виноград — сладкий мелкий виноград, который растет только в том уголке земли. «С такой высокой температурой вам не захочется есть, — сказал он. — Сосите этот виноград».

Хоть мама и бабушка учили меня никогда не есть за границей немытых фруктов и ягод, я пренебрегла их советом. Каждые четверть часа я понемногу ела виноград, и это облегчало мое состояние. Разумеется, больше мне ничего не хотелось. Мой добрый француз распрощался со мной в Алеппо. В течение следующего дня отек на руках уменьшился, и я почувствовала себя лучше.

После изнурительного дня, проведенного в поезде, который тащился со скоростью не более пяти миль в час и постоянно останавливался на так называемых станциях, ничем, впрочем, не выделявшихся на фоне окружающего пейзажа, мы наконец прибыли в Дамаск. Я очутилась посреди гомонящей толпы; носильщики вырывали вещи у меня из рук, крича и завывая, другие носильщики, в свою очередь, вырывали мои вещи у них — кто сильнее, тот побеждал. Наконец я разглядела стоявший у вокзала красивый автобус с табличкой «Отель «Ориент палас» на ветровом стекле. Величественная фигура в ливрее приняла мой багаж; вместе с еще двумя обалдевшими путешественниками нас посадили в автобус и доставили в отель, где меня ждал номер. Это был великолепнейший отель с огромными мерцающими мрамором холлами, правда, так слабо освещенными, что разглядеть почти ничего было невозможно. Меня торжественно препроводили по мраморной лестнице наверх, в необозримо обширные апартаменты, и я попробовала обсудить вопрос о ванне с явившейся на мой звонок добродушной женщиной, которая знала несколько слов по-французски.

— Мужчина устроить, — произнесла она и пояснила: — Un homme, un type — il va arranger¹. — Она приветливо поклонилась и исчезла.

Я слабо представляла себе, что это за «un type», но в конце концов выяснилось, что это банщик — коротышка, завернутый во множество полосатых хлопчатобумажных одежд. Он отвел меня, облаченную в пеньюар, в какой-то подвал, где стал откручивать всевозможные краны и вентили. На каменный пол отовсюду хлынул кипяток, и пар заполнил все помещение так, что ничего не стало видно. Банщик кивал, улыбался, жестикулировал, давая понять, что все идет хорошо, а потом ушел. Перед уходом он все краны закрутил, и вода стекла в отверстия, устроенные в полу. Я не знала, что делать дальше. Снова пустить горячую воду не рисковала. По стенам вокруг располагались восемь или девять вентиля и рычажков, у каждого из которых, видимо, было свое предназначение — что, если, тронув один из них, я получу душ из

¹ — Мужчина, один тип, — он устроит (франц.).

кипятка себе на голову? В конце концов я сняла тапочки и все остальное и побродила немного по этой бане, ополаскиваясь в клубах пара — включить воду я так и не решилась. На мгновение я ощутила тоску по дому, по своей светлой квартире, по нормальной фарфоровой ванне с двумя кранами, на которых написано — «хол.» и «гор.» и которыми можно регулировать температуру воды по своему усмотрению.

Помнится, я провела в Дамаске три дня и осмотрела все положенные достопримечательности под неусыпной опекой бесценного Кука. Мне предоставилась возможность совершить поездку в некий замок крестоносцев в компании инженера-американца (ближневосточная нива, видимо, густо засеяна иностранными инженерами) и весьма пожилого священника. Впервые мы увидели друг друга, когда садились в машину, в 8.30 утра. Престарелый священник — сама доброта — почему-то решил, что мы с инженером — муж и жена. Так он с нами и обращался. «Надеюсь, вы не возражаете?» — спросил меня инженер. «Ничуть, — ответила я, — жаль, что он *считает* вас моим мужем». Фраза прозвучала несколько двусмысленно, и мы оба рассмеялись.

Старик священник постоянно рассуждал о преимуществах семейной жизни, воспитывающей умение давать и принимать даяние, и желал нам всяческого счастья. Мы отказались от попыток объяснить ему что бы то ни было, увидев, как он огорчился, когда американец прокричал ему в ухо, что мы *не* женаты и что, может быть, хватит об этом. «Но вы должны пожениться, — настаивал священник, трясая головой, — нельзя жить в грехе, воистину нельзя!»

Я побывала в чудесном Баальбеке, на базарах, на улице, которая называлась Прямой, купила много симпатичных медных тарелок, которые там чеканят. Все они — ручной работы, и у каждой семьи, делающей их, свой почерк. Иногда это был орнамент, напоминающий рыб, изукрашенный серебряными нитями. Удивительно, как каждая семья ремесленников передает свой узор от отца к сыну, от сына к внуку, и никто другой никогда не копирует его, и никто не пытается наладить массовое производство. Впрочем, боюсь, что теперь и в Дамаске немного осталось таких мастеров и семейных промыслов — на их месте, скорее всего, выросли фабрики. Уже и в те времена инкрустированные деревянные столики и шкатулки стали стереотипными и утратили штучность — хоть их еще и делали вручную, но по общему рисунку.

Купила я еще комод — огромный, инкрустированный перламутром и серебром. Такая мебель вызывает в воображении картины некой волшебной страны. Сопровождавший меня переводчик отнесся к покупке презрительно.

— Настоящая вещь, — сказал он. — Старая, ей лет пятьдесят — шестьдесят, а то и больше. Не модная, знаете ли. Совсем не модная. Не новая.

Я возразила: то-то и хорошо, что не новая, таких осталось мало. Может быть, никогда никто уже и не сделает такого комода.

— Да, их уже не делают. Вот посмотрите лучше на этот. Видите? Очень хорошая вещь. Взгляните, сколько сортов дерева использовано! Восемьдесят пять сортов!

Его уговоры возымели прямо противоположный результат — я желала только свой перламутровый, со слоновой костью и серебром комод.

Единственное, что меня беспокоило, как доставить его домой, в Англию, но оказалось, что это как раз очень просто. В конторе Кука мне указали некую транспортно-морскую фирму, представитель которой имелся в отеле. Я сделала необходимые распоряжения, они подсчитали, во что обойдется перевозка, и спустя девять или десять месяцев перламутрово-серебряный комод, о котором я почти уже забыла, объявился в Южном Девоне.

На этом дело, однако, не кончилось. Хоть на вид комод и был восхитителен, хоть он оказался неправдоподобно вместительным, среди ночи он начал издавать странные звуки — словно гигантские челюсти что-то жевали чавкая. Какое-то таинственное существо грызло мой прекрасный комод. Я повытаскивала ящики и осмотрела их — никаких дырок или следов зубов. Тем не менее каждую полночь, лишь только пробьет колдовской час, я слышала: «Хрум-хрум-хрум...»

В конце концов я отвезла один ящик в фирму, специализировавшуюся на тропических древесных насекомых. Осмотрев стыки деревянных деталей, они сразу заподозрили неладное и заявили, что единственный выход — замена ряда фрагментов. Удовольствие не из дешевых, надо признать, это обошлось мне втрое дороже,

чем сам комод, и вдвое — чем его доставка в Англию. Тем не менее я не могла больше терпеть этого постоянного чавканья и глодания.

Недели через три мне позвонили из мастерской, и взволнованный голос произнес: «Мадам, не можете ли вы к нам приехать? Я очень хочу, чтобы вы посмотрели, что мы нашли!» Я как раз собиралась в Лондон и сразу же поспешила в мастерскую. Там мне с гордостью продемонстрировали омерзительный гибрид червя со слизняком: огромный, белый и непристойный. Похоже, древесная диета пошла ему на пользу — он был невероятно толст. Не удивительно: он выел все внутренности в двух ящиках! Еще несколько недель спустя мне вернули мой любимый комод, и с тех пор по ночам у нас можно было слышать лишь тишину.

После напряженного осмотра достопримечательностей, убедившего меня в необходимости как-нибудь вернуться в Дамаск и обследовать его более подробно, настал день, когда мне предстояло начать последний этап своего путешествия — в Багдад через пустыню. Перевозки на этом участке с помощью большого каравана из шестиколесных фургонов, или автобусов осуществляла компания «Наирн лайн», принадлежавшая двум братьям — Джерри и Норману Наирнам. Это были очень дружелюбные австралийцы. Я познакомилась с ними накануне отъезда, когда они неумело упаковывали дорожный провиант в картонные коробки и пригласили меня помочь им.

Автобус отправлялся на рассвете. Нашими водителями были два рослых парня. Когда вслед за носильщиком, тащившим мой багаж, я проходила мимо, они как раз забрасывали в кабину пару винтовок, небрежно швырнув поверх них охапку какого-то тряпья.

— Не надо всем показывать, что они у нас есть, но пересекать пустыню без них мне не хочется, — сказал один водитель.

— С нами этим рейсом едет герцогиня Альвии, — отозвался второй.

— Боже милосердный! — воскликнул первый. — Теперь неприятностей не оберешься! Что ей на этот раз взбрдет в голову?

— Перевернуть все вверх тормашками, — ответил его напарник.

В этот момент к ступенькам крыльца приблизилась процессия. К моему удивлению — не скажу, чтобы к удовольствию, — не кто иной, как миссис С., с которой мы расстались в Триесте, шествовала во главе ее. Я-то воображала, что она давно в Багдаде, поскольку сама сильно задержалась в пути.

— Я знала, что встречу вас здесь, — сказала она, радостно приветствуя меня. — Все уже устроено, я везу вас прямо в Альвию. Вам *решительно* нельзя останавливаться в багдадских отелях.

Что я могла ответить? Отныне я — пленница. Я никогда не бывала в Багдаде и не знала, каковы тамошние отели. Возможно, они действительно кишели блохами, клопами, вшами, змеями и тараканами, к которым я питала особое отвращение. Пришлось промямлить слова благодарности. Мы удобно устроились в салоне автобуса, и только тут я сообразила, что «герцогиня Альвии» и есть моя «подруга» миссис С. Первое, что она сделала, отказалась от предложенного ей места, поскольку оно располагалось в хвостовой части автобуса, где ее всегда укачивало. Она желала сидеть впереди, за спиной водителя.

— Но это место несколько недель назад забронировано одной арабской дамой!

Герцогиня Альвии лишь презрительно отмахнулась. Видимо, она считала, что, кроме нее, здесь никого не существует. Она вела себя как первая европейская леди, когда-либо ступавшая на арабскую землю, любой каприз которой должен исполняться немедленно. Арабская дама тем не менее прибыла и вступила в борьбу за свои права. Муж принял ее сторону, разумеется, и кончилось это обычным «кто смел, тот и съел». Некая дама-француженка тоже заявила свои претензии, и немецкий генерал оказался весьма требовательным. Не знаю, какие аргументы возымели действие, но, как всегда бывает на этой земле, четверых смиренных овечек лишили их законных мест и отгеснили на задние сиденья, а немецкий генерал, французская дама, арабка, задрапированная паранджой и покрывалом, и миссис С., разумеется, покрыли себя ратной славой. Я никогда не обладала бойцовскими качествами и шансов на успех не имела, хоть мой билет и давал мне право претендовать на одно из вожделенных мест.

В положенный срок, однако, наш автобус, скрежеща и гроыхая, двинулся в

путь. Мы катили по желтой песчаной пустыне среди перекатывающихся дюн и неподвижных скал, и, завороченная однообразием пейзажа, я открыла книгу. Меня никогда не укачивало в машине, но движение этого шестиколесного агрегата, тем более что я сидела ближе к хвосту, весьма напоминало морскую качку, а я ведь еще и читала — словом, прежде, чем я поняла, что происходит, меня страшно вырвало. Я не знала, куда деваться от стыда, но миссис С. великодушно сказала, что подобные вещи часто случаются непроизвольно. В следующий раз она сама проследит, чтобы у меня было одно из передних мест.

Сорокавосьмичасовой переезд через пустыню был восхитителен и чуть-чуть зловещ. Создавалось странное ощущение, что ты не столько окружен, сколько замкнут в пустом пространстве. Первым моим открытием было то, что в полдень здесь невозможно определить, куда ты движешься — на север, юг, восток или запад, именно в это время суток машины чаще всего, должно быть, сбиваются с дороги. В одно из моих последующих путешествий через пустыню как раз это с нами и произошло. Водитель — очень опытный, заметьте, водитель — после двух или трех часов пути обнаружил, что едет назад, в Дамаск. Ошибка произошла там, где разошлись колеи: перед ним оказался лабиринт шинных следов. Как раз в это время вдали появилась машина, из нее стреляли, и водитель развернулся круче, чем следовало. Он считал, что стал в нужную колею, а оказалось, что едет в обратную сторону.

Между Дамаском и Багдадом нет ничего, кроме бескрайнего простора пустыни, никаких приметных вех, и только в одном месте возвышается большая крепость Рутба. Мы добрались до нее около полуночи. Неожиданно в темноте замерцал слабый огонек. Приехали! Засов на огромных воротах был поднят. У входа на карауле с винтовками наперевес стояли часовые Верблюжьего корпуса, готовые дать отпор бандитам, bona Lide¹ маскирующимся под добропорядочных путешественников. Их дикие темные лица производили устрашающее впечатление. Наши документы тщательно проверили и позволили въехать. Ворота заперли у нас за спиной. Мы расположились в нескольких комнатах, где не было ничего, кроме голых кроватей, по пять или шесть женщин в одной комнате и часа три отдохнули. А потом снова пустились в путь.

Часов в пять-шесть утра, на рассвете, мы позавтракали посреди пустыни. Нет завтрака лучше, чем консервированные сосиски, сваренные рано утром на примусе в пустыне. Эти сосиски да крепкий черный чай — что еще нужно, чтобы поддержать слабеющие силы? Чудесные цвета, которыми расцвечена пустыня — бледно-розовый, абрикосовый, голубой, — в сочетании с пронзительно прозрачным и словно чуть подкрашенным воздухом создают завораживающую картину. Именно это я мечтала увидеть! Будто все куда-то вдруг исчезло — только чистый, бодрящий угренний воздух, тишина — никаких птиц, струящийся сквозь пальцы песок, восходящее солнце и вкус сосисок и чая во рту. Чего еще можно желать?!

Мы снова тронулись в путь и наконец прибыли в Фелуджу на Евфрате. Переправившись через реку по плавучему мосту и проехав мимо аэродрома Хаббания, мы вскоре увидели пальмовые рощи и насыпную дорогу. Вдали слева показались золотые купола мечети Кадхимен. Переправившись через Тигр по еще одному плавучему мосту, мы въехали в Багдад по улице, застроенной шаткими домишками. Прелестная мечеть с бирюзовым куполом стояла, как мне показалось, прямо посередине улицы.

Отеля мне увидеть не довелось даже снаружи. Миссис С. и ее муж Эрик посадили меня в комфортабельный автомобиль и повезли по главной улице, которая, собственно, и была тогда Багдадом, мимо статуи какого-то генерала прочь из города. По обеим сторонам дороги тянулись ряды огромных пальм, стада красивых черных буйволов пили из многочисленных озерцов. Никогда прежде не видела я ничего подобного.

Затем начали попадаться дома, окруженные садами и цветниками, — цветов, правда, было еще не так много, как станет месяц-другой спустя... И вот я здесь, на земле, которую отныне буду называть «землей мем-сахиб».

¹ Добросовестно, чистосердечно (латин.).

* * *

В Багдаде все были чрезвычайно добры ко мне, милы и любезны настолько, что я испытывала чувство вины, поскольку мучительно ощущала себя птицей в клетке. Сейчас Альвия — район расползшегося города, по которому снуют автобусы и прочий транспорт. Тогда же она была отделена от собственно города несколькими милями необжитого пространства. Попасть туда можно было только вместе с кем-нибудь на машине. И поездка всегда казалась чудесной.

Однажды меня повезли посмотреть Буффало — городок, который виден из окна поезда, если подъезжаешь к Багдаду с севера. Непосвященному он кажется поначалу городом ужасов — пустое грязное пространство, по которому бродят буйволы; вся земля покрыта их испражнениями. В воздухе стоит душающий смрад, лачуги, сооруженные из бензиновых канистр, казалось бы, свидетельствуют о нищете и убожестве здешней жизни. На самом деле все совсем не так. Владельцы буйволиных стад далеко не бедны. Пусть живут они в этой мерзости, но каждый буйвол стоит фунгов сто, а то и больше, теперь — намного больше. Хозяева считаются людьми зажиточными, и их женщины, хлюпающие по грязи, непременно носят на щиколотках прелестные браслеты из серебра с бирюзой.

Вскоре я поняла, что на Ближнем Востоке видимость и суть никогда не совпадают. Здесь привычные представления, правила поведения, житейские премудрости приходится полностью пересматривать и всему учиться заново. Завидев человека, который грозно, как вам чудится, размахивая руками, прогоняет вас, вы спешите ретироваться — на самом деле он приглашает вас *подойти*. Напротив, манящий жест может означать требование убираться вон. Когда двое мужчин, находящихся на разных концах поля, яростно что-то кричат, вы уверены, что они грозят друг другу смертью. Ничего подобного. Это братья, коротающие за беседой свой перерыв, а голоса они повышают просто потому, что им лень сойтись поближе. Мой муж Макс как-то рассказал мне, что в свой первый приезд, шокированный тем, как все оруд на арабов, дал зарок никогда на них не кричать. Тем не менее, поработав здесь совсем недолго, он обнаружил, что замечания, произнесенного обычным тоном, рабочий просто не слышит — и не потому, что он глуховат, а потому, что не сомневается: когда человек говорит тихо, он разговаривает сам с собой. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас действительно стали слушать, следует говорить достаточно громко.

Жители Альвии оказали мне исключительное гостеприимство. Меня приглашали играть в теннис, возили на скачки, показывали достопримечательности, водили по магазинам — я чувствовала себя, как... в Англии. В географическом смысле я была в Багдаде, но по самоощущению оставалась в Англии, а для меня путешествовать — значит, оторваться от Англии и видеть другие страны. Я решила, что нужно что-то делать.

Мне хотелось побывать в Уре. Я стала расспрашивать о возможности такой поездки и, к своей великой радости, обнаружила, что меня не отговаривают, а, напротив, поощряют. Как я узнала позднее, поездку эту организовывали со множеством излишних предосторожностей. «Вы должны взять с собой носильщика, разумеется, — сказала миссис С. — Мы закажем вам билеты на поезд и телеграфируем мистеру и миссис Вули о вашем приезде, они вам все покажут. Вы проведете там пару дней, ночевать будете в вокзальной гостинице, а по возвращении Эрик встретит вас».

Я сердечно поблагодарила их за хлопоты и не без чувства вины подумала: хорошо, что они не знают, как долго я собираюсь путешествовать.

В положенный срок я отбыла. С некоторым беспокойством наблюдала я за своим носильщиком. У этого высокого, худого человека был такой вид, будто он привык сопровождать европейских дам по всему Ближнему Востоку и гораздо лучше их самих знал, что для них хорошо. Живописно разодетый, он усадил меня в пустом и не слишком удобном купе, поприветствовал на восточный манер и оставил, пообещав на первой подходящей станции повести в вокзальный ресторан.

Предоставленная самой себе, я тут же совершила неразумный поступок — открыла окно. Духота в купе стояла невыносимая, мне был необходим поток свежего воздуха. Вместо него в окно ворвались раскаленная пыль и рой огромных мух, штук тридцать. Я пришла в ужас. Мухи, угрожающе жужжа, кружили возле моей головы. Я не могла сообразить, что лучше: оставить окно открытым в надежде, что они вылетят, или закрыть его и, смирившись с обществом этих трех десятков

насекомых, обезопасить себя от притока новых. И то и другое никуда не годилось. Я забила в угол и просидела так часа полтора, пока носильщик не спас меня и не отвел в вокзальный ресторан.

Еда была жирной и не слишком вкусной, к тому же и времени не хватило, чтобы съесть ее. Зазвонил станционный колокол, мой верный слуга явился и препроводил меня в купе. Окно было закрыто, мухи исчезли. После этого происшествия я стала осмотрительней. Ехала я одна — видимо, это было обычным делом, — время шло очень медленно, так как читать не представлялось возможным: поезд слишком сильно трясло, а из окна ничего не было видно, кроме колючих кустарников и песчаной пустыни. Путешествие оказалось долгим и утомительным, все разнообразие впечатлений составляли лишь обед, завтрак, ужин да весьма беспокойный сон.

Время прибытия на узловую станцию Ур за период, что я туда ездила, менялось неоднократно, но всегда оставалось крайне неудобным. В тот раз, помнится, мы прибыли в пять часов утра. Разбуженная, я вышла из поезда и проследовала в вокзальную гостиницу. Там в чистой, аскетически убранной спальне мне удалось отдохнуть до восьми часов, когда я почувствовала, что хочу есть. Вскоре после завтрака прибыла машина, на которой, как мне сказали, я смогу поехать на раскопки, находившиеся в полутора милях отсюда. Ничего не зная о раскопках, я была тем не менее весьма польщена. Теперь, сама проведя в археологических экспедициях много лет, я поняла то, о чем не имела представления тогда: на раскопках терпеть не могут визитеров — они всегда являются не вовремя, желают все увидеть и услышать, отнимают драгоценное время и всем мешают. На успешных раскопках, подобных Уру, дорога каждая минута и все работают не покладая рук. Приезд восторженных дам, снующих повсюду, приравнивается к худшим из стихийных бедствий. До того момента, правда, Вули прекрасно справлялись с этой проблемой: посетители ходили обособленной группой, смотрели то, что им показывали, а потом их благополучно спроваживали. Но меня принимали с особыми почестями, которых я, увы, не оценила должным образом.

Такой прием объяснялся тем, что Кэрин Вули, жена Леонарда Вули, только что прочла «Убийство Роджера Экройда», и книга ей так понравилась, что меня встретили по классу ви-ай-пи¹. Всех членов экспедиции пытали, знают ли они мою книгу; те, кто ее не читал, подвергались суровой критике.

Леонард Вули со свойственной ему любезностью стал моим гидом. Водил меня по раскопкам и отец Берроуз, иезуитский священник и специалист по эпиграфике. Это была тоже весьма интересная личность, его метод экскурсоводения совершенно отличался от метода Вули. У Леонарда Вули было прекрасно развито воображение: он *видел* место таким, каким оно было в 1500 году до Рождества Христова, а то и на несколько тысяч лет раньше. Любое прошлое он умел воссоздать силой воображения. Пока он говорил, у меня не было и тени сомнения, что вот этот дом на углу — дом Авраама. Он оживлял прошлое и верил в него, и всякий, кто его слушал, верил вместе с ним.

Отец Берроуз использовал другой прием. Извиняющимся тоном он описывал, например, большой внутренний двор и двор, окружавший храм, или улицу ремесленников и, когда видел, что пробудил в вас интерес, неожиданно говорил: «Конечно, мы не знаем, так ли это было на самом деле. С уверенностью никто этого сказать не может. Вероятно, все было по-другому». И сразу же после этого: «Но мастерские здесь, несомненно, существовали, хотя, может быть, построены были и не так, как мы думаем, возможно, совсем не так». У него была страсть разрушать созданное им же самим впечатление. На редкость занятый человек — умный, доброжелательный и в то же время отчужденный; в нем было даже что-то неуловимо безжалостное.

Однажды за обедом безо всякого повода он стал рассказывать мне детективную историю, которую, как он считал, я могла бы написать, и энергично уговаривал меня взяться за нее. До того момента я понятия не имела, что он интересуется детективами. Сюжет, весьма, правда, расплывчатый, заключал в себе определенный интерес, и я решила когда-нибудь вернуться к нему. Прошло много лет, лет двадцать пять, и однажды я вспомнила о нем и написала не роман, а повесть, основанную на событиях, рассказанных отцом Берроузом. Самого отца Берроуза к тому времени уже давно не было в живых, но я надеюсь, что до него дошла моя благодарность за подаренную идею. Как всегда случается с писателями, я присвоила ее, пропустила

¹ Аббревиатура, составленная из названий первых букв английских слов «very important person» — очень важная персона.

через себя, и она стала мало похожа на первоначальный вариант; и все же без внушенного отцом Берроузом побуждения повесть не состоялась бы.

Кэсрин Вули, которой предстояло стать впоследствии одной из лучших моих подруг, была незаурядной личностью. Все люди делились на тех, кто страстно и мстительно ненавидел ее, и тех, кто был ею очарован, быть может, потому, что от одного настроения она переходила к другому с такой легкостью, что предугадать этот переход было совершенно невозможно. Люди говорили, что она невыносима, что с ней нельзя иметь дела, что она недопустимо бесцеремонно обращается с окружающими, и после всего этого вдруг снова подпадали под ее обаяние. В одном я совершенно уверена: если вам нужно было бы выбрать спутницу для пребывания на пустынном острове или в каком-то унылом месте, где нет никаких развлечений, она могла бы и там поддерживать ваш интерес к жизни как никто другой. Ее не интересовали обычные вещи. Она заставляла задуматься о том, что никогда прежде не приходило вам в голову. Была способна на резкость — иногда могла даже обидеть, если хотела, как ни трудно в это поверить, — но если желала кого-то обворожить, поражений не знала.

Я влюбилась в Ур, его красоту по вечерам, когда скалы кутаются в таинственную тень и необозримое море песка поминутно меняет свою нежную окраску — абрикосовую на розовую, розовую на голубую, голубую — на розовато-лиловую. Я восхищалась рабочими, десятниками, мальчишками, таскавшими корзины с землей, землекопами — восхищалась их профессиональными умениями и обычной житейской привлекательностью. Очарование старины захватило меня. Удивительно романтично наблюдать, как из-под песка медленно появляется кинжал, сверкая золотом на солнце. А видя, с какой осторожностью от земли освобождают глиняные горшки и другие предметы старины, я сама захотела стать археологом. Жаль, что прежде я жила так легкомысленно, упрекала я себя и со стыдом вспоминала, как в юности, в Каире, мама тащила меня в Луксор и Асуан посмотреть на знаменитые египетские древности, а я желала лишь одного: встречаться с молодыми людьми и танцевать до рассвета. Ну, что ж, видимо, всему свое время.

Кэсрин Вули и ее муж уговаривали меня остаться еще на день, чтобы посмотреть новые находки, и я с восторгом согласилась. Носильщик, навязанный мне миссис С., был совершенно не нужен. Кэсрин Вули отправила его обратно в Багдад и велела передать, что пока неизвестно, когда я приеду. Таким образом, я надеялась вернуться незаметно для своих прежних хозяев и поселиться в отеле «Тигрис палас» (если он так тогда назывался — его столько раз переименовывали, что я уж и забыла первое название).

План не прошел: несчастный муж миссис С. каждый день был высылаем к поезду из Ура встречать меня. И все же мне удалось от него отделаться. Я от всей души поблагодарила его, сказала, что его жена исключительно любезна, но что мне действительно лучше поехать в отель, тем более что я уже сделала соответствующие распоряжения. Ему ничего не оставалось, как отвезти меня туда. Я устроилась, еще раз горячо поблагодарила мистера С. и приняла приглашение поиграть в теннис дня через три-четыре. Так мне удалось вырваться из рабства светской жизни на английский манер. Я перестала быть «мем-сахиб», я стала обыкновенной туристкой.

Отель оказался вовсе не плох. Большая гостиная и столовая на первом этаже утопали в полумраке, шторы там были всегда опущены. На втором этаже вдоль спален тянулась сплошная веранда, и каждый проходящий по ней имел возможность заглянуть внутрь и понаблюдать за раскинувшимся во сне постояльцем. Одной своей стороной отель выходил на Тигр — река с самыми разными лодками на ней выглядела сказочно. Ели мы на первом этаже в затемненном сирабе¹, слабо освещенном лишь электрическим светом. Обеды, завтраки и ужины были странным образом похожи друг на друга: в любое время дня подавали множество блюд — огромные куски жареного мяса с рисом, маленькие твердые картофелины, омлет с кожистыми помидорами, необъятных размеров головки цветной капусты и тому подобное, ad lib.²...

В отеле я познакомилась с полковником Дуайером из Африканского полка королевских стрелков. Он объездил весь мир. Не было такого, чего бы не знал о

¹ Прохладное, затемненное помещение в нижнем этаже иракского дома.

² *Ad libitum* (латин.) — здесь: сколько угодно.

Ближнем Востоке этот пожилой человек. Как-то разговор у нас зашел о Кении и Уганде, и я упомянула, что мой брат прожил там много лет. Он спросил, как его фамилия, я сказала — Миллер. Он уставился на меня с хорошо знакомым мне выражением сомнения и даже недоверия.

— Вы хотите сказать, что вы сестра Миллера? Индюка Миллера?

Я пропустила «индюка» мимо ушей.

— Сумасшедшего, как Шляпник¹? — добавил он вопросительно.

— Да, — ответила я искренне, — он всегда был безумцем вроде Шляпника.

— И вы — его сестра?! Значит, вам приходилось терпеть его выходки?

Я ответила, что это было справедливой данью.

— Один из самых замечательных персонажей, с какими мне доводилось встречаться. Его, знаете ли, с толку не собьешь. Уж если он что вбил себе в голову... Упрямый, как осел, но его нельзя было не уважать. Один из самых отчаянных храбрецов, каких я только видел.

Подумав, я признала, что это похоже на Монги.

— Во время войны немудрено прослыть храбрецом, — продолжал полковник, — но я, заметьте, командовал этим полком уже после войны и сразу же оценил Миллера. Мне доводилось встречать людей его типа, они часто в одиночку путешествуют по миру. Эксцентричны, упрямые, весьма одаренны, но обычно оказываются неудачниками. Лучшие в мире собеседники — но только если расположены разговаривать, заметьте. Если нет, они вам даже на вопрос не ответят — будут просто молчать.

Каждое слово полковника было правдой.

— Вы, кажется, намного моложе его?

— На десять лет.

— Он уехал за границу, когда вы были еще ребенком, правда?

— Да, я даже не очень хорошо его помнила. Но он наезжал домой во время отпусков.

— Как сложилась его жизнь? Последнее, что я о нем слышал, — что он болен и лежит в госпитале.

Я рассказала ему о Монги, о том, как его привезли домой умирать, а он выжил вопреки предсказаниям докторов.

— Естественно, — сказал полковник, — такие парни не умирают, пока сами того не захотят. Помню, как его, раненого, с перевязанной рукой, сажали на санитарный поезд... А ему стукнуло в голову, что он не желает ехать в госпиталь. Его заталкивали в вагон с одной стороны, а он тут же выскакивал с другой. Работенка была, доложу я вам! Наконец его все же притащили в госпиталь, но на третий день он сбежал оттуда, да так, что никто и не заметил. В его честь даже была названа одна битва — вы знаете об этом?

Я ответила, что смутно.

— Он поссорился со своим командиром. Это, конечно, было для него в порядке вещей. Тот был воспитанный человек, но вообще-то напыщенное ничтожество — совсем не такой, как Миллер. А Миллер в ту пору отвечал за мулов — он прекрасно с ними управлялся! Ну так вот, он вдруг решил, что некое место, где они находились, — замечательная позиция, чтобы дать сражение немцам, и его мулы встали как вкопанные. Командир заявил, что отдаст его под суд за невыполнение приказа — он обязан повиноваться, а то... Тогда Миллер просто сел на землю и заявил, что сам не двинется с места и мулы тоже. Насчет мулов он был совершенно прав — они шагу не делали без Миллера. Как бы то ни было, ему грозил военный трибунал. Но в этот момент немцы начали массированное наступление.

— И наши приняли бой? — спросила я.

— Разумеется, приняли — и одержали победу! Самую решительную с начала войны. Ну, безусловно, полковник, старина-как-там-его — Раш или что-то в этом роде, — обезумел от ярости. Он выиграл сражение благодаря непослушанию подчиненного, которого собирався отдать под трибунал! А теперь дело обернулось так, что он не мог отдать его под трибунал. Положеньице, скажу я вам! Короче говоря, чего только он не предпринимал, чтобы спасти свою репутацию! А сражение это так все и называли потом — «битва Миллера». Вы его любили? — спросил меня полковник совершенно неожиданно.

¹ Персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».

Трудный вопрос.

— Было время, когда любила, — ответила я. — Дело в том, что мы слишком мало жили вместе, чтобы я могла испытывать то, что называют родственной привязанностью. Иногда он приводил меня в отчаяние, иногда я безумно на него сердилась, иногда — да, должна признать, что иногда я восхищалась им, была очарована.

— Он запросто очаровывал женщин, — сказал полковник Дуайер. — Они ели из его рук. И обычно мечтали выйти за него замуж. Выйти, знаете ли, замуж, переделать его, приручить и заставить заняться каким-нибудь спокойным делом. Наверное, его уже нет в живых?

— Да, он умер несколько лет назад.

— Жаль. Считаете, жизнь его не удалась?

— Хотела бы я знать...

Действительно, кто знает, где проходит граница между неудавшейся жизнью и счастливой? Внешне жизнь моего брата Монти была полным провалом. Ни в чем, за что брался, он не преуспел. Но, быть может, это касалось только материальной стороны? Нельзя не признать, что, несмотря на финансовые неудачи, большую часть жизни он прожил с удовольствием.

Однажды он мне сказал:

— Наверное, я дурно прожил жизнь. По всему миру остался должен разным людям. Нарушал законы во множестве стран. Из Африки тайно вывез небольшую коллекцию прелестных вещиц из слоновой кости. И ведь знали, что она у меня, а найти не смогли! Бедной маме и Мэдж доставлял массу хлопот. Думаю, святые отцы меня бы не одобрили. Но клянусь, детка, я получал от жизни удовольствие. Я чертовски хорошо провел время на этом свете. Довольствовался только самым лучшим.

В чем Монти действительно везло, так это в том, что всегда в нужный момент находилась женщина, которая брала на себя заботу о нем. Включая миссис Тейлор. Они мирно жили с ней в Дартмуре. Потом она подхватила тяжелый бронхит, состояние ее никак не улучшалось, и у доктора были большие сомнения насчет того, что она сможет пережить следующую зиму в Дартмуре. Ей рекомендовали сменить климат, переехать туда, где теплее, например, на юг Франции.

Монти был в восторге. Он собрал все возможные путеводители. Мы с Мэдж понимали, что было бы жестоко просить миссис Тейлор не покидать Дартмур, хоть сама она ничуть не возражала, она бы охотно осталась: «Не могу же я сейчас бросить капитана Миллера!»

Итак, чтобы всем было хорошо, мы решительно отменили грандиозные планы Монти и сняли для них с миссис Тейлор несколько комнат в небольшом пансионе на юге Франции. Я продала его дом и посадила их на Голубой экспресс. Они оба светились радостью, но, увы, миссис Тейлор простудилась в дороге, у нее развилось воспаление легких, и через несколько дней она умерла в больнице.

Монти тоже попал в больницу в Марселе — смерть миссис Тейлор подкосила его. Мэдж, понимая, что нужно что-то предпринять, но не зная, что именно, отправилась к нему. Медсестра, присматривавшая за Монти, оказалась очень славной женщиной и вызвалась что-нибудь придумать.

Неделей позже мы получили телеграмму от банковского поверенного, которому было поручено вести все финансовые дела Монти. Он сообщил, что, как ему кажется, выход найден. Мэдж была занята, поэтому на встречу с поверенным отправилась я. Он пригласил меня пообедать, был исключительно любезен и готов к услугам, однако его явно что-то смущало. Я не могла понять, что. Но в конце концов причина его замешательства открылась: он не знал, как сестры Монти отнесутся к тому, что он должен сообщить. Медсестра, Шарлотта, предложила забрать Монти к себе и ухаживать за ним. Поверенный, видимо, опасался взрыва ханжеского негодования с нашей стороны — как мало он нас знал! Мы с Мэдж готовы были в порыве благодарности броситься к Шарлотте на шею. Мэдж, познакомившись, сразу же к ней привязалась. Шарлотта прекрасно справлялась с Монти — и ему она тоже нравилась. Ей удавалось контролировать даже его расходы, тактично принимая к сведению грандиозные планы, например, жизни на большой яхте и прочее в том же роде.

Умер он совершенно неожиданно от кровоизлияния в мозг в кафе на набережно-

ной, и Мэдж и Шарлоттой вместе плакали на его погребении. Его похоронили на Военном кладбище в Марселе.

Думаю, Монти до самого конца наслаждался жизнью.

Воспоминания о Монти сблизили нас с полковником Дуайером. Бывало, я ужинала у него, иногда он приходил поужинать со мной в отеле, и наши разговоры всегда вертелись вокруг Кении, Килиманджаро, Уганды, озера Виктория и, конечно, моего брата.

Решительно, по-военному полковник Дуайер строил планы моей следующей заграничной поездки. «Я организую для вас три отличных сафари, — говорил он. — Мы должны определить время, удобное для нас обоих. Думаю, я встречу вас где-нибудь в Египте, затем с караваном, на верблюдах мы пройдем через Северную Африку. Это займет два месяца, но путешествие будет великолепным — вы его никогда не забудете. Я поведу вас в такие места, о которых все эти хвастливые гиды и слыхом не слыхивали, мне в этой стране известен каждый уголок. Потом мы отправимся в глубь страны». И он продолжал описывать маршруты наших путешествий, преимущественно в воловьих упряжках.

Иногда меня одолевали сомнения: смогу ли я выдержать все, что предназначал полковник. Быть может, мы оба догадывались, что это скорее лишь грезы. Думаю, он был одинок. Полковник Дуайер вышел из рядовых, сделал блестящую карьеру, постепенно отдалился от жены, которая не желала покидать Англию — единственное, чего она хотела, рассказывал он, это жить в уютном маленьком домике на уютной маленькой улочке. А когда он приезжал домой в отпуск, дети не обращали на него никакого внимания. Его страсть к путешествиям по диким местам они считали блажью и идиотизмом.

— В конце концов я послал ей столько денег, сколько она хотела, и детям на образование. Ну, а я не могу жить без всего этого — без Африки, Египта, Северной Африки, Ирака, Саудовской Аравии... В них — моя жизнь.

Однако, полагаю, одиночество его не тяготило. У него было сдержанное чувство юмора, и он рассказал мне несколько очень забавных историй о разных местных интригах. В то же время в известном смысле он был весьма светский человек. Набожен, сторонник строгой дисциплины, имел весьма суровые понятия о том, что хорошо и что плохо. Ему очень подошло бы определение — старый шотландский пуританин.

Наступил ноябрь, погода начала портиться. Не было больше томительных, жарких, солнечных дней, иногда даже шли дожди. Я заказала билет домой и с сожалением прощалась с Багдадом, но не очень грустила, так как уже строила планы возвращения. Супруги Вули намекнули, что были бы очень рады принять меня на будущий год, а на обратном пути мы могли бы вместе совершить увлекательное путешествие; получила я и другие предложения.

И вот пришел день, когда я снова погрузилась в шестиколесный автобус, позаботившись на сей раз о том, чтобы сидеть впереди и не опозориться снова. Мы отъехали, но вскоре мне пришлось познакомиться с некоторыми гримасами пустыни. Пошел дождь, и, как обычно бывает в этой стране, твердая поверхность дороги за пару часов превратилась в трясицу. Стоило сделать по ней один шаг — и к каждой ноге прилипал огромный ком грязи, весивший не менее двадцати фунтов. Что же касается автобуса, то он без конца скользил, вилял и в конце концов застрял. Водители выскочили, схватили лопаты, достали доски, подложили их под колеса и начали выкапывать автобус. Минут через сорок — через час сделали первую попытку сдвинуться с места. Автобус содрогнулся, приподнялся и опять сел на днище. В конце концов, поскольку дождь усиливался, мы вынуждены были повернуть назад, и я снова приехала в Багдад. На следующий день попытка оказалась более удачной. Пару раз все же пришлось откапываться, но наконец мы миновали Рамади, а когда подъехали к крепости Рутба, перед нами снова была чистая сухая пустыня, трудности передвижения кончились.

Продолжение следует

LENNART MERI, the President of Estonia, in his interview with our correspondent Elena Seslavina dwells upon various problems, including the most painful, of the relationships between Estonia and Russia, as well as upon the present situation and perspectives of Estonia's development.

LEV ROSHAL. The New Times, or Realty Exchange.

A place-hunter of the 1990-s, a modern «bel ami» tries to find his snug little job by all means: he exploits the boiling of political passions, liaisons and even... lousiness.

«...Because All Is Over» by **ELENA RZEVSKAYA** describes the last days of the Third Reich, the suicide committed by Hitler and Goebbels, killing of his wife and six children by Goebbels. There are delivered new documents, facts and personal evidence of the author who served as an interpreter in the army headquarters and participated in the searching of Hitler's dead body and identification of Goebbels and Hitler's burnt corpses. She also assisted at finding out the diaries of Goebbels in the underground shelter.

AGATHA CHRISTIE. An Autobiography. Extracts.

This book is quite unexpected on the part of Agatha Christie, though many reviewers call it her best. The book fascinates by an «old-fashioned» manner of writing and portrays the author as a witty, charming and in many aspects outstanding personality.

ALEXANDER IZGOEV. Horrible Lessons of the 1917-th Year.

A. Izgoev's (1872-1935) works are practically unknown to contemporary readers. A talented publicist, prominent figure in the party of constitutional democrats, he devoted himself to the struggle against bolsheviks' ideology. His essays contain keen and deep, sometimes prophetic analysis of postrevolutional situation and the future of Russia.

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию-изготовителя, указанные в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Анна Селиверстова

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, заместитель главного редактора — 291-62-27, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, зав. редакцией — 291-62-27, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, факс: 291-63-54.

Сдано в набор 05.01.94. Подписано в печать 21.02.94. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать высокая. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отг. 21,7. Уч.-изд. л. 23,83. Тираж 50 000 экз. Заказ 962. Цена свободная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в ордена "Знак Почета" типографии газеты "Красная звезда"
123826, ГСП, Москва, Д-7, Хорошевское шоссе, 38. Зак. 1666

Цена свободная

Индекс 70250

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 1994, №3, 1-240